

ЭЛЬЧИН

**МАХМУД
И
МАРИАМ**

**ГЯНДЖЛИК
БАКУ 1985**

Эфендиев Эльчин Ильяс оглы
Э46 Махмуд и Мариам. Б.: Гянджлик, 1985,-364 стр.

Роман «Махмуд и Мариам» является историческим повествованием о событиях XVI века, - сложном времени создания и формирования Азербайджанского государства сефевидов.

В книгу также вошли широкоизвестные повести талантливого прозаика - «Серебристый фургон», «Смоковница», «Кумган», «Чудеса в почтовом отделении».

Широка читательская аудитория Эльчина, произведения его переведены на английский, французский, немецкий, испанский, арабский, фарси и другие языки.

Э $\frac{4702060200}{M853(12)85}$ 148-85

© Гянджлик, 1983
© Гянджлик -1985

ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Представляя читателю писателя и его новый сборник автор предисловия по традиции пишет, что книга вобрала в себя лучшие произведения и являет собой этап в творческой биографии художника. Эта расхожая мысль пущена в обращение давно, ее эксплуатировали уже много раз, а в силу того, что она примелькалась, то не только не вызывает ни у кого возражения, но и вообще остается вне читательского сознания. В предисловии к данному сборнику Эльчина вариации на такую банальную тему оказались бы вовсе несостоятельными, ущербными по своей сути. Вряд ли кто-либо из почитателей таланта Эльчина, и я среди них, взял бы на себя смелость сказать: вот эта повесть лучше той, а рассказ такой посодержательней и интересней всех других.

Понимаю составителей, когда они остановили свой выбор на романе «Махмуд и Мариам» это большое историческое полотно, в нем с исчерпывающей полнотой выражено философское кредо писателя, его поиски нравственного абсолюта. Но, думаю, им совсем нелегко было поступиться, скажем, «Первой любовью Балададаша» и маленьким шедевром «В снегу», ведь история с Керим-киши и другими обитателями бакинского дома способна потрясти и людей закаленных, умеющих держать свои нервы в узде. Украсили сборник - «Серебристый фургон», «Смоковница», «Кумган», «Чудеса в почтовом отделении», все эти повести нашли путь к сердцу читателя, «Серебристый фургон» и «Кумган» даже экранизированы, а по «Чудесам в почтовом отделении» осуществлены спектакли в театрах, но украшением книги могли бы стать и удивительно добрый и мудрый рассказ «Ходят по земле поезда», и «Мотоцикл за пять копеек», и «Красный медвежонок», впрочем, таким образом, я с полным правом мог бы назвать все другие произведения писателя. И тут есть своя внутренняя связь, своя диалектика. Значительность Эльчина, как художника, обращающегося к людям, проявляется и в особой придирчивости к себе, своему слову; на читательский суд он выносит произведения, где мысль и форма стремятся к гармонии; в них нет того, что должно было быть списано на счет литературы, литературного шлама, где движение мысли, как и развитие сюжета, были бы подменены риторикой, кудрявостью формы; не представляю себе, чтобы собратья по перу, критики самое же главное, читатели смогли упрекнуть Эльчина в незрелой мысли, в неряшливости стиля, в спешке. Нет, как писатель, он полон чувства собственного достоинства, как гражданин - уважения к собеседнику своему, к читателю.

В прекрасном послесловии к сборнику «Смоковница», вышедшему в Москве в 1981 году, известный советский критик Лев Аннинский особенно подчеркнул, что сердце Эльчина переполнено любовью к людям. Любовью к Человеку, верой в него, преклонением перед его мудростью и добротой, благородством помыслов пронизаны все его рассказы, повести, публицистика. Это великое счастье писателя - и литературы тоже! - понимать тайные движения человеческой души, находить им объяснение. Мне хотелось бы добавить, что все творчество Эльчина служит выражением и сыновней любви к родному краю. К тихим, задумчивым садам Апшерона, к ласковому морю, к сказочной Шуше, к затерянному на большой магистрали полустанку, где живет маленький Абили, постигающий этот запутанный, переменчивый и непонятный ему мир перевертышей. И конечно же к Баку с его размахом шагов саженых и устремленностью в будущее, и в то же время поэзией старых улочек с их патриархальным укладом жизни, мудрой неторопливостью аксакалов. Эти то произведения как бы создают одухотворенный образ Азербайджана, его народа. Созданы они на большом дыхании, все то, что рассказано, пережито самим художником. Это все видел он сам, наверное потому-то, когда читаешь Эльчина, не возникает неловкого чувства, что ты уже все это знаешь, что Дуду и Мирзоппа тебе знакомы по другим книгам, и Мамедагу ты тоже знаешь, и Балададаша. Нет, все это первично, все настоящее, и воспринимается, как художественное открытие.

Мне приходилось однажды писать, что живи я не в Баку, а, скажем в Таллине или Омске, или еще в каком-либо другом городе, «Серебристый фургон» вызвал бы у меня непреодолимое желание поспешить сюда, на берега Хазара, чтобы предстала передо мной в своей первозданной красоте фантастическая природа щедрого южного края, чтобы произошла встреча с Мамедагой и милиционером Сафаром, с Месмеханум, и тогда раскрылись бы во всем своем нравственном совершенстве передо мной люди с чистой совестью. Да найдется ли в мире человек, у кого повернулся язык обвинить их в том, что поживились за счет других, обидели невинного, покривили душой. Для них конкретны, наполнены смыслом такие понятия, как честь, как верность в любви и дружбе, святость домашнего очага, уважение к старшему. Все это люди рабочие, работой кормятся, а на чужое не зарятся. Я снова подчеркиваю: они не плод писательской мечты, они взяты из жизни, находятся рядом с нами, и тут нет никакого авторского произвола, никакого смещения акцентов и перспективы, и каждый из нас, бакинцев, да только ли бакинцев, хорошо знает Агабаджи, и разделит ее радости и печали, и неутомимого труженика Агабабу знает, и чистых душой детей их, и поймет мотивы, которые движут их поступками, и поспешит подать им руку за то, что честью не поступились, на сделку с совестью не пошли.

Впрочем, тут в первую голову надо подать руку самому Эльчину. Недостатка в читателях у него нет, (особенно он популярен в Азербайджане), и в единомышленниках тоже, его произведения и в студенческой среде, и среди людей среднего, пожилого возраста становятся предметом страстных литературных дискуссий, читательских конференций. Наверное потому, что Эльчин всегда обращается к нашей совести, его душу бередит, и это ощущаешь чуть ли не физически, что хорошим, добрым людям живется совсем-совсем несладко.

Человеческая натура вообще несовершенна, и зависть, равно, как стяжательство, равнодушие, злобность, словно сорная трава, стараются задушить доброту и порядочность, и это часто происходит в наше время не только и не столько в силу объективных причин, сколько субъективных. Из-за того, что редко пускаем, фигурально выражаясь, в ход кулаки, из-за совсем не красящего нас долготерпения. И от этого становится иной сама тональность произведений Эльчина: в жизнерадостность, оптимистическое видение жизни вторгаются тревожные ноты, и краски становятся глуше, и фантастика, когда по городу бродит красный медвежонок, сменяется жестокой прозой будней. И эта тревога передается нам и зовет нас, нет, скорей, требует, чтоб вошло в нашу натуру неприятие зла, определили и мы, вслед за писателем, свою гражданскую позицию, и отринули от себя этот антимир.

Писатель показывает нам пример, его девиз - патронов, сиречь сатирических стрел, не жалеть. Тут аргументы неотразимы. Они тем более убедительны, что находят художественное, образное выражение. Через судьбы людей, их переживания. Пусть не покажется тебе, читатель, отступлением от этой линии, чуть ли не компромиссом то, что порой испытывает Эльчин к этим своим негероям и жалость, и участие - люди же они! - и сохранились в душе у них и остатки веры, и крохи сострадания, и зыбкая вера в то, что все еще образуется, но надежда на эту соломинку спасения призрачна, за всю неправду надо жизнью платить, и Зубейда, писатель не ставит это под сомнение, своим одиночеством расплачивается по крупному счету.

В этом смысле повесть «Кумган» убедительней всего свидетельствует в пользу того, что Эльчин всегда остается верен своей жизненной позиции и не отступит от нее ни при каких условиях. Тут конфликт доведен до крайней точки, а авторская тенденция предстает перед нами в обнаженном виде. Вспомните, в народных сказаниях, в легендах человек воздвиг собаке памятник за ее верность, вечную готовность пожертвовать собой, а в повести Эльчина Кумган, дворовой пес, первым оказался подверженным тлетворному духу сытости, не смог противостоять запахам сладкой жизни и изменил своему хозяину.

Сигнал опасности? Предупреждение? Да, наверное. С людьми такое не в диковинку. И если уж собака...

Все это произведения о наших с вами современниках. Они сильны нравственным своим зарядом, и читатель не может не услышать этого страстного писательского призыва к человеку, чтобы он оставался человеком и жил по высшим законам совести. Не может ли быть воспринят роман «Махмуд и Мариам», где события отдалены от нас не годами, и даже десятилетиями, а многими веками как своеобразную попытку уйти от своей темы, как признание тщеты своих усилий, надежд? Совершенно убежден, что думать так нет никаких оснований. Писательские пути неисповедимы, и история литературы дает нам немало примеров, когда писатель в исторических коллизиях находил повод самовыражения. «Махмуд и Мариам» в том не исключение. Мне трудно судить о степени историзма произведения, об этом, надо полагать, выскажут суждение ученые, но за атрибутами седой старины, за дворцовыми интригами, сражениями, нельзя не увидеть проекцию в день нынешний.

Катастрофой двух молодых, христианской девушки Мариам, дочери священника, и сына правителя Махмуда, мусульманина - обернулась их любовь. Там; где на пути человека становятся религиозный фанатизм и национальные предрассудки, где ценность его определяется не умом, благородством и красотой, а богатством, социальным положением, там все обернется трагедией для Любви, для влюбленных, для Человека.

Так обращение к истории оказалось органичным, тем более что большое художественное полотно, каким является новый роман, представляет собой острое и динамическое действие с фигурами живыми, активными, в нем Эльчин, как ни в каком другом своем произведении, проявил себя искусным рассказчиком, и читается все это с большим интересом.

Эльчин признан как писатель со своим местом в нашей литературе, своим голосом, своей темой. непохожий на других - и особыми взаимоотношениями с читателями. Счастье для писателя, что люди ему внимают и ждут с ним общения. Потому-то писателю всю жизнь и приходится ходить в должниках. Знать, что ты в долгу у людей, что нуждаются они в тебе и твоём слове - это ведь счастье для художника.

Марк Пейзель

МАХМУД И МАРИАМ

РОМАН

I

Было 4-е число месяца джамадиул-эввел 920 года хиджры, или 28 июня 1514 года по календарю христиан Гянджа спала.

В полдень в городе стояла такая жара, что дышать было невозможно, и старики говорили, что такая жара была ровно шестьдесят четыре года назад, в день, когда отрубили голову ашугу Сазлы Абдулле. Сазлы Абдулла надерзил тогдашнему правителю Гянджи Черному Баширу, молвил слово поперек при всей дворцовой знати, отказался играть на свадьбе сына Черного Башира - Черного Бекира, сказал, твой дворец - это чаша крови, и, если даже я заиграю, струны моего саза онемеют, и Черный Башир так рассвирепел от этой дерзости, этой наглости, что изгрыз концы своих длинных черных усов и они стали как черная жвачка, и Сазлы Абдулла казнили посреди городского базара, и даже по прошествии шестидесяти четырех лет гянджинские старики, не в силах скрыть озадаченности, и на свадьбах, и на поминках рассказывали, что, едва острый как бритва топор палача по прозвищу Топпузгулу - Раб Палицы в мгновение ока отделил голову Сазлы Абдуллы от тела и кровь народного ашуга, забив фонтаном, обновила засохшую с прошлых казней кровь вокруг плахи, и в сердцах толпившихся людей раздался вопль, жар которого не охладел и через шестьдесят четыре года, саз, упавший рядом с распростертым на плахе обезглавленным телом, внезапно зазвучал сам собой и заиграл самую горестную, самую печальную песню на свете, а у людей от изумления волосы стали дыбом и прокололи подкладки папах; и так заиграл саз, что неожиданно сошел на нет зной того полудня, над головами сгустились груды черных туч, небо загрохотало, и начался такой ливень, что народ еле добежал до своих жилищ, и некоторое время он безостановочно лил, и в течение всего этого времени, под проливным дождем, саз народного ашуга Сазлы Абдуллы так и играл сам по себе, а потом дождь прекратился, и саз умолк, а люди снова собрались посреди базара и увидели, что ни саза нет, ни тела, ни головы. С тех пор сколько ни рубили голов и палач Топпузгулу, и сын палача Топпузгулу - палач Танрыгулу-Раб божий, и вот теперь сын палача Танрыгулу - палач Топпузгулу-младший посреди базара, в Гяндже, - и тогда, когда не без тайного участия Черного Бекира отрубили голову Черному Баширу, а потом - по приказу шаха - самому Черному Бекиру, и вора, и мошенникам, и шпионам, и снова народным ашугам, - никогда такого происшествия не случалось. Ливень, разразившийся в день казни ровно шестьдесят четыре года тому назад, смыл и унес кровь Сазлы Абдуллы, но поговаривали, что, когда бывает чрезмерная жара, вокруг плахи, посреди базара, блестит под солнцем кровь Сазлы Абдуллы, и вот сегодня тоже кое-кто видел, как она блестит вокруг плахи.

Гянджа спала.

Ткачи, кузнецы, медники, гончары, скорняки, красильщики из города и окрестных сел, слуги и батраки, работающие в ремесленных мастерских города по найму, так устали, потрудившись в эту невиданную дневную жару и вечернюю духоту, что, несмотря на то, что и ночь была душной, видели теперь седьмой сон. Купцы, лавочники, придворные, чиновники, женщины, дети, поворочавшись в жарких постелях, тоже наконец уснули.

Не спал только Зияд-хан. Во всяком случае Зияд-хану казалось, что во всей огромной Гяндже - столице Карабахского бейлярбекства только у него пропал сон.

Расположившись между Курой и Араксом, Карабахское бейлярбекство вмещало большую территорию от Кафана, Ордубада, Нахичевани на юге до Казаха на севере, от Джавада на западе до озера Гейча на востоке и являло собой немалую часть Азербайджанского государства Сефевидов, и, хотя оно не имело непосредственного выхода к морю, как соседние Ширванское и Тавризмское бейлярбекства, также расположенные на земле Азербайджана, хотя и не граничило оно с османами, как Чухурсэдское и опять же Тавризмское бейлярбекство, Карабахское бейлярбекство, однако, было самым надежным северным бастионом государства Сефевидов, а Зияд-хан был абсолютным властителем всех этих мест; и все же...

...Уж сколько времени ночи его проходили так мучительно, сколько времени Зияд-хан проводил ночи вот так, без сна, и самое удивительное, что Зияд-хан и сам не знал

причины своей бессонницы; он не чувствовал себя больным; не случилось ничего чрезвычайного, никакого события, которое отличалось бы от событий предыдущего месяца и окутывало мраком последующий; правда, Зияд-хан безошибочным чутьем предугадывал, что мелкие набег, небольшие стычки и схватки, интриги и уловки уже на исходе - нож уже уперся в кость, напряжение дошло до крайней точки; и до начала настоящей войны между султаном Салимом и шахом Исмаилом времени осталось немного, но что было делать, таковы времена, и завтрашний день правителя - большого или малого - зависит только от одного аллаха.

Разумеется, Зияд-хана заботило будущее и его самого, и его сына, и он делал все что мог: по мере надобности бушевал и подличал; если надо, оставлял голову врага на теле и жертвовал головой друга; Зияд-хана называли и «Адиль» - Справедливый, и Хедджадж ибн Юсиф - Жестокосердый, но, как говорится, ты играй, что хочешь, посмотрим, что судьба сыграет; для правителя каждый следующий день был непредсказуем, и если бы он страдал от этого, то должен был бы двадцать три года не смыкать глаз по ночам, а Зияд-хан ровно двадцать три года был правителем, за эти двадцать три года одни шахи сменялись другими, менялась погода при дворе, плелись немыслимые интриги, однако абсолютная власть бейлярбека Зияд-хана над Карабахским бейлярбекством оставалась такой же, как и была: не только чернь, не только воры и разбойники, не только раболепная придворная знать, но и правители городов и округов - наибы и калантары трепетали от его гнева, потому что Зияд-хан хорошо знал, как обращаться и с народом, и с вероломными и продажными чиновниками, потому что Зияд-хан сам начинал с должности дарга - начальника городского сыска, прошел одну за другой все ступени и умел крепко держать в руках тех, кто от него зависел; те же, от кого он зависел... время теперь было трудное, и сказать что-либо определенное, сделать какой-нибудь ясный вывод было невозможно.

Нет, причиной его бессонницы было другое.

Издалека слышалось несвоевременное кукареканье петуха, затем два-три петуха отозвались на него, потом снова воцарилась тишина, и спящая Гянджа некоторое время пребывала в полной тишине, потом посреди ночи над Гянджой полетел молодой, приятный и печальный голос в сопровождении саза, кеманчи и свирели. Зияд-хан вызвал певца и музыкантов.

Певец пат газель молодого поэта по имени Мухаммед Физули, которому, как говорили, было всего девятнадцать или двадцать лет и который учился в медресе в Багдаде:

Я горем пресыщен - ужель она не сыта моей мукой?
Я вздохами землю спалил - ужели она не зажжется?
Больной изнеможен - ему любимая дарит лекарство,
Она же не лечит меня - ужели больным не считает?

Сейчас не нашлось бы в этих краях ни одного такого, кто не знал бы наизусть эту газель, хотя она распространилась всего с полгода тому назад. Отец Физули - Сулейман - происходил из Ширвана, из азербайджанского племени Баят, и некоторые пожилые гянджинцы, лично знавшие Сулеймана, говорили, что семья Физули переселилась в Ирак с берегов реки Гирдиман. Мухаммед Физули писал газели на азербайджанском, фарсидском и арабском языках, и эту газель, написанную по-азербайджански, как говорили, сам великий певец Хафиз Леле Тавризиде исполнял на торжествах у шаха Исмаила...

Смолчать бы об этом - твердят, чтобы я обо всем ей поведал.
Но если я все расскажу, ужели она мне поверит?

Зияд-хан возлежал, опершись на подушку-мутаку, в своей опочивальне, украшенной ширванским камчатным шелком, и, прикрыв глаза, слыша чистый молодой голос, внимая словам газели, невольно думал обо всем хорошем на этом свете, о том, что радует душу независимо от того, плотник ты или шах, и в такую знойную ночь струит в грудь человека прохладу.

Что же касается плотницкого дела, то наш общий предок - Ной; а он, как известно, до пятидесяти лет плотничал.

Зияд-хан улыбнулся.

Певец и музыкант сидели у входа в опочивальню на шелковых тюфячках. Певец был невысокий юноша с первым пушком на лице, и все, кто его слушал, удивлялись, как из этого тщедушного тела, из хилой груди исходят столь сильный голос, столь замысловатые рулады, столь чистое и глубокое дыхание.

Молодой певец был рабом Зияд-хана, приобретенным за золото; Зияд-хан велел купить его в Карабахских горах, в краю Ханкенди; увидев впервые юнца, о котором он слышал и за которого заплатил золотом, Зияд-хан разочаровался, потому что, с самого детства влюбленный в музыку, Зияд-хан не увидел в этом парне и следа того могущества, которое способно, правда, на полчаса, на час, заставить человека забыть о земных горестях, о дурных делах мира сего, но потом, послушав, как поет мальчишка, понял, что это не певец, а Асафи-деврэн, визирь пророка Сулеймана, который был и величайшим музыкантом.

Разлуки туманная ночь исторгнет кровавые слезы.
И бога разбудит мой вопль, но разве удача проснется?

Этот голос и эта газель заставили Зияд-хана забыть все дурные дела этого мира, в том числе и свои дурные дела; и перед мысленным взором Зияд-хана прошли построенные им за двадцатитрехлетнее правление караван-сарай, бани, водоемы, мосты, гробницы, мечети, чуть ли не все книги на азербайджанском, арабском, фарсидском, греческом, индийском и других языках мира, которые велел он собрать в дворцовой библиотеке; и конечно, всего этого могло быть больше, число мечетей, мостов, гробниц можно было бы умножить, но вечные интриги, схватки...

Зияд-хан приподнялся, сел, взял один из холодных огурцов, недавно поднятых из колодца и разложенных перед ним на большом серебряном подносе, и маленьким кривым кинжалом, украшенным золотом, яхонтами, бирюзой снял с него толстуню кожуру, потом этими огуречными очистками провел поверх седоватой бороды по щекам, потом по лбу и шее; по телу разлилась некоторая прохлада.

Вчера под вечер Зияд-хан принял во дворце приехавшего из Европы какого-то франкского купца. Этот купец якобы приехал в Тавриз для заключения крупного торгового соглашения, повидался с шахом Исмаилом и теперь объезжал бейлярбекства страны. На купце был странный наряд, к Зияд-хан, увидев его, с трудом удержался от смеха, но после первого же вопроса этого франка все стало очень серьезно.

Франкский купец поклонился, странным образом размахивая рукой, и на хорошем тюркском языке спросил:

- Этой областью вы самостоятельно правите?

Зияд-хан, сощуривая маленькие, как семечки, глаза, посмотрел на иностранца и сказал:

- Неверно спрашивать: кто правит этой областью, надо спрашивать: кто ест эту область?

Глаза франкского купца выкатились от изумления; наверное, впервые за время путешествия он слышал такое от правителя.

На лик твой цветущий гляжу багряные росы роняю,
Взгляни, ведь они замутят кристальные вешние воды?

Эти слова вернули Зияд-хана в опочивальню его дворца, и Зияд-хан внезапно вспомнил другие две строчки того же молодого поэта Физули:

Бессилен друг, коварно время, страшен рок,
Участья нет ни в ком, лишь круг врагов широк.

Этот молодой поэт видит на три аршина под землей, и хоть он и молод, а говорит истинную правду.

Зияд-хан знаком остановил музыку, и музыканты, уже много лет игравшие во дворце Зияд-хана, очень этому удивились, потому что Зияд-хан впервые прерывал певца.

Зияд-хан, вытирая огуречной кожурой нос и лоб, спросил у юноши-певца:

- Что твое осталось в горах?

Певец растерялся от неожиданного вопроса; кроме возгласов «Еще!», он никогда ничего не слышал от сидевшего поодаль грозного мужчины с седой бородой, седыми волосами, постоянно пульсирующим шрамом, идущим от середины лба к основанию левого уха; и музыканты обменялись недоуменными взглядами.

Зияд-хан кивнул в сторону певца:

- Ну?

Не сразу овладев собой, молодой певец сказал:

- Мама...

Зияд-хан, сощутив узкие глазки, пристально глядел ему прямо в глаза:

- Только мама?

- И еще... и еще сестра... - певец выговорил эти слова с трудом, и Зияд-хан и музыканты поняли, что юнец боится, как бы его младшую и, наверное, красивую сестричку силой не сорвали с места, не разлучили с матерью и не привезли служанкой во дворец в Гянджу.

- Только мама и сестра?

- Да...

- Врешь, щенок!

Суровость и резкость слов, которые произнес Зияд-хан, швырнув огуречные очистки на серебряный поднос, вызвали дрожь у музыкантов, немало повидавших за время своей службы во дворце.

Юноша-певец с побелевшим в слабом свете свечи лицом не в силах был что-либо выговорить.

Зияд-хан, стирая рукой огуречный сок с лица, сказал:

- У тебя в тех горах сердце осталось. По твоим глазам читаю. Пошел вон!

Певец и музыканты встали.

Зияд-хан махнул рукой музыкантам:

- Вы оставайтесь. Юноша-певец застыл, поднявшись. Зияд-хан сказал:

- Ты меня слышал? Певец сказал:

- Спокойной ночи, - и хотел выйти из комнаты.

- Куда ты идешь?

Юноша-певец, поднятый среди сна и приведенный в опочивальню, с детским простодушием ответил:

- Спать.

- Нет, не спать. Сразу же отправляйся к себе в горы. С этой ночи ты свободен, - затем Зияд-хан, хлопнув в ладони, вызвал служителя. - Отправьте этого парня в его селение, - и добавил: - По-хорошему отправьте!..

Это означало, что певцу дадут доброго коня, дадут мешочек, полный серебряными деньгами, отштампованными в Гяндже три года назад, по два куска шелка и кумача для

матери и сестры, и конь, скача день и ночь, промчавшись через арду, донесет своего хозяина, летящего не на конской спине, а на облаках и ветрах, до карабахских гор.

Молодой певец не осмелился что-либо сказать, поблагодарить, кинуться на пол, обнять ноги Зияд-хана, поцеловать его руки, пальцы, униженные алмазами, рубинами, изумрудами; он, спотыкаясь, вышел из комнаты - колени дрожали, ноги не слушались...

...Придет время, через полвека на свадьбах, на пирушках в горах Карабаха, и на Иса-булаге, Туршсу, Секилибулаге, на берегу реки Дашалты, в прохладе леса Топханэ старый ашуг с поседевшими волосами и бородой, за долгие годы повидавший многих правителей, бывший свидетелем многих событий - кровавых и праведных дел, прижав к груди саз, станет сказывать дастан, и этот дастан поведаст о милосердии жившего много-много лет назад грозного Зияд-хана, поведаст о могуществе музыки и стихов старого устада Мухаммеда Физули; поведаст о том, как юный певец, промчавшись словно ветер по ущельям, словно поток - по холмам, вернулся в свой край; поведаст, как пришел он к своей матери, как встретился со своей сестрой, и никому из тех, кто будет слушать его, затаив дыхание, не придет в голову, что тот молодой певец и есть нынешний старый озан...

...Музыканты, растроганные добрым делом, коего свидетелями только что были в опочивальне Зияд-хана, заиграли самую нежную, самую пронзительную мелодию на свете и, как потом нелicenseмерно признавались и дудочник, и сазист, и кеманчист, ни до этой ночи, ни после этой ночи, и никогда больше не играли они так душевно.

Их мелодия хотела что-то напомнить Зияд-хану, и Зияд-хан знал, что тогда ему станет ясна причина его бессонницы, но как он ни напрягался, не мог разгадать, что именно.

Снова ему вспомнился вчерашний франк.

Франку он высказал то, что было у него на душе, то, что думал; а ведь порой даже самым близким людям не можешь высказать того, что хочешь, что думаешь: это годами копится в груди; опасаясь сказать родному народу, что о нем думаешь, - у шахов, у султанов уши длинные - и поэтому думаешь одно, а говоришь другое, хочешь сделать одно, а делаешь другое, и народ судит о тебе не по тому, что ты думаешь, хочешь сделать; а по тому, что сказал и сделал; народу и в голову не приходит, что на самом деле ты тоже думаешь по-другому и по другому хочешь сделать. А франк был издалека, из недостижимой, неведомой страны, а впрочем, кто знает, может быть, он был шпионом Султана Салима, рыскал здесь якобы для заключения торгового соглашения; а впрочем, кто знает, не был ли он шпионом Шаха Исмаила, ездил по бейлярбекствам, узнавал о настроениях местных правителей; но кем бы он ни был, - Зияд-хан усмехнулся, - он, Зияд-хан, сказал правду, а хоть один раз в двадцать три года можно сказать правду или нет?

Зияд-хан еще многое мог сказать иноземцу. Как бог создал эту землю, - не только Карабахское бейлярбекство, а всю землю Азербайджана, страну, один конец которой находится в Казвине, другой - в Дербенте, третий конец - на берегах Каспия, четвертый - в горах Эрзерума, - и создал такой плодородной, - так, с тех пор, она и была всегда несчастной, всегда ее грабили, и всегда, видно, так будет. Шелк, соль, нефть, сушеные фрукты, рыба, рис, пшеница, хлопок, шафран с этой земли вывозятся во все страны мира, но когда все это захватывают силой, грудь этого несчастного народа, лоно этой земли обливается кровью, а когда речь идет о торговле, о купле-продаже, тогда города, располагающиеся, как Гянджа, на пересечении караванных дорог, превращаются в торговые центры. На сотканные кочевниками ковры, ширванские шелковые ткани, камку, тонко отделанные мечи и кинжалы в других странах денег не жалели, в русском городе Ярославле пуд шелка шел за десятикратную цену; русские купцы скупали нефть в Азербайджане и перепродавали в европейских странах; жившие в Азербайджане армянские купцы торговали шелком с российскими городами, Венецией, Марселем, Амстердамом, перевозили из Гянджи в Джульфу, из Джульфы - в Халеб, именуемый христианами Алеппо, а оттуда - в Европу сотни халваров, или нудов, ширванского шелка,

а оттуда привозили бархат; в Гяндже вели торговлю грузинские, русские, индийские купцы, приехавшие, как вчерашний франк, купцы из европейских стран; с севера - из страны русов - в Шемаху, а оттуда в Гянджу поступали шубы, кожа, шерсть, воск, кольчуги, даже огнестрельное оружие. Правда, последнее время купцы выражали недовольство: разбойники нападали на торговые караваны, грабили их, захватывали добычу - конские табуны, верблюдов, золотые и серебряные сосуды, узорчатые шатры, ковры; голодные оборванцы, собравшись вместе, устраивали засаду, отбирали у купцов продовольствие, набивали животы, а потом разбегались по степям и долинам; а между тем купцы платили такие пошлины наibaм, калантарам, кызылбашским эмирам, что им самим ничего не оставалось.

Словом, плохи дела у этой земли.

Зияд-хан, обхватив голову руками, потер виски: ну чего же хотели от него бессонные мысли, отчего он не успокаивался, не засыпал?

Хотя все эти наibaы и калантары не зарились ни на трон Шаха Исмаила, ни даже на трон - бейлярбека - кишка тонка, - и все же, все же, хоть они целуют тебе ногу, находят и высказывают тебе самые хвалебные в мире слова, произносят в твою честь здравицы, которых не устаивались пророки, а всегда готовы вонзить тебе в спину нож по самую рукоять.

Музыканты играли среди ночи, получая удовольствие от собственной игры, и музыкантам казалось, что Зияд-хан, закрыв глаза, опираясь на мутаку, получает от музыки такое же удовольствие.

Музыканты не знали, что в эти минуты Зияд-хан слышал музыку словно издали, и музыканты не знали, что в эти минуты сквозь сердце Зияд-хана проходила черная кровь. Зияд-хан мысленно разглядывал сейчас наibaов, калантаров, всех придворных, за исключением Баяндур-бека, и изумлялся, как это получается, что столь продажных, лицемерных мерзавцев, способных отрезать сосцы с собственной матери, выбрали по одному из такого большого народа, такого храброго и честного народа и доверили каждому либо округ, либо город. Кто это сделал? Зияд-хан подумал, что как раз первый из тех, кто это сделал, - он сам, и, как видно, иначе невозможно, как видно, воспетый Шейхом Низами мир справедливости и правосудия возможен только в книгах, как видно, трон и власть - как все странно на этом свете - должны опираться лишь на своих врагов, опираться на льстеца, лицемера, предателя.

И внезапно в этом переполнявшем страну и весь мир двуличии, коварстве, измене промелькнул свет больших голубых глаз.

Нашел Зияд-хан.

В одно-единственное мгновение все стало ясно, и в одно-единственное мгновение, в ночной духоте, Зияд-хан покрылся холодным потом...

Зияд-хан приподнялся, сел и открыл глаза.

Музыканты прочли в маленьких, как семечки, глазах Зияд-хана скорбь и разочарование всего мира и очень этому удивились.

Прояснившаяся для Зияд-хана в этот миг истина так потрясла его, что, даже, оказываясь лицом к лицу со смертью, даже, оказываясь лицом к лицу с позором, даже, предстая перед шахом и ожидая приказаний, решающих всю его судьбу, он не бывал так глубоко потрясен; а потом у Зияд-хана не хватило сил движением руки отпустить музыкантов, и он лег на спину и закрыл глаза; и уже он не слышал музыку, забыл о музыкантах и остался лицом к лицу с парой больших голубых глаз, глядящих на него в эту душную полночь.

В эту полночь Зияд-хану вдруг стало беспощадно ясно, что Махмуд никогда не сядет на трон, Махмуд никогда не возложит на себя корону бейлярбекства, и это, именно это уже столько времени лишало сна Зияд-хана.

Что ж, эта истина стала ясной лишь сейчас? Лишь сейчас неожиданно схватила его за грудки? Нет, старик...

В сущности, последние годы эта истина всегда была с Зияд-ханом, и Зияд-хан гнал от себя эту истину, не хотел подпускать ее к себе; эту истину он носил в сердце, но не подпускал, чтобы она запечатлелась в мозгу.

С самого утра долго и нудно бубнишь о земле, бубнишь о торговле, как будто забота твоя - это забота о земле...

Смотри, смотри в эти глаза, хорошенько смотри и не беги сам от себя.

Голубые глаза были глазами Махмуда, и в этих голубых глазах было столько чистоты, прозрачности, эти глаза излучали такую ясность, что у Зияд-хана перехватило дыхание.

Впервые, в первый раз от чистоты и прозрачности глаз собственного сына у Зияд-хана вот так перехватило дыхание; прежде Зияд-хан, глядя в большие голубые глаза сына, отдыхал, забывал о собственных грехах, забывал, что когда-то кому-то велел вырвать глаза, кому-то отрезать голову, нос, ухо; чистота глаз Махмуда как будто уменьшала грехи его отца, потому что хоть Зияд-хан и проливал кровь, и оставлял матерей в слезах, а детей сиротами, он же произвел на свет это чистое существо; а если бы Зияд-хан был убежденным палачом, был кровопийцей на троне, тогда не было бы у него семени для зачатия такого чистого существа; значит, и внутри Зияд-хана таился какой-то свет, только этот свет почти совсем погас, не был виден, а все существо Махмуда свидетельствовало о свете. Зияд-хан и прежде понимал, что у Махмуда сердце поэта, что Махмуд хрупок, сердце Махмуда как стекло и Махмуд никогда не будет душить и резать - Зияд-хан это понимал и даже порой в душе радовался этому, потому что сам он отрезал много голов и ему было приятно, что руки его сына, его единственного наследника, не обагрены кровью и никогда не будут обагрены; правда, иногда, особенно в последнее время, в сердце Зияд-хана закрадывался и страх, что Махмуду трудно придется в жизни, но поразмыслить над этим, обстоятельно порассуждать над этим у него не хватало времени: с раннего утра и до позднего вечера он обдумывал уловки против собственных наибо, калантаров, военачальников, соседних ханов, обдумывал, как разобраться в борьбе не на жизнь, а на смерть между турецкими султанами и сефевидами, заслужить милость Шаха Исмаила и в то же время не враждовать открыто и с турецкими султанами, не ставить будущее своего края и своей власти в прямую зависимость только от побед сефевидов; обдумывать и осуществлять должны меры для всего этого - вот на что уходило время.

Теперь, глядя в большие голубые глаза, стоящие перед его закрытыми глазами, Зияд-хан с болью в сердце понимал, что Махмуд в этом лукавом мире, в этом кровавом мире не только не сможет сидеть на троне и править Карабахским бейлярбекством, но и вообще жить Махмуду будет нелегко: не только среди шахов, ханов и беков; легко ли жить среди гадалычиков-каббалистов, жадных молл, развязных сеидов, среди дервишей с их учеными обезьянами?

Как получилось, что этой очевидной истины он до сих пор не понимал? Глупый старик...

От этих слов Зияд-хан вздрогнул и приподнялся: впервые было, что он ругал самого себя, впервые Зияд-хану сказали «глупый», и это слово так сообразовалось со словом «старик»... У Зияд-хана скривились губы, и музыкантам показалось, что у Зияд-хана что-то заболело, закололо, он не издает ни звука, терпит, и музыканты не знали, что делать, играть ли как прежде или поднять тревогу; разумеется, музыканты не знали и того, что теперь боль Зияд-хана не сумеет исцелить и сам Логман, великий целитель древности.

Глупый старик... Как ты до сих пор управлял такой страной? видно, враги еще глупее тебя; ты что, собирался жить до скончания времен? Мир, не оставшийся царю Сулейману, тебе ли останется? Всю жизнь ты собирался быть заступником этого чистого существа? После тебя его разорвут на части в мгновение ока; он - не дитя своего подлого времени, и ради твоего трона, за который ты царапался ногтями, который сохранял тысячами уловок и интриг, его растерзают; для того ли ты трясся над этим тронem и

венцом? Для того ли тысячью хитростей, злодейств, угроз преумножал свою сокровищницу?

Глупый старик... Теперь-то ты понимаешь, а до сих пор думал, что всегда будешь рядом с махмудом и у тебя всегда будут крепкие руки; а разве ты не знал, что стена из мяса ненадежна? Не знал, что мы - игрушки, а рок - кукольник? Вставай, вставай, вставай, хватай это чистое существо, беги из этой страны, беги, спрячься, спрячь своего сына, чтобы не растерзали его после тебя, возьми в руки кирку, выдолби в скале пещеру, укройся от всех... Ибо таковы земные дела, ибо мир - это старый колдун...

Крупными ладонями Зияд-хан закрыл уши.

Как это получается? Как это получается, что подданному аллах дает такого сына, как Баяндур, а хану достается такой сын, как Махмуд?

Как будто комок изнутри подступил к горлу Зияд-хана.

Спокойно... Спокойно... Возьми себя в руки. Друзья есть, враги есть. Спокойно... Разве и Баяндур не предан тебе, как твой сын? Разве и Баяндура ты не любишь, как своего сына? Нет, старик, не хитри с собой; если кто тебя и не знает, сам-то ты хорошо знаешь себя; ты и Баяндура потому полюбил, что есть у тебя больное место, есть рана: твой родной сын не убивает, не душит, как баяндур, не сможет скакать на коне, как Баяндур и, если понадобится, не сможет рубить головы, как Баяндур.

И снова Зияд-хан закрыл глаза, и снова большие голубые глаза из темноты посмотрели на Зияд-хана, и снова большие голубые глаза струили во мраке, окутавшем все вокруг, чистоту, ясность, прозрачность.

Зияд-хану вспомнилась та ночь, семнадцать лет назад, вспомнилась во всех подробностях; никогда ему не пришло бы в голову, что он так помнит ту ночь - ночь, после которой появились на свет эти большие голубые глаза...

... Зияд-хан выпустил из объятий Гамарбану и, широко раскинув руки, улегся на спину.

Сколько на небе было звезд, о аллах? Был ли счет этому множеству звезд? Можно ли было бы пересчитать такое количество звезд?

Зияд-хан вернулся из трехмесячного путешествия и для первой ночи после столь долгого отсутствия велел постелить в саду, на открытом воздухе.

Внезапно в сердце Зияд-хана возникла надежда, а почему - он и сам не знал. Звезды ли зародили эту надежду, или луна зародила, или чистота, ясность прозрачного воздуха?

У Зияд-хана было все.

Ровно шесть лет, как он силой меча, остротой ума завладел гянджинским тронem; он был здоров, он был могуч, у него была его Гамарбану, и все красавицы мира были для Зияд-хана по одну сторону, а Гамарбану - по другую, и был Зияд-хан единственным правителем, у которого не было гарема, была только его Гамарбану; армянские красавицы, еврейские прелестницы, арабские плясуньи - никто в мире не мог сравниться с его Гамарбану. Все было у Зияд-хана, только детей не было.

Девять лет уже они с Гамарбану клали головы на одну подушку, девять лет уже не было врача, к которому они не обращались бы за снадобьем, не было святыни, у которой они не просили бы милости; они ели, поделив пополам, яблоки, данные дервишем, купались в водах, куда плевали святые, приносили в жертву целые отары овец, стада коров, караваны верблюдов, раздавали мясо всем погорельцам и беднякам мира, всем голодающим и убогим, но все было тщетно.

А теперь вдруг в сердце Зияд-хана забрезжила надежда. Зияд-хан посмотрел на Гамарбану.

Гамарбану тоже, лежа на спине, устремила в небо сверкающие в лунном свете совершенно черные глаза; и Гамарбану в тот миг словно почувствовала, что забрезжило в сердце Зияд-хана, отвела свои черные глаза от луны и звезд, посмотрела на Зияд-хана, тонкой рукой сжала большую руку Зияд-хана и сказала:

- Кажется, то, что предсказала лиса... И вспомнились Зияд-хану Безобразный Лал – Немой - и его паршивая лиса.

На лице, на голове Безобразного Лала не было ни единого волоска; не было бровей, не было ресниц, он был долговязый, длинношей, сутулый, он был похож на верблюда, и у него были совершенно серые глаза. Рядом с собою он водил на цепочке паршивую лису. У этой паршивой лисы был дар: она все видела, все знала, могла найти исцеление любому горю на земле. Все, что видела и знала, лиса высказывала только своему хозяину наедине, и тогда Безобразный Немой начинал говорить, передавал сказанное лисой тем, кто ждал от нее помощи, а вместо этого получал один золотой; у кого не было золота - брал серебро, у кого не было серебра - брал курицу, кусок мяса, у кого не было кур, мяса, брал яйца, брал сыр, брал простоквашу, а если и этого не было - брал кусок хлеба.

Люди Зияд-хана разыскали и привели Безобразного Немого, и Безобразный Немой, вперив свои совершенно серые глаза в Зияд-хана, узнал, в чем его горе, а потом, издавая странные, причудливые звуки, размахивая безволосыми руками, выгнал всех из комнаты, а потом вновь обрел дар речи и, высунув голову из комнаты, в которой оставался наедине с лисой, позвал:

- Люди!

Зияд-хан и люди снова вернулись в комнату, и Немой объявил им сказанное лисой.

- Лиса, да принесут нас в жертву ради нее, велит: пусть твоя жена пойдет и три ночи купается в озере Гейча, а придет — лиса на нее посмотрит и найдет исцеление вашему горю, да принесут нас в жертву ради нее.

Зияд-хан действовал так, будто он — не всемогущий хан, а невежественный крестьянин, и бывший в то время еще молодым Мирза Салман очень этому удивился: в тот же день Зияд-хан усадил Гамарбану в паланкин и отправил на берег древнего Гейча с сорока служанками, и Гамарбану осенью три ночи подряд купалась в холодных водах озера Гейча, и в течение этого времени Безобразный Немой и лиса оставались во дворце, в отведенной для них комнате, Лиса ничего не говорила Немому, и Немой не мог говорить; лисе давали сырую курицу, а Немому дворцовый обед.

После того как Гамарбану, выполнив веденное лисой, вернулась с берега Гейча, Немой снова, издавая странные звуки, размахивая безволосыми руками, выгнал Зияд-хана из комнаты и сам вышел из комнаты и закрыл дверь.

Гамарбану с лисой остались в комнате одни.

Лиса металась из конца в конец маленькой железной клетки, а Гамарбану стояла перед клеткой, а лиса, высунув язык, часто дышала, из пасти ее текла слюна, в полумраке комнаты ярким блеском сияли ее глаза, белели зубы, и Гамарбану с тайной надеждой с мольбой о помощи смотрела на лису; потом Гамарбану начала волноваться, тем сильнее, чем чаще дышала лиса, чем быстрее металась вот так, взад-вперед по клетке, и Гамарбану вдруг стало казаться, что сейчас эта паршивая лиса вылезет из клетки, вгрызется ей между ног, разорвет живот, грудь; это ощущение так захватило Гамарбану, что она с криком выбежала из комнаты и бросилась в объятия Зияд-хана.

Безобразный Немой торопливо вошел в комнату и закрыл дверь.

Дрожа всем телом, Гамарбану прижалась к груди Зияд-хана.

И тут Немой обрел дар речи и позвал из комнаты людей:

- Люди!

- Зияд-хан резким движением отстранил от себя Гамарбану и вошел в комнату.

Немой взял на руки клетку, где металась лиса, и, устремив совершенно серые глаза на Зияд-хана, сказал:

- Лиса, да принесут нас в жертву ради нее, сказала так, что все люди рождаются через девять месяцев, а ваш родится через девять лет.

Прошли годы, и Зияд-хан совсем забыл эту историю, но в ту лунную, ту звездную ночь, после слов Гамарбану, надежда, зародившаяся в сердце Зияд-хана, окрепла, и он поверил, что у него будет ребенок, и не просто ребенок - он поверил, что у него будет сын.

Зияд-хан провел своей большой ладонью по мраморному животу Гамарбану, и тепло его руки разлилось по всему существу Гамарбану.

Ровно через девять месяцев, в конце весны, родился Махмуд - родился под знаком созвездия Близнецов, что сулит счастье.

Но ни Зияд-хану, ни Гамарбану не пришло в голову, что народный поэт Сазлы Абдулла в Изречениях мастеров так сказал: судьба -это жнец, мир - это поле, а сжатое поле зеленым лугом не станет; но Изречения мастеров произносят не по одному, а по два, и Сазлы Абдулла во втором изречении сказал: мир - это огород, загниет, и все тут...

...Где-то совсем близко прокукарекал петух.

Зияд-хан лежал с закрытыми глазами ничего не слышал; в сущности, он больше и не думал ни о чем, а стоял лицом к лицу с немеркнущими голубыми глазами, и все существо Зияд-хана маялось от чувства сожаления; и чувство сожаления относилось не только к Махмуду, и не только к себе самому — это было сожаление о мире и о жизни вообще.

Музыканты не знали, что им делать: играть или не играть? спит Зияд-хан или не спит? На всякий случай музыканты не переставали играть и вскоре, совсем забыв о Зияд-хане, несмотря на то, что их клонило ко сну, стали наслаждаться игрой друг друга и, воодушевляя друг друга, языком свирели, саза, кеманчи заговорили о бренности мира, о скоротечности жизни, о верности и надежде.

А молодой певец в это время, выехав из дворца, поскакал в сторону карабахских гор, и сопровождающие его звуки свирели, саза, кеманчи постепенно ослабели и умолкли.

II

Петух пропел еще раз.

Вся Гянджа спала, только Махмуд не спал, да еще из опочивальни его отца доносилась печальная музыка.

Музыка начала звучать в полночь, певец сначала пропел слова нового поэта, известного под странным псевдонимом Физули, что значит не к месту говорящий, а потом он больше не пел, только музыканты играли.

Вся Гянджа говорила о голосе и искусстве этого певца, привезенного с карабахских гор, его голос всех занимал, заставлял забывать о бедах и горестях, но никому не приходило в голову, что от этого голоса может сжиматься сердце, он может опечалить, навеять грусть.

Голос этого певца заставлял сердце Махмуда сжиматься.

Трудно понять людей: как можно получать удовольствие, как можно наслаждаться таким печальным голосом?

Когда молодого певца привезли в Гянджу и он впервые запел во дворце, вся собравшаяся на торжество дворцовая знать была восхищена его голосом и со всех лиц капало упоение, и все, с большим удовольствием слушая его, ели приготовленный придворным поваром, шекиномцем Насибом Сладкой Рукой, плов с цыпленком, ели разложенные на столе яблоки, сливы, персики, виноград, инжир, пили прохладную родниковую воду.

Махмуд с первого же дня не мог слушать этого певца, потому что никак не мог понять: если в этом голосе столько грусти, как можно наслаждаться этим голосом и как можно, слушая этот голос, спокойно есть плов, и как можно, изыскивая самые хвалебные слова, превозносить вкус Зияд-хана?

Махмуд не смог усидеть на торжестве, он встал, вышел вон, стал гулять по саду, но и в саду доносившийся голос вызывал у Махмуда слезы и, прислонившись к стволу старой яблони, чьи ветки зонтом прикрыли все вокруг, Махмуд заплакал.

Наутро в том же саду встретились лицом к лицу Махмуд и управляющий дворцовой библиотекой Мирза Салман, и Мирза Салман, как обычно накручивая конец своей длинной белой бороды на указательный палец левой руки, спросил:

— Махмуд, тебе не понравился голос вчерашнего певца?

Мирза Салман в свое время был одним из воспитателей Махмуда, обучал его поэтическому искусству, и они вместе прочитали от начала до конца «Пятерицу» Шейха Низами, и все комментарии к «Пятерице» давал Мирза Салман; к старости Мирза Салман досрочно до поста управляющего дворцовой библиотекой, и в последнее время малейшее движение Махмуда не ускользало от взгляда Мирзы Салмана.

— У него красивый голос, учитель...

— Почему же ты ушел посреди торжества?

— Потому что его голос говорил одно, а вы... — Махмуд покраснел, — а вы его понимали по-другому...

— Один я, или все сидевшие за столом?..

— Все сидевшие...

— А что говорил его голос, Махмуд?

— Его голос говорил: я — раб, купленный за золото, никогда мое сердце не улыбнется... Я — несчастнее всех на свете, и никто об этом не узнает... Я — несчастнее всех, а вас я развлекаю...

— И этим мы наслаждались?

— Да...

Мирза Салман ушел, не сказав более ни слова.

Махмуд опасался, что обидел учителя, но Махмуд сказал то, что думал.

И действительно, Мирза Салман отошел от Махмуда расстроенный, но не потому, что слова Махмуда его задели, нет, Мирза Салман прекрасно знал, что Махмуд всегда говорит то, что думает, и Мовланэ Джалаледдин Руми хорошо сказал в своем месневи: либо выгляди таким, каков ты есть, либо будь таким, каким выглядишь; но Мирза Салман за долгие-долгие годы многое повидал, и ему хорошо было известно, какое это несчастье — понимать. Этот парень, вместо того, чтобы скакать на коне, размахивать мечом, уже теперь начал ощущать мировую скорбь, и Мирза Салман не был уверен, что и мир станет так же скорбеть об этом чистом существе. В мыслях Мирзы Салмана промелькнула строка народного певца Сазлы Абдуллы: «Да пошлет тебе бог Хызра-Ильяса», — и Мирза Салман еще раз повторил про себя эту строку, отнеся ее к Махмуду, ибо с тех пор, как пророки Хызр и Ильяс испили живой воды, оба этих имени в народе объединяют и считают Хызра-Ильяса покровителем заблудившихся путников.

Разумеется, Махмуд понятия не имел о раздумьях учителя своего Мирзы Салмана и, гуляя по саду, среди весенней зелени, весенних цветов, забыл о разговоре с ним, забыл и вчерашний жалобный голос певца, забыл и о том, что плакал вчера здесь, под старой раскидистой яблоней, ибо, когда в природе столько красок, когда в природе столько красоты, когда солнце так согревает землю, когда земля так просторна, — жизнь становится прекрасной.

Почему люди этого не понимали?

Как получилось, что родившиеся на этой земле, живущие на этой земле под одним и тем же солнцем, луной, звездами могут делать друг другу зло, могут проливать кровь, могут бить, могут ненавидеть друг друга? Почему старший сын прародителей рода человеческого Габиль мог убить младшего Абиля, а потом так раскаивался в этом? Как получилось, что под таким солнцем, на такой земле появилась та зависть, что заставила брата пролить братнюю кровь? Дьявол обманул Адама и Хавву, и они поели пшеницы (христиане уверяют, что это было яблоко), и бог выгнал их из рая; но вина Адама и Хаввы была лишь в том, что они поели пшеницу, — так почему же потомство Адама и Хаввы погрязло в таких чудовищных грехах, убивает, разрушает? Неужели они не видят зелень, цветы, деревья?

Вопросы начались с этой весны, потому что эта весна была особенной: Махмуд каждый раз, когда выходил погулять по саду, по степям, поднимался в сторону горы Кяпаз и изумлялся, как это он до сих пор не видел мир таким, все свое время — и зиму, и весну, и лето, и осень — проводил только в чтении книг, проводил вечера, слушая сказки Сафи?

Махмуд прочитал много книг — от Афлатуна и Арастуна до Ибн Сины, от «Калилы и Димны» и «Кабуснаме» до «Гюлистана» Шейха Саади и «Пятерицы» эмира Алишера Навои, и даже, когда по ночам Сафи по велению Гамарбану тушил свечи, чтобы Махмуд не портил себе зрение, Махмуд читал в лунном свете. Но этой весной книги наскучили ему: он словно впервые увидел зелень, багрянец, желтизну, оранжевость весны, вдохнул аромат весны, и весенний дождь тоже словно полил впервые.. Махмуд стыдился самого себя, оттого что ему докучны книги, но весенняя земля пробуждалась на глазах Махмуда, и чувство неловкости оставило его.

Когда Сафи принес весть, что Махмуд больше не вперяется в книги днем и ночью, сердце Гамарбану ощутило успокоение и ее глаза, окруженные горестными тенями, которые становились все гуще и гуще по мере того как рос Махмуд, улыбнулись.

Гамарбану обрадовалась также тому, что с приходом этой весны Махмуд стал гулять по степям, по горам, и Махмуд не ведал, что, когда он в одиночестве уходит из дворца в горы, собирает цветы, нанятые Гамарбану стражи следуют за ним по пятам и не спускают с него глаз. Махмуд выходил один, ему не хотелось, чтобы рядом были охранники, и Гамарбану не тревожила сердце Махмуда, ибо знала Гамарбану, что у Махмуда сердце как стекло, его легко разбить, и она платила тайным стражам побольше, чтобы они никому не рассказывали, что Махмуд, как девочка, собирает на лугу цветочки; но Гамарбану не знала, что стражи, собираясь по вечерам и попивая купленное у армян вино, вдоволь смеялись над девичьими повадками Махмуда, а напившись, со вкусом об этом рассказывали всем и каждому.

Но одного не знали и тайные стражи Гамарбану: Махмуд чего-то ждал, Махмуд шел к чему-то.

Что это было? Махмуд и сам этого не знал; знал только, что что-то произойдет; если земля вот так улыбается, значит, что-то должно произойти.

И в эту жаркую летнюю ночь Махмуд ждал чего-то. Из окна отцовской опочивальни лился свет свечи, слышалась игра музыкантов; знойная летняя ночь сулила что-то, но Махмуд не знал, что именно, только чувствовал, как чувствовал это в весенние дни: что-то очень близко, что-то вот-вот должно наступить.

Однажды Махмуд ошибся, но знал, чувствовал, что во второй раз не ошибется.

Прошла весна, пришло лето, но весенняя новизна, весенняя свежесть, ослепившие Махмуда, весенняя зелень, багрянец, желтизна не прошли, и предвкушение чего-то, принесенное весной, не прошло и однажды произошло следующее: снова была жаркая летняя ночь, и после полуночи Махмуд проснулся от звуков саз; сначала решил, что на сазе играют в отцовской опочивальне, но потом понял — нет, это другой саз, этот саз произносит иные слова, этот саз произносит те слова, которые весной произносила земля, произносило солнце, произносили луна, звезды; эти слова были зелеными, красными, оранжевыми.

Приподнявшись, Махмуд взглянул в сторону окна.

В эту ясную летнюю ночь перед окном спальни Махмуда, словно на невидимой веревке, с неба свисал саз, и этот саз играл сам собой.

Махмуд понял, что этот саз ашуга Сазлы Абдуллы.

Махмуд никому не рассказал об этом случае, даже Сафи он ничего не сказал, потому что все равно никто бы этому не поверил и все равно в последнее время люди плохо понимали Махмуда.

Махмуд решил, что ожидание кончилось, он ждал этого саз, который играл в полночь перед его окном, но потом понял, что ошибся, ибо, в сущности, этот саз тоже

сказал то, что говорила весна, и хотя весна уже прошла, он пел о весенней зелени, багрянце, желтизне...

И Махмуд знал, что во второй раз не ошибется.

Музыканты играли.

Почему отец не спал?

Может быть, отцу тоже не хотелось спать, может быть, я он не хотел большую часть жизни проводить во сне? Может быть, и отец чего-то ждал? Нет, отец не мог уснуть, потому что у него было какое-то горе — Махмуд это чувствовал; чувствовал также и то, что отец бежит от собственного горя.

Может быть, в эту полночь отцовская беда схватила его в собственной опочивальне?

Эта мысль сжала сердце Махмуда, и Махмуд встал и подошел к окну.

Светало.

Дворец спал. Стражи в саду, во дворе тоже дремали, прислонившись к своим пикам.

Скоро наступит утро, слуги, служанки начнут хлопотать и суетиться, горожане — от мелких торговцев вразнос до богатых купцов — выстроятся в очередь на прием к Зияд-хану, придворные и чиновники все так же начнут заниматься привычными делами.

Четыре дня назад дворцовая знать собиралась на поминки в связи со смертью калантара Ягуба, и Махмуд, оглядев их всех по одному, сидевших, скрестив ноги по-турецки, пришел в ужас: поминание покойного осталось в стороне, а придворные говорили о справедливости, милосердии, храбрости Зияд-хана, и Махмуд, оглядывая каждого из них, понимал, что они лгут, лицемерят и льстят; Махмуд чувствовал также и то, что отец все это видит, понимает и все это принимает; но с чем пришли эти старые люди к своему восьмидесятилетию, зачем они жили? Неужели у них были такие обстоятельства, такие заботы и невзгоды и такие замыслы и чаяния, которые оправдывали все это двуличие, лицедейство и лицемерие?

Смерть покойного калантара Ягуба никого из этого сборища не побудила подумать о смерти.

Может быть, эти люди давно познали смерть и внутренне были готовы к ней? А ведь матери когда-то прижимали и их головы к груди...

Конечно, о том, что сей мир — тлен, жизнь — превратна, Махмуд слышал от многих людей, начиная случайно встреченными нищими и дервишами и кончая учителем Мирзой Салманом; эти слова слышал от многих озанов, читал их во многих книгах, но что такое, в сущности, смерть — он осознал отроком, три года тому назад.

В то время Махмуд вдруг пришел в ужас: как могут люди смеяться, веселиться — разве они не знают, что придет день, и они превратятся в черную землю? Мать так лелеет своего ребенка — разве она не знает, что придет день, и она сама, и ее ребенок, и ребенок ее ребенка, и его ребенок — превратятся в черную землю?

Ужас и жар, вызванные безысходностью, неотвратимостью и безусловностью конца, потрясли Махмуда, а главное, Махмуда сводило с ума непонятное равнодушие людей к смерти. Махмуд смотрел на маму, и ему было жаль ее, потому что мама не понимала, что придет время, и она превратится в черную землю; Махмуд смотрел на отца, и ему было жаль отца, потому что отец, кажется, понятия не имел, что придет время, и он превратится в черную землю.

Люди были совершенно чужды и бессмысленны.

Махмуд бежал от людей.

Как были написаны книги, которые он читал? Разве создавшие их поэты, ученые не были людьми и не знали, что придет время, и они умрут?

Махмуду казалось, что он больше никогда не улыбнется, больше никогда не обрадуется, и все уже позади, жизнь уже прожита.

И однажды, когда он один гулял по саду, у бассейна этот ужас и жар внезапно вырвались наружу, как джинн, загнанный в бутылку, и Махмуд, обняв мраморную колонну бассейна, заплакал, зарыдал, сотрясаясь всем телом.

Откуда возникла Гамарбану? Ведь сад был совершенно пуст...

Гамарбану обняла сына сзади за плечи:

— Что случилось, Махмуд? Что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь, Махмуд?

Махмуд, обернувшись, посмотрел на мать и увидел в глазах, в лице Гамарбану такое болезненное, такое трепетное сочувствие, милосердие, порожденные близостью, родством, любовью, что высказал ей все, что не говорил никому.

— Я умру... Придет время, и я умру...

Гамарбану с безумной нежностью прижала голову сына к своей груди, дрожащими пальцами спутала его волосы:

— Все мы умрем, детка!..

Биение сердца Гамарбану было утешением, от сердца ее исходило тепло, и жар ее сердца словно согрел Махмуда, и сердце Гамарбану словно объяснило Махмуду, что он не один, и Махмуд понял, что люди не таковы, какими выглядят.

— Не читай так много, Махмуд...

Махмуд не услышал этих слов Гамарбану, потому что Махмуд в этот миг слышал только биение ее сердца, слышал то, что говорило ее сердце; Махмуд понял, что главные слова произносит не язык, а сердце.

Светало.

Махмуд, стоя перед окном своей опочивальни, снова мысленным взором оглядывал по одному придворных, собравшихся на поминки по калантару Ягубу, и на этот раз эти люди не показались ему такими отвратительными, как четыре дня назад, потому что и у этих людей было сердце, и их сердце тоже, наверное, кому-то что-то говорило и скажет.

Тут в дверь тихонько постучали, вошел Сафи со свечой в руке.

— Махмуд, почему ты не спал?

Сафи почувствовал себя неуютно под взглядом этого белолицего худенького паренька среднего роста с кудрявыми светлыми волосами; в его больших голубых глазах были не сообразные с его же тонкостью и нежностью пронзительность, надменность, проницательность.

— А ты почему не спал, Сафи?

— Я... — Сафи не мог сразу ответить, ибо Сафи не смел сказать Махмуду, что Гамарбану, увидев в окне силуэт сына, пришла, растолкала спящего Сафи и послала его узнать, почему Махмуд не спит; эта несчастная женщина и по ночам не спала из-за своего сына, она жила в постоянной тревоге.

— Я от жары спать не могу, — сказал Сафи. — А почему ты стоишь перед окном?

— Смотрю на придворных.

— На придворных? — искренне удивился Сафи. — Придворные сейчас седьмой сон видят.

Махмуд усмехнулся: — Это для себя они спят, а для меня — нет...

Внезапно Сафи показалось, что над головой Махмуда сверкнул священный ореол, и, испугавшись этого видения, Сафи произнес про себя: «Астаг-фуруллах! Будь проклят дьявол!..»

Потом Сафи пришел в себя. Это было дело рук дьявола.

Дьявол порой овладевал Сафи.

Послышался последний вскрик петуха.

Послышался последний вскрик петуха, и Мариам внезапно вскочила, какое-то время не могла ничего понять, ее полная грудь вздымалась и опадала.

Нет, не последний вскрик петуха так внезапно разбудил Мариам.

Мариам стала на колени на своем деревянном топчане, покрытом тоненьким тюфячком.

Что же случилось?

Свет утра наполнил сквозь окно ее комнатку, и придал беленым стенам молочную чистоту; и молочно чисты были не только беленым стены и потолок — чистота впиталась в доски пола, голые деревянные табуретки, деревянный столик, деревянный топчан Мариам, и оконные стекла тоже сияли молочной чистотой.

Вдруг Мариам снова почувствовала то теплое дыхание, и ей во всех подробностях вспомнился странный сон, что она видела всю ночь, сладостный и страшный сон.

Мариам видела пречистую деву Марию.

Пречистая дева Мария и святой Иосиф бежали из Назарета.

Пречистая дева Мария была совсем молоденькой девушкой, и во сне Мариам казалось, что Мария — она сама, потому что иногда лицо девы Марии становилось ее лицом.

Пречистая дева была одета в продранное сверху и внизу платье из серого ситца, и, босая, с непокрытой головой, бежала по пустыне. Вернее, бежал ослик, она сидела на ослике, и святой Иосиф шел сзади в холстяном балахоне и погонял ослика хворостинкой. Он был стар, но крепок, седые кудри и бороду трепал свежий ветер.

Пустыня тянулась бесконечно.

Была зима, и иногда становилось холодно, песок был теплым, он еще не успел остыть, и когда порывы ветра были холодными, дева Мария соскакивала с ослика и с удовольствием погружала босые ноги в теплый песок. И Мариам казалось, что это она сама погружает ноги в теплый песок и шевелит в теплом песке замерзшими пальцами. Потом стало совсем холодно, и песок тоже похолодел, но Мариам ощутила какое-то теплое дыхание, это дыхание согревало ее, и Мариам во сне поняла, что это теплое, мощное и чистое дыхание — дыхание Гавриила, что незримый архангел тут и что он заботится, чтобы не пострадал Младенец, которым она была беременна.

Мариам хотела назвать пречистую деву и святого Иосифа в дом, но не смогла, потому что дева Мария была она сама, и они проехали, пробежали мимо их домика, где было так тепло.

Стало совсем холодно, и пошел снег, но дыхание архангела окружало Марию теплым облаком и даже ноги не зябли.

Когда они приехали, а вернее сказать, прибрели в Вифлеем, то пригородные лачуги и сараи были в снегу, снег шел непрерывно, и они кинулись на первый же постоялый двор, грязный и бедный, но Мариам во сне почувствовала, что счастлива, что дева, Иосиф и ослик, и как будто она сама сейчас укроются от ветра и снега; и хозяин, который казался усталым и злым, сперва твердил, что нет ни одной комнаты и даже койки и люди спят вповалку на полу, но потом, поглядев на живот Марии и на иссиня-красные ноги и руки Иосифа, махнул рукой и сказал, что они могут заночевать в хлеву вместе со своим ослом.

В хлеву было тепло, пахло навозом и сеном, и со всех сторон на них смотрели темные глаза животных. Они согрелись и легли, кое-как набрав соломы на подстилку, и тут у девы Марии начались схватки, и эти схватки Мариам ощутила в собственном животе.

Затем раздался крик младенца, Мариам, избавившись от схваток, спокойно вздохнула и взглянула на младенца, лежавшего на ситцевой тряпке на соломе. Мариам знала, что этот младенец — Спаситель. Личико младенца Иисуса излучало свет, как крохотное солнце.

Затем лицо Спасителя превратилось в лицо обыкновенного младенца, ручки и ножки младенца задергались на ситцевой тряпке на соломе, и Мариам изумилась такой обыкновенности. Пречистая завернула его в ситцевую тряпку и положила в пустые деревянные ясли. Младенец громко заплакал. Потом закричал. Не было ни ангелов, ни волхвов, ни даже пастухов.

Мариам проснулась от детского крика.

В утреннюю пору знойного лета Мариам дрожала, ее бил озноб; потом, услышав дыхание отца, спавшего в соседней комнате, она понемногу стала приходить в себя и сначала хотела пойти и разбудить отца, но, вспомнив, что вчера Хмурый Пастырь молился весь день и весь вечер, не решилась его будить.

Доносящееся из соседней комнаты дыхание Хмурого Пастыря успокоило Мариам; если он так дышит — ничего не может случиться, ничего не нужно бояться, все будет хорошо.

Нет, Мариам не расскажет свой сон отцу, потому что зимой она тоже видела один сон и рассказала отцу этот сон; она увидела, что, сев за стол Тайной Вечери, где будут разговляться господь с апостолами, она хочет поесть, но стол уже пуст: кости, грязная посуда, объедки, — и за столом, кроме Мариам, никого нет.

Хмурый Пастырь, сдвинув широкие сросшиеся брови, спросил:

— С чего ты взяла, что это — стол Тайной Вечери?

Мариам пожала худенькими плечами:

— Не знаю... Но это был стол господень. Я знала это.

Хмурый Пастырь больше не сказал ни слова, не стал толковать этот сон, может быть, не захотел толковать, и после того дня ровно месяц ходил задумчивый. Мариам с первого взгляда чувствовала состояние отца: если у отца на сердце было спокойно, Мариам узнавала это, стоило ей только взглянуть на Хмурого Пастыря, и если он был беспокоен, опять же узнавала, едва взглянув, и если задумчив был — узнавала, и если доволен или недоволен.

Если Хмурый Пастырь не смог истолковать ее сон, то что это был за сон, и как получилось, что Мариам увидела такой не поддающийся толкованию сон?

Если же Хмурый Пастырь не захотел истолковать ее сон, значит, это был дурной сон, и отец не желал заронить беспокойство в сердце дочери.

Иногда так бывало, Хмурый Пастырь никогда не говорил неправды, никогда не обманывал, но иногда умалчивал, не отвечал на вопросы, и Мариам понимала, что вопрос повторять не следует.

Вначале — до последней весны — вопросов бывало много.

Дом, где жили Хмурый Пастырь с Мариам, находился на окраине Гянджи, это был маленький двухкомнатный домик, и однажды в конце зимы Хмурый Пастырь с Мариам, выйдя из деревянной церквочки на другом конце Гянджи, возвращались к себе домой; в полдень Мариам относил отцу еду и, оставшись с отцом до вечера в церкви, зажгла свечку и долго и сладко молилась. Когда они вошли в дом, Мариам вдруг захотелось, чтобы их кто-то встретил, кто-то, как только они войдут, поставил перед Хмурым Пастырем пиалу горячего чая, кто-то близкий и добрый заботился о нем, служил ему.

Мариам спросила:

— Отче, почему ты не женился после смерти мамы?

Хмурый Пастырь взглянул на Мариам совершенно черными, блестящими из-под широких сросшихся бровей глазами и ничего не сказал.

Некоторое время они стояли, глядя друг на друга, и говорили друг с другом глазами: Хмурый Пастырь понял, почему Маркам задала этот вопрос, и Мариам поняла, отчего Хмурый Пастырь не ответил на него.

Мать Мариам умерла в день ее рождения, и с того дня Хмурый Пастырь и Мариам были всегда вместе. Иногда Мариам казалось, что она родилась на свет грешницей, потому что самым своим появлением погубила другую жизнь и принесла горе отцу. Мариам чувствовала, что в день ее появления на свет ушел из жизни самый любимый для ее отца человек, но Мариам не знала, что мама каждый день говорит с отцом, говорит и о Мариам, радуется, что Мариам растет и неразлучна с отцом. Хмурый Пастырь никогда не оспаривал волю божью; что бы ни случилось в этом кровавом и горестном мире, в этом подлом мире, он все принимал, ибо если господь счел это должным, так и должно быть,

но семнадцать лет назад смерть жены он принял сознанием, сердцем же не принял и в этом считал себя виновным перед богом — это была единственная очевидная вина Хмурого Пастыря перед господом, недаром с того-то дня он и был прозван Хмурым Пастырем.

С приходом весны степи вокруг Гянджи зацвели, подняли головки нарциссы, зазеленели кустарники, стали разворачиваться листочки гянджинских чинар, ласточки вернулись в свои гнезда, и самое странное было то, что Мариам словно впервые видела это весеннее пробуждение природы, как будто земля никогда так не улыбалась, так не радовалась и не радовала.

Каждый день рано утром, после ухода отца в церковь, Мариам прибирала в доме, подметала, вытирала пыль, у них была одна белая коза, и Мариам доила ее, варила отцу яйца, если было мясо — варила мясо, собирала на огороде зелень, а потом вместе с белой козой выходила со двора и бродила по степи близ дома, срывала цветы и каждый вечер хотела что-то спросить у отца, но не могла, потому что не знала — что спросить. Мариам чувствовала, что должна что-то сказать отцу, но что должна сказать — не знала, и постепенно это чувство сменилось другим чувством: Мариам словно хотела что-то скрыть от отца, но что хотела скрыть — не знала. Это чувство тяготило, мучило Мариам, потому что — ну что могло быть на свете, что Мариам должна была бы скрывать от отца? Мариам уже больше не переодевалась при отце, как прежде, потому что при этом словно могло обнаружиться, то что она хотела скрыть, и это тоже тяготило Мариам, ибо отец был для Мариам вторым «я» — так почему же Мариам должна стесняться его?

Все это началось весной и осталось, когда весна минула; и когда весна минула, Мариам начала ждать чего-то; а это «что-то» было и подавляющим, и радующим, но самое главное, это «что-то» было тайным грузом; оно начиналось, когда она ночью ложилась в постель, начиналось, когда она утром просыпалась, начиналось, когда она одиноко бродила по степям и лугам, заставляло ее рвать цветы, танцевать, смеяться в одиночестве.

...Утро наступило. В молочной чистоте комнаты было все то же спокойствие, но в этом спокойствии появилась какая-то необычность, и Мариам тотчас почувствовала причину этой необычности: дыхание отца уже не слышалось.

Мариам, отведя глаза от окна, посмотрела на дверь сосед-лей комнаты: Хмурый Пастырь стоял в дверях.

Хмурый Пастырь был высокий, широкоплечий, стройный мужчина. Его длинные волосы давно поседели, борода местами побелела. В блестящих черных глазах, широких сросшихся бровях, в морщинах на лбу и в уголках глаз отца Мариам, как всегда, почувствовала что-то такое родное, такое близкое, что, соскочив с топчана, кинулась Хмурому Пастырю на шею и, прижавшись лицом к широкой груди отца, неожиданно для себя сказала:

— Я видела во сне пречистую деву, отче! — и рассказала свой сон. Хмурый Пастырь, поглаживая длинными тонкими пальцами каштановые волосы дочери, внимательно слушал ее, и, когда Мариам взволнованно пересказала свой сон, некоторое время молчал. Мариам, подняв голову от груди отца, заглянула ему в глаза. Хмурый-Пастырь улыбнулся. Он очень редко улыбался, и такая улыбка очень шла к его суровому лицу. В глазах Мариам тоже появилась улыбка. Хмурый Пастырь сказал:

— Ты видела во сне мать, дочка. А снег во сне — это ясность, чистота...

- А младенец?

Хмурый Пастырь хотел сказать, что младенец - это она сама, но не сказал, потому что если младенец был мальчиком, то, может быть, это все же был Спаситель, а не Мариам...

IV

Грехов перед богом у Гамарбану было много, и все свои грехи Гамарбану совершала ради Махмуда, и постепенно в сердце Гамарбану закрался страх: Махмуд, в котором такая чистота, такая непорочность, не сможет быть счастливым после стольких грехов, совершенных ради него, чистота и непорочность Махмуда не позволят ему быть счастливым за счет несчастья другого.

Но ведь сама Гамарбану была несчастлива, и ее несчастья должны были искупить ее же грехи и счастье Махмуда, ибо она страдала, а если она страдала, значит, не должен страдать Махмуд.

Гамарбану была одна в комнате, устланной коврами, и сидела, скрестив ноги, на атласном тюфячке.

Вошел слуга и, не поднимая глаз, сказал, что Мирза Салман ждет. Гамарбану махнула рукой, чтобы позвали Мирзу Салмана, и как только Мирза Салман вошел, спросила:

— В чем дело, Мирза? Где книги? Прошло уже сорок дней с тех пор, как я тебе приказала!..

Мирза Салман, наматывая конец длинной узкой бороды на указательный палец, сказал:

— Уже больше недели, как караван вышел из Тавриза, прошел Баку. Вскоре появится...

— Пошли навстречу всадника, Мирза! Пошли всадника, пусть поторопит караван! Мирза Салман стоял, уставившись в землю, и мысли его были отнюдь не с караваном, груженным книгами и идущим из Тавриза, а совсем в другом месте: если бы эта несчастная женщина затратила столько страсти, ума, энергии на другое дело, она могла бы стать Сарой Хатун, которая вершила все дела в Азербайджане еще полвека назад, но Сара Хатун была матерью Гасана Длинного, а Гамарбану — матерью Махмуда; Махмуда же творец создал иным, и Махмуд никогда не смог бы стать Гасаном Длинным, да в сущности это было и не нужно...

Гамарбану сказала:

— Можешь идти, Мирза!

Мирза Салман легонько кивнул головой и с чувством горького удовлетворения от того, что выходит, вышел из комнаты. Последнее время Мирза Салман не мог смотреть на Гамарбану; Мирзе Салману, который одно время втайне от всех и от самой Гамарбану писал влюбленные газели о ее красоте, было нестерпимо тяжело видеть, как эта женщина безвременно стареет — прямо на глазах и, когда Гамарбану влажными глазами, окруженными болезненной чернотой, смотрела на него, у Мирзы Салмана, еще не старого, к горлу подкатывал комок, ибо Мирза Салман, хорошо знал причину этого безвременного постарения и тайного недуга Гамарбану: Махмуд, и только Махмуд.

То, что Махмуд сторонится людей, не разговаривает с ними, не собирает вокруг себя сверстников, не скачет на коне, не выезжает на охоту, сторонится девушек, Гамарбану некоторое время назад объясняла его чрезмерным увлечением книгами, теперь же все это, его одинокие прогулки по степям и собирание цветов, она объясняла тем, что он отвернулся от книг. Сначала Гамарбану велела прятать от Махмуда новые книги, теперь же через Мирзу Салмана велела закупить в Тавризе новые книги, заплатила за них кучу золота и нетерпеливо ждала их в Гяндже, чтобы вновь приохотить Махмуда к книгам.

Гамарбану цеплялась за соломинку и - сама это знала.

Все, что говорили и делали колдуны-каббалисты, влиятельные сеиды, потомки пророка, оказывало воздействие на любого, только Махмуда оставляло безразличным и только в груди Гамарбану не уменьшало горя.

Два года назад Гамарбану за много золота добила прибытия из Ардебилля в Гянджу знаменитого сеида Абдулгасыма и попросила у ардебильского сеида Абдулгасыма средства — спасти ее сына от чар одиночества, от мягкости и простоты, попросила

сделать так, чтобы он, как другие парни, скакал на коне, размахивал мечом, целовала руки этого старого сеида с белыми волосами, бородой и бровями, прислуживала ему как рабыня.

Ардебильский сеид Абдулгасым два дня и две ночи не брал в рот ни капли воды, ни кусочка хлеба и тихим голосом медленно, наизусть прочитал весь коран от первой до последней буквы, устремив глаза в потолок выделенной для него комнаты, как будто совсем забыл о мире; потом в полночь вырвал волосок из своей бороды, протянул его Гамарбану:

— Обведи его вокруг головы ребенка...

Гамарбану сама взяла волос у Сеид-аги, прошла в спальню Махмуда, обвела волос вокруг головы Махмуда и принесла обратно аге. Ага, поднявшись, собрал в руке полы своей белой, как его борода, абы, взял свечу, вышел из комнаты, спустился в сад, и Гамарбану вместе с доверенными слугами и служанками пошла вслед за агой. Остановившись под одной из яблонь, ага сжег волосок наполовину, а оставшуюся половину, разворошив снег, закопал перед деревом, потом, обернувшись, сказал Гамарбану:

— Зима минует, весна пройдет, лето придет. Это дерево принесет одну грушу. Когда груша созреет, дашь ее Махмуду, он поест, и это станет избавлением от твоего горя.

Гамарбану много дней ждала этого сеида, два дня и две ночи, сидя вместе с этим сеидом, не брала в рот ни глотка воды, ни кусочка хлеба, глаз ни на миг не сомкнула, но тут уж она не выдержала, забыла о святом предке сеида, забыла об его белых волосах, о белой бороде, из груди ее вырвались гнев и ненависть, и она воскликнула:

— Безумный старик! Ты даже не знаешь, что это яблоня?!

В этот зимний день ардебильский сеид Абдулгасым в белой абе, беловолосый, белобородый, белобровый, угасшими, затуманенными двухдневными голодом и жаждой глазами посмотрел на Гамарбану и ничего не сказал, пошел по саду прямо и внезапно исчез среди снега.

Слуги и служанки замерли от изумления, и все хором произнесли:

— Бисмиллах! Это дело рук Харут, Марут, злых ангелов!..

Гамарбану об этом происшествии забыла как о еще одном неудавшемся опыте.

Зияд-хан даже и не знал об ардебильском сеиде Абдулга-сыме. А о чем он знал, Зияд-хан?

Прошла зима, наступила весна, зацвели деревья, зацвела и яблоня, потом опали цветы, начали наливаться яблоки, и однажды Гамарбану, проходя мимо этой яблони, застыла на месте: на самой верхушке этой раскидистой яблони, среди зеленых яблок была начинающая желтеть груша.

В тот же день Гамарбану велела резать сорок баранов и раздать всем сеидам Гянджи, еще сорок баранов велела резать и разослать по мечетям, раздать голодным, на три месяца вдвое увеличила в Гяндже хюмс — налог в пользу сеидов, а в Ардебиль срочно послала гонца и приказала любыми средствами уговорить агу вернуться в Гянджу, сказать, что Гамарбану обеспечит его всем на свете на всю жизнь, и день и ночь молилась, чтобы смыть свою вину перед агой.

Через семь дней гонец, вернувшись, принес неслыханную весть: в разгар лета в Щитоносном ущелье выпал снег, и в ближайшее время перейти через это ущелье и попасть в Ардебиль будет невозможно.

Гамарбану велела резать для пожертвования еще пятьдесят баранов и раздать людям. В эти дни гянджинские мясники продавали три веса мясной вырезки за четверть таньги, нарезанной в Нахичевани, и все равно никто не покупал, потому что в каждом доме было пожертвованное мясо, и за одну неделю гянджинские мясники лишились чуть ли не годового дохода.

Гамарбану дни и ночи проводила под яблоней, и когда груша на ней, созрев, стала совсем желтой, велела ее сорвать и сразу же отнесла Махмуду.

Давным-давно Гамарбану не ходила так легко, не была такой радостной, так широко и глубоко не дышала, и воздух не насыщал так ее грудь.

Махмуд, сидя в дворцовой библиотеке, читал книгу, и книга так захватила Махмуда, что он, не сказав ни слова, взял протянутую матерью грушу и стал есть, продолжая при этом читать.

Гамарбану ждала с волнением, какого не испытывала, кажется, никогда в жизни, и с предвкушаемой радостью.

Махмуд съел грушу и продолжал читать.

Гамарбану подождала еще немного.

Махмуд так же охотно читал книгу.

В сердце Гамарбану закрался жуткий страх поражения.

Махмуд до вечера читал книгу, потом вышел погулять в сад, а потом пошел спать.

В ту ночь Гамарбану не могла уснуть. Дважды сама ходила в спальню Махмуда и дважды посылала Сафи: Махмуд спокойно спал.

Ближе к утру сон сморил Гамарбану, но вскоре она проснулась и тотчас вызвала к себе Сафи:

— Какие новости, Сафи?

Сафи, пряча глаза, как будто во всем виноват был он, сказал:

— Никаких, Бану...

Конечно, смущение Сафи не ускользнуло от острого взгляда Гамарбану:

— Ты что-то хочешь сказать, Сафи?!

— Утром... утром, когда повар велел зарезать кур, Махмуд увидел...

Побледневшая Гамарбану спросила: - И что же?

— Махмуд заплакал и убежал...

Гамарбану поняла, что на Махмуда у Сеид-аги силы не хватило..

Может быть, ага разгневался? Может быть, именно поэтому в Щитоносном ущелье выпал снег?

Потом в голове Гамарбану промелькнула безумная мысль? Гамарбану ищет святого, который дал бы ей избавление от горя, а может быть, святой и есть сам Махмуд?

Ночью Гамарбану посмотрела на совершенно чистое небо, ей вспомнилось, как, когда Махмуд родился, все радовались, что этот крошечный младенец родился под знаком созвездия Близнецов, и Гамарбану сказала себе:

— И небеса обманули тебя...

После этого Гамарбану уже больше не вызывала колдунов-каббалистов, не искала сеидов и дервишей, не отправлялась к святыням, не давала обетов.

После этого Гамарбану не могла говорить и с самим Махмудом. Чистота, простота в больших голубых глазах Махмуда мгновенно обезоруживали Гамарбану.

И теперь Гамарбану возлагала все надежды на книги, которые должны были доставить из Тавриза.

Гамарбану встала, чтобы пойти в сад, повидать Махмуда, но открылась дверь, вошел Зияд-хан.

Это было впервые, что Зияд-хан в полдень, совсем один и без уведомления пришел в комнату Гамарбану. Гамарбану решила, что, наверное, в мире политики произошло нечто важное.

Зияд-хан сел лицом к лицу с Гамарбану.

Гамарбану видела, что Зияд-хан озабочен и затрудняется начать разговор.

Глядя на мужа, Гамарбану подумала: тысяча сожалений, что она не стала женой, достойной Зияд-хана. Зияд-хан остался один на один с этим мерзким миром, и Гамарбану не смогла стать опорой Зияд-хану; аллах дал им такого сына, что власть оказалась их сыну не по плечу, а заботы о сыне, страдания, боль за него отняли у Зияд-хана самого близкого человека в этом подлом мире — Гамарбану.

Как рано поседели его волосы, его борода, как рано настигла Зияд-хана старость; как быстро промелькнули молодые годы; как сморщилась кожа на руках Зияд-хана. Гамарбану до сих пор не обращала на это внимания... Посмотри на эти морщины на его шее — будто кинжалом прорезаны... Гамарбану ощутила боль от этого кинжала, протянула руку, провела пальцами по волосам Зияд-хана, помогла мужу начать разговор:

— Что случилось, Зияд?

Зияд посмотрел на Гамарбану и сказал:

— Я беспокоюсь о Махмуде... Гамарбану резко выпрямилась:

— Что случилось с Махмудом?

— Ничего... Но, Гамар, Махмуд не усидит на моем троне... Все стало ясно. Наконец, Зияд-хан сумел разглядеть своего сына, сумел распознать. Гамарбану улыбнулась:

— Знаю...

В улыбке жены, в ее улыбающихся влажных глазах Зияд-хан прочитал такую скорбь, ощутил столь глубокую горечь, что и ему стало ясно: Гамарбану давно носит в сердце эту боль. Зияд-хан со всей остротой ощутил и то, что с годами они, в сущности, стали совсем чужими с этой самой дорогой ему женщиной, они ничего не знают друг о друге, и Зияд-хан изумился, что он словно впервые видит, как постарела красавица Гамарбану: что же дал Зияд-хану трон, которому он посвятил всю свою жизнь? Зияд был совершенно одинок и беззащитен; одиночество и беззащитность, как затхлая влажность, как душная сырость, в эту минуту облепили тело Зияда.

Увы, Зияд-хан многого не знал, и наверное, никогда не узнает.

Уже двадцать три года Зияд-хан был правителем, уже двадцать три года Зияд-хан старался удержать трон, укрепить трон, наполнить сокровищницу, но не знал Зияд-хан, что и Гамарбану день и ночь старается укрепить будущее его трона, его сокровищницы; голова Зияд-хана была так забита каждодневными делами, политические интриги, военные схватки, тайные и открытые набеги соседей, тайные и явные наветы соседей, дворцовые сплетни так занимали Зияд-хана, что у него уже не оставалось времени подумать о Махмуде, а главное разглядеть и узнать Махмуда, Зияд-хан считал, что как только он приклонит голову к земле, родня и приближенные, собравшись, усадят на трон его единственного сына Махмуда и скажут: Махмуд-хан, повелевай нами...

Гамарбану усмехнулась.

У Зияд-хана не было времени положить перед собой папаху и подумать, что Махмуда задушит как раз эта самая родня, что эта самая родня не сводит с Махмуда глаз, как шакал с ягненка, и только и ждет случая, чтобы с Зияд-ханом что-нибудь стряслось.

Гамарбану виновато посмотрела на Зияд-хана, потому что внезапно вспомнила Джаваншир-хана, а ведь Джаваншир-хан с Зияд-ханом были похожи друг на друга, как две половинки одного яблока.

Джаваншир-хан был младшим и единственным братом Зияд-хана и был, как Зияд-хан, искусным всадником и меченосцем, Порой во взгляде Джаваншир-хана, устремленном на Махмуда, Гамарбану ловила какую-то волчью алчность, но теперь Гамарбану подумала, что, может быть, это все же было не так, это ей так казалось: однако в свое время нашептал же ей Сафи, что на пикнике, устроенном на озере Гей-гель, Джаваншир-хан говорил, я переведу Гянджу сюда и дворец выстрою так, чтобы он смотрел на Гей-гель. Это означало, что Джаваншир-хан считал себя наследником престола и даже не скрывал этого.

Гамарбану в течение недели собрала золото и договорилась с главарем разбойников Белолицым Келлезом, и Белолицый Келлез тайком выследил Джаваншир-хана, который отправился на козью охоту на горе Муров, и убил его стрелой из лука; затем, чтобы эта тайна никогда не раскрылась, Гамарбану, опять же собрав золота, договорилась с дворцовым стражем Одноглазым Велигулу, и Одноглазый Велигулу, устроив засаду в Гяндже, зарезал Белолицего Келлеза кинжалом в полночь, когда он

направлялся к своей любовнице Айкануш, а потом, чтобы и эту тайну не знал никто, кроме Аллаха и Гамарбану, Гамарбану своей рукой отравила Одноглазого Велигулу.

Зияд-хан сорок дней держал траур по Джаваншир-хану, истолковал эту смерть как происки шаха, султана, интриги калантаров, наивов, зарубил всех подозрительных, кого мог достать, но Зияд-хану даже в голову не пришло, что подлинным виновником этой смерти был Махмуд; а Гамарбану находила утешение лишь в том, что эти жертвы и другие, неизвестные Зияд-хану, принесены не из кровожадности, а во имя защиты Махмуда от кровожадности, и все это — ради будущего Махмуда; чистота Махмуда, его превосходство над Джаванширханом, не говоря уже об Одноглазом Велигулу, оправдывали такие дела; правда, и у Джаваншир-хана, и у Одноглазого Велигулу дети остались сиротами, но в сущности Махмуд был еще беспомощней, чем эти сироты: сироты как-нибудь выживут в этом мире, а Махмуд может выжить лишь с помощью Гамарбану и никого более.

Узкие глаза Зияда только теперь прикрылись с тоской, а куда эти глаза смотрели прежде? почему эти глаза не видели того, что видели все? а впрочем, что было б, если бы видели? кто сделал бы больше, чем я? когда-нибудь в жизни могла я себе представить, что мои руки обагрятся кровью? когда я через девять лет родила свое дитя, разве мне приходило в голову, что впереди — беда? разве знала я, что лицо мое перестанет улыбаться, сердце перестанет радоваться? аллах дал мне Мах-муда на радость, и аллах же дал мне Махмуда на горе столь же великое, как радость о Махмуде; больше, чем суждено, не бывает: и стыд я отбросила, и совесть, и чего добилась? так что бы поделал несчастный Зияд?

Однажды, когда Гамарбану вместе с невольницами купалась в женской бане дворца, ей вдруг пришло в голову, что в Махмуде надо разбудить мужчину. Махмуду было шестнадцать лет, но Махмуд был совершенно чист. Никто и не задумывался над тем знает Махмуд или не знает, что такое девушка, женщина, все считал, что как оно есть, так и должно быть

Однако новая мысль не давала Гамарбану покоя, и Гамарбану совершенно уверила себя в том, что после этого все наладится; Махмуда надо сделать Мужчиной, и после того, как Махмуд станет Мужчиной, он хоть немного посуровеет, станет общаться с людьми; самое трудное — начать, а потом все войдет в колею, и Махмуд, как его сверстники, будет скакать на коне, размахивать мечом, красть девушек, и станет для отца истинным наследником, разящей рукой, думающим мозгом.

Там же в бане Гамарбану отобрала невольницу, тело которой от девичьей зрелости было натянуто, как струна, и повела с собой эту невольницу, и своими руками одел-нарядила, и все ей объяснила, и дала мешочек золота и пообещала еще один, и в тот же день отправила невольницу служанкой к Махмуду.

Прошло два дня, и Гамарбану почувствовала, что невольница старается не попадаться ей на глаза, прошел и третий день, и четвертый день, Гамарбану не смогла больше молчать, сама пошла к Махмуду. В комнате не было ни Махмуда, ни невольницы, эта комната воплощала собой чистоту, прозрачность, и Гамарбану поняла, что в этой комнате ничего не было, Гамарбану вызвала Сафи, и Сафи сообщил ей, что три дня и три ночи Махмуд в дворцовой библиотеке обучает невольницу алфавиту.

Содрогаясь от гнева, от злобы на самое себя, от стыда за свой поступок, она велела привести к себе невольницу и, намотав на руку ее длинные косы, закричала:

— Я тебя посылала алфавит учить?

Невольница вынула из-за пазухи мешочек с золотом, положив на пол, бросилась к ногам Гамарбану, стала плакать, молить о пощаде:

— Что велишь — сделаю... Отдай меня войску мужчин!.. Но для этого меня к нему не посылай! Я стыжусь его!.. Стесняюсь!.. Стыд меня убьет!..

Эти слова потрясли Гамарбану: красивая девка хорошо знала свое дело, и Гамарбану многое прочитала в ее глазах.

У Гамарбану руки опустились, и она выпустила косы девушки.

С рыданиями невольница выбежала из комнаты.

Гамарбану на ум пришли тысячи разных мыслей, и в конце концов, не выдержав, она ночью велела вызвать к ней первую сводню Гянджи Гысыр Гары — Бесплодную Старуху, Гысыр Гары, зубами захватив край своей грязной полы, запыхавшись от бега, явилась во дворец.

Правда, Гысыр Гары была первая баба-яга Гянджи и все гянджинцы без исключения терпеть не могли Гысыр Гары, и любой, кто нуждался в услугах Гысыр Гары, старался, чтобы дело это побыстрее кончилось и чтобы он больше в глаза не видел Гысыр Гары, но никто на свете не знал, да никому бы и в голову не пришло, что Гысыр Гары долгие годы таит в сердце мечту, скрывает многолетнюю жажду: Гысыр Гары хотелось оторваться от земли, взлететь, Гысыр Гары с возрастающей год от года завистью смотрела на птиц и сохла от безысходности и несбыточности; это было единственное огорчение Гысыр Гары, которое она скрывала от всех. Гысыр Гары всегда держала голову опущенной: и когда разговаривала, и когда бежала куда-то, и когда что-то делала, головы не поднимала, ибо когда она держала голову прямо, взгляд Гысыр Гары касался небес, и тогда сердце Гысыр Гары начинало ныть, небо, точно мощный магнит, притягивало к себе сердце Гысыр Гары, оно колотилось, хотело вырваться из груди и взвиться в небо, но что можно сделать, крыльев у Гысыр Гары не было, и Гысыр Гары не умела летать, как птица. Иногда, просыпаясь утром рано, Гысыр Гары, открыв глаза, смотрела в окно своей маленькой одинокой хибарки на голубое-голубое, чистое-чистое небо, и в сердце Гысыр Гары мельком проскакивала никому на свете неведомая, нежданная тоска по небу, тоска по голубизне...

Гысыр Гары не умела ходить как обыкновенные люди, она всегда бежала, всегда мчалась.

В слабом свете горящей в комнате свечи Гамарбану посмотрела в ожидающие глаза этой безобразной и грязной женщины, посмотрела на ее лохмы, посмотрела на иссохшую деревянную грудь, и в сердце Гамарбану промелькнула боль: боже, с кем сталкивает меня судьба...

Потом она сказала:

— У меня к тебе дело... Но молчок! Чтобы камень сверху, камень снизу. Иначе...

Гысыр Гары не дала Гамарбану договорить:

— Ханым-гызым, дочь моя ханша, да проклянет меня святой Аббас, сын гнева божьего Али, Гысыр Гары — это горсть проса, куда кинешь, там и останется. Говори, что тебе нужно. Клянусь кораном, который я прочитала, намазом, который я совершила, камень сверху, камень снизу!..

Конечно, Гысыр Гары ни корана не читала, ни намаза не совершала, но что можно было сделать, у фортуны сердце из камня, фортуна порой делала так, что у шаха оказывалось дело к дехкавину.

Гамарбану дала Гысыр Гары золотой и объяснила ей, что она хочет, потом они пошли в спальню Махмуда; Гамарбану осталась снаружи, Гысыр Гары, подтягивая юбку, подтирая нос, вошла внутрь.

Махмуд спал, и бледное лицо Махмуда, его светлые волосы в лунном свете, падающем в окно, были такими светлыми, такими осиянными, будто Махмуд находился не в постели, а на спине Рефрефа, коня, на коем пророк Мухаммед поднимался к аллаху, но Гысыр Гары на такие вещи внимания не обращала, она присела на корточки перед постелью Махмуда и осторожно просунула под тонкое одеяло свою руку, перебравшую много мужчин, повозилась немного, отыскала, что искала, улыбнулась, вытащила руку из-под одеяла, встала и вышла из комнаты.

Гамарбану стояла снаружи, боясь и на этот раз услышать дурную весть. Гысыр Гары, подойдя к Гамарбану, тихонько прошептала:

— Мужчина — ух! — и беззвучно рассмеялась, обнажив единственный зуб.

Гамарбану успокоилась, но стыд за возникшее подозрение и непристойный поступок охватил ее, и, будто виновата была эта ведьма, — с ненавистью, с отвращением ханша плюнула Гысыр Гары в лицо. После этой проклятой старухи Гамарбану сочла себя самой дрянной женщиной на свете.

Через два дня по дворцу распространилась весть, что слуги, проснувшись поутру, увидели, что одна из невольниц повесилась на тутовом дереве в саду. Все удивились, никто не понял, почему эта молодая, красивая, веселая, речистая, стреляющая взглядами, как стрелами, невольница убила себя. Только Гамарбану знала причину самоубийства: Гамарбану в глазах этой невольницы, три дня назад отказавшейся от двух мешков золота, умоляющей ее с рыданиями о пощаде, прочла зародившуюся пылкую любовь, а также и то, что эта любовь — любовь обреченная.

Так вот было, мой дорогой... Так было, Зияд...

Зияд-хан многого не знал, и теперь, сидя лицом к лицу с Гамарбану, своими маленькими узкими глазками, померкшими от горя в течение одной ночи, ждал помощи от жены.

Бедный Зияд... Такого сына бог должен был дать тебе либо тысячу лет назад, либо через тысячу лет после нас; это подлое время недостойно нашего сына, это черное время — черная рана на чистоте Махмуда.

Тысячу лет назад?

Возможно, как раз тысячу лет назад такая же несчастная мать, как я, мечтала о том, чтобы сын ее появился через тысячу лет; да изменятся твои дни, Махмуд, да переменится мир... За девять лет фортуна сделала меня садовницей; садовница плачет, сад плачет, цветы плачут... За что, осыпая камнями, сей страшный мир преследует нас?

Гамарбану подумала: ведь в коране говорится, что аллах, если сдавит, — непременно освободит; где же освобождение для моего несчастного сердца?

С болью в душе за все, что было, Гамарбану поднялась на ноги:

— Надежда на аллаха! — сказала она, и снова боль пронзила ее грудь: мой сынок с белым лицом, с чистой душой, с черной судьбой... несчастный Махмуд, сын несчастного Зияда и несчастной Гамар...

...Могло ли Гамарбану прийти в голову, что через очень короткое время ее сын, которого она считала несчастным, отмеченным черной судьбой, станет самым счастливым человеком на свете?

V

В летнюю жару трава поодаль от дома Хмурого Пастыря, на берегу реки Гянджи пожелтела, пожухла, но эта желтизна, освещенная солнцем, не томила сердце Махмуда, напротив, возвещала о безбрежности мира. Правда, в коране было написано, что аллах создал «небо, землю, и все между ними» временно, создал на «некий срок», но эта тянущаяся насколько хватает взгляда соломенная желтизна, журчание сверкающей под лучами солнца реки Гянджи говорили о постоянстве мира и вечности жизни: мир, созданный за шесть дней, был един, и человеческую жизнь следовало рассматривать суммарно от Адама до наших дней и далее, через века и тысячелетия.

Махмуд вышел утром в сад, и вдруг ему стало тесно в большом саду, внутри высокой дворцовой ограды; ограда теснила Махмуда, в искусственной выхоленности дворцового сада летом чувствовалась неволя, и Махмуд ушел из дворца, пошел бродить по степям и, прогуливаясь, дошел до этой янтарной равнины на берегу реки Гянджи.

На равнине было просторно, привольно, и этот простор, это приволье — странное дело — как-то по-новому, по-иному напомнили Махмуду давно забытые и совсем простые события однажды, когда он был малым ребенком, он вышел погулять с мамой; и это был зеленый луг; и он увидел белый цветок; и, когда он захотел сорвать этот беленький цветок, его руку обожгла крапива, и Махмуд с громким плачем побежал к маме на руки;

однажды, когда ему было семь или восемь лет, его дядя Джаваншир-хан, да упокоит аллах его душу, посадил Махмуда позади себя на коня, они поехали кататься, прискакали в село, в селе женщина, сидя у тендира, пекла чуреки; дядя, натянув повод коня, спешился, выхватил один чурек из стопки сложенных рядом с тендиром и, оторвав кусок, протянул Махмуду, Махмуд быстро откусил кусочек и обжег рот, громко заплакал, слезы смешались с нил — голубой краской против сглаза, а дядя стал громко смеяться, и после этого Махмуд всякий раз перед тем, как поесть хлеба, спрашивал, не горячий ли он; а однажды, когда ему было лет одиннадцать или двенадцать, Махмуд гулял по двору, позади дворца, его подозвала толстуха-птичница: «Приложи-ка ухо», — сказала она и поднесла к уху Махмуда яйцо; из яйца доносился слабый писк, доносился стук, потом цыпленок пробил скорлупу яйца, показалась головка цыпленка, показались его закрытые глазки, потом цыпленок прямо на ладони толстухи вышел из скорлупы, он был мокрый, будто его вынули из воды, маленькие крылышки прилипли к тельцу, подняв головку, он как будто посмотрел закрытыми глазами на небо и тоненьким голоском стал пищать; Махмуд сказал, что цыпленок хочет есть, а толстуха сказала: нет, он просит у аллаха счастья...

Все эти далекие воспоминания несли какую-то теплоту, какую-то радость. Махмуд почувствовал аромат того белого цветка, запах и вкус горячего тендирного чурека, услышал первый в его жизни писк крохотного цыпленка, и в этот миг... ..В этот миг Махмуд увидел Мариам.

Мариам утром встала, проводила Хмурого Пастыря в церковь, потом подмела, убрала в доме, вскипятила во дворе воду, выстирала рубашку и подрясник Хмурого Пастыря, подоила Белую Козу, заквасила ее молоко, сварила яички, собрала в огороде лук, почистила его, потом снова вышла во двор, сорвала с грушевого дерева у ворот одну грушу, съела ее, еще одну грушу сорвала и дала поесть Белой Козе, потом вышла вместе с Белой Козой, шла-шла и дошла до равнины на берегу реки Гянджи.

Мариам весной сочинила для Белой Козы песенку, и с весны не пела ее, но теперь было такое чувство, будто впереди — пасха; покой и простор равнины вдруг побудили Мариам запеть эту песенку:

Ай коза, Егоза,
Для волка — зоркие глаза,
Для нас — парное молоко,
Копытца — чтоб ходить легко,
Шерсть — зимой защита,
Не гляди сердито:
Дам тебе я травки сочной,
Напою водой проточной,
Будем мы с тобой дружить,
Будем долго вместе жить...

Распевая эту песенку, попевая за Белой Козой, Мариам шла по равнине и вдруг увидела, что навстречу идет юноша, и у юноши — светлое лицо, светлые волосы, светлые голубые глаза, и Мариам было запнулась, но тут же Мариам показалось, что она откуда-то знает этого юношу, и даже очень хорошо знает; Мариам понимала, что видит этого юношу впервые, но в то же время как будто давно и хорошо, даже очень хорошо, знала этого юношу.

Мариам остановилась.

Белая Коза, опустив голову, пошла прямо на Махмуда.

Махмуд протянул руку и погладил Белую Козу между рогами.

Белая Коза не испугалась.

Мариам очень этому удивилась, потому что у Белой Козы не было никого кроме Мариам и Хмурого Пастыря; и Белая Коза пугалась других людей, но Мариам почувствовала и то, что так и должно быть, Белая Коза не должна пугаться этого бледнолицего светловолосого юношу с большими голубыми глазами.

Белая Коза повернула голову, посмотрела в сторону Мариам и что-то проблеяла. Блеяние Белой Козы разнеслось по всей соломенной желтизне равнины, тянущейся насколько хватит взгляда.

Хмурый Пастырь говорил, что у всех животных на земле есть свой язык и сын царя-псалмопевца Давида царь Соломон знал язык всех животных, но Хмурому Пастырю в голову бы не пришло, что настанет день, и Мариам тоже поймет язык животного.

Белая Коза звала Мариам. Белая Коза говорила — не бойся; говорила — подойди поближе; Белая Коза призывала Мариам к еще не изведанной свободе, приволью, раскованности не вмещающихся в сердце чувств, упоительных волнений, говорила — подойди поближе, говорила — не бойся, и соломенно-жёлтая равнина говорила то же.

А разве Мариам боялась?

Мариам подошла и встала прямо против Махмуда.

Махмуду все стало ясно, Махмуд знал, что не ошибается, Махмуд чувствовал эту стоящую перед ним черноглазую, смуглую девушку с каштановыми волосами, будто касался ее рукой, чувствовал всем своим существом теплое дыхание этой девушки, ее взволнованно дышащую высокую грудь, ее дрожащее в легком ситцевом платице тело, и все это притягивало к себе Махмуда.

У стоявшего перед Мариам юноши ни глаза, ни брови, ни лицо — ничто, ничто не походило на Хмурого Пастыря, но почему этот юноша был таким родным, почему Мариам хотелось провести рукой по лицу этого юноши, почему Мариам хотелось поцеловать и обнять этого юношу?

Мариам и Махмуд стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза.

Белая Коза, опустив голову, отошла от них.

Глубина глядящих друг в друга глаз постепенно затягивала и Мариам, и Махмуда.

Махмуд протянул руку.

Мариам не знала, отчего этот юноша похож на Хмурого Пастыря, Мариам не хотелось брать этого юношу за руку, потому что этот юноша был чужой, и в то же время этот юноша был родной, и Мариам положила свою руку на руку Махмуда.

Мариам сказала:

- Я Мариам...

И янтарной желтизны равнина, дотоле затаившая дыхание и беззвученная, словно очнулась и тоже прошептала:

- Я Мариам....

Махмуд сказал:

— Я Махмуд...

И эти слова звучными волнами покатались по окрестности.

Так они и стояли друг против друга.

И не знали, что делать.

Потом пошли рядышком.

Мариам шла рядом с Махмудом, не смотрела на Махмуда, но лицо Махмуда, взгляд Махмуда были у Мариам перед глазами.

Махмуд чувствовал биение пульса на руке, которую он держал, чувствовал, что все тело Мариам бьется сейчас так же, как билось сердце его матери, когда он однажды, боясь смерти, прижался головой к ее груди.

По соседству с домом, где жила Мариам, вместе с матерью, двумя младшими братьями и младшей сестрой жила девушка по имени Анна. Анна была старше Мариам на пятнадцать лет, и эта красивая, здоровая, работающая девушка все не выходила замуж, возвращала ни с чем сватов за сватами, и все этому удивлялись. Подрастая, Мариам

начала замечать, что, когда по утрам отец вставал и шел в церковь, Анна провожала Пастыря вороватым и тоскливым взглядом, и когда вечером или ночью Пастырь возвращался домой, Мариам в темноте не видела, но знала, что Анна снова у окна. Мариам чувствовала во взглядах Анны что-то еще, помимо вороватости и тоски, но не знала, что это такое. Три года назад семья Анны переселилась в Стамбул.

Теперь Мариам это поняла; идя рука в руке с Махмудом среди янтарной степной желтизны, она вдруг поняла, что было в глазах Анны: Анна любила ее отца, Хмурого Пастыря.

Это неожиданное открытие, спустя три года, словно подхватило Мариам крутой волной, ноги Мариам словно оторвались от земли, и Мариам словно кружилась в воздухе, и щеки Мариам, пылающие румяным яблоком, запылали еще ярче.

Махмуд ощущал во всем теле, во всем существе такую страсть, такое желание, эта теплая рука, которую он держал, заставляла так трепетать его сердце, что все его предыдущие чувства и волнения были ничто, ибо все было новым и прежде неведомым. Он вспомнил странные слова из христианской книги, которую вот уже несколько лет переводит на азербайджанский язык Мирза Салман: «И увидел я новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежняя земля миновали...»

Махмуд хотел сказать много слов, но, аллах, каким беспомощным в изъяснении чувств создал ты человека, и пред тем множеством чувств и волнений, что ты дал человеку, все слова мира — не капля ли в сравнении с океаном?

Мариам и Махмуд шли, держась за руки, и часто взглядывали друг на друга, и Махмуд все, чего не мог сказать словами, выражал глазами, и Мариам читала в глазах Махмуда то, что он не мог высказать словами, и тело Мариам пылало и пело.

Белая Коза, опустив голову, шла немного впереди, и внезапно Белая Коза остановилась, обернулась, посмотрела снизу вверх на Мариам и Махмуда, потом подняла голову, заблела, и Мариам показалось, что Белая Коза предупредила их, что дальше идти не стоит.

Как это получилось, что купы серых облаков так вдруг сгустились в одном месте? Раздался гром, сверкнула молния, и на залитые солнцем летнего дня янтарно-желтые степные пространства низвергся прохладный ливень.

Мариам с Махмудом и Белая Коза совершенно вымокли.

На Мариам было только ситцевое платьице, и ситцевое платьице, намокнув, облепило ее тело, и под мокрым ситцем проступили груди Мариам, выпуклые соски ее грудей, живот и бедра.

Махмуд провел рукой по намокшим волосам Мариам, по ее смуглому лицу, с которого стекали капли дождя, по тонкой шее, высокой груди, и Мариам сквозь дождевую прохладу ощутила в этой руке жар очага, и этот жар опалил Мариам, и хотя рука была желанной, родственной, она напоминала тепло дыхания архангела Гавриила.

Мариам зашептала:

— Я верю в Христа, ты — в Магомета... Пощади, Махмуд, не губи меня.

VI

По дворцу с быстротой молния распространилась весть: сын Зияд-хана Махмуд влюбился.

Эта новость показалась придворной молодежи смешной, невольницы и слуги не могли в это поверить, занятые политикой вельможи не нашли времени отреагировать на это сообщение, люди бдительные после долгих рассуждений истолковали эту новость как очередной трюк Зияд-хана, те, кто потерял надежду одолеть Зияд-хана, но находил утешение в слабости Махмуда, забеспокоились, потому что у Зияд-хана могли теперь появиться внуки, среди новых родственников Махмуда могли оказаться люди могущественные, которые позарятся на трон Зияд-хана, но, когда по дворцу расплозлись

слухи, что Махмуд влюбился в дочь какого-то христианского священника, живущего на окраине Гянджи, все пришли в полное замешательство.

Новость донеслась до Гамарбану в тот же день.

Гамарбану не могла от души порадоваться вести, потому что привыкла, что самое дурное как будто прячется и приберегается напоследок: сперва пробуждается маленькая надежда, а потом приходит большое горе.

Христианская девка воспользовалась в степи чистотой, простотой Махмуда, и Гамарбану, сговорившись с христианской девкой, могла поощрять такие встречи, и наверное, затраты были бы не более десяти серебряных монет, самое большее — отправила бы им дойную корову, (доносили, что кроме одной козы у них ничего нет) либо велела бы доставить девчонку во дворец, дала бы ей место служанки, а там видно было бы; но обдумывая вести, принесенные Сафи, Гамарбану начинала все больше беспокоиться.

Сафи принес весть, что, кажется, Махмуд хочет жениться на дочери священника по прозвищу Хмурый Пастырь.

Что же за колдунья эта девушка, если так искусна в столь юные годы? Что за аппетиты и смелость у ее отца, если он питает такие замыслы? Конечно, и дочку, и отца нетрудно втоптать в землю, но Гамарбану слишком хорошо знала, что, если нанести рану сердцу Махмуда, рана эта не заживет, и потому надо быть очень осторожной.

В том и была трудность.

Гамарбану вызвала Сафи, поручила ему пойти и хорошенько разглядеть дочку Пастыря, узнать, что это за птица.

Сафи, выйдя из дворца, направился к далекой слободе, где жил Хмурый Пастырь, и Сафи казалось, что он увидит девушку, подобную сотне кокетливых ланей, что брови у нее — как тетива лука, глаза — как агат, нос — индийский орешек, грудь бела, как самаркандская бумага, но Сафи увидел босоногую смуглянку и худышку, которая, присев на корточки, доила во дворе козу, и искренне удивился этому.

... Сафи и впоследствии часто удивлялся этому, но ни в первый раз, ни много позже Сафи не приходило в голову, что на Мариам надо смотреть глазами Махмуда.

...После Сафи Гамарбану позвала к себе Гысыр Гары, велела ей разузнать все о христианской девке, и Гысыр Гары, подтягивая юбку, подтирая нос, побежала в слободу Хмурого Пастыря и наутро, прибежав обратно к Гамарбану, с трудом, так как всю жизнь всех осуждала, на всех клеветала, произнесла добрые слова:

— Клянусь кораном, который я прочитала, намазом, который я совершила, удивительное дело. ... У этой милой христианской девчонки сердце мягкое, как у Захры... — потом, поняв, что при Гамарбану уподобила дочь христианина дочери пророка Мухаммеда, супруге имама Али, льва ислама, Гысыр Гары произнесла: — Астаг-фуруллах — прости, господи!..

Если уж такая нечестивица, как Гысыр Гары, такое несла,— Гамарбану зря ругала Сафи.

Долго думала Гамарбану и наконец попросила Мирзу Салмана пойти и узнать что-либо о дочери священника у знакомых ему образованных христиан. Через некоторое время Мирза Салман вернулся обратно и, наматывая на указательный палец узкий конец длинной бороды, сказал:

— Девушка умна как Билгеис, которую ее единовверцы называют царицей Савской.

Гамарбану, поднявшись с тюфячка, на котором сидела, подогнув колени, посмотрела на Мирзу Салмана, как всегда, стоявшего перед ней в ожидании, и сначала будто не знала, о чем спросить, о чем не спрашивать, потом вяло проговорила:

— Ну а ты, Мирза... Что ты советуешь, Мирза?

Любопытно, в молодые годы, которые теперь казались такими давними, приходило ли Гамарбану в голову, что Мирза Салман, стоящий теперь перед ней старик, нескончаемыми долгими и суровыми ночами мечтал о ней? Мирзе Салману всегда

казалось, что Гамарбану никогда об этом не знала и никогда об этом не узнает. При мысли об этом сердце Мирзы Салмана окутывала печаль, по теперь, впервые в жизни Мирзе Салману почему-то показалось, что Гамарбану всегда знала о чувствах, разрывавших ему душу...

Это открытие наполнило сердце Мирзы Салмана горестным сожалением: те бурные, те пламенные чувства, которыми он в свое время жил, остались в недостижимой дали, и придет время, когда на свете не будет ни Мирзы Салмана, ни Гамарбану, и от тех чувств, которыми жил Мирза Салман и о которых, оказывается, знала и Гамарбану, ничего не останется, чувства эти словно растворятся в воздухе, исчезнут и не оставят следа в этом мире.

Мирза Салман не мог больше оставаться лицом к лицу с Гамарбану.

— Совет даст аллах, — сказал он и, не дождавшись разрешения, вышел.

Гамарбану посмотрела Мирзе Салману вслед. Дверь осторожно закрылась за Мирзой Салманом. На эту дверь пошло ореховое дерево, привезенное из лесов Шахдага, и гянджинские каллиграфы нанесли раствором золота на эту дверь рисунки по методу искусного музеххиба Султан Мухаммеда Тебрези, и эта дверь достойна была открываться и закрываться в Хешт-бехишт — дворце Шаха Исмаила в Тавризе. Гамарбану велела в центре двери золотыми буквами написать слова «Нет бога кроме аллаха», и, когда Мирза Салман закрыл за собой дверь, взгляд Гамарбану упал на эти слова.

Гамарбану чувствовала, что все, что у нее на сердце, все ее страдания лучше всех понимает Мирза Салман; Гамарбану казалось, что Мирза Салман знает и об ее грехах.

Мирза Салман сказал: «Аллах даст совет», — то есть не вмешивайся в дела аллаха, не совершай на этот раз никаких деяний и не греши, то есть прими и брак ханского сына Махмуда, единственного наследника гянджинского престола Махмуда, моего Махмуда, которого я рожала девять лет, чистого, непорочного, как стих корана, Махмуда — с пасущей козу христианской девкой; но если Мирза Салман такой умный, почему тогда он не пояснит, отчего аллах вложил в сердце Махмуда любовь к нечестивой девке, отчего аллах не разжег эту любовь в сердце какого-нибудь попова сына, чтобы он жил на этом свете с поповой дочкой в радости и веселье и чтобы никакого соблазна не было и никто не страдал? ведь в коране сказано: что бы с нами не происходило, аллах записал это у нас на лбу; в чем же причина новой невзгоды, Мирза Салман? аллах отвернул от меня лицо свое, Мирза Салман, и сердце чует, что у Махмуда моего страшная рана, Мирза Салман, он попал в большую беду; а если сын попал в беду, разве седая старая мать не плачет, восклицая «сыночек!», Мирза Салман? когда плачешь, должны течь слезы? ты видишь, как рано поседела, как рано постарела Гамарбану? разве не отшатывается она, увидев поутру себя в зеркале? моя судьба, Мирза Салман, моя беда... И не грущу я, и не радуюсь; день для меня стал вечером, Мирза Салман, день и ночь не вижу я просвета, смертный холод охватил мои ноги, нет больше надежды на выздоровление, эгей...

... А в это время Мариам и Махмуд гуляли по той же равнине, держась за руки.

Белая Коза, опутив голову, шла впереди.

С первой встречи семь дней прошло, и семь дней уже Махмуд и Мариам встречались на равнине.

— Когда вчера мы с тобой расстались, я пришла домой, и знаешь, мне показалось... кого-то не хватает... не тебя, э... как будто кого-то нет...

— Знаю...

— Знаешь, что недостает кого-то?

— Когда-нибудь мы вот так будем гулять по равнине, а за нами будет идти мальчик...

— Да, да... маленький мальчик будет похож на меня...

— Потом будет идти девочка...

— Да, да... А девочка будет похожа на тебя...

— Потом еще одна девочка...

— На тебя похожая...
— И еще один мальчик...
— На меня похожий...
— Ты видел, когда курица идет, а за ней цыплята следом? Ребенок будет пить молоко из моей груди... будет сосать, да?

— Да... Ты будешь давать ему молоко... Он насосется молока и отстранится от груди... Потом посмотрит на тебя и улыбнется...

— Да, да... Посмотрит и улыбнется... А когда проголодается, — скривит губки...

Мариам сжала руки Махмуда.

Семь дней смыли и унесли не только заботы, одиночество, тишину и очевидную теперь бессмысленность прошедших лет: семь дней смыли и унесли также радости, впечатления и волнения прежних лет, потому что эти семь дней были заполнены новыми впечатлениями, новыми радостями, целиком захватившими Махмуда и Мариам. Ни Махмуд, ни Мариам и представить себе не могли, что на свете могут быть такие семь дней, но теперь они забыли, что не могли себе прежде этого представить; во всем мире был только Махмуд и была только Мариам, и мир был широк, был свободен, был приветен.

Теперь был полностью забыт и страх, который промелькнул в сердце Мариам в первый день, под весенним дождем, пролившимся на равнину в часы дневного зноя, и Мариам забыла, что Махмуд некрещеный.

Белая Коза остановилась. Махмуд с Мариам тоже остановились.

— И Белая Коза будет с нами...

Белая Коза как будто поняла, о чем подумала Мариам, и, подняв голову, заблеяла. Махмуд и Мариам, опустившись на корточки, присели друг против друга на коленях.

На широкой равнине кроме них никого не было.

Под ярко-голубым небом, объявшим все вокруг, они были совершенно одни.

Махмуд обеими руками взял Мариам за руки и посмотрел на каштановые волосы девушки, на ее черные глаза, на ее смуглое лицо, на ее тонкую шею, на ее высокую грудь, на ее согнутые округлые коленки, и внезапно Махмуду показалось, что на этой пустынной равнине он услышал голос того молодого певца, привезенного с карабахских гор, но в его ясном голосе, в его чистом голосе теперь не было никакой печали, его голос был светел, и Махмуд изумился, как это в свое время он ушел с торжества, не дослушав молодого певца?

Молодой певец был первым человеком, вспомнившимся Махмуду за эти семь дней. Как это в свое время сердце Махмуда стеснялось, сжималось, и Махмуду казалось, что огромный мир, такой просторный, свободный, привольный, - клетка?

Махмуд провел руками вверх по рукам Мариам, скользнул по ее плечам, по ее шее, задержал их на ее округлой груди, потом просунул обе руки в вырез ситцевого платья Мариам. Ситцевое платье Мариам спустилось с ее плеч и соскользнуло по груди, по талии вниз, груди Мариам обнажились и глянули прямо в глаза Махмуда; как будто и тело Мариам с его свежестью и теплом тоже тосковало по этому простору, приволью мира и теперь вышло на свободу.

Мариам всей грудью приникла к рукам Махмуда.

Все тело Махмуда трепетало с непонятным ему, неосознаваемым чувством.

И вдруг Мариам показалось, что в стороне, среди выгоревших до соломенной желтизны кустов что-то шевельнулось, и Мариам с пугливостью птицы встрепенулась, внимательно поглядела в ту сторону, и Махмуд поглядел в ту сторону, куда смотрела Мариам, потом встал и пошел в ту сторону.

Тихонько лежавший на земле под прикрытием кустов человек, увидев, что Махмуд идет прямо в его сторону, стал ползти назад, потом понял, что если он будет так ползти задом, Махмуд его настигнет, встал и, перепрыгивая через кочки и кусты, удалился.

Махмуд заметил бритую голову еще и в кустарнике поодаль, и хозяин этой бритой головы, которого гянджинцы звали Ибрагим, Отрезавший Сосцы Своей Матери, не усидел в засаде под взглядом Махмуда и встал

Махмуд направился к Ибрагиму, Отрезавшему Сосцы Своей Матери.

Ибрагим, Отрезавший Сосцы Своей Матери, увидел в глазах Махмуда такую печаль, такую боль, что эта печаль, эта боль поразила даже такого толстокожего человека, как Ибрагим, Отрезавший Сосцы Своей Матери, поразила настолько, что Ибрагим, Отрезавший Сосцы Своей Матери, впервые в жизни испытал раскаяние, сожаление и пробормотал:

— Я не по своей воле пришел... Твоя мать послала... — и бочком-бочком удалился. Конечно, ни Махмуду, ни Мариам не могло прийти в голову, что на этой спокойной, просторной, чистой и привольной равнине все семь дней они постоянно были на глазах у нанятых Гамарбану соглядатаев; и в первый день, под тем внезапно обрушившимся дождем, соглядатаи, прильнув к земле, издали с удовольствием наблюдали за ними, и у Ибрагима, Отрезавшего Сосцы Своей Матери, при виде намокшего тела Мариам текли слюни, как у быка, больного ящуром, и все семь дней соглядатаи Гамарбану одновременно и следили за Махмудом и Мариам, и охраняли их, так что гянджинские плуты, дрессирующие людей вместо обезьян, бандиты, грабители, из страха перед Ибрагимом, Отрезавшим Сосцы Своей Матери, не показывались в окрестностях.

Махмуду стало понятно, что вся эта свобода и приволье, это спокойствие и простор были охраняемыми свободой, привольем, спокойствием и простором.

Махмуд, обернувшись, посмотрел на Мариам.

Оставшаяся сидеть на коленях Мариам в сравнении с бескрайностью этой равнины была очень маленькой, одинокой и беззащитной.

Мариам, подняв взгляд, посмотрела в сторону Махмуда и только теперь — через семь дней — вспомнила, что Махмуд не ходит в церковь, что целых семь дней сама Мариам тоже ни разу не ходила в церковь.

Мариам впервые за эти семь дней ощутила страдание...

...Хмурый Пастырь тоже страдал.

Ровно семь дней, как Хмурый Пастырь видел воочию: что-то произошло, и Мариам — не та Мариам, что была прежде, и ровно семь дней в сердце Хмурого Пастыря, и без-того, удрученного делами мира сего, ныла новая рана.

Правда, Хмурый Пастырь всегда был чист перед господом и ни одного мгновения своей жизни не прожил без бога, и поэтому он знал: врата Святой Обители будут открыты перед ним, и в миг последней крайности Святой Старец не оставит его без помощи, но почему так должно было быть, чтобы дело дошло до последней крайности?

Хмурый Пастырь всю жизнь жил в тревоге, потому что всю жизнь проводил в окружении нечестивцев, всю жизнь был свидетелем низких чувств, скверных дел, темных страстей; и в церкви, исповедуя своих единоверцев, Хмурый Пастырь порой приходил в ужас от того, на какие немыслимые преступления способна человеческая страсть, в какой омут затягивают и детей апостольской церкви жадность к золоту, похоть, тщеславие.

Хмурый Пастырь на протяжении всей жизни своей видел несправедливость, порабощение, корысть, разврат и всегда свято верил, что надо терпеть. Разве кочевники не украли скот Иова, разве молния не поразила его отары, разве разбойники не увели его верблюдов и не перебили мечами погонщиков, но и этого было мало, ураган разрушил его дом, умерли семь его сыновей и три дочери, зачервивело тело. И что сделал Иов? Иов терпел.

В этом мраке, затопившем людские сердца, залившим все вокруг, единственным светом, заставлявшим Хмурого Пастыря жить, дающим Хмурому Пастырю силы, были Христос и его учение, да еще... Мариам.

Иногда Хмурый Пастырь пугался своего чувства к дочери, потому что любить рабу Божию Мариам, как бога, было грешно, но чистота Мариам, простота Мариам снимала с него этот грех.

Что же произошло с Мариам?

Мариам никогда в жизни ничего не скрывала от отца, и вообще, что могло быть в прозрачной жизни Мариам такого, что ей надо было бы скрывать от отца? Но теперь Хмурый Пастырь чувствовал: есть нечто у Мариам, чего он, ее отец, не знает.

Так было дважды, это был третий раз.

В первый раз это было тогда, когда Мариам подрастала и однажды, проснувшись, увидела себя в крови и целую неделю дрожала от страха; второй раз это было нынешней весной, когда ей стали сниться причудливые сны, и Хмурый Пастырь понял, что природа делает свое дело и Мариам начинает пробуждаться вместе с весенней землей.

Теперь наступил третий раз, и Хмурый Пастырь догадывался, что произошло нечто более существенное, более серьезное.

Семь дней Хмурый Пастырь думал о том, что же случилось с Мариам, и это мучило Хмурого Пастыря, потому что он предчувствовал что-то дурное, что-то недоброе. Хмурый Пастырь ничего у Мариам не спрашивал, ибо если Мариам было что сказать, она должна была сказать сама, Хмурый Пастырь не должен был ни к чему принуждать Мариам.

Но сегодня вечером, вернувшись из церкви, сев за деревянный стол и взглянув в лицо Мариам, поставившей перед ним миску простокваши и тендирный чурек, он не удержался и спросил:

— Что с тобой?

Мариам посмотрела на отца. Каждая морщинка на лице Хмурого Пастыря была знакомой и родной; другим казался грозным прямой взгляд из-под широких сросшихся бровей Хмурого Пастыря, но для Мариам этот прямой взгляд был родным и ласковым; и, наверное, Анне этот прямой взгляд тоже казался родным и ласковым.

Но тут Махмуд снова появился перед мысленным взором Мариам, и Мариам забыла про чужих людей, убежавших сегодня днем из-за кустов на соломенно-желтой равнине — их равнине, — и снова стала самой счастливой на свете. Хмурый Пастырь спрашивал Мариам о причине ее счастья, и Мариам улыбнулась:

— Ты Махмуда не знаешь, — сказала она.

Все стало ясно.

Мариам, его чистая, его ясная Мариам, видевшая во сне святую деву и младенца Христа, Мариам, ощущавшая во чреве своем то, что ощущала Пречистая, влюбилась в магометанина.

Хмурый Пастырь, долгие годы исповедуя разных людей, научился узнавать их, угадывать, что у них на сердце и Хмурый Пастырь прочитал по улыбающимся и как бы отсутствующим глазам Мариам — частицы его плоти, — что Мариам привязывает к Махмуду не мимолетное девичье чувство, и еще он понял, что это — несчастье.

В жизни все можно было вынести, и Хмурый Пастырь вынес бы все, но поругание веры Христовой вынести было невозможно.

Мариам была чиста, и могла, и должна была осчастливить христианина. Мариам могла и должна была стать матерью христианина, ибо мир был таков, что и среди христиан много званых, но мало избранных, и Мариам могла и должна была увеличить число избранных.

— Может, ты видел Махмуда? Это сын Зияд-хана...

Хмурый Пастырь не ответил, устремил взгляд своих суровых глаз из-под широких сросшихся бровей и стоящую перед ним миску и, сухими пальцами кроша чурек в простоквашу, попытался заглушить поднимающийся к горлу безысходный страх.

Мариам, простая душа... Смотри, как просто она об этом говорит, произнося эти слова как обычные слова, и не ведает о пропуски, что зияет за этими словами. Невинное дитя...

Итак, значит, ханский сын во всей огромной Гяндже не мог упустить Мариам... Не довольно ли того, что тысячи девственниц христианских служат в гаремах неумолимой похоти нечестивых и развратных султанов, шахов, ханов, беков? Распутники и разбойники, не они ли скрывают под чадрами своих жен и дочерей, но берут на поругание даже невест христовых? Распутники и разбойники, не они ли хватают христианских девушек в церкви, в доме господнем, и насилуют по очереди, и продают в рабство нечестивым? Что же, всего этого недостаточно?

Хмурый Пастырь по счастливому лицу Мариам ясно видел, что на этот раз речь идет не о насилии, но это не имело значения; последний свинопас был бы в тысячу раз выше ханского сына — сына нечестивцев-мусульман, и если бы дочь его, плоть от плоти его, ласкала нечестивца, мир занялся бы огнем и сгорел в пламени, ибо что тогда осталось бы на свете и как человек мог бы жить? Если бы и такая чистая, как Мариам, забыв о боге, бросилась в объятия мусульманина, тогда... тогда все было бы ложью.

Хмурый Пастырь вздрогнул от самой этой мысли; сердце Хмурого Пастыря жгла такая ярость, такая ненависть к нечестивцам-магометанам, что казалось, мир и вправду рушится, ибо даже погрязший в грехах, и насилии, и неправде, но обычный мир не мог бы ни породить, ни вынести этого. Мариам ничего не знала о мире, Мариам чиста, Мариам дитя, и Мариам надо было защищать, надо было спасать, а с ней и весь его мир, который уже горел и рушился.

У Зияд-хана были длинные руки. У Зияд-хана были очень хепкие руки, и все окрестности были полны соглядатаев.

Что делать?

Тело Хмурого Пастыря было натянуто, как струна.

Что делать?

В Святую Обитель! В Святую Обитель! К Святому Старцу! Дверь Святой Обители отверзится перед Пастырем. Святой Старец ему поможет. У верных рабов божьих нет такого горя, коему не нашлось бы исцеления в Святой Обители...

В тот вечер и Гамарбану без предупреждения вошла в комнату Зияд-хану.

Сидевшие, скрестив ноги по-турецки, перед Зияд-ханом и обсуждавшие что-то Баяндур-бек и другие придворные встали и, поклонившись Гамарбану, вышли из комнаты; это было впервые, что Гамарбану прерывала созванное Зияд-ханом совещание. Зияд-хан, подняв брови, пристально посмотрел на Гамарбану; Зияд-хан понимал, что если бы не произошло ничего чрезвычайного, Гамарбану вот так бы не пришла.

— Ты знаешь о Махмуде?

В последние годы это было впервые, что Гамарбану задавала мужу такой вопрос; Гамарбану без него переживала свое горе, без него искала выход; с течением лет между Гамарбану и Зияд-ханом воздвигалась незримая стена, и связано это было с тем, что она знала, а он не знал, но теперь и он, и он знал и стену необходимо было разрушить, и Махмуда сообща надо было спасать.

Узкие глазки хана усмехнулись:

— Влюбился в поповскую дочку?

Зияд-хан так и не понял, какие тучи сгустились над головой их сына? Или он просто хочет избежать трудных разговоров? Но разве можно не увидеть, что уже дошло до точки — нож уперся в кость?

Зияд-хан снова усмехнулся:

— Я в его годы тоже был влюблен в тебя...

— Я дочь Музаффар-аги, а не поповская дочка! И Махмуд — не ты!..

Улыбка стояла, сошла с тонких бескровных губ Зияд-хана, и Зияд-хан будто в одно мгновение постарел, спина его ссутулилась.

Да, — сказал он, — Махмуд — не Зияд-хан...

В этих словах не было и следа гордости; в этих словах было такое сожаление, такая боль, что Гамарбану поняла: Зияд-хан, избегая разговоров о Махмуде, просто не хотел сковыривать корку с раны.

Этот изменившийся в одно мгновение облик Зияд-хана и эта мысль так подействовали на Гамарбану, что она не могла больше сдерживаться, вся воля и сила ее внезапно улетучились куда-то, и Гамарбану, медленно опустившись на ковер, согнулась и, словно не в состоянии удержать голову, упала лбом на ковер и среди судорожных рыданий еле выговорила:

— Сегодня... Сегодня... в степи... он увидел моих людей... Вошел ко мне... и так посмотрел на меня... так посмотрел на меня... мне хотелось умереть, Зияд!.. Мне хотелось умереть... Из-за него не повесилась, Зияд... из-за него...

Зияд-хан погладил волосы Гамарбану, выбившиеся из-под шелкового платка, — Зияд-хан и не подозревал, что Гамарбану так поседела.

Зияд-хан произнес стих из корана:

— Каждое существо, имеющее душу, должно умереть по воле аллаха и в соответствии с определенной для него книгой жизни...

— Нет... ради него живу...

— Успокойся...

— Я не могу найти покоя, Зияд... Мне страшно....

— Успокойся... я велю привести девушку... Бог даст, все наладится...

— Махмуд на это не согласится... И про попа нехорошо говорят, Зияд...

— Знаю. Но что капля против моря? Что этот поп против меня?

— А Махмуд? Махмуд хочет жениться на ней, Зияд... Зияд-хан молчал.

Настала ночь.

Гамарбану, подняв лоб от пола, в слезах смотрела на Зияд-хана. Зияд-хан сказал:

— Иди спать... Чем добро в ночи, лучше зло поутру. Иншаллах, утром все наладится...

... Ни Зияд-хан, ни Гамарбану не знали, что, напротив, утром все разладится...

В эту ночь Хмурый Пастырь просил последнего совета у матери Мариам.

Все изменилось, Мариам стала взрослой, у Хмурого Пастыря в волосах и бороде появилась седина, в эту ночь его волосы еще больше поседели — только мать Мариам оставалась, как всегда, молодой, мать Мариам была почти такой, как Мариам теперь, только глаза у нее были знающие.

Родной и ласковый голос прошептал:

— Нет, — прошептал ее голос — Праведна только наша вера, — прошептал ее голос. — Дитя, вышедшее из моего лона, не может спать в объятиях магометанина, — прошептал ее голос. - Идите, — прошептал ее голос. В добрый путь, — прошептал ее голос. — Я буду с вами...

Когда Хмурый Пастырь, увязав котомку, пошел будить Мариам, на губах Мариам блуждала легкая улыбка, и Мариам спала с этой улыбкой на лице. Хмурый Пастырь понял, что Мариам видит во сне что-то хорошее, постоял, подождал, чтобы Мариам досмотрела весь сон до конца, чтобы эта улыбка сошла с губ Мариам, но улыбка не покидала губ Мариам, а ночь не ждала и Хмурый Пастырь сухими пальцами сначала погладил Мариам по каштановым волосам, а потом разбудил.

VII

- Сафи!

Сафи еще раз услышал свое имя, но не понял, это во сне или наяву, и снова услышал свое имя, и внезапно вскочил и подумал, что его опять зачем-то будят люди Гамарбану, но

в дверь никто не стучал, и тут Сафи узнал голос, позвавший его, хотя утро еще не наступило.

Сафи позвал Махмуд.

Сафи было сорок шесть лет, и тридцать лет из своей сорокашестилетней жизни Сафи верой и правдой служил Гамарбану: сначала был слугой во дворце отца Гамарбану Музаффар-аги, потом вместе со слугами и служанками Гамарбану переселился во дворец Зияд-хана и ровно семнадцать лет нянчил Махмуда.

Комнаты Махмуда и Сафи были смежными.

Давно уже Махмуд так не кликал Сафи.

- Сафи!

Сафи вскочил и побежал к Махмуду.

Махмуд в белой ночной сорочке сидел на корточках в постели, и лицо Махмуда было таким же белым, как его сорочка; Сафи понял, что что-то случилось.

В последнее время Сафи иногда казалось, что лицо Махмуда излучает сияние, точно длань пророка Мусы, но теперь и в лице Махмуда, и в его больших голубых глазах был страх.

Сафи поглядел в эти очи, которые от страха стали еще оромней.

- Я видел смутный сон, Сафи!..

У Сафи отлегло от сердца.

Сафи всегда говорил, да и про себя думал, что на свете, Кроме Махмуда, у него никого нет; Сафи до сих пор не женился, потому что не было времени, и зимой желание утолял при случае со служанками и невольницами во дворце, а летом, когда отправлялись на яйлаг, — с деревенскими вдовушками, но не женился; правда, прежде Гамарбану изредка намекала Сафи на женитьбу, и Сафи знал, что Гамарбану желает ему добра: ведь Сафи был для Гамарбану своего рода памятью о детских годах, об отце и матери, и она бы женила Сафи на честной девушке, но Сафи чувствовал и то, что, говоря откровенно, совсем уж откровенно, Гамарбану не хотела, чтобы у Сафи были какие-либо заботы, кроме забот о Махмуде, и, действительно, у Сафи, кроме Махмуда и еще страданий Гамарбану, больше не было никаких забот.

Махмуд не отводил глаз от Сафи.

- Это был смутный сон...

Сафи хотелось вернуться на свое место и хорошенько выспаться до утра, и он не стал тянуть Махмуда за язык:

- Иншаллах, все будет хорошо...

Люди пересказывали тысячи снов, рассказывали о каких-то таинственных совпадениях; однажды даже такая умная женщина, как Гамарбану, три дня и три ночи держала во дворце исфаганского плута с паршивой лисой, кормила-поила, чтобы он нашел средство от бесплодия; Сафи не верил ни в сны, ни в приметы, на колдунов-дервишей, волшебников-сеидов, алхимиков, будто бы превращающих серебро в золото, смотрел как на мошенников; Сафи был человеком от земли и все видел так, как оно есть.

- Нет, Сафи, нет!.. Мне снился разоренный сад... — Махмуд устремил взгляд в неведомую точку поверх головы Сафи и, сосредоточив все свое внимание, старался вспомнить, что видел во сне. — Потом поднялся ураган... Потом, кажется... кажется, я увидел Мариам, Сафи...

Махмуд говорил так серьезно, с такой болью и волнением произносил эти неясные слова, что Сафи ощутил что-то вроде страха и стал утешать Махмуда, а с ним и себя:

- Люди каждую ночь видят тысячи снов, разве все они сбываются?

Вдруг Махмуд подскочил на постели и как будто снова явственно увидел то, что было во сне:

- Это была Мариам, Сафи!.. Мариам попала в ураган!..

Махмуд соскочил на пол и мгновенно выбежал из спальни во двор.

Это было так неожиданно, что Сафи совсем растерялся, сначала хотел поднять шум и разбудить Гамарбану, но на это не было времени, и он побежал за Махмудом.

Махмуд бросился к воротам дворца.

Дворцовые стражи привыкли к странностям ханского сына, но на сей раз, увидев, как еще в темноте Махмуд босой, простоволосый, в белой ночной сорочке, бежит к воротам, просто остоленели и не знали, что делать.

Добежав до ворот, Махмуд из всех сил закричал:

— Отворите! Отворите!

Стражи никогда не слыхали, чтобы ханский сын говорил так резко, им показалось, даже, что это кричит сам Зияд-хан — такая властность была в голосе Махмуда; стражи торопливо отворили ворота, Махмуд выскочил и побежал.

Сафи, тяжело дыша, бежал следом.

Гянджа еще не проснулась.

Улицы, которые вскоре заполнятся людьми, были совершен но пусты. Прошел предраcсветный моросающий дождик, и пыль на улицах улеглась, они были чистыми. Рано вставшие башмачники, зеленчики, мясники, кузнецы, шашлычники мягкими вениками подметали перед лавками и мастерскими, поливали землю водой; заведя бегущих друг за другом двух человек в длинных ночных сорочках, прерывали свое занятие, смотрели на бегущих, но, когда они скрывались из глаз, снова начинали подметать и поливать.

Люди в Гяндже много чего видали, и увидеть их было нелегко.

У Сафи сердце готово было выскочить из рта, но передохнуть он не мог: Махмуд не обращал внимания на мольбы Сафи, ни разу не остановился, даже не оглянулся. Махмуд словно обезумел, и Сафи, задыхаясь на бегу, подумал о Гамарбану: бедняжка!

Гуляя по янтарно-желтой равнине, Мариам как-то показала Махмуду свой маленький белый домик на окраине Гянджи.

Они уже добрались до окраины Гянджи, когда Сафи учуял запах шашлыка.

Во дворе маленького белого домика поднимался дым костра.

Махмуд увидел этот маленький белый домик, увидел поднимающийся со двора дымок и утерил шаг, потом остановился.

Сафи, задыхаясь, догнал Махмуда и, сунув руку под ночную сорочку, стал массировать сердце, едва не вырвавшееся из груди, а потом с трудом произнес:

- Дай тебе... аллах... совесть...

Махмуд ничего не сказал.

Сафи посмотрел в глаза Махмуду, потом посмотрел на маленький белый домик, на который смотрел Махмуд, посмотрел на дым, идущий со двора, и удивился: что за шашлык в такую рань?

Махмуд медленно подошел ко двору белого домика.

Это действительно был дом Хмурого Пастыря.

Махмуд легонько толкнул калитку и вошел во двор, огороженный кустами держидерева.

Сафи вошел вслед за Махмудом.

Четверо мужчин сидели, скрестив ноги, посреди двора, и на грязной тряпке, расстеленной перед ними, лежала грудa шашлыка. Рядом горел костер, угли они сгребли в сторонку, над ними, наколотые на деревянные, жарились куски мяса, и поднимался дым.

Этих людей, рты и руки которых лоснились от жира и были перепачканы запекшейся кровью, соком шашлыка, прикрывали такие лохмотья, что джинн испугался бы; вытаращив глаза, они смотрели на внезапно возникших пришельцев в ночных сорочках.

Самый дюжий, в рваной холщовой рубаше, с чем-то вроде собачьего хвоста на голове, с большой железной серьгой в правом ухе, прыщавый и одноглазый (другой его глаз белел, как яйцо ящерицы) босой мужчина внимательно посмотрел на Махмуда и сказал:

- Клянусь могилой Шахи-Наджафа, это сын Зияд-хана!

Другие, будто не поверив этому, с интересом воззрились на Махмуда.

Сафи узнал одноглазого верзилу: в округе не нашлось бы никого, кто не знал бы самого знаменитого нищего Гянджи Попрошайку Исраила.

Попрошайка Исраил поднялся на колени и сказал:

- Присаживайтесь! Угощайтесь!.. Накажи меня святой Аббас, если я когда-нибудь ел такой вкусный шашлык!..

Махмуд чувствовал, что от шашлычного дыма у него кружится голова, и кроме дыма и шашлыка, и нищих, тут есть что-то еще, и в эту минуту Махмуд увидел брошенную в угол двора голову Белой Козы.

Голова Белой Козы стояла прямо. Кровь запеклась на шее Белой Козы, глаза ее были открыты, и эти открытые мертвые глаза были равнодушны ко всему на свете.

Сидевший среди нищих лысый посмотрел на голову козы, на которую был устремлен взгляд Махмуда, и сытым голосом громко запричитал:

Идет коза рогатая
За малыми ребятами,
Забодает, забодает, забодает!..

Четверо, сидевшие у костра, от души рассмеялись прибаутке, Попрошайка Исраил провел своей большой ладонью по лысине шутника:

- Это не простой плешивый! — сказал он. — Его называют Плешивый Нохуду. Плешивый Нохуду все знает! Айрана выпьет, кошку оседлает!

Снова громко рассмеялись, Попрошайка Исраил встал, пошел за головой Белой Козы и мимоходом смачно сказал Махмуду:

- Вырву у нее язык и сделаю из него шашлык для дорогого гостя!.. Шашлык из языка — самый лакомый шашлык!.. Да вы садитесь... Садитесь...

Попрошайка Исраил схватил голову Белой Козы за рога, поднял ее.

В глазах Махмуда появилось выражение боли и ужаса, Махмуд смотрел на голову Белой Козы, которую держал в руке Попрошайка Исраил.

Попрошайка Исраил сунул в рот Белой Козы большие мясистые пальцы обеих рук и начал силой разводить челюсти.

Рот Белой Козы медленно открывался, и сквозь сильные и толстые пальцы Попрошайки Исраила просунулся ее тонкий язык.

Внезапно из груди Махмуда вырвался вопль, и даже у Сафи, за сорок шесть лет жизни слыхавшего немало воплей: волосы встали дыбом, и даже Попрошайку Исраила ошеломил этот вопль.

- Сафи!.. Сафи!..

Махмуд не мог найти других слов, белая рубашка Махмуда, прилипшая к телу, стала краснеть, и Сафи в ужасе подумал, что Махмуда прошиб кровавый пот, из тела его выступила кровь.

- Сафи!.. Сафи!..

Махмуд не мог найти других слов, но всю боль своего сердца вместил в одно это слово.

У Попрошайки Исраила, разрывавшего рот козы, опустились руки. Попрошайка Исраил и его приятели ошеломленно глазели на Махмуда и не могли понять причины душераздирающего вопля.

- Сафи!.. Сафи!..

Махмуд, сорвавшись с места, ринулся со двора, пропахшего шашлычным дымом, и бегом, сколько было сил, помчался прочь от дыма, от запаха шашлыка.

Сафи побежал вслед за Махмудом.

Запах шашлыка не отставал, не иссякал, словно пропитав и сорочку Махмуда, и его тело.

Оставшиеся в этом маленьком, безмолвном, укромном уголке Попрошайка Израил и его друзья переглянулись. Попрошайка Израил первым пришел в себя и выругал Махмуда, который вдруг появился в самый разгар веселья и устроил шабих — представление в память убиенного имама Гусейна.

-Полоумный какой-то!

И действительно, кто, как не полоумный, может испугаться отрезанной козьей головы и самой вкусной еды на свете — шашлыка из козьего языка?

Попрошайка Израил вновь хотел раскрыть рот Белой Козы и вырвать и изжарить ее язык, но тут произошло событие, вызвавшее изумление всей Гянджи: руки Попрошайки Израила не послушались его.

Обе руки Попрошайки Израила ниже локтя отсохли.

Сидевшие у костра его друзья-нищие, поднявшись, с трудом вырвали голову Белой Козы из высохших неподвижных пальцев Попрошайки Израила.

С того утра Попрошайка Израил, бывший грозой нищих, голодных, бездомных, стал самым жалким из них, и дошло до того, что у него отнимали даже милостыню, которую он собирал, а вскоре ничего не осталось от большого сильного тела Попрошайки Израила, он съежился, ссохся, забылась прежняя кличка Попрошайки Израила: все называли его Израил-Коза, потому что Израил вдруг ни с того, ни с сего начинал блеять, как коза; сидя на углу одной из улиц, ведущих к базару, он просил милостыню, блея, как коза, и медные монеты, которые бросали ему прохожие, хватали стерегшие в засаде мальчишки и убегали; а однажды зимой Израил-Коза проблеял с вечера до утра и умер...

... Ни в то утро, когда они вбежали во двор Хмурого Пастыря, ни после, раздумывая над этим, Сафи никак не мог понять, откуда Попрошайка Израил и другие, нищие в ту же ночь узнали, что двор обезлюдел, что коза осталась без хозяев? Впоследствии, когда он стал богатым человеком, Сафи однажды рассказал эту историю подошедшему к его дому нищему и задал ему этот вопрос. Нищий, усмехнувшись в поседевшие длинные усы, сказал: «Господин, безлюдье и разорение имеют свой запах...»

... Во дворце был переполох: поп ночью забрал дочку, в которую влюблен Махмуд, и ушел из Гянджи, и сын Зияд-хана хотел отправиться на поиски увезенной христианской девки.

Странное дело, Зияд-хан не любил сидеть на троне, которым овладел и который удерживал с таким трудом и мучениями: он всегда сидел, скрестив ноги, вместе с векилом и визирем на тюфячках, разложенных на ковре; только в самые грозные, самые трудные времена поднимался он на трон.

Сейчас Зияд-хан сидел на троне. Гамарбану сидела справа. Все их приближенные стояли наготове и ждали повелений.

Зияд-хан больше не хотел ни от кого ничего скрывать, не хотел и сам себя обманывать: судьба наследника в сущности была судьбой ханства.

Узкие глазки Зияд-хана покраснели.

Велю сегодня же найти попа и содрать с него кожу. А дочку привести во дворец. Баяндур-бек!

Стройный, высокий и красивый Баяндур-бек сделал шаг вперед:

— Слушаю, хан.

— Даю тебе срок до вечера. Махмуд ничего не должен об этом знать.

Баяндур-бек был умный и отважный человек, которого в последние годы привечал и продвигал вперед Зияд-хан. Когда хан порой замыкался в грустных размышлениях о продажности и двуличии своего окружения, Баяндур-бек был единственным человеком, вспомнив которого, Зияд-хан находил утешение, потому что и ум, и меч Баяндур-бека с искренней преданностью служили Зияд-хану; когда нужно было хранить тайну, когда дело было сугубо доверительным, Зияд-хан выполнял его рукой Баяндур-бека; все дарга -

управляющие округами - были подчинены Баяндур-беку, и по сути дела Баяндур-бек был также и командующим войсками.

Баяндур-бек поклонился и сказал:

- Продли срок до завтрашнего утра, хан.

Баяндур-бек должен был выполнить поручение Зияд-хана во что бы то ни стало; Баяндур-бек никогда не говорил попусту, и все поняли, что Баяндур-бек сомневается в том, сможет ли найти попу до вечера, но до завтрашнего утра хоть из-под земли достанет, и всем было совершенно ясно, что завтра с попу сдерут шкуру живьем.

Мирза Салман, приложив ладонь ко рту, дважды тихонько кашлянул.

Зияд-хан, сердито взглянув на Мирзу Салмана, спросил:

- В чем дело, старик?

Мирза Салман сделал шаг вперед, поклонился и наматывая конец узкой длинной бороды на указательный палец, сказал:

- Природа наша двойственна: в любом есть и тело, и душа, но разделять эти два естества волен только аллах, потому что он — создатель, и отбирать данное им — только в его власти.

У Зияд-хана иссякло терпение:

— Говори проще, старик!

— Да будет здоров хан, я призываю тебя к спокойствию. Хаджа Насиреддин Туси в одной из своих книг приводит в пример такие слова целителя Богратисиса¹: я скорее поверю в то, что спасется корабль, швыряемый бурями и теснимый волнами величиной с гору, чем в то, что может успокоиться тот, у кого от бешенства выступила пена на губах, ибо моряки, возможно, изыщут какой-то способ и спасут сей корабль, а разбушевавшийся гнев ничем погасить невозможно: сколько бы ты ни увещевал его, ни молил, пытаюсь отвлечь, он будет походить на костер, куда часто подбрасывают сухие щепки, он будет воспламеняться все сильнее и выйдет наружу.

Баяндур-бек бросил на Мирзу Салмана взгляд исподлобья. Баяндур-бек по природе был нетерпелив, и всякий раз многословие Мирзы Салмана, его стремление походить на Бюзюркмехра, визиря славного сасанида Ануширвана, раздражало Баяндур-бека. И на этот раз Баяндур-бек хотел сказать что-то резкое Мирзе Салману, но Зияд-хан жестом остановил его и задумчиво сказал:

— Мирза, всегда плача по двенадцати имамам, один раз нужно поплакать и по еретику Езиду. К тому же я — не Езид ибн Муавия, ты это хорошо знаешь, я набожный человек. Я и в пылу битвы, и под вражеским натиском не пропускал намаза...

Мирза Салман прочитал наизусть из корана: «Набожность не в том, чтобы вы поворачивали лицо к востоку или к западу; набожные — это те, что веруют в аллаха, в загробную жизнь, в ангелов, в священную книгу, в пророков; любя его, раздают свое имущество ближним, сиротам, беднякам, путникам, нищим, а также для освобождения рабов; совершают намаз, платят зекат, поклявшись, точно выполняют принятое на себя, подвергшись несчастью, — тут Мирза Салман стал выговаривать святые слова с особой отчетливостью, — попав в беду, и в бедствии бывают терпеливы. Такие люди суть праведные люди; та кие люди набожны».

Поскольку Мирза Салман читал коран, Баяндур-бек не мог прервать его, но, когда Мирза Салман кончил, Баяндур-бек рванулся, как натянутая тетива:

— Что ты говоришь, старик? Проклятый безбожник жалеет свою дочь для ханского сына, покрывает нас срамом, а мы должны сложить руки на груди и молчать?

Мирзу Салмана, обращаясь к нему, называл «старик» только Зияд-хан, да и то лишь тогда, когда бывал сердит, и тон Зияд-хана, которым заговорил Баяндур-бек, Мирзе Салману не понравился. Поглядев на Баяндур-бека искоса, он снова обернулся к Зияд-хану и сказал:

¹ Богратисис — Гиппократ

- Я говорю с ханом, а не с подданным!..

Баяндур-бек побагровел, и на виске его забила синяя жилка. Баяндур-бек действительно вышел из низов, отец его был землепашцем, но то, что Мирза Салман вспомнил об этом при всех, Баяндур-бек никогда не забудет, и это дорого обойдется Мирзе Салману.

Баяндур-бек решался в присутствии Зияд-хана говорить такое, чего не смел сказать никто другой, и в последнее время, когда некоторые надменные люди, такие, как Мирза Салман, ставили Баяндур-бека на место, Зияд-хан, в сущности, бывал доволен: мол, верно, Баяндур-бек, ты храбр, умен и предан мне; я возвысил тебя, как Султан Махмуд Газневи — своего слона, но все-таки это я вытащил тебя из грязи, так что не забывайся и помни, кто ты есть; но теперь Зияд-хан был далек от этих мелких тяжб, от этих маленьких дворцовых схваток и, прикрыв покрасневшие глаза, потер рукой лоб:

— А как же Махмуд, Мирза?

Вопрос Зияд-хана исторг глубокий вздох из груди Гамарбану, и все, отведя взоры от Зияд-хана, посмотрели на Гамарбану: в течение одного утра Гамарбану словно истаяла, стала меньше ростом и вела себя так, будто все эти разговоры не имели к ней отношения. Гамарбану устала. В мозгу Гамарбану, во всем теле ее была бесконечная усталость — усталость не только этого горестного утра, но усталость долгих лет, а это утро только dokonало ее окончательно.

Зияд-хан открыл глаза и повторил свой вопрос:

- А Махмуд? — потом он стал говорить как бы сам с собой: — У Махмуда сердце как стекло, Мирза... Махмуд хочет отправиться за ними. Войска не берет с собой, всадников не берет... Что же, пусть Махмуд станет дервишем и начнет скитаться по степям? Так что ли, Мирза?

Из груди Гамарбану снова вырвался стон; в утомленном мозгу Гамарбану промелькнуло: до чего дошло в этом подлом мире, если такой человек, как Зияд-хан, столь откровенно и беспомощно говорит со своими подданными.

Мирза Салман, наматывая конец бороды на указательный палец, угрюмо сказал:

- Да будет здоров хан. Махмуд — дитя Высшего мира, и мы, обитатели Низшего мира, часто его не понимаем...

Зияд-хан стиснул зубы и оглядел одного за другим стоявших перед ним придворных:

- Да, — сказал он, — Махмуд вам не ровня...

И в это время вошел Махмуд.

Все усталились на Махмуда, и Гамарбану снова застонала, но беззвучно.

Никогда устремленные на него взгляды не казались Махмуду такими тупыми и темными и такими жалкими; эти люди не понимали самого простого — что Мариам одинока на свете, и если Махмуд предаст Мариам, то это будет означать, что в мире нет ни чистоты, ни правды.

Сегодня утром Махмуд многое понял.

Отрезанная голова Белой Козы сказала Махмуду многое.

Земные горести состояли не только в том, что горячий чурек обжигает рот, а крапива — ноги; земные горести состояли и не в том, чтобы издали почувствовать грусть в голосе молодого певца, встать и покинуть дворцовое пиршество; в таком мире срывать цветочки в саду казалось теперь Махмуду смешным, и Махмуд стыдился прежнего себя; поселиться в библиотеке, день и ночь читать книги значило всю жизнь, не пробив скорлупы, проводить в яйце, всю жизнь просидеть в совершенно пустом, высохшем яйце.

Как только Махмуд вернулся во дворец из белого домика, сразу же сказал Гамарбану, что пойдет за Мариам, причем пойдет один, будет искать и найдет Мариам, и Гамарбану, глядя в большие голубые глаза Махмуда, поняла, что так оно и будет, поняла, что Махмуд — не прежний Махмуд; Махмуда нельзя было связать,

Махмуда нельзя было посадить под домашний арест, с Махмудом ничего нельзя было сделать — это было ясно как день.

В совершенно обессиленном сознании Гамарбану единственным светлым пятном было рябое лицо Ибрагима, Отрезавшего Сосцы Своей Матери, его алчные глаза, ибо его алчность была понятна и надежна: ее можно было утолить золотом, и с ее помощью Гамарбану не ездила бы глаз с Махмуда, следила бы за Махмудом и, помимо всех прочих стражей и шпионов Зияд-хана, через Ибрагима, Отрезавшего Сосцы Своей Матери, и его людей, сама тоже охраняла бы Махмуда...

...Гамарбану не знала, что придет некое известие, и Махмуд в тот же миг будет оставлен Ибрагимом, Отрезавшим Сосцы Своей Матери, а за счет полученных от Гамарбану мешочков с золотом Ибрагим, Отрезавший Сосцы Своей Матери, пустится в разгул с развратными еврейками, армянками, гречанками, а потом, когда истратит деньги до последней таньги, будет изгнан, чтобы снова ведомыми ему кривыми путями накопить денег и снова просадить их с теми же девками...

... Нет худа без добра, может быть, и к лучшему, что Махмуд отправился в путешествие? Может быть, пройдет огни и воды — что-нибудь в жизни осознает? Может быть, так и надо — и путешествие укрепит, умудрит Махмуда? Все равно и в отдалении Махмуд будет виден Зияд-хану как на ладони.

Зияд-хан смотрел на стоявшего перед ним Махмуда. Аллах после девятилетней тоски дал ему сына, и вот самое странное: Зияд-хан не знал, радоваться этому или плакать. Когда Махмуда рядом не было, когда сын не стоял так лицом к лицу с Зияд-ханом, Зияд-хан лучше разбирался в своих мыслях о сыне а своим приходом Махмуд словно затуплял лезвие отцовского меча, режущего, как бритва, чистота Махмуда была сильнее и гнева, и корысти в сердце Зияд-хана.

Зияд-хан уже понимал, что колебания напрасны, он разрешит Махмуду отправиться в путешествие, потому что такой грешный человек, как Зияд-хан, с обагренными кровью руками, с Черными мыслями, не сможет устоять перед чистотой Махмуда. Зияд-хан согласится на уход сына еще и потому, что Махмуда Невозможно было отговорить от его решения, и Махмуд откажет послушает его; но нельзя, чтобы люди сочли Махмуда недостойным, непокорным сыном, отказавшим отцу, деда учили нас, что джигита украшает послушание и надо беречь честь смолоду, и сын, который ослушается отца, в том сыне чести искать не приходится - Зияд-хан не хотел вынуждать сына к непослушанию.

Зияд-хан усмехнулся, и по сердцу его потекла черная кровь: конечно, все эти мысли были самообманом, он хотел хоть как-то себя утешить... А разве влюбиться в христианку и, как Меджнун, скитаться по степям - не самый большой срам на свете? Кого же Зияд-хан обманывал?

Зияд-хан посмотрел на Гамарбану и вдруг увидел, что Гамарбану так съежилась, скорчилась, что у него волосы зашевелились, и, собрав все свои силы, он захотел успокоить Гамарбану взглядом своих узких глаз.

Шпионы Зияд-хана собрали сведения, что родина Хмурого Пастыря - Эрзерум, и Хмурый Пастырь, несомненно, направился в сторону Эрзерума. Когда шпионы сообщили эту новость, Махмуд находился рядом с Зияд-ханом. Из страха перед Султаном Салимом Хмурый Пастырь, конечно, не мог бы двинуться дальше - миновать Эрзерум, да и в любом случае люди Зияд-хана все равно дознались бы, где Хмурый Пастырь и куда направляется. В Эрзеруме же был молодой правитель по имени Сулейман-паша, и Зияд-хан мог обратиться за помощью к Сулейман-паше, но Зияд-хан не доверял этому молодому паше, потому что с год назад получил от этого Сулейман-паши странное письмо. Сулейман призывал к какому-то невероятному единению и союзу всех тюркских народов на свете, призывал тюрок объединиться, мечтал о Великом Государстве Тюркских Народов; получалось, что нет никакой разницы между азербайджанцами и османцами, узбеками и якутами и все они должны быть вместе. Прочитав это письмо,

Зияд-хан, опасаясь какой-нибудь интриги, хотел переслать письмо Шаху Исмаилу, но потом раздумал: в письме, помимо этих несообразных мыслей, была и какая-то несообразная искренность; правда, Зияд-хан не написал и ответа, не написал ему: эй, юнец, с такими мыслями в это трудное время ты себе шею свернешь и мать-бедняжку в слезах оставишь...

Разумеется, Зияд-хан поднимет на ноги весь сыск своего округа, поднимет на ноги своих соглядатаев, присматривающих за работой окружных шпионов, а чтобы приглядывать за своими соглядатаями, наймет доносчиков особо; он не позволит, чтобы хоть один волос упал с головы Махмуда, но Махмуду-то глаза не завяжешь, и Махмуд увидит мир таким, каков он есть. Сердце Зияд-хана охватил ужас, что Махмуд не вынесет увиденного, потому, что Махмуд поистине не готов к тому, чтобы увидеть подлинное лицо этого мира и вынести это, но что можно сделать? Вода прольется, иссякнет, скалы обрушатся, истают, мир - окно, прохожий заглянет, уйдет... Нет, может быть, и вправду так лучше? Я не утешаю себя, не обманываю себя - может быть, это случай, который нам подбрасывает судьба? Может быть, это испытание, которое посылает нам аллах, и, когда это испытание будет позади, сегодняшние страдания останутся в прошлом и больше не вернуться?

Гамарбану знала, что для тайной охраны Махмуда Зияд-хан поднимет на ноги все бейлярбекство, но алчность Ибрагима, Отрезавшего Сосцы Своей Матери, была более надежной защитой, и еще... и еще... конечно...

- Сафи!.. Сафи тоже пойдет с тобой!..

Гамарбану впервые открыла рот и сказала слово. Хотя бы Сафи должен пойти с Махмудом. Хотя бы Сафи должен быть рядом с Махмудом. Однако обессиленный мозг Гамарбану снова заныл, снова безжизненно возопил: Рабия Бесрели в пустыне спасла собаку: отрезала косы, привязала к ним рубаху, опустила рубаху в колодец, напоила пса... А ведь я жажду сильнее того пса, почему же меня никто не спасет?

Гамарбану была не в себе, ее воспаленные от бессонницы глаза не просили помощи у Махмуда, в ее глазах был укор, глаза Гамарбану, глядящие на сына, впервые укоряли его; сынок, думающий обо всех и не думающий о своей матери, жизнь моя, сынок, зеница ока моего, сынок, мой бедный, попавший в беду сынок, в этом неверном мире я бы с тобой не рассталась; сынок, показавший мне силу рока, а ты не думаешь, что прольется кровь? что ветер задует, вопль раздастся? разве ты не знаешь, что матери жизнь отдадут за землю, по которой ходило ее дитя? почему судьба велела, чтобы я не могла сказать, что мое дитя - хан, хан с египетским мечом на поясе, бьет как богатырь? почему эти слова так и остались навсегда запертыми в моем сердце? когда ты был малышом и плакал, я давала тебе грудь, ты успокаивался, я улыбалась, а теперь что мне делать? И вдруг Гамарбану вспомнились слова, слышанные ею когда-то, много-много лет назад, когда она еще была ребенком: дитя - вкусом как мед, и дитя обманывает: сладость его сладостна, но и горечь тоже вкусом как мед; и боль этих слов еще больше спутала мысли Гамарбану, перед глазами возникла серая паутина, и все словно растворилось и исчезло в этой паутине.

Махмуд различил в глазах Гамарбану такое же выражение, с которым сегодня рано утром смотрела голова Белой Козы с запекшейся на шее кровью, и Махмуд отвел свои глаза от матери, потому что Махмуд испугался, что утомленные и обессиленные глаза Гамарбану могут отделить его от Мариам, а Мариам останется одна.

Мирза Салман, глядя в большие голубые глаза Махмуда, переживал потрясшее все его существо изумление: как это вышло, что чистое, ясное сердце Махмуда спешит осчастливить другую и самому быть счастливым, а свою родную мать делает несчастней всех на свете?

Баяндур-бек, сделав осторожных два-три шага, встал перед Махмудом, и Зияд-хан внезапно угадал в этих осторожных шагах хищную жадность тигра, подкрадывающегося к добыче, и напрягся: нервы не выдержали...

Стиснув сильные челюсти, чья мощь сквозила под тонкой кожей, Баяндур-бек поднял руку, положил ее на руку Махмуда и сказал:

- Возьми с собой Сафи...

Это была просьба брата, но Баяндур-бек не мог достаточно долго смотреть в глаза Махмуду: Баяндур-беку показалось, что Махмуд читает в его глазах.

Сафи не осмеливался войти, стоял в дверях, ждал, что ответит Махмуд. Правда, Сафи не хотелось, оставив во дворце спокойную постель, готовую еду, подобно дервишу скитаться по степям, но Сафи не хотел и оставлять Махмуда одного; чтобы хоть как-то утешить Гамарбану, Сафи считал нужным пойти с Махмудом, считал это своим долгом, и даже был горд тем, что в такую минуту Гамарбану доверилась ему одному.

Махмуд сказал:

- Пусть пойдет...

Слова Махмуда растрогали Сафи.

Гамарбану устало взглянула на Баяндур-бека и едва заметно улыбнулась; это была благодарная улыбка человека, которому отрубили девять пальцев, а десятый - оставили. Зияд-хан посмотрел на Баяндур-бека и взглядом своих узких глаз точно попросил прощения за давешние мысли.

Потом вдруг в ушах Гамарбану прозвучал детский крик, и Гамарбану поняла, что это голос Махмуда, первый крик Махмуда на этом свете, который он издал, выходя из лона Гамарбану; потом Гамарбану уже ничего не слышала, ничего не видела и ничего не знала.

В тот же день Зияд-хан, раздав поручения дарга и сыщикам в связи с путешествием Махмуда, взял Сафи за руку и повел в сокровищницу.

- Теперь ты будешь иметь дело со мной!

Сафи всем существом почувствовал угрозу в этих словах, в этих пристально глядящих узких глазах и понял, что на этом свете судьба Махмуда и судьба Сафи замешаны вместе. Сафи не пожалел об этом, потому что у Сафи, прожившего сорокашестилетнюю жизнь, не было никого, кроме Махмуда, и больше никого не будет.

- Все это принадлежит Махмуду! Все! Все!.. - Зияд-хан с болезненным блеском в глазах оглядывал сундуки, кувшины, лари и шкатулки сокровищницы. - Но вот это, пусть будет с Махмудом! Всегда! Всегда пусть будет при нем!.. На свете ничего нельзя предугадать заранее!.. Ничего!..

Зияд-хан с непонятной для него самого, не осмысленной им решимостью выбрал по одной самые редкие драгоценности сокровищницы и дал Сафи. Привезенные из Индии, Китая, Ирака, Йемена, Абиссинии, с Запада, купленные за золото, собранные угрозами, награбленные силой меча, эти алмазы, изумруды, бирюза, яхонты - все должно было принадлежать Махмуду, а на бренный мир надежды не было.

Сафи разместил драгоценности на поясе под рубашкой.

Зияд-хан сказал:

- Теперь ты самый ценный человек в стране. Но шея у тебя из мяса!

Животный страх охватил все тело Сафи, потому что Сафи, правда, знал, что Зияд-хан состоятелен, даже богат, но никогда не мог бы представить, что столько драгоценностей сосредоточено в одном месте и все они принадлежат одному человеку.

Зияд-хан дал Сафи на дорогу три-четыре мешочка золотых и потом, сколько понадобится, обещал посылать. Сафи изумился: разве столько золота можно когда-нибудь полностью истратить? Зияд-хан будет постоянно присматривать за ними, но Сафи тоже должен почаще писать письма, давать золотой гонцу и посылать с ним, и Зияд-хан велит во дворце дать тому гонцу, что принесет письмо, еще два золотых.

В этот день Зияд-хан разъяснил Сафи все повеления свои по одному.

В этот день Махмуд сел на самого умного, самого послушного и самого терпеливого пятнистого жеребца Зияд-хана и выехал из дворца. Сафи тоже оседлал коня,

ногу в стремя, колено - к ребру, стегнул коня хлыстом и вместе с Махмудом пустился в путь.

Мирза Салман, глядя вслед удаляющимся и исчезающим из глаз всадникам и наматывая конец узкой бороды на указательный палец левой руки, тихонько сказал про себя:

- Жаль эту дюрри-етим - розовую жемчужину...

Ни Зияд-хан, ни Гамарбану не знали, что разлука - навечно. С того дня как Махмуд уехал, Гамарбану оделась в траур - в голубое и черное, и Зияд-хан, посмотрев на Гамарбану, с беспокойством подумал: плохи дела, кто чего боится, то с тем и случится...

О том, что эта разлука была навечно, знал во дворце только один человек.

III

Время от времени беззвучно сверкала молния, и Махмуд в свете мгновенных вспышек видел внимательные глаза Чобана; будто Чобан, оторвавшись от горных склонов, от овец и баранов, переселился в сказочный мир и в этом сказочном мире дышал не воздухом, а произносимыми Махмудом словами.

Махмуд пересказывал Чобану, дававшему в дождливую ночь приют ему к Сафи, «Лейли и Меджнун» Шейха Ильяса Низами.

Весь день они скакали на конях; в пору, когда собаки от волка не отличишь, их настиг ливень, они так вымокли, словно перебирались вплавь через реку. Ни дождь не переставал, места они не находили, чтобы слезть с коней и укрыться от дождя. И Сафи подумал: кажется, попали мы в Ноев потоп... Внезапно среди шума дождя до слуха Сафи донесся собачий лай; налитыми водой глазами он огляделся по сторонам, увидел свет костра, и они направились к костру.

Сафи пригляделся и увидел, что это яйлаг -, где пасутся овцы и бараны, и есть при них один пастух, совершенно неотесанный Чобан.

Подняв дубинку, как палицу, пастух закричал:

- Кто идет?

Сафи сказал:

- Рабы божьи.

Сафи никогда не говорил, кто они такие, потому что боялся за драгоценности у себя на поясе, боялся, что украдут доверенное Сафи достояние Махмуда, а сам-то Махмуд понятия не имел о своем достоянии.

Пастух дал путникам место в тесной палатке, разжег ярче огонь в очаге, Сафи подержал над очагом одежду Махмуда, высушил, а сам раздеваться не стал, боясь, что увидят его пояс. Пастух вскипятил молоко, принес сыру, сбрызнул водой сухой лаваш, и Махмуд как бы в награду за все это стал рассказывать оторванному от мира и жившему среди животных пастуху «Лейли и Меджнун» Шейха Низами, а Сафи ожидал, когда этот рассказ окончится.

Махмуд читал «Лейли и Меджнун» три года назад, когда ему было четырнадцать лет, но теперь, в тесной палатке Чобана, повесть о Лейли и Меджнуне приходила ему на память чуть ли не строка за строкой, и Чобан сидел, поджав колени, звука не издавал и внимательно слушал эту странную историю.

Дождь перестал, но небо не прояснилось, часто сверкали беззвучные молнии, должно было снова полить, и Сафи, снова попав под дождь, превратился бы в мокрого цыпленка; одежда на Сафи все еще была мокрая, и Сафи боялся, что заболит воспалением легких и умрет; Сафи и не предполагал, что Махмуд такой крепкий: пострел ни усталости не знал, ни холода и дождя не чувствовал.

Когда окончится это путешествие и когда Сафи снова вернется на свою мягкую постель во дворце? Когда Сафи избавится от драгоценностей в поясе? Страх за эти драгоценности мучил Сафи, лишил его последних сил.

Махмуд рассказывал «Лейли и Меджнун», а неотесанный пастух, раскрыв рот, тупо слушал его. Сафи не любил вымышленных историй, хотя в сущности этот Меджнун был похож па Махмуда; впрочем, Сафи не верил и тому, что чувствовал, о чем думал - он только тому верил, что видел и мог пощупать, а видел он скачку на коне с утра до ночи, на еду времени нет, напиться и то некогда; и Сафи, позевывая, ждал, когда Махмуд кончит и когда они заснут, ибо Сафи еще должен был написать письмо Зияд-хану. После того как Махмуд и Чобан уснут, Сафи, наконец, разделется, подсушит одежду над костром и в свете его напишет первое письмо Зияд-хану.

В свете костра Махмуд видел большие грубые руки Чоба-на. - и не только большие грубые руки, но и дыхание Чобана свидетельствовало о том, что он работает, что он трудится, что он день и ночь проводит на ногах. Этот человек сильно отличался от дворцовых слуг, в этом человеке было нечто такое, что может быть только в самой земле: черная земля зеленела и давала урожай, и все существо этого Чобана, пахнущего потом, пометом, овечьим сыром, дымным костром, говорило об изобилии. И то, что такой человек сидит и как ребенок слушает, еще больше воодушевляло Махмуда, и Махмуд так пересказал конец «Лейли и Меджнун», что и Сафи, не удержавшись, сказал ему в душе «молодец» и прослезился.

Воцарилось молчание.

Чобан отвел глаза от Махмуда, посмотрел на Сафи и сказал:

- Путник, приятель, эта любовь, что ни говори, от безделья. От легкого хлеба и питья.

Слова Чобана были так неожиданны и поразительны, что Сафи стало жаль Махмуда.

- Путник, приятель, если бы Меджнун, как я, вдалеке от жилья, пас баранов по горам, по долам, не знал бы, когда лето, когда зима, только во сне видел бы женщину, не стал бы он сходить с ума по Лейли, а послал бы сватов и женился - не на ней, так на другой.

Махмуд промолчал.

Может, это правда, может, и вправду любовь - от безделья и сытости?

И вдруг, словно из залитых дождями степей, из бескрайних безлюдных степей, сквозь шорох льющейся потоками воды послышался горестный голос, и был он голосом молодого певца, привезенного в гянджинский дворец с карабахских гор; и словно этот далекий голос говорил: «Нет, братец-пастух, ты ошибаешься, - говорил он, - ты ошибаешься, братец-пастух».

Перед глазами Махмуда появилось лицо Мариам, и Махмуд внезапно ощутил в тесной палатке простор и приволье янтарной равнины. Нет, нет... Нет, бедный Чобан, ты не знаешь того, что знал Меджнун, а Меджнун не знал того, что знаешь ты. Твои заботы были чуждыми для Меджнуна, ибо Меджнун ничего и никого, кроме Лейли, не видел, а ведь кроме разлуки, в этом мире много труда и забот. Но, кроме труда и забот, в мире есть любовь, есть, есть любовь, и ты, бедный Чобан, не знаешь любви. Да, Чобан, Меджнун был несчастен, но и ты несчастен, Чобан. За те дни, что Махмуд выехал из Гянджи, он повидал многое.

В ту ночь Сафи не нашел времени посушить одежду над огнем, он успел только украдкой написать в свете костра письмо и наутро с гонцом отправил это письмо Зияд-хану.

«О наш венценосный Зияд-хан. На земле - ты, на небе - аллах. Нет бога кроме аллаха, и да упокоит аллах единый души всех твоих предков в раю и да продлит жизнь твоим потомкам. Ты справедлив и могуществен, все знаешь и все видишь, но как ты поручил мне написать письмо, то я и пишу тебе письмо, сообщаю о нашем положении. Десятый день уже, как мы в странствии, и я никак не мог утаиться от зеницы ока моего Махмуда, чтобы написать письмо, и только теперь мне выпал такой случай. Нет никого, кто бы сказал: я видел этого проклятого врага нашей веры - попа; наверно, он

передвигается по ночам, хорошо укрывается, покровители его, такие же безбожники как он, вынося пытки, которым их справедливо подвергают твои люди, все же не выдают проклятого попа, которого прячут по ночам в своих мерзостных норах. Твои люди изыскивают возможность тайком от зеницы ока моего Махмуда повидаться со мной и сообщают мне об этом. Как ты мне велел, я все хочу повлиять на зеницу ока моего Махмуда, хочу отвратить его от этой поездки, но пока ничего не получается. Каждый раз, рано утром отправляясь в путь, я умоляю: «Вернемся, хан ханов Зияд-хан, наверно, оплакивает тебя, как Якуб Юсифа. Кто ближе тебе, чем хан ханов Зияд-хан?» Ты мне велел, чтобы я ничего от тебя не скрывал, и потому пишу тебе, что на это отвечал мне зеница ока моего Махмуд. На мои слова Махмуд отвечал так: «Что такое близкий человек и что такое далекий человек, Сафи? С одной стороны, разве Эсма не отравила мужа своего Гасана, сына имама Али? С другой стороны, разве вдова Гарун-ар-Рашида Зубейда сразу же после смерти мужа не раздала своего состояния голодным всей земли? И близость и отдаленность - в самом человеке, в душе его». Я, не удержавшись, спрашиваю: «Если нет ни близких, ни дальних, почему тогда отец и мать любят свое дитя больше других?» Зеница ока моего Махмуд отвечает: «Отец и мать любят свое дитя, Сафи, потому что оно их дитя. Но родительская любовь - это одно, любовь к людям - другое. Даже самый низкий человек, которого все сторонятся, - чей-то ребенок, и его мать любит его как своего ребенка». За эти десять дней зеница ока моего Махмуд сильно изменился. С помощью твоих людей - да упокоит аллах души их умерших - я добиваюсь, чтобы зеница ока моего Махмуд ни в чем не нуждался, стараюсь вовремя готовить ему еду, питье, стараюсь, чтобы он не заподозрил, что твои люди нам помогают, но зеница ока моего Махмуд видит и переживает беды других. Зеница ока моего Махмуд говорил мне так: «Если мир полон столькой мерзости, то те, кто управляет им - от шахов до наибо, - исчадья ада, Малики; может, они сами этого не знают, но по сути все они Малики, слуги сатаны». Ты сам знаешь, что и у земли есть уши, и я боюсь, что такие слова зеницы ока моего Махмуда дойдут до недобрых ушей. И еще зеница ока говорит такие слова, что боюсь - сохрани бог - аллаху не понравятся. Он так говорит: «Почему архангел Михаил, питающий человеков, оставляет стольких голодными? Он не глядит на них глазами аллаха! Почему урожай с земель, принадлежащих духовенству, ближайшим слугам аллаха, не раздают бедным, чтобы сделать их счастливыми?» Я говорю: «Счастье - несчастье - в руках аллаха, и он знает, кому что дать». Зеница ока моего Махмуд говорит слова, которые пугают меня, и я не знаю, как получилось, что свет очей вообще произносит такие слова. Он говорит: «Если аллах все знает, тогда почему пророки всегда были грустны и печальны и почему архангел Джебраил, вестник божий, не указывал им путь к счастью? Четыре первых халифа выполнили завещанное пророком Мухаммедом, осуществили его намерения, а что стало с ними? Османа убили в собственном доме, Али - в доме господнем... Почему, Сафи?» И другие слова зеницы ока моего Махмуда пугают меня и сбивают с толку. Однажды над нами пролетали журавли, и Махмуд прямо-таки вперился в журавлей своими голубыми глазами, да паду я жертвой ради них, и сказал так: «Сафи, если бы я был из секты танасух, которая верит в переселение душ, я поговорил бы с журавлями, узнал бы у журавлей о Мариам, и может быть, узнал бы, что среди журавлей была Мариам тысячу лет назад, или Махмуд две тысячи лет назад, или Сафи три тысячи лет назад». Когда свет очей говорит такие слова, я не знаю, что мне делать. Однажды нам встретился вор, у которого была отрублена рука за то, что он украл с мельницы муку, и зеница ока моего Махмуд, поговорив с тем вором, сказал мне так: «Было время, Сафи, когда на земле никого не было, а теперь столько народу, а через тысячу лет сколько еще будет народу! Во что тогда превратится мир? Реки будут течь кровью, вместо воды будут пить кровь... Если этот мир не могли поделить Габиль и Абель, если и тогда была ревность, была зависть, брат убивал брата, то что будет в этом мире через тысячу лет?» Я не умею отвечать на такие вопросы, и сердце мое окутывает страх. Потом свет очей взял у меня два золотых и отдал тому вору. Я с трудом укрываю от него золото, которое ты дал

нам на расходы, иначе он в один день раздаст его голодным. Что же касается других вещей, о них Махмуд не знает, и я тебя прошу, поручи своим людям получше меня охранять, потому что я о себе в этом отношении очень беспокоюсь и надежда моя только на твоих людей. Я не знаю, что делать, и очень боюсь за зеницу ока моего Махмуда. Он начал разговаривать сам с собой. Когда я спрашиваю, с кем ты разговариваешь, говорит, с Мариам разговариваю. Однажды сказал, с отцом разговариваю, но не знаю, о чем он с тобой говорил. А однажды нам встретился старик, и слова зеницы ока моего Махмуда меня жутко перепугали, потому что я ничего не понял. Старик спросил у зеницы ока моего: «Сынок, куда путь держишь?» Зеница ока моего отвеял: «Дядя, мой путь лежит в кян и мякян». Старик спросил: «Сынок, кян- это места изобилия, а мякян что?» Свет очей ответил так: «Кян - на этом свете, мякян - на том». У старика был очень дурной глаз, и, сощутив свой дурной глаз, он сказал: «С таким трудом ищешь себе смерти?» Зеница ока моего отвечал: «Смерть - это правда. Как иначе вырваться из плена судьбы?» Старик вынул из своего узелка маленький кувшин и фаянсовую чашу, налил чашу из кувшина, протянул содержимое Махмуду и сказал: «Испей сию чашу». Зеница ока моего Махмуд покачал головой и так ответил: «То, что в этой чаше, пророк нам воспретил». Старик усмехнулся своими дурными глазами и содержимое чаши - наверное, это было вино - выпил сам, потом ушел, и, когда этот старик скрылся с глаз, я спросил у зеницы ока моего, что это был за разговор такой. Зеница ока моего не ответил, но вдруг начал читать стихотворение богохульного поэта Насими, чтоб он горел в аду, как, наверно, и сейчас горит: «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь...» Иногда я ничего не понимаю и слепо иду следом за зеницей ока моего. Я нахожу утешение лишь в том, что у нас есть такой оплот надежды, как ты, и ты, найдя какое-нибудь средство, положишь конец этому бессмысленному и дорогому путешествию. Много можно рассказывать, но боюсь, проснется зеница ока моего и увидит, что я тебе пишу. На этом кончаю. Завтра с гонцом пошлю тебе письмо. Еще раз молю, не забывай повторять своим людям, чтобы они хорошенько охраняли меня от разбойников-грабителей. Целующий твои светлые руки и благословенный подол и готовый к любым приказаниям твой смиренный слуга Сафи». Гонец, доставивший письмо Сафи, получил от Зияд-хана еще два золотых, и ушел, а Зияд-хан, удалившись в свою комнату, никого туда не впускал и несколько раз внимательно перечитал письмо Сафи.

Сафи просил у Зияд-хана помощи и не знал, глупый Сафи, что если есть на свете беспомощный человек, то это сам Зияд-хан.

Выйдя из своей комнаты, Зияд-хан пошел в библиотеку дворца и, сняв с полки купленную в Индии за столько золота, сколько весит сама, Большую Книгу Предсказаний в черном переплете, открыл наудачу, и первыми словами, которые он прочел, были: «С любовной напастью может справиться только любовь».

Люди Зияд-хана рыскали по всему округу два дня и две ночи, выбирали и, наконец, разыскали Джейран. Джейран была умнейшая из умнейших, хитрейшая из хитрейших, до тонкостей знала древнейшую из профессий, это была такая девушка, у которой брови были как лук, глаза синие, походка как у павы, груди как две дыньки, кто увидит, у того разум помутится: короче говоря, создатель словно сосредоточил в ней всю прелесть мира, к тому же она была жадной до денег, умирала по драгоценностям.

Зияд-хан повторил неудавшуюся в свое время попытку Гамарбану, и эта попытка была достойна хана. Зияд-хан велел в полночь, чтобы никто не видел, доставить Джейран во дворец, и, едва увидел эту красотку, прочел по глазам, что она за птица, понял, что его люди еще недостаточно ее оценили, что девушка эта многого стоит. Зияд-хан дал Джейран семь мешочков золота, пообещал еще десять. Люди Зияд-хана должны были направить ее по следу Махмуда, Джейран должна была встретиться Махмуду в пути, влюбить в себя Махмуда, возвратить Махмуда назад, некоторое время побыть во дворце, а потом уехать из Гянджи, и Зияд-хан обещал купить Джейран дом в Тавризе.

В ту же ночь, опустив занавески паланкина, Джейран вместе со служанками и слугами отправилась в путь, взяла с собой и Гысыр Тары, - и Гысыр Тары, сев на доброго мула, пустилась вслед за паланкином с опущенными занавесками.

Джейран торопилась.

Судьба улыбалась Джейран. Через некоторое время Джейран переселится в Тавриз. Наконец, Джейран покинет Гянджу, эту глухомань.

Мысли, мечты, желания Джейран больше не умещались в Гяндже. Джейран мечтала о более крупных городах. Джейран хотела поработать близ более крупных дворцов, чем гянджинский.

Было время, когда Джейран так же мечтала о Гяндже, Гянджа была предел ее желаний, Джейран жаждала попасть в гянджинский дворец, но теперь все это позади, и теперь Гянджа стала ей тесна. Владелец гянджинского дворца был не такой как все, не знал других женщин, кроме своей жены Гамарбану, и Джейран едва не утратила самые заветные надежды. Когда сегодня в полночь неожиданно пришли люди хана и повели ее во дворец, Джейран показалось, что она попадет сразу в опочивальню хана, но выяснилось, что нет, дело не в этом. Наконец, судьба улыбнулась Джейран, уделив толику земных радостей нелепому ханскому сынку, и она скажет Гяндже «прощай», и переселится в собственный дом в Тавризе, и въедет в Тавриз как победительница, покорит умом и красотой и Тавриз, и шахский дворец Хешт-бешишт.

Завоевателем был не только Шах Исмаил.

В эту ночь, в паланкине с опущенными занавесками, Джейран чувствовала себя не меньшей завоевательницей, чем Шах Исмаил, и сердце этой молодой, красивой, пылкой и жадной женщины было зажжено большими мечтами, и эти мечты твердили об ослепительном богатстве, о непререкаемой власти. В будущем. В недалеком будущем. Будущее было за Джейран.

IX

До Маку оставалось немного.

Через некоторое время они должны были войти в Маку и там заночевать.

Был полдень, и солнце обрушивалось на человека, но Сафи не чувствовал жары, ибо уже несколько дней как Сафи вдруг разлюбил жизнь, - это бессмысленное путешествие, это скитание на конях по степям и равнинам было так чуждо Сафи, что все ему стало безразлично, и, несмотря на широкий пояс, жара на Сафи не действовала.

Махмуд тоже не чувствовал жары. Рано утром в этих местах прошел сильный дождь, и на равнине сохранялась какая-то весенняя свежесть, и эта весенняя свежесть словно возвещала, что здесь совсем недавно прошла Мариам и в мыслях Мариам был Махмуд.

В сердце Махмуда, которое день ото дня становилось все безнадежнее, загорелась искорка надежды.

Странно было то, что растущая день ото дня в сердце Махмуда безнадежность была связана не только с Мариам, но и вообще с жизнью человеческой. Люди, которых он встречал, события, о которых слышал, несчастья, которые видел, всякий раз открывали ему что-то новое, и все новые и новые открытия засыпали Махмуда сотнями разных вопросов, связанных с человеческой натурой, и Махмуд не мог найти ответа на эти вопросы, и тогда Махмуд закрывал глаза, и перед глазами его мелькали все новые краски, но какая преобладала - красная, голубая, зеленая, - он не понимал, этот мир сменяющихся красок невозможно было понять, и кажется, непонимание и было цветом мира.

Впереди показались купы черных облаков, и эта масса черных облаков в ясный солнечный день озадачила Сафи.

Сафи пригляделся внимательней.

Махмуд был чист, Махмуд не мог предположить такого, и Сафи должен был найти предлог, чтобы оставить Махмуда поскакать вперед одному; Махмуд не должен видеть

таких вещей, и если все было так, как предположил Сафи, им надо было изменить направление.

Сафи, держась рукой за живот, приблизился к Махмуду и, скривившись, сказал:

- Ты постой здесь, я сейчас вернусь, - и поскакал в сторону черных облаков.

По мере приближения Сафи масса черных облаков опускалась и поднималась, двигалась.

По мере приближения Сафи из массы черных облаков стали доноситься крики коршунов, воронов, к аромату цветов примешивался самый омерзительный запах на свете, и этот запах постепенно усиливался.

Затем под массой черных облаков стала просматриваться серая гряда. Эта серая гряда местами белела, местами чернела, а местами ярко алела.

Сафи доехал до места.

Конь Сафи испугался, фыркнул, конь не мог устоять тут.

Масса черных облаков состояла сплошь из воронов и коршунов.

Серая гряда была пирамидой отрезанных человеческих голов.

Вороны и коршуны расклевали черепа, и в расклеванных местах белели кости; чернели волосы, бороды; вороны и коршуны выклевали глаза в большей части черепов, но в некоторых черепах - немногих - глаза остались; и, готовые лопнуть, вылезающие из орбит, эти выпученные, эти отдельные от всего глаза, в которых порой сквозь полуприкрытые ресницы виднелись только белки, а также недоклеванные, наполовину уцелевшие глаза смотрели на усеянную обезглавленными трупами равнину Чалдыран. Обезглавленные трупы лежали вперемешку, кольчуги и одежды были перепачканы землей, кровью, валялись щиты, мечы, копья, и все это железо сверкало под лучами солнца.

Обезглавленные тела еще недавно были кызылбашскими воинами Сефевидов, и не способный отвести глаза от пирамиды - черепов, от обезглавленных тел, содрогающийся от рвоты Сафи не знал, что пять дней назад здесь, на равнине Чалдыран, была братоубийственная бойня, и продолжалась эта бойня три дня: османский владыка Султан Салим I объявил Сефевидов врагами мусульманской веры и во имя защиты ислама с двухсот-тысячной турецкой армией вступил в Азербайджан; а в августе 1514 года создатель и глава государства Сефевидов - «Мамлакаты-Азербайджан» - Шах Исмаил с войском, в несколько раз меньшим, чем турецкая армия, встретил Султана Салима близ Маку на этой вот равнине Чалдыран, вступил с ним в бой и потерпел поражение.

Пять дней тому назад Шах Исмаил в одежде простого воина, сидя на сером жеребце, смотрел на тянущуюся сколько видит взгляд равнину Чалдыран и знал, что снова перед осенью зазеленевшая, расцветшая из-за обильных дождей, эта земля будет истерзана копытами коней, обагрена кровью десятков тысяч людей; знал, что равнина Чалдыран, известная ныне только жителям Маку, с этого дня станет знаменитой на весь мир, что его придворные историки Гияседдин ибн Хусамеддин эл-Хусейни Хандемир, Мир. Яхья эл-Хусейн эл-Казвини увековечат наименование этой равнины, что придворный историк Султана Салима Лютфи-паша тоже, наверное, находится при армии и тоже захочет все увидеть своими глазами.

Шах Исмаил хорошо знал и то, что армия Султана Салима превосходит его армию не только по количеству людей; армия Султана Салима была самой современной армией этого, только что начавшегося века, армией, оснащенной десятками тысячами ружей, сотней арб с пушками, зарбазанами, баллиджами, что турецкие воины были brave солдатами, умными, опытными, храбрыми, а у Сефевидов пушек не было и войско было малочисленно.

Во времена Султана Баязеда между Шахом Исмаилом и османцами были «отцовско-сыновние» отношения, но еще тогда правитель Трапезунда Явуз Салим не одобрял эти отношения и не доверял этим отношениям. Явуз Салим видел в Шахе Исмаиле достаточно сил и умения, чтобы он мог присоединить к «Мамлакаты -

Азербайджан» османские земли. Султан Баязед пытался толкнуть на Юг Шаха Исмаила, прославившегося как непобедимый после походов на Хорасан и Туркестан, и в одном из писем прямо писал: «Оставьте надежду подчинить себе народ Румийский. Лучше покончите с Иранским, Туранским и Индийским ханствами и создайте там могущественное государство». Но разве можно поручиться, что «могущественное государство» Сефевидов и впрямь будет неизменно придерживаться политики «не тронь меня, и я тебя не трону»? После того как правитель Трабзона Явуз Салим, захватив трон Султана Баязеда, стал Султаном Салимом I, он стал самым ярким врагом Шаха Исмаила и, собрав муфтиев, кази и других высших священнослужителей, приказал им подготовить битву против Шаха Исмаила и всех кызылбашей.

Султан Салим был искусным политиком и хитрым человеком, и Шах Исмаил знал это и ценил по достоинству. Шах Исмаил написал письмо испанскому королю Карлу V и в этом письме приписывал хитрость Султана Салима всем османцам: «Не доверяйте хитрым османцам, ибо Султан такой человек, для которого верностью союзу, клятвам, обещаниям ничего не стоит и который сделает все, что в его силах, чтобы погубить Вас».

От испанского короля ответа не последовало.

Шах Исмаил все понимал, но в сердце Шаха Исмаила не было страха, и, хотя, как он доподлинно выразился, «вокруг страны всегда кружились кони», Шах Исмаил в посланном Султану Салиму письме заявил, что «невесту страны может крепко обнять лишь тот кто поцелует губы обнаженного меча».

Дело было не только в том, что поднявшийся в конце прошлого века на борьбу «за азербайджанский трон и государство» Исмаил в течение всего лишь четырнадцати лет силой меча создал не в одном Азербайджане, но и на территории от Аму-Дарьи до реки Ферат, охватывающей Ирак, Диярбекр, многие области Малой Азии, Хорасан, могучее азербайджанское государство Сефевидов, тысячу раз встречался лицом к лицу со смертью и привык к этому; дело было и не в том, что Султан Салим рассчитывал на пушки, а Шах Исмаил, как всегда, на самого себя и в коране аллах призывает пророка поощрить верующих на битву, и если даже среди них будет двадцать стойких, они одолеют две сотни. Правда, Шах Исмаил не был пророком, но за него был Зульфугар, меч имама Али, и армия его была преданной армией, так что даже, по полученному вчера сообщению, один молодой человек, справлявший свою свадьбу, услышал приказ Шаха Исмаила о призыве, присоединился к войску, не проведя с невестой первой брачной ночи. Дело, однако, было в том, что в этот летний день равнина Чалдыран, внезапно заставила Шаха Исмаила спешиться и унесла его в годы детства, и Шах Исмаил никак не мог взять себя в руки и оторваться душой от тех далеких детских лет.

В сердце Шаха Исмаила была такая точка, которую он скрывал от всех, даже от себя - но не мог скрыть! - и которая была мала, слаба, но волшебна, потому что до той крохотной точки как бы сжималась большая пустыня, а в пустыне дул прохладный ветерок, легкий бриз, и этот ветерок, этот легонький бриз воплощал его чувства, те самые, скрываемые от всех чувства, которые делали Шаха Исмаила поэтом, пишущим под псевдонимом Хатаи. Шах Исмаил и Хатаи были двумя совершенно противоположными личностями в одном человеке, и Шару Исмаилу отнюдь не хотелось перед сражением превратиться в Хатаи, но точка была волшебной.

Самый близкий и доверенный из эмиров Шаха Исмаила церемоний - мастер Дурмуш-хан направил коня к государю и хотел что-то спросить, но увидев, что шах очень задумчив, не осмелился сказать что-либо.

Детство Шаха Исмаила проходило не на равнине Чалдыран, но ребенок, каким он был когда-то, сейчас ловил бабочек из равнины Чалдыран, поглядывал за муравейниками, рвал цветы, потом, разлегшись на спине, смотрел в небо, потом закрывал глаза и вступал в грядущий мир; этот грядущий мир был чист, был непорочен, полон любви, приязни, бескровен, он не был окрашен в алое, не знал политики и от начала до конца был весь в поэзии.

Шах Исмаил никак не мог вернуться из мира ребенка, с закрытыми глазами лежавшего сейчас на спине на равнине Чалдыран, из воображаемого, по несбыточному мира - на спину серого жеребца, и вдруг Шах Исмаил вспомнил своего родившегося в этом году сына Тахмасиб-Мирзу, и Шаху Исмаилу показалось, что лежащий сейчас на спине с закрытыми глазами ребенок не он, а Тахмасиб, и сейчас он, Тахмасиб, встанет и поползет на четвереньках; он представил себе, как ползает Тахмасиб, и улыбнулся, потом улыбка сошла с его лица и Исмаил подумал, что, возможно, в свое время его дед Шейх Джунейд так же вспоминал своего сына - Шаха Исмаила.. Наверное, придет время и Тахмасиб тоже так будет представлять себе своего сына... Меняются имена, уходят люди, но чувства - те же, природа - та же, и, в сущности, в мире ничего не меняется, жизнь протекает в рамках, преступить которые никогда и никому невозможно. Эта мысль навевала на Исмаила тоску, сдавила его сердце, и в этот миг знаменитый сефевидский полководец, правитель Диярбекра и зять Шаха Исмаила Хан Мухаммед Устаджлы пришел на помощь своему высокому родственнику: азербайджанские конные разведчики принесли весть, что армия Султана Салима равномерно движется в сторону равнины Чалдыран, и, обеспокоенный численным превосходством вражеской армии, ее новым вооружением, Хан Мухаммед Устаджлы хотел неожиданно напасть на османцев.

Хан Мухаммед Устаджлы подскакал к Шаху Исмаилу, спрыгнул со своего белого коня и поклонился:

- Да будет здоров шах, нападём на них по дороге!

Эти слова Хана Мухаммеда Устаджлы вырвали Шаха Исмаила из далекого детства, чистоты, беззаботности и водворили на серого жеребца, а место воспоминаний заняло глубокое чувство сожаления и печали, но Шах Исмаил собрал всю свою волю и вырвал себя из этого чувства сожаления и печали.

Шах Исмаил гневно смерил взглядом с головы до пят военачальника, с которым провел в седле последние пятнадцать лет, и стоявший все это время молча церемониймейстер Дурмуш-хан тотчас понял смысл хорошо изученного им недоброго взгляда и сказал:

- В Диярбекре твои штучки проходят, но здесь есть Шах Исмаил, он и укажет, и прикажет!

Хан Мухаммед Устаджлы не ответил церемониймейстеру Дурмуш-хану, так как накануне смертельной схватки перебраниться с таким человеком и опускаться до его уровня считал ниже своего достоинства, и с болью в сердце подумал лишь о том, какая адская сила заключена в лести, что даже такие великие люди, как Шах Исмаил, не обходятся без льстецов и, в сущности, нуждаются в лести.

Шах Исмаил как будто прочитал, что было на сердце черик-баши, и на этот раз бросил недобрый взгляд на церемониймейстера Дурмуш-хана, а потом сказал:

- Я не разбойник, нападающий на караваны!

Хан Мухаммед Устаджлы посмотрел в эти горящие гневом глаза, увидел, как от злости дрожат тонкие кончики длинных усов шаха, увидел, как его продолговатое чистое лицо покрылось нервными красными пятнами, и в который раз за долгие годы удивился, как это получается, что сидящий на сером конегрозный владыка, чей гнев не вмещает равнина Чалдыран, говорит такие слова:

Если пери захочет узнать, кто такой Хатаи, я скажу: это некий бедняга с рыдающим сердцем.

С одной стороны, Шах Исмаил как простой участник литературного меджлиса, руководимого Главой поэтов - Меликушшуара Ширванлы Габибом, писал газели и гошмы и с сердечным трепетом ожидал, что скажет собрание об этих стихах, - ожидал, точно, не имеющий ничего, кроме стихов, бедный поэт, а с другой - на недавний вопрос Хана Мухаммеда Устаджлы: «Что делать, если народ поднимет голову?» ответил: «Если подданные возразят хоть словом, я с помощью аллаха возьмусь за меч и не оставлю в живых ни одного простолюдина», и Хан Мухаммед Устаджлы, глядя на суровое лицо

Властелина Меча и Пера - Сахиби сейф велгелем, как нередко называли Шаха Исмаила, ни на миг не усомнился, что так оно и будет, Исмаил сделает как говорит.

Шах Исмаил на равнине Чалдыран рассердился не на слова Хана Мухаммеда Устаджлы - шах понимал чувства Хана Мухаммеда и знал, что зять его не только не трус, а едва ли не великий полководец, его рука крепко держит меч, у него храброе сердце, беспощадное к врагу, сердце, верное родине, вере и Шаху Исмаилу; хан Мухаммед Устаджлы как военачальник сейчас переживал тревогу, и он имел для этого все основания: Шах Исмаил хотел заключить против Султана Салима союз со всей Европой от папы римского до испанского короля, от гроссмейстера Ордена Иоаннитов до польского короля, от Венеции до Венгрии - писал письма, отправлял послов, но сейчас на равнине Чалдыран лицом к лицу с двухсоттысячной Армией Султана Салима стоял один; Шаха Исмаила рассердило и не то, что не удались эти союзы, что он оказался один - за свою двадцативосьмилетнюю жизнь Шах Исмаил уже знал, что политика - это такой мир и шахство - это такая судьба, что в самую трудную минуту Единственных прибежище - собственный меч и собственный разум, и жизнь такова, что, в сущности, стоять против врага в одиночку не так уж страшно, к этому привыкаешь, потому что, в сущности, государь всегда с врагом один на один; даже в собственной спальне, в часы отдыха он один на один с врагом, но и это не страшно; самое страшное - это остаться наедине с самим собой.

Причина, рассердившая Шаха Исмаила, была безотчетна: она состояла в том, чтобы нагнать на себя и других решимость, суровость и жестокость перед боем, и так всегда бывало перед крупным сражением; безотчетный гнев вытеснял из души и тела шаха поэта, превращал поэта в мастера сражений. Мир того ребенка, что давеча лежал на спине в степи Чалдыран с за-крытыми глазами, теперь совершенно исчез, стал недостижимым прикосновения, и для слуха, и для взора.

Через малое время в степи Чалдыран грянули к небу залпы пушек и ружей, лязг мечей и щитов, человеческий рык и человеческий стон, ржание коней и пение озанов, воинственная музыка, исполняемая на сазах, всегда сопровождавших армию Шаха Исмаила в походах, и поднимавшая дух бойцов; потом все потонуло в диком грохоте, потом стало утихать, потом умолкло, равнина Чалдыран залилась алой кровью, и хотя Шах Исмаил лично, ударом меча убил османского полководца Али-бей-пашу Малгуджоглу, которого летописцы называли «гигантом моря храбрости, тигром арены красноречия», хотя шах участвовал в битве как простой сефевидский воин и руководил всеми операциями как верховный главнокомандующий, численность и вооруженность войск сыграли свою роль: Шах Исмаил потерпел поражение в чалдыранской битве - тяжело раненый, он с остатками войска отступил в глубь Азербайджана.

Несколько дней Шах Исмаил бредил, несколько дней у Шаха Исмаила бывали видения, он никого не узнавал, ничего не слышал, и когда; наконец, пришел в себя и впервые открыл глаза, он спросил не о семье, не о сыновьях, не о войске, не о Тавризе - первым делом он спросил о художнике Бехзаде:

- Кямаледдин жив?

Этот вопрос был крайне неожиданным, ибо никому из собравшихся сейчас вокруг Шаха Исмаила военачальников, визирей, эмиров не было дело до Бехзада; никто и не вспоминал о Бехзаде, который, правда, был превосходным миниатюристом и управляющим шахской библиотекой, но - до него ли было в такие дни? Из этих людей кое-кто пылал чувством мести, кто-то в глубине души раздумывал над своей будущей судьбой, а кое у кого все мысли были сосредоточены на том, чтобы Шах Исмаил поскорее поправился, поскорее поднялся на ноги и все заботы снова принял на себя - нести груз этих забот, хоть и всем вместе, было невыносимо.

- Жив, шах...

На белом как бумага и совершенно обессиленном лице Шаха Исмаила промелькнула легкая улыбка, и глаза его, все еще смотревшие как бы сквозь сетку, на мгновение

осветились: Бехзад был жив, Бехзад снова будет рисовать, а если Бехзад снова будет рисовать, значит, жизнь продолжалась и была прекрасна, жить стоило.

Султан Салим велел отрезать головы погибшим в чалдыранской битве сефевидским воинам и составить из этих голов пирамиду, потом, уведя войско с чалдыранской равнины, захватил Хой, Меренд, приблизился к Тавризу.

Сафи обо всем этом не знал.

Сафи не знал и о том, что владельцем одинокой головы на самой вершине пирамиды, составленной из голов, был знаменитый полководец Хан Мухаммед Устаджлы, который, в одиночку кинувшись на шатер Султана Салима, стал мишенью пушечного залпа; вороны и коршуны выклевали у этой головы глаза, продырявили ей лоб, щеки, вырвали язык, губы.

Сафи не мог отвести глаз от пирамиды голов, от обезглавленных тел.

Вся грудь Сафи содрогалась от рвоты, все тело болело, он не мог дышать, но не мог и отвести глаз от этих голов, от этих тел, будто эти головы, эти тела, эта алая кровь притягивали крючьями глаза Сафи и, натягивая незримые цепи, тянули их к себе; у Сафи болели и глаза, веки не смыкались, так и оставались растопыренными.

Вороны и коршуны кричали в небе. Трупное спокойствие в чалдыранской степи нарушали фыркающий, дергающийся, не могущий стоять на месте, пытающийся освободиться от узды конь и сидящий на нем, блюющий желчью живой человек.

Вороны и коршуны постепенно начинали носиться прямо над головой Сафи, и Сафи почувствовал на своем лице ветерок от крыльев птиц с окровавленными клювами и когтями; этот ветерок был дыханием смерти, и близость смерти привела Сафи в чувство, волосы Сафи встали дыбом от животного страха, и Сафи понял, что надо, не теряя ни минуты, скакать назад, нельзя допустить сюда Махмуда, надо увести с этого пути Махмуда, Махмуд не должен всего этого видеть, Махмуд чист, хрупок, его чистота, его хрупкость не вынесут этого.

И в этот миг среди криков ворон и коршунов над чалдыранской степью послышался голос Махмуда:

- Сафи! Сафи! Из-за пяти пядей земли?! Из-за мешочка золота?! Разве они не были детьми? Разве они не видели небо, луну, звезды? И они отрезают друг другу головы, как Шумримаму Гусейну? Почему аллах это терпит, Сафи?

Махмуд прискакал вслед за Сафи и оказался лицом к лицу с равниной Чалдыран.

Сафи смотрел на Махмуда, голос Махмуда проникал в каждую клеточку его мозга, и Сафи плакал, а в голове Махмуда был вопль, от которого волосы вставали дыбом, но этот вопль был не тот вопль, что прозвучал во дворе Хмурого Пастыря, перед Попрошайкой Израилом, - в этом вопле не было страха, этот вопль был огонь и пламя.

Сафи плакал, всхлипывая. Сафи забыл обо всем, даже о поясе в этот миг он забыл.

Среди грая ворон и клекота коршунов голос Махмуда то слышался, то пропадал:

- Сахибаззаман, Двенадцатый имам, Властелин времени, чего он ждет? Он уходил до Страшного суда, но разве час еще не грянул? Разве будет еще хуже, еще страшнее, еще кровавей? Разве недостаточно этого? Так, может, нет ни суда, им конца, ни Сахибаззамана, Сафи? И никто не придет? И никто не поможет?

Даже эти богохульные слова больше не пугали Сафи, потому что все ужасы мира были ничто в сравнении с Чалдыранской степью. Сафи плакал, всхлипывая. Сафи разделял горе Махмуда.

Сафи подвел своего коня к Махмуду и с плачем сказал:

- Уедем. Уедем отсюда!.. Уедем!..

В этот миг Сафи хотелось обнять Махмуда, хотелось поцеловать и прижать к груди, хотелось утешить Махмуда как свое родное дитя, которого никогда не было и теперь уже не будет, ибо Махмуд был единственным дыханием в этой Чалдыранской степи.

Махмуд так же бурно произнес:

- Уедем! Уедем, Сафи!

Жилы вздулись на его тонкой шее, и Махмуд прокричал по-фарсидски:

- Эй, мюсалман, дердимера дерман нист, элгияс!..¹.

Произнося эти слова, Махмуд повернул коня, поскакал, удалился от Чалдыранской степи, и, словно Горная Дева, Даглы Арвад, эхом спустилась с вершин, эхом пришла на Чалдыранскую равнину, - слова Махмуда еще долго повторялись голосами воронов и коршунов, гнались за Махмудом и Сафи:

...дерман нист, элгияс!..

...дерман нист, элгияс!..

...дерман нист, элгияс!..

Сафи, изо всех сил поспевая за Махмудом, хотел лишь одного: уйти подальше от этого Чалдыранского ужаса, от этого вороньего эха, но Сафи еще не знал, что несчастье состояло не только в Чалдыранской разгроме.

Сафи, однако, понял, почему уже больше недели нет и следа людей Зияд-хана, почему нет ответа на второе и третье письма, направленные им Зияд-хану. Вспомнив, как были одеты мертвые воины в Чалдыранской степи, Сафи понял, что было сражение между армиями Султана Салима и Сефевида и, значит, теперь все смешалось, теперь наверное, и в Гяндже все перепуталось.

Сафи не знал, что уже несколько дней на Гянджинском престоле восседает новый хан имя этого нового правителя Карабахского бейлярбекства Баяндур-хан.

Когда Зияд-хан, прощаясь в Гяндже с Махмудом, провожал его в это странствие, только Баяндур знал, что отец с сыном расстанутся навеки, потому что Зияд-хану жить осталось недолго, потому что Баяндур-бек уже все подготовил и все это было связано с походом Султана Салима на Азербайджан.

Бешеная страсть завладеть тронem и венцом сотрясала все существо Баяндур-бека, эта страсть пожирала Баяндур-бека, поедала его изнутри как червь, и Баяндур-бек знал, что эта страсть либо приведет его к ранней смерти, либо поможет ему сесть на трон Зияд-хана.

В каждом движении, в каждом слове, в каждом поступке Зияд-хана Баяндур-бек видел изъяны, а вот если бы Баяндур-бек сам был ханом, не было бы ни одной из этих нелепых ошибок - ошибок во внешней политике, ошибок в управлении страной. И все эти «если бы» стали истоком яростной страсти к венцу.

Аллах создал Баяндур-бека для властвования, иначе не было бы смысла в жизни.

Когда специальный посланец Султана Салима ночью доставил Баяндур-беку сообщение о начале большого похода, Баяндур-бек с решимостью, возвещавшей о его будущей беспощадной твердости, будущих доблестях, вошел в опочивальню Зияд-хана и сам, своей рукой вонзил кинжал по самую рукоятку в грудь спящего Зияд-хана.

Зияд-хан успел лишь на мгновение открыть глаза, сразу же узнал Баяндур-бека и все понял; еще не угасшие узкие его глазки за миг до ухода нашли возможность усмехнуться, и Зияд-хан прошептал:

- Ты избавил меня...

Тогда Баяндур-бек не понял смысла этих слов, прошли долгие годы, на голову Баяндур-хана обрушилось много несчастий, он был смещен с трона собственным сыном, бежал в горы, прятался в захолустных крепостях, и в последний день его жизни, на смертном его одре, оставшийся в далеком прошлом голос Зияд-хана снова прошептал эти слова, и старый Баяндур только тогда осознал смысл этих слов.

А в тот миг, когда он вонзил кинжал в грудь Зияд-хана, эти непонятные слова заставили Баяндур-бека задрожать.

Зияд-хан успел еще провести рукой по груди и приложить испачканную собственной кровью большую ладонь к лицу Баяндур-бека - и умереть.

¹ Традиционное восклицание: «О мусульмане, против нашего горя средства нет!»

Баяндур-бек почувствовал во рту вкус этой горячей крови, ощутил ее запах. До сих пор Баяндур-бек чувствовал вкус собственной крови либо в детстве, когда падал и разбивал лицо, либо когда шла кровь из носа, либо впоследствии, будучи раненным в боях, но кровь, вкус которой он чувствовал теперь, была не его кровью, а кровью другого человека, чужой кровью, и вкус этой крови был иной.

И впоследствии, когда Баяндур-хан, которому люди дали прозвище «Волк», повелевал отрезать голову, убить человека, а также на Гюлях сражений, он всегда чувствовал во рту вкус- вкус крови чужого человека.

Сафи ничего не знал об этом.

Наутро после убийства Баяндур-хан, взойдя на гянджинский престол, велел перебить всех родственников Зияд-хана и Гамарбану, способных держать в руках меч, но еще раньше он велел начисто отрезать бороду Мирзе Салману и перед всеми придворными и челядью, старыми и молодыми, осрамил Мирзу Салмана:

- Теперь ты больше не сможешь накручивать на указательный палец свою козлиную бороду, - сказал он. - Когда твой указательный палец будет чесаться, знаешь что сделаешь?..

Потом Мирзу Салмана по велению Баяндур-хана посадили садом наперед на хромого ишака, вылили ему на голову ясу простокваши, прогнали из Гянджи, и после этого никто не ведал, что случилось с Мирзой Салманом.

Сафи не знал и о том, что, когда они скакали прочь от Чалдыранской равнины, по гянджинским долам и лесам бродила одряхлевшая в течение одного дня, босая безумная старуха с непокрытой головой, и эта старуха, которую еще недавно звали Гамарбану, днем и ночью пела деревьям, кустам, горам, камням такую песню;

Погиб мой Зияд, и пропал мой Махмуд,
Где воля аллаха, где праведный суд?
Я - бездна печали, вершина разлуки,
Не встать мне. не встать из-под каменных груд..

Конечно, Сафи не знал и о том, что бродившая дни и ночи с этой песенкой по горам и лесам безумная старуха встретит волка с волчицей и голодные волки съедят старуху, и с того времени от этой нары волков в гянджинских лесах народится очень странная порода: волки этой породы, не умея выть, будут день и ночь плакать человеческим голосом...

X

«О бог мусульман! О пророк Магомет! Если вы есть, если вы справедливы, помогите мне. Помогите мне!.. Я христианка, во ведь я тоже человек; сделайте, чтобы ни у христиан, ни у мусульман не лилась из носа кровь. Господи, если ты не хотел, чтобы мы с Махмудом были вместе, зачем тогда ты привел меня в сердце Махмуда? Господи Иисусе! Пресвятая богородица! Ведь вы все знаете, все видите, вы все можете! Почему же вы подожгли мое сердце любовью к Махмуду? Почему все мои думы рядом с Махмудом? Почему и ложась спать, и просыпаясь утром, я желаю Махмуда, мечтаю о Махмуде? Почему все мое тело, и вся душа, и все во мне тоскует о Махмуде? Если вы знали, что Махмуд не будет моим, и эта любовь, эта нежность так греховны, и на долю им выпадет столько мук, и они причинят столько страданий моему отцу, тогда зачем вы вселили в сердце рабы вашей эту любовь? Помогите же мне! Аминь».

Мариам перекрестилась.

Слова этой странной молитвы преследовали ее с утра, и сама она со страхом ощущала, что не вполне верит своей молитве. Как будто не Мариам произносила эти слова, а кто-то другой.

Мариам еще раз перекрестилась в темноте.

Если в сердце Мариам пробудилось неверие, нет, не неверие» а сомнение в помощи и благоволении господина и пресвятой девы, то может быть, это оттого, что она согрешила? Может быть, это оттого, что она возжелала мусульманина? Может быть, это дурной глаз, ворожба, злые чары?

Может быть, Махмуд - колдун? Махмуд сбил ее с пути? Махмуд заронил в ее сердце неверие?

Холод этих вопросов Мариам ощутила всем телом, как будто кусок льда запустили за широрот ее ночной рубашки, он соскользнул между лопатками вниз и охватил ее тело злобной дрожью.

Нет! Нет! Махмуд - святейший из святых, Махмуд - чистейший из чистых.

Порыв нежности к Махмуду снова согрел Мариам, та полоска, по которой давеча соскользнул между лопатками кусок льда, теперь вдруг запылала, Мариам всей грудью, всем телом возжелала Махмуда, и это желание было таким плотским, что Мариам скорчилась в постели, дыхание ее стеснилось, из груди вырвался стон.

Хмурый Пастырь вдруг вскочил, сел и в лунном свете, едва просачивающемся сквозь окошко, посмотрел в сторону Мариам. Хмурый Пастырь не видел ее, но чувствовал, что Мариам опять не спит, и знал, что Мариам увядает, и тает с каждой бессонной ночью.

Когда все это кончится? Когда завершатся мучения и страдания этой слабой девочки, этой чистой девочки? До Святой Обители осталось немного. Немного осталось. Святой Старец поможет им.

Мариам чувствовала, что отец смотрит на нее в темноте. Нет, Мариам не хотела, чтобы Хмурый Пастырь в эти мгновения смотрел на нее, нет, не смотри, отец, месяц уйдет, куда он уходит, отец, туда, где ангелы спят, отец, и я подставлю грудь как мишень, куда любимый стрелу пошлет...

Хмурый Пастырь шепотом позвал дочь:

- Мариам...

Мариам не ответила, Мариам в душе молила Хмурого Пастыря: горе мое как гора, отец, печаль - прибежище мое, не заговаривай со мной, отец, кровью заплачу, тяжелая пора у меня, отец...

Хмурый Пастырь лег.

Сколько времени они вели кочевую жизнь, скрывались, бежали прочь от страсти безбожника, от этой страсти, веками исторгающей мерзость, погрязшей в пороке, погубившей самых красивых, самых чистых дев христианских... В этой страсти была алчность Зоухака, которому сатана облобызал плечи и из плеч которого выросли змеи, питавшиеся мозгом детей и младенцев... Он, Хмурый Пастырь, не давал обета монашеского, но и он надел на себя вериги, чтобы усмирить окаянную плоть, данную нам на погибель, а эти поганые сластолюбцы выгнали такую чистую, как Мариам, из дома, из родного края, заставили скитаться без крова. Правда, и дни, проведенные под этим кровом, тоже были нерадостны, проходили они в бедной лачуге, в окружении безбожников, но даже в самой бедности, в самом унижении детей истинного бога было что-то светлое, что-то родное.

Завтра весь день они все еще будут скрываться в этой комнатке, а в следующую ночь снова станут странниками, снова будут идти до рассвета, снова изнемогут от усталости, и Мариам обессилеет, но ничего не скажет, ни на что не посетует. Единственным утешением было в том, что еще одна тяжкая ночь, еще одна долгая ночь приблизит Хмурого Пастыря и Мариам к Святой Обители.

Мариам уставилась в темноту. Мариам знала, что на противоположной стене комнатки висит икона Спасителя. Мариам в темноте не видела этой иконы, но, глядя в ее сторону, крестилась. Мариам в эту минуту не знала, зачем она крестится. Мариам в эту

минуту не знала, чего она хочет, но то и дело крестилась, глядя в направлений иконы Спасителя; губы ее кривились, она что-то шептала, но и сама не знала, что шепчет.

Хмурый Пастырь все знал. Единоверцы считали долгом помогать ему, давать ему убежище в своем доме и обо всем уведомлять, что творится вокруг. Хмурый Пастырь знал, что сын Зияд-хана Махмуд следует за ними. Люди Зияд-хана в любой день могли напасть на след Хмурого Пастыря, и тогда погибнет в мучениях не только он, но и те добрые люди, что давали ему приют; но Хмурый Пастырь ни минуты не сомневался в том, что и ему, и этим людям все это необходимо вынести; все это необходимо было вынести во имя святой апостольской веры, ибо Мариам, в сущности, принадлежала не только Хмурому Пастырю, своему отцу, - она принадлежала всей общине и должна была осчастливить христианина, и должна была стать матерью христиан.

И вновь родной, ласковый шепот во мраке ночном ободрил Хмурого Пастыря: «Верно, жизнь моя!.. То, что ты делаешь, верно. Гони сомнения прочь... Я ли не вижу, как страдает Мариам? Я ли не вижу, как мучится Мариам? Безбожник хитро-... стью овладел сердцем Мариам, и ты должен возратить Мариам ее сердце. Разве можно отдать это чистое сердце безбожнику? Все будет хорошо, жизнь моя. Святая Обитель примет тебя. Святой Старец поможет тебе, ибо ты всегда был чист перед богом истинным. Господь не оставит тебя, ибо он справедлив...»

Этот родной, ласковый шепот всегда приходил на помощь Хмурому Пастырю, в самые трудные времена, в самые нестерпимые минуты согревая его сердце.

С той полуночи, когда они бежали из Гянджи, и до нынешней ночи - за все это время Мариам не сказала ни единого слова о Махмуде, ни словом не пожаловалась, была совершенно покорна; что ни говорил Хмурый Пастырь, она выполняла, куда ни вел ее Хмурый Пастырь, шла, и сама эта покорность Мариам угнетала Хмурого Пастыря, заставляла страдать и болеть его сердце, потому что Хмурый Пастырь кровью чувствовал, что сердце Мариам бьется любовью к сыну Зияд-хана Махмуду, что эта юная, ничего не ведающая о мире девушка живет любовью. Все было ясно, и ничего скрытого или смутного не оставалось.

Мариам надо было помочь. Мариам надо было спасти.

За все это время Мариам всего однажды вспомнила прошлое: рано утром, остановившись у родника, они неревели дух, вымыли ноги, умылись, напились и Мариам, подняв голову, посмотрела на алеющую до самого горизонта зарю, глубоко, всей грудью вздохнула утреннюю чистоту и внезапно спросила:

- Интересно, что сейчас делает Белая Коза? Белая Коза дичилась людей, привыкла ли она к другим?

Хмурый Пастырь пригладил мокрыми руками свою длинную густую бороду и сказал:

- И люди, и животные, и все существа земные привыкают, приучаются ко всему. На свете нет ничего вечного. Вечен только бог и учение христово, дочка.

Мариам больше ничего не сказала и ничего не спросила.

Заснула ли она теперь? Бедная девочка, хоть бы немного, совсем немного поспала.

И вдруг во тьме ночной пробудилась в сердце Хмурого Пастыря какая-то надежда.

Хмурый Пастырь уже знал, что Зияд-хан убит, и гянджинским престолом завладел некто по имени Баяндур-бек. Конечно, эти дворцовые перевороты, жадность к власти и богатству не имели для Пастыря никакого значения, а кроме того, направившись в Святую Обитель, Хмурый Пастырь счел бы несуразным возвращение с полдороги, да он и не хотел возвращаться: с помощью Святого Старца должно быть избавлено от этой греховой любви сердце Мариам, а не только она сама.

Хмурый Пастырь хорошо знал деяния правителей и знал, что Баяндур-хан не насытится кровью одного лишь Зияд-хана, и теперь, во тьме ночной, он подумал, что люди Баяндур-бека могут найти и убить Махмуда, и в сердце его пробудилась надежда; тогда поневоле все наладится.

Когда Хмурый Пастырь подумал об этом, грудь его пронзила боль, и он понял, что нестерпимая боль в груди - это боль в сердце Мариам, и пришел в ужас, - пришел в ужас оттого, что желает смерти, которая причинит нестерпимую боль частице плоти его - Мариам.

Мог ли быть столь безжалостным человек, чтущий бога, а наипаче служитель его?

Какие соблазны подстерегают нас в сей юдоли...

Почему, почему человек должен желать смерти другому?

Может ли быть чистым сердце, желающее смерти другому, пусть даже нечестивцу? И ведь он ощутил боль за Мариам, боль Мариам, но не того, кому с холодной яростью пожелал смерти. Этому ли учил Спаситель, добровольно предавшийся палачам своим? Могут ли открыться двери Святой Обители перед обладателем такого сердца?

И снова помог родной, ласковый шепот: «Спи, жизнь моя, спи, не мучь себя, жизнь моя, спи, спи, спи... Спи... спи... спи...»

Мариам не отводила глаз от незримой иконы Спасителя и с дрожью 80 всем теле что-то шептала, но что шептала - не знала и сама. В темноте она ничего не видела, но намереди, когда хозяева, приютившие их, при свече стелили им постели, Мариам увидела, что на противоположной стене висит иконка Спасителя.

Сощутив глаза в темноте, Мариам пристально смотрела на противоположную стену и вдруг, в полной темноте, разглядела икону, но с иконы смотрел не Христос, с иконы смотрел Махмуд, его большие голубые глаза были глазами Христа.

Мариам понимала, что это ей привиделось, что это - от усталости, от горя, но не испугалась и не стала отгонять от себя греховное видение; Мариам улыбнулась, улыбнулась впервые с той ночи, как они бежали из Гянджи; видение излучало покой, утешение, и Мариам под взглядом больших голубых глаз • забылась легким, хоть и тревожным сном.

XI

Все рушилось, и Джейран никогда не думала, что она так слаба и все закончится для нее так нелепо, так бесславно.

Жизнь лишилась смысла.

Будущего не было.

Сознанием Джейран понимала, что так нельзя, что это безумие, а безумие не подобает такой женщине, как Джейран, повидавшей все стороны света, поднявшейся со дна жизни, добравшейся до порога дворцов, но Джейран ничего не могла поделать, сердце ей не повиновалось, и все рушилось.

Гянджинские молодые женщины рассказывали, будто одна рабыня во дворце повесилась из-за Махмуда - правда это или ложь, выдумка или быль, неважно, ибо что оставалось Джейран, как не повеситься, подобно глупой девчонке? Но тогда к чему были метания этих лет, поединок с голодом, нищетой, унижением, тысячи уловок, интриг, обдуманных в бессонные ночи, с трудом выработанное умение утешаться своим красивым телом, холить его ради будущего богатства, уповать на отвратительную похоть мерзких и жадных мужчин, годящихся ей в отцы, деды, мужчин, чья плоть насыщалась, но глаза - никогда; к чему были ее фальшиво-пылкие ласки и привычка ко всему этому? неужели для того, чтобы безрассудно влюбиться в юнца, ничего не знающего о жизни, и собственной рукой накинуть петлю себе на шею?

Зияд-хаи был убит, и это к лучшему, потому что Джейран все равно не смогла и не сможет выполнить поручение Зияд-хана - это несомненно, Зияд-хан был убит, и значит, Джейран была совершенно свободна; правда, обещанный дом в Тавризе тоже уплыл из рук, но ничего, не конец же света - Джейран молода, красива, умна, и все у нее в будущем.

Но будущего больше не было.

Когда пришла весть об убийстве Зияд-хана, во рту Гысыр Тары забелел единственный зуб:

- Слава аллаху! - сказала она. - Возвратимся в Гянджу, в свои халупы! Что мы тут забыли, в этих степях? Если мужчина, да еще молодой парень, не нашел вкуса в такой красоте, как ты, - пепел ему на голову! - Гысыр Тары соединила ладони и взмахнула ими. От злости у Джейран на подбородке обозначилось белое пятно:

- Заткнись, чертова старуха! - сказала она. - Замолчи!

Джейран сказала это, а про себя подумала: самый счастливый, самый беззаботный человек на свете - безбожница Гысыр Тары, ей на все плевать... А потом подумала: кто знает, может быть, в сердце этой Гысыр Тары тоже есть горе, о котором никто не знает, оттого-то Гысыр Тары с таким трудом перебивается...

Конечно, Джейран не знала, что судьба Гысыр Тары, этой самой Гысыр Тары, которая с таким трудом перебивается, станет самой странной, самой дивной из судеб человеческих...

Всего педели три назад будущее было так светло, ночи приносили цветные сны. В ночь, когда они выходили из Гянджи, Джейран была полна сил, весь мир был у прекрасных ног Джейран.

Тогда Джейран еще не видела Махмуда. Говорили, что сын Зияд-хана очень застенчив, день и ночь книги читает. Как-то раз в сердце Джейран промелькнуло желание подстроить встречу с Махмудом и добиться того, чего она не смогла добиться от его отца, и попасть во дворец, но она тотчас отогнала это желание, потому что жители Гянджи дурное говорили о Гамар-бану, и говорили они, что не только женщина-ни одно животное, ни одна птица не любит так своего детеныша или птенца, как Гамарбану любит сына. Джейран не хотела испытывать судьбу. Джейран бралась лишь за те дела, которые были вполне безопасны и о которых она заведомо знала, что они принесут выгоду, ибо Джейран достаточно перенесла в жизни, чтобы рисковать достигнутым ценой многолетних усилий и мучений.

Наутро того дня, когда она пустилась в дорогу, Джейран позвала к себе Гысыр Тары, и спросила о Махмуде.

Глаза Гысыр Тары, как глаза обжеванной маслом, кошки, чуть не вылезли из орбит:

- Ты его не видала? - воскликнула она. - Клянусь кораном, который прочла, намазом, который совершила, это Юсиф, прибывший из Ханаань!... Один раз меня позвали... - Гысыр Тары огляделась и договорила остальное, приложив отвислые губы к уху Джейран, вкусным шепотом, а потом, хлопнув сухими, как деревяшки, ладонями друг о друга, закатилась хохотом: - Да, да, пусть пронзит меня меч Святого Аббаса, настоящий крепкий мужик!..

Джейран тоже улыбнулась и почувствовала, что по телу ее разлилось тепло; Джейран нравились такие разговоры, потому что прежде Джейран спала с мужчинами только ради золота и ей было скверно, она страдала, насиловала себя, но прошли годы, и Джейран научилась получать наслаждение от мужчин.

Гысыр Тары смеялась, белел единственный зуб между отвислыми губами, и в лад ее смеху на ее иссохшей шее тряслись и бились друг о друга, издавая что-то вроде мышиного писка, бусинки где-то найденного ею ожерелья из ракушек; а Джейран задумалась, где взять воды из райской реки Ковсер, чтобы выпить этой живой воды и навсегда остаться молодой, и никогда не быть похожей на эту Гысыр Тары...

Джейран и в голову не приходило, что когда-то и эта Гысыр Тары была молодой, красивой и ее кокетство спалило многих, как дрова...

Джейран было всего двадцать пять лет, но Джейран уже пугалась временами будущей старости и одиночества.

Конюх Джафар чистил коней и, будто бы говоря с конями, расписывал свое село, покой, здоровье, домовитость и добросердечие сельских жителей:

- Эх, были бы мы сейчас у нас в селе. Избавились бы от этих скитаний, от этой пыли и грязи. Поселились бы в нашем доме. Хорошенько отдохнули бы. Спокойненько жили бы хоть месяц, хоть год, кругом были бы одни только горы, леса, да еще ледяные родники, да еще мы. Мать готовила бы нам. Скоро зима наступит. Сидели бы в теплом доме, у печки, глядели на горящий с треском огонь, ни о чем бы не думали...

Конюх Джафар был родом из Ширвана, из горного села Талыстан, из тех мест, где в древнейшие времена, семьсот-восемьсот лет назад правитель Джаваншир скакал на коне, размахивал мечом, проливал кровь завоевателей арабов.

Конюх Джафар, может быть, и сам не догадывался, что все печальные, мечтательные слова он говорит для одной Джейран. Конюх Джафар говорил эти слова со страстью, с огнем, которых больше не в силах был скрывать, конюх Джафар пожирал Джейран глазами, и Джейран не прикрикнула на конюха Джафара, не мигнула телохранителям, которых держала на поденной оплате, чтобы конюх Джафар исчез навсегда, и не только потому, что привыкла к голодным взорам мужчин, смотрела на это как на обычное дело и, более того, втайне радовалась этому и торжествовала, и не потому, что конюх Джафар был симпатичный и здоровый парень, а потому, что Джейран - откуда было это знать бедняге Джафару - и сама родилась в селе, выросла в селе и до четырнадцати лет жила в селе. Правда, Джейран была сиротой, правда, после того, как два старых персидских сеида, пришедших в село из Хорасана, заманили и изнасиловали Джейран, односельчане отвернулись от Джейран как от прокаженной, правда, шестидесятилетний староста села Аллахгулу тайком увел Джейран из села в горы и в летний зной ровно десять дней, не зная насыщения, выжимал из Джейран все соки, крупными зубами, жесткой бородой, пальцами, грубыми как бычьи копыта, превратил все тело Джейран в сплошной синяк, а потом сказал: «Аллах создал мое сердце таким мягким, что у меня рука не поднимается скинуть тебя со скалы. Убирайся и чтоб даже тень твоя не появлялась в этом селе!» - и дал ей пинка и прогнал, но все же, все же - в словах конюха Джафара была своя правда.

Джейран догадывалась, тайное чувство говорило Джейран, что думать об этом не нужно, а конюха Джафара надо прогнать: слушая разговор конюха Джафара с конем, Джейран во всем теле ощущала усталость и понимала, что эта усталость от тех лет, что последовали со дня ее изгнания из села, усталость от приключений, волнений, интриг, чужой и своей похоти, и в каждой клеточке ее тела таится желание, нет, не желание, а тоска по избавлению от этой усталости, по отдыху на чистом лоне природы, в сельской тиши, без расчетов и хитростей, без мыслей и планов, без лжи, без злобы, без клеветы, - и конюха Джафара необходимо прогнать, чтобы не просыпалось это тайное желание, чтобы не сводила с ума эта тоска.

Джейран улыбнулась: в чем вина конюха Джафара? Все эти ненужные мысли, эта мучающая Джейран тревога, это недовольство и раскаянье всколыхнулись после встречи с Махмудом, и будь проклята ночь, когда Джейран вызвали во дворец и предложили это дело, будь проклят тот день, когда Джейран увидела Махмуда.

Интересно, с какой вестью вернется Гысыр Гары?

Джейран была совершенно убеждена, что доброй вести не будет и что горе ее безнадежно.

Интересно, какими чарами владела нечестивая поповская дочка, что смогла так околдовать этого парня?

Джейран была готова, не моргнув глазом, не охнув, вонзить кинжал прямо в сердце нечестивой поповской дочки.

Под вечер Джейран послала к Сафи Гысыр Гары и теперь ждала вестей. Сафи от всего сердца, искренне должен был повлиять на Махмуда, Сафи должен был непременно сделать так, чтобы Махмуд принадлежал Джейран, и Джейран через Гысыр Гары пообещала Сафи чуть ли не мзды - семь с половиной фунтов - золота, что было вдвое больше того, что дал Джейран Зияд-хан.

С ума сошла Джейран?

На что ей эта кочевая жизнь? Эта цыганщина? Почему она преследует какого-то мальчишку, влюбилась в него до безумия? Подобаает ли ей в такую-то пору как глупой девчонке мечтать о ларце с драгоценностями, как именуют поэты губы возлюбленного? Что даст ей этот юнец? Она подержит его при себе и вскоре пресытится им, и юнец превратится в обузу, в изношенную вещь.

Неужели и вправду будет так?

Нет, нет, никогда так не будет. Если бы Махмуд принадлежал ей, Джейран отказалась бы от всего на свете, Джейран была бы счастлива, и, пожалуй. Джейран уже сейчас ощущала в себе возможное счастье, будь оно неладно, все это пустые разговоры: все чувства преходящи. Джейран подержит при себе этого молокососа месяц, потом им пресытится и не будет знать, что делать с этим беспомощным, безнадежным, бездомным дурнем; да именно так, в мире ничему нельзя доверять, до вчерашнего дня мальчишка был ханским сыном, а сегодня си юта и бедняк, мир неверен, жизнь ненадежна, всем владычит прок, ни шаха она не признает, ни хана, ни подданного!

Но беспомощность Махмуда вдруг сжала сердце Джейран, и Джейран, вдруг поняла, что в ее любви к Махмуду, который на восемь лет моложе ее, где-то на самом дне есть что-то материнское. Эта мысль потрясла Джейран, она почувствовала голову Махмуда на своей груди, и ей показалось, будто она сейчас приголубит свое дитя.

У Джейран никогда не было детей и, наверное, никогда и не будет детей, и Джейран в жизни не задумывалась над этим, потому что в свое время перенесла столько страданий, столько мук и лишений, что теперь думала только о себе и все дела и делишки обделывала ради своего благополучия, только и только своего. Однажды, два-три года назад, Джейран вспомнила сельского старосту Аллахгулу и решила нанять убийцу и отправить его в село, чтобы он отрезал голову сельскому старосте Аллахгулу. Два дня она жила чувством мести, но потом ей стало жаль денег, она подумала - будет жив сельский староста Аллахгулу или будет убит, что ей до того? И месть показалась Джейран безрассудной тратой денег. В сущности, именно в борьбе Джейран за свое благополучие и была жажда мести, к Джейран веселилась, услаждая себя маслом и медом, шелками и украшениями, точно мстила всем на свете за свое безрадостное детство, мученическую юность. Джейран любила только себя и была равнодушна ко всем другим от мала до велика, от бека до подданного, была равнодушна ко всему и ко всем, пока у неё не появлялся собственный интерес.

Когда Зияд-хан ночью вызвал Джейран во дворец и послал Джейран за Махмудом, все было просто и ясно: Джейран обольстит Махмуда, Махмуд познает, какие наслаждения бывают в этом мире, она вернет Махмуда в Гянджу, вырвет из сердца Махмуда любовь к поповской дочке, потом с хурджилом, полным золота, переберется в Тавриз; и, когда в ту ночь Джейран вместе с невольницами, телохранителями, слугами да еще с Гысыр Гары отправилась в путь следом за Махмудом, это казалось началом прямехонького, гладенького пути, а оказалось началом новых страданий и потрясений.

В первый раз Джейран нагнала Махмуда у родника и сделала Махмуду намеки, на которые была способна только Джейран: намеки стыдливые, но говорящие по сути о бесстыдной страсти и желании, одна Джейран увидела, что Махмуд не понял этих намеков и воображение не увлекло Махмуда в те грядущие сладострастные мгновения, на которые она намекала. Махмуд действительно не понял, чего от него хочет эта случайно встреченная и сошедшая с паланкина выпить родниковой воды женщина.

Во второй раз Джейран показала себя Махмуду.

Слуги донесли, что путь Махмуда лежит через озеро Плен Очей. В тот солнечный день караван Джейран укороченным путем опередил Махмуда, и, когда стоявшие в засаде невольницы сообщили о приближении Махмуда, обнаженная Джейран вошла в теплую воду озера Плен Очей, а невольницы с криками, смехом, шутками начали купать Джейран.

Озеро Плен Очей походило на озеро Гейгель в горах близ Гянджи, оно было окружено деревьями, кустарником; услышавшие шум Сафи и Махмуд направили коней к берегу и сквозь деревья, в шестидесяти или семидесяти аршинах увидели у берега, в мелкой, не покрывавшей колен воде голую Джейран.

В тот же миг Джейран инстинктивно почувствовала, что Махмуд и Сафи видят ее и смотрят на нее. С рассыпавшимися по плечам длинными волосами Джейран легонько отстранила невольниц, сама провела рукой по груди, животу, полным бедрам, с невыразимым кокетством наклонилась, выпрямилась, обернулась и всю себя показала Махмуду.

Махмуд тотчас узнал эту женщину, но тогда, случайно встретив ее у родника, Махмуд никак не мог представить себе, что в этой женщине столько соблазна. Сидя на коне, Махмуд с трепетом шептал:

- Уедем, Сафи! Уедем отсюда! Уедем, Сафи! Махмуд не приказывал, а молил.

Сафи словно окаменел; Сафи не мог отвести глаз от купающейся Джейран. Сафи понимал, что так нельзя, стыдно перед Махмудом, но ничего не мог с собой поделать, тело его окаменело.

- Уедем, Сафи!.. Уедем отсюда!.. Уедем, Сафи!..

Внезапно, точно ниоткуда, появилась Гысыр Гары, встала перед Махмудом, сказала:

- Ух! Вот это да!.. - Потом, показав глазами на Джейран, шепнула: - Не бойся. Я не скажу ей, что ты подглядывал. - Гысыр Гары подмигнула Махмуду. - Сейчас она войдет вон в ту палатку, будет там одна... У родника влюбилась в тебя... - Гысыр Гары тихонько рассмеялась. - Ну, иди сюда, я отведу тебя в палатку. Захочешь - сам вытри ее... Иди... Иди сюда...

Мгновенно Махмуда охватил страх, и страх отрезвил Махмуда: Махмуд испугался, что сейчас он побежит в эту палатку и всю жизнь, сколько проживет на свете, будет желать только тела этой женщины, только ее будет желать, и Мариам останется одинокой, беспомощной, обманутой.

Махмуд не знал, как заставил себя очнуться, как погнал коня, как ускакал от озера Плен Очей.

Гысыр Гары гневно сплюнула:

- Иди, - сказала она. - Сукин ты сын! Иди, черный камень тебе вслед! - Потом излила всю злость на Сафи. - А ты чего слюни распустил? Для тебя она купается, что ли? - Гысыр Гары пнула всегда босой ногой коня Сафи, и конь сдвинулся с места, почувствовал, что повод ослаб, вышел из рожицы, поскакал за другим конем, который несея впереди, вздымая дорожную пыль.

Затем Гысыр Гары подняла голову, посмотрела на небо: небо было ярко-голубым и совершенно чистым.

Сафи словно впал в бесчувствие и ничего не слышал.

Джейран не видела Махмуда, но едва различила промелькнувшую за деревьями тень, поняла, что и эта западня не сработала, и эта попытка провалилась. Когда Гысыр Гары вышла из-за деревьев и жалобно посмотрела в их сторону, Джейран с грубостью, которой трудно было ожидать от ее утонченной красоты, растолкала невольниц, выскочила из воды и бросилась в палатку; злоба Джейран не умещалась между небом и землей.

Но Джейран не знала, что конюх Джафар, который не отводил от нее глаз с того дня, как отправился с Джейран в странствие, тоже в двадцати шагах от озера Плен Очей притаился за холмиком, под старой сосной и, всхлипывая и постанывая, все это время смотрел на обнаженную Джейран.

Джейран не смогла в эту ночь уснуть до самого утра. После мучительных ночей, проведенных в горах, вблизи от их села, со старостой Аллахгулу и таких далеких теперь, и даже с той поры, когда Джейран в свои пятнадцать лет кочевала с цыганами, у нее не

было такой тяжелой ночи. Сначала Джейран подумала, что она в ярости на сына Зияд-хана, что разозлена его чудовищной глупостью, но потом поняла, нет, это не так, Джейран зла на себя, Джейран стыдилась самой себя за ту полуденную наготу, понимала при этом, что так нельзя, что если она начнет стыдиться и укорять себя, она быстро погибнет в этом безжалостном и холодном мире.

Мир был безжалостен и холоден, но в ту ночь Джейран в ледяном холоде мира ощутила и какое-то тепло: это тепло шло от Махмуда, в его дыхании была чистота, его дыхание свидетельствовало о добре, о красоте человеческой природы; в этом теплом дыхании Джейран увидела свое обольстительное тело как бы с ног до головы в нечистотах.

Вот так, внезапно, этой ночью, в жизнь Джейран вошел Махмуд и больше не оставлял Джейран одну, и сердце Джейран стало трепетать как у пятнадцатилетней неопытной и наивной девушки.

Потом пришло сообщение об убийстве Зияд-хана, но Джейран не повернула назад, не остановилась, она продолжала преследовать Махмуда. Люди Зияд-хана отстали от каравана Джейран, разбежались кто куда, только конюх Джафар не ушел и вместе с личными слугами, рабынями и телохранителями Джейран продолжал странствие.

Бессонные ночи сменяли друг друга.

Народные ашуги сочинили много песен в честь Джейран: косы твои пусть арканом будут, говорили они, а от этого аркана не спасется ни один мужчина на свете; глаза твои пусть возьмут мою жизнь, говорили они, щеки твои - свежее розы, говорили они, луноликая красавица с парой родинок на подбородке истомила души нам, говорили они; но народные ашуги не знали, что теперь, если Джейран вздохнет, высохнут и облетят листья гянджинских чинар, не знали, что в эти долгие бессонные ночи подушка Джейран была красна от крови, одеяло черно от горя.

Через пять или шесть дней после истории у озера Плен Очей Джейран с Махмудом встретились в третий раз. Джейран направила свой караван по следам Махмуда и в одном пустынном месте рано утром выслала невольницу - позвать Махмуда.

- Скажи, один человек в паланкине хочет повидаться с тобой по важному делу.

Потом Джейран приказала спустить паланкин со спины верблюда на землю, и невольницы и слуги, отошли в сторону, оставили Джейран одну.

Джейран стала ждать Махмуда. Вчера ночью она приняла решение об этой утренней встрече: она больше не могла терпеть и, как ребенок, заучила все, что скажет Махмуду. Она скажет правду, скажет Махмуду все, скажет, почему пустилась за ним следом, и попросит помощи. Но, когда Махмуд приблизился среди пустыни к чёрному паланкину, Джейран сразу же забыла все слова, которые собиралась произнести, они вылетели у нее из головы, грудь ее пылала от волнения, и, когда Махмуд, спрыгнув с коня, остановился подле паланкина, Джейран никак не могла сдержаться, протянула руку, подняла занавеску, схватила Махмуда за руку, втащила внутрь, и прерывисто дыша, спросила:

- Какой же ты влюбленный? Почему же ты не знаешь, что испытывают влюбленные? Ведь ты должен это знать! Не видишь разве, в черный цвет окрасился мой паланкин? - и Джейран рванула ворот своей шелковой кофты и прижала голову Махмуда к своим горячим выпуклым грудям. - Возьми меня! Иди ко мне! Я сделаю тебя мужчиной! Ты будешь самым счастливым мужчиной в мире! Все люди покажутся тебе нищими! Мелюзгой! Ты будешь выше всех! Иди сюда! Иди ко мне! Возьми меня!

Махмуд задыхался, Махмуд не мог вздохнуть, у Махмуда потемнело в глазах, Махмуд ничего не видел и всем телом чувствовал, что сейчас потеряет сознание; охватившая его страсть ему больше не повиновалась, охватившее его желание было сильнее его, но когда Джейран, схватив Махмуда за волосы, оттолкнула от своей груди и алыми как угли губами стала целовать глаза, лицо Махмуда, Махмуд внезапно

Давайте попросимся, мне пора...

Что это значило? Обезумела Джейран, с ума спятила?

Конюх Джафар чистил коней, и, поскольку все тридцать лет своей жизни он провел среди коней, в табунах, в конюшнях, Джафар не знал других забот, радостей и горестей, кроме конских забот, конских радостей и конских горестей. Детство и юность его прошли в селе, потом он прибыл в Гянджу, об этом отличном конюхе узнали во дворце и взяли на службу к Зияд-хану. Когда Зияд-хан послал Джейран за своим сыном, вместе с пятью дворцовыми служителями он отдал Джейран и конюха Джафара, и конюх Джафар с любовью и усердием ухаживал за конями в караване Джейран.

Когда же пришла весть об убийстве Зияд-хана, все дворцовые служители разбежались, но конюх Джафар никуда не ушел, потому что к любви конюха Джафара к лошадям прибавилась новая, тайная любовь. Конюх Джафар мог возвратиться в Гянджу, зная, что Баяндур-бек обожает лошадей, и хорошего конюха ценит не меньше, чем хорошего коня, но дело было в том, что новая любовь, как ни странно, напомнила конюху Джафару о родном селе, а ведь конюх Джафар расстался с селом двенадцать лет назад, и в селе теперь его ждала только мать, больше никого у них не было. На деньги, скопленные в Гяндже за двенадцать лет, конюх Джафар мог бы завести небольшой табун. В это время, когда люди убивали друг друга, хороший конь ценился как золото, и конюх Джафар рано или поздно мог составить себе состояние, мог стать владельцем больших табунов, поставляющим войску хороших лошадей.

Но из одного дела вышло другое: к этой исконной любви к заботе прибавилась новая любовь, новая забота, и рядом с этой новой любовью, новой заботой что значила любовь к лошадям, забота о лошадях? Ничего... Конюх Джафар был мужчина трезвый и отлично понимал, что надо йоги вытягивать, насколько хватает одеяла; такая ханум, как Джейран, ему не ровня, а человек должен искать среди равных, но сердце его то ли говорило?

И тут в жизни конюха Джафара произошло чудо из чудес: конюх Джафар почувствовал, что к знакомому сызмала конскому запаху примешался очень нежный, очень тонкий запах, и, подняв голову, конюх Джафар увидел перед собой Джейран, Джейран, не говоря ни слова, смотрела прямо в глаза конюху Джафару. Конюх Джафар был не столь уж проницательный человек, но и конюх Джафар в светлых глазах Джейран, отнимающих у человека разум, угадал не только печаль, но и какую-то решимость, какое-то намерение; потом Джейран подняла руку, положила ее на большую и грубую руку конюха Джафара, державшую скребок, и конюх Джафар понял, что, поскольку он - мужчина, верный слову, аллах услышал голос его сердца и сделал его, конюха Джафара, самым счастливым человеком на свете...

...В этот день Джейран, не дожидаясь Гысыр Гары, оставив посреди степи весь свой караван, невольниц и слуг, забыв о своем доме в Гяндже, об имуществе и состоянии, прильнула к конюху Джафару, и на одном коне они помчались в село, покинутое конюхом Джафаром двенадцать лет назад.

Такая вот была Джейран.

XII

В костре тлели угли.

Скорняки весь день выделывали на берегу реки бараньи и козьи шкуры, изготавливали сафьян, и даже поздно ночью запах кожи в этих местах еще не выветривался, и Сафи, ругая на чем свет стоит всех скорняков мира, держал пальцы над углями костра, согревая их.

А чем были виноваты скорняки?

А чем был виноват Сафи? Что за грех совершил Сафи, что как дервиш скитался по степям, в таком возрасте ночевал иод кустами, а сердце его сжималось от мысли, что

будет завтра? Мглой глубокого колодца окутан был этот вопрос, и за что такая колодезная мгла должна была стать уделом Сафи?

И вообще, что видел Сафи за всю свою сорокашестилетнюю жизнь?

До осени уже недели не оставалось, и ночная стужа заставляла дрожать от холода...

Обругав дьявола, Сафи хотел прогнать эти, совсем лишаящие его сил мысли, потому что втайне Сафи чувствовал и понимал, что эти мысли захватывают его, овладевают им и зовут к подлинной жизни.

Потирая ладони, Сафи стал греть над углями руки по всей их длине.

Сегодня вечером они расположились здесь, и Сафи ночью поставил Махмуду на спину глиняную банку - Махмуд уже несколько дней был простужен, кашлял, пылал в жару и бредил.

Чем все это кончится?

Глаза Махмуда смотрели на цветы и как будто спрашивали: «вы видели Мариам?»; смотрели на небеса и спрашивали: «вы видели Мариам?»; смотрели на степи, смотрели на дороги, смотрели на воды и спрашивали: «вы видели Мариам?»; на чужбине каждый мечтает о своем народе, а глаза Махмуда, взоры Махмуда, теряясь в чужих краях, мечтали о христианской девке, и порой все это так действовало на Сафи, что даже, когда шел божий дождь, Сафи казалось будто не дождь идет, а небеса плачут по Махмуду.

Кажется, и Сафи сходил с ума...

Первое время Сафи считал это странствие чем-то преходящим, не принимал этого странствия всерьез: в глубине души он был спокоен, потому что была Гамарбану, была такая громада, как Зияд-хан; кто же знал, что так все кончится?

Столкнуть Махмуда с пути было невозможно; всякий раз, когда он хотел идти вперед, Сафи говорил:

- Там такие пройдохи, которые нас с тобой вместо изюма сунут в карманы и сожрут. Мы и охнуть не успеем.

А Махмуд твердил одно:

- Я странник, Сафи, и хожу по дорогам...

Ладно, ты - странник, ну и будь странником, бродишь по дорогам-броди, у тебя - свой мир, своя цель, а я в чем виноват? И вообще в чем виноват я, что дожил до сорока шести лет, но в жизни своей не видел светлого дня, всегда был рабом, всей своей жизнью пожертвовал, чтобы служить другим? Довольно, глупый Сафи, довольно! Как быстро другими, чужими стали эти люди. Тело Зияд-хана еще не остыло под землей... И Гамарбану, говорят, пропала... Правда, на этом свете ничего нельзя предугадать, Сафи...

Сафи посмотрел на Махмуда, лежавшего ничком на паласе, расстеленном на земле по другую сторону костра, и, чтобы развеять эти черные, тяжелые, как наковальня, мысли, спросил:

- Банка присосалась?

Махмуд как обычно пребывал в своем собственном мире и, вместо того чтобы ответить на вопрос Сафи, сам стал задавать вопросы:

- Почему так противоречив мир, Сафи? На одной стороне - нищета, на другой - богатство... На одной стороне - правда Фирдоуси, на другой - обман Султана Махмуда, который заказал поэту «Шахнаме», а потом даже не прочел ее я вместо обещанного золота заплатил серебром.

Сафи озлился:

- Разве только теперь это так? - сказал он. - Разве тысячу лет назад так не было? Разве так не будет через тысячу лет? Разве природа не создала ночь наряду со днем? Разве не природа и дает жизнь, и убивает? Что ж, из-за всего этого будем маяться среди ночи?

Сафи дальше не пошел, с трудом удержался. Сафи хотел сказать: разве не самое большое противоречие на свете, что у таких огневых людей, дракона и львицы, как Зияд-хан и Гамарбану, такой сын как ты?

Сафи на сей раз удержался, но знал, что в другой раз не сможет удержаться, скажет этому юнцу все, что вертится на языке, и Сафи вдруг пожалел этого одинокого юнца, лежавшего ничком, опершись подбородком на руки и уставившись глазами в темноту ночи.

А Махмуд, глядя в темноту ночи, думал, что прах земной всюду одинаков, но самый легкий прах - человек; правда, от Султана Махмуда Газневи ничего не осталось, а от Абульга-сыма Фирдоуси осталась «Шахнаме», ну и что с того? какая сейчас польза хорасанскому Абульгасыму от славы «Шахнаме»? хорасанский Абульгасым давно уже смешался с землей, его нет, а придет время, и Махмуда сына Зияда не будет на свете, и, что самое главное, придет время, и Мариам тоже смешается с сырой землей, а если будет так, то нас, положим, не жаль, но Мариам зачем сотворил аллах? Мог бы ответить на этот вопрос старик, которого они здесь повстречали?

С тем стариком они встретились два дня назад: старик на ишаке ехал прямо на них и держал в руках котомку. Лицо старика было очень знакомо, и Махмуду показалось, что в Гяндже чуть не с детства он часто видел этого старика, но когда именно и кто он такой - не знал; этот старик как будто был похож на всех стариков на свете и в то же время не был похож ни на кого.

Старик остановил ишака прямо перед Махмудом и совершенно зелеными глазами посмотрел на Махмуда снизу вверх. Махмуд тоже натянул повод коня, и некоторое время они так смотрели друг на друга, потом Махмуд показал на котомку в руках старика:

- Что это?

- Четыре книги: тора, псалтырь, евангелие, коран.

- Кто ты?

- Я - Моисей, Давид, Иисус, Мухаммед.

- Ты - аллах?

Сощутив на солнце свои ярко-зеленые глаза, старик сказал:

- Нет. Я - человек. Я - это ты, он, Мариам, Сафи. Махмуд спросил:

- А... а как же грудь твоя не разрывается от горя?

- Ты во всем видишь горе, ищешь горя, а я вижу и вон те горы, вижу и эти травы, цветы, и эту реку, вижу, что и в тебе есть хорошего, вижу, что в Сафи хорошего, и это вижу...

Потом старик отвел свои ярко-зеленые глаза от глаз Махмуда, ударил пятками ишака и продолжал путь.

Сафи не видел этого зеленоглазого старика на ишаке, и Сафи показалось, что Махмуд опять разговаривает сам с собой, и в сердце Сафи промелькнуло сожаление: жаль мальчика... Сафи и в голову не приходило, что он просто не может видеть всего того, что видит Махмуд.

Угли в костре покраснели.

Сафи, потирая пальцы, продолжал держать руки над огнем.

Кроме журчанья реки, в этой темной ночи не слышалось ни звука, и вдруг издалека, совсем издалека послышался голос: кто-то, выводя трели, пел мугам; слов расслышать было невозможно, но звуки, как горный воздух, волнами распространялись над степью.

Сафи посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, и тихо сказал:

- Ах негодник, поет как царь Давуд!..

Махмуд тоже услышал доносящийся издалека голос, и вспомнился Махмуду молодой певец во дворце Зияд-хана, и Махмуд будто слышал не далекий голос, а голос того молодого певца, и совсем близко, и страсть в голосе молодого певца пронзила тело Махмуда, Махмуд подумал, что в сущности все шесть сторон света - правая и левая, передняя и задняя, верхняя и нижняя - одинаковы, и нет никакой разницы между ними.

Сафи подумал, что есть на свете счастливые люди, в такую ночь устроили веселое пиршество; наверное, там и мужчины лет на тридцать старше Сафи развлекаются с красотками Яхмы - сказочного города красавиц.

Сафи снова вспомнилась Джейран, и Сафи болезненно сморщился; изо всех сил Сафи старался выбросить Джейран из головы и уже несколько дней пугал сам себя, что станет задыхаться, как Белэм, приближенный пророка Мусы, алчный ко всему мирскому и заболевший от этого псиной одышкой.

Сафи так погнался Гысыр Гары, явившуюся к нему несколько дней назад, что Гысыр Гары сбежала, не издав со страху ни звука, и была счастлива, что спаслась.

Гысыр Гары от имени Джейран обещала много золота, чтобы Сафи уладил дело между Махмудом и Джейран.

Старая ведьма... Ах, недаром говорится врачу, - исцелился сам.

Когда Сафи увидел купающуюся в реке Джейран, он, сам того не зная, повторил слова пророка, который увидел во время купания свою будущую жену Зейнаб и воскликнул:

- Слава сотворившему тебя!

С этой-то минуты Сафи и не знал покоя и без конца думал о попусту прошедшей сорокашестилетней жизни.

Конечно, Сафи не впервые видел обнаженную женщину, и дело было не в наготы, да и не в том, что у Джейран было самое прекрасное тело на свете и оно пробудило в Сафи такое желание, какого он не испытывал никогда в жизни; дело было в том, что к неизведанному дотопе сладострастие примешивалась еще и алчность. Безмерное вожделение точно пробудило Сафи от многолетней спячки.

Чувство, подобное этому, Сафи испытал несколько лет назад, когда по поручению Гамарбану выехал из Гянджи по делу. Был полдень. Сафи устал проголодался. У родника, в тени ивового дерева, он сошел с коня, растелил перед собой небольшую скатерку, и, как обычно, засучив рукава, совершил омовение, потом начал есть взятую в дорогу вареную курицу. В то время по дороге проходил нескончаемый караван. У вооруженных всадников Сафи узнал, что это дары, направляемые Шир-ваншахом Шейхшахом Шаху Исманлу: тут были хурджины с драгоценностями, с золотыми и серебряными монетами, китайские шелка, русские меха, арабские скакуны, бардинские мулы... Грузы этого каравана невозможно было перечислить, и в сердце Сафи возникло никогда не испытываемое чувство: Сафи осознал свое ничтожество перед этим нескончаемым богатством каравана, и это ощущение так потрясло Сафи, что он вдруг увидел свои руки в крови, как будто ночью он зарезал Гамарбану кинжалом, похитил эти драгоценности и бежал; как будто эти драгоценности сияли и переливались всеми цветами радуги в залитых алой кровью руках Сафи. Сафи вскочил на коня и с невиданной у этого мягкого и спокойного человека злобой стегнул коня плеткой и поскакал.

Вареная курица с одной ногой - другая была оторвана - осталась под ивой; впервые в жизни Сафи был так расточителен.

Сафи искренне верил в бога; он не признавал мошенников-мулл, жуликоватых колдунов, жадных сеидов, но имя аллаха держал высоко, и в тот момент Сафи призвал на помощь аллаха и со временем чувство безумной алчности, охватившее сердце Сафи, прошло.

Но теперь это чувство не проходило.

Может быть, оттого, что в глубине души Сафи сам не хотел, чтобы оно прошло? Почему Сафи должен губить себя в пустынных степях и, увидев в адский дневной зной ободранный ежевичный куст, радоваться так, будто увидел райское древо тубу? Почему, нося в поясе такое богатство, Сафи, сам, своими ногами ведет себя к нищете, и разве это богатство, что он носит в поясе, не есть, в сущности, дарованная аллахом праведная плата за то, что он жил верно, жил чисто, всегда был всем доволен, провел все свое детство, юность, пору здоровья и мужественности, служа другим?

Сафи вздохнул.

Аллах?

Не упоминай имени аллаха, низкий человек. Все люди па земле низки, и ты тоже, если можешь вообразить такое; самый низкий из низких, ты, оказывается, не знал себя. Если все люди на свете низки, значит, и Махмуд низок? Нет, Махмуд не низок, Махмуд... Сафи не хотел произносить этого слова, но почему? Почему не нужно смотреть правде в глаза, и почему мы должны бежать от правды, обманывая себя? А правда была в том, что Махмуд... смелей, Сафи, смелей, ты ничем не хуже тех людей, ради которых сгноил свою жизнь, смелей же: Махмуд - сумасшедший, и что даст ему, что даст тебе следование за Махмудом, за этим сумасшедшим - да, да, Сафи, называй все своим именем, - за этим сумасшедшим, в наше время вообразившим себя меджуном? Ты видел вчера, как землепашцы, те поселяне которых мы в другое время за людей не считаем, хохотали над нами?

Вчера Сафи с Махмудом встретили двух поспоривших землепашцев. Спор был из-за земли, и один из землепашцев хотел объяснить другому, что два аршина участка тот отмерил неверно, ошибся, и как ни старался, другой его не понимал. Увидев Сафи с Махмудом, он обрадовался.

- Родные мои, - сказал он. - Ради имама Гусейна, помогите мне доказать этому бестолковому сыну бестолкового, что он ошибается.

Потом пахарь объяснил Махмуду, как они мерили участок и в чем состоит ошибка, а потом спросил:

- Ну, родной, теперь ты скажи, правильно я говорю или нет?

Откуда было этим крестьянам знать, что мысли Махмуда заняты другим? Ведь эти крестьяне - не Сафи... Пахарь еще раз спросил:

- Ну, кто из нас прав? - он потряс руку Махмуда: - Я с тобой говорю, кто из вас прав?

Махмуд сказал:

- Мариам права...

- Что? - мужик вытаращил глаза, потом оба, забыв о своем споре, долго смеялись над Махмудом и Сафи.

Такие вот-дела, Сафи...

Допустим, мы дошли и нашли проклятого попа, а дальше что? Поп отдаст дочь за Махмуда? Кто есть теперь у Махмуда, чтобы отобрать дочь у попа и отдать ему? Допустим даже, что Сафи сунул руку себе за пояс и с помощью драгоценностей - а это еще ненадежно, как сырое молоко, - уломал попа, и поп выдал дочь за Махмуда... А потом что? Сафи должен отдать то, что у него в поясе, какой-то нечестивой христианке, полоумному Махмуду, мол, берите, купайтесь в золоте, а я до самой смерти буду вам служить, растить ваших деток, дедом которых будет поп? Почему? Ну, почему? Зачем?

Махмуд все равно не ценил денег и все, что у него бывало, раздавал по дороге голодным. Наставления Сафи на Махмуда не действовали, и всегда, когда Махмуд раздавал беднякам деньги, Сафи думал: ну что ты сможешь сделать, даже став Хатами-тан, несчастный? Тот был арабский эмир, был столь же богат, коль и щедр, но можно ли, если в мире столько голодных, накормить всех?

Бедный Сафи не понимал, что Махмуд раздавал встречным все, что у него было, не только потому, что они голодны, пусть, мол, поедят; Махмуд в течение этого странствования на каждом шагу видел бессмысленность богатства и вообще денег, и, когда бедняки благодарили его за пожертвование, ему бывало стыдно: Махмуду казалось, что, давая золото или серебро, он обманывает людей, а они ничего не понимают. Ценность золота и серебра казалась ему надуманной, ненастоящей...

Хорошо, что Махмуд не знал о поясе Сафи, и, в сущности, теперь никто на свете не знал о поясе Сафи. Кроме одного аллаха.

Махмуд не знал об убийстве своего отца, и Сафи ничего не сказал об этом Махмуду. Махмуд все равно не свернул бы с пути, все равно пребывал в страдании, и какой был смысл добавлять ему страдания? Однако, если ты это понимаешь, что за мысли лезут тебе в голову, старик? побыстрее снимай со спины мальчика банку, ложись и спи.

Но Сафи не мог спать. Как только Сафи закрывал глаза, он видел купающуюся в реке Джейран.

А угли в костре краснели.

Сафи поднялся, присел на корточки рядом с Махмудом и, спустив с его спины шерстяную накидку, хотел снять глиняную банку.

Банка крепко присосалась, и Сафи, одной рукой оттягивая тело Махмуда по краю банки, другой рукой, наконец-то снял ее. Спина Махмуда в этом круге, выдавленном краями банки, была совершенно черная, и Сафи, увидев в свете тлеющего костра черный круг, вдруг смягчился, как будто на него вылили большой кувшин теплой воды и ее теплота превратила сердце Сафи в сплошную нежность: единственный сын Гамар-бану так простудился в бескрайних степях, на голых равнинах, а ты куда смотришь, Сафи? дьявол сбил тебя с толку, Сафи? совсем сбил, прогони дьявола из сердца, прокляни дьявола; если и ты предашь сироту, значит своими руками выроешь ему могилу, ибо, если в этом черном мире столь черные мысли гнездятся уже и у тебя самого, какой может быть у Махмуда удел, кроме могилы? всех нас ждет сырая земля, но если ты своими руками выроешь ему могилу, Сафи, тогда и сырая земля разверзнется, и мир перевернется.

Сафи, сокрушаясь, растирал Махмуду спину. Ты только посмотри на палаческие дела этого мира... Ровно девять лет ждали появления Махмуда; когда Махмуд родился на свет, все жители Гянджи за счет казны, даром ели, пили, развлекались сорок дней, сорок ночей; а теперь этот самый Махмуд, как наши й, лежит под кустом... Кому рассказать - не поверят... Сафи укрыл Махмуда шерстяной накидкой, чтобы не простудить черный круг от банки и сочувственно сказал:

- Теперь бы тебе полежать в постели, детка... Спина черная как уголь... Нет, детка, завтра я тебя никуда отсюда не пущу... Здесь же хорошенько тебя укурю, денек пролежишь, хорошенько пропотеешь, потом посмотрим, что с нами будет...

Сафи впервые в жизни говорил Махмуду «детка». До сих пор Махмуд был сыном господ Сафи, а теперь у Махмуда, кроме Сафи никого не было. А у самого Сафи разве был кто-нибудь кроме Махмуда?

Махмуд ничего не сказал, и его молчание загло огонек надежды в сердце Сафи: значит, Махмуд был согласен хоть завтра не скитаться, а завтра Сафи снова начнет умолять его, и, может быть, на этот раз Сафи удастся объяснить ему бессмысленность этого странствия. В мире есть столько городов, они бы обосновались в одном из них, купили бы дом, Сафи женил бы Махмуда...

- Махмуд...

Махмуд не ответил. Подоткнув края накидки так, чтобы не проникал холод, Сафи снова позвал:

- Махмуд, детка...

- Махмуд повернул голову к Сафи и спросил:

- Ты слышишь, Сафи?

- Что?

- Голос певца.

Сафи почувствовал, что кровь в его жилах стала черной, как след от банки; Сафи жалел его, говорил ему сердечные слова, а он Сафи даже за человека не считал, не слышал вовсе его слов, мысли его были заняты стихами Физули, или кого там еще какого-то поэта, и пока Сафи сам себя ел в душе, в сердце Махмуда звучала песнь...

Очень хорошо, Сафи, тебе и этого мало, ты страдаешь, что этот бедняга так простужен, а он поет себе песенку и издевается над тобой; тебе и этого мало, бесстыжие твои глаза; чего ты хочешь от него? свернув с пути, куда ты поведешь его? может быть, в

Гянджу поведешь: на, Баяндур-хан, отрежь ему голову, а вот вдобавок и моя голова тебе в подарок. В какой другой город ты поведешь его, глупец? ты своего горя пережить не в силах, так взвалишь на себя еще и это горе? разве ты не видишь, что аллах таким его создал и этого дела не поправишь? разве ты не видишь, что этот человек блуждает во тьме, где даже проблеска не видно?

Сафи подумал, что, может быть, доносившийся давеча издали голос певца был Хатиф, глас ангельский, и он призывал Сафи стать человеком и жить как человек...

Сафи подумал, что, конечно, если бы он был не простой человек, а пророк, который во мгновение ока вознесся на седьмое небо, он доставил бы во мгновение ока Махмуда к Мариам, но он не пророк и потому будет так, как Гялям-Перо аллаха записало на Левхимехфуз-Доске судьбы, которая хранится на небесах.

Когда пришла весть об убийстве Зияд-хана, Сафи охватил животный страх: Баяндур пошлет людей, чтобы убить Махмуда и самого Сафи... Но, к счастью, Махмуд был такой ханский сын, что убит он или не убит - равно не имело значения, и поэтому у Баяндур-хана даже времени не нашлось предпринять что-либо против Махмуда. В этом мире ничего не поймешь: может быть, безжалостный ко всем Баяндур-хан жалел Махмуда? Ах, Сафи, может, покамест ему времени было жаль, может, и самого Махмуда жаль, но ты прав, Сафи, именно потому, что в этом мире ничего не поймешь, где порука, что вот этой же ночью люди Баяндур-хана не доберутся сюда и не отрежут головы и Махмуду, и тебе?

Сафи непроизвольно потрогал рукой свой пояс. С того дня, как этот пояс был надет, - уж сколько времени, - Сафи его ни разу не развязывал и в течение всего этого времени - из-за пояса даже искупаться не мог. Вначале пояс раздражал Сафи, тело под ним потело, чесалось, но постепенно Сафи привык к поясу, и теперь этот пояс был словно частью тела Сафи, как рука, как нога.

Сафи еще ничего не взял из пояса. Махмуд раздал вес, что у него было при себе, а поскольку теперь никто им не помогал, они остались одни на всем свете, приходилось самим добывать себе пропитание: никто уже больше по поручению Гамарбану не передавал Сафи тайком вкусные яства, и Сафи продал лошадей. Теперь они жили на эти деньги...

Угли в очаге краснели.

Голос того молодого певца смешался с журчанием реки.

Голос того молодого певца во мраке ночи вдруг засветил перед глазами Махмуда чей-то взгляд, и Махмуд узнал этот взгляд: шесть или семь дней назад Мужчина в Красной Юбке посмотрел на него так и ушел; после этого взгляда Махмуд, сидя на коне, долго смотрел вслед Мужчине в Красной Юбке, и, оказывается, его взгляд запечатлелся в мозгу Махмуда - теперь, в ночную пору, он так ясно увидел вдруг этот взгляд...

О чем говорил этот взгляд?

С Мужчиной в Красной Юбке они встретились в горах.

Махмуд впереди, а Сафи, как всегда, вслед за ним поднимались вверх по горной тропинке, и тут навстречу им выбежал мужчина, одетый в красную юбку, и, увидев их, совершенно растерялся, обеими руками прижал к груди кусок хлеба, и, встав перед конем Махмуда, не знал, что делать.

Поодаль, под ореховым деревом с толстым стволом, сидел старик, и кроме чистой, но разодранной длинной рубашки на старике ничего не было. Старик был так тощ, что можно было пересчитать все ребра по одному, голова - настоящий череп, а из глубоких впадин, где засели глаза, виднелись два больших мерцания. Протянув вперед руки, состоящие только из костей и кожи, старик что-то говорил, но что он говорил, понять было невозможно, потому что с губ его срывались не слова, а тоненький бессильный писк. Махмуд понял, что Мужчина в Красной Юбке отнял у старика хлеб.

Махмуд еще раз взглянул на пискнувшего старика, взмахивающего простертыми вперед руками: нет, с голоду человек не может так исхудать, только с горя человек может так истаять, и кем же надо быть, чтобы отобрать у такого хлеб...

Мужчина в Красной Юбке, прижимая хлеб к груди обеими руками, стоял, опустив голову, впериw глаза в землю. Лет Мужчине в Красной Юбке было не так много, но голова, борода, волосы на груди, на руках были совершенно белые.

- Ты почему отобрал хлеб у человека? Разве ты не видишь, до чего его довело горе? - Потом Махмуд оглядел ярко-красную юбку мужчины от широкого подола до пояса и сказал: - Эх, откуда тебе знать, что такое горе?

После этих слов Махмуда Мужчина в Красной Юбке поднял голову и всего одно мгновение смотрел Махмуду в глаза, потом опять опустил голову и молча ушел.

Его мгновенный взгляд потряс Махмуда.

Сафи тогда ворчал на Махмуда и, только когда Мужчина в Красной Юбке ушел, вздохнул спокойно; Сафи трусил и ворчал, мол, какое тебе дело до чужих людей, вдруг что не так, скинет нас себе под ноги, ограбит...

Махмуд спешился, несмотря на ворчание Сафи, вытащил из его хурджина всю еду, какая там была, отдал старику, и старик с непостижимой быстротой упрятал всю эту еду под свою драную рубашку, но Махмуд не обратил внимания ни на проворство, ни на жадность старика и не заметил, что под драной рубашкой у старика была и другая еда, и хлеб; обернувшись назад, Махмуд смотрел вслед Мужчине в Красной Юбке.

Мужчина в Красной Юбке исчез с глаз, но Махмуд еще некоторое время не отводил взгляда от тропинки, спускающейся по склону горы.

О чем говорил этот взгляд?

В этом взгляде была боль, была мука, было страдание, но главное, в этом взгляде была откровенная насмешка.

Страдальческий взгляд, в сущности, смеялся. Смеялся над Махмудом: а ты-то знаешь, что такое горе?

Во мраке ночи, в журчании реки, в постепенно слабеющем тепле тлеющего костра и постепенно удаляющемся, исчезающем голосе молодого певца этот взгляд как будто снова повторил: а ты-то знаешь, что такое горе? ты, которого все считают меджнуном, скитающимся по степям...

Махмуд содрогнулся от собственной мысли: разве стыдно быть меджнуном? Почему, читая творения Шейха Ильясa Низами, Амира Хосрова Дехлевп, Лбдуррахмана Джамии и жившего совсем недавно Эмира Алишера Навои, которые писали о Меджнуне и Лейли век за веком, почему, слушая их, люди проливают слезы о судьбе Меджнуна, а для человека, которого видят, знают, который дышит с ними одним воздухом, «меджнун какой-то» - это бранные слова? Меджнун какой-то - кто это? Это человек, который в степях может договориться и с джейраном, который верен любимой, никому не делает зла, никому не разбивает сердца, хочет, чтобы все были счастливы. Почему же люди смеются над таким человеком?

Взгляд Мужчины в Красной Юбке тоже смеялся поэтому?

Нет, смех в этом взгляде был иной, его насмешка была иной...

Конечно. Махмуд не мог понять до конца, что значил взгляд Мужчины в Красной Юбке, потому что Махмуд не знал о том горном селе, потому что Махмуд не знал о бойне в том селе, о бойне, перед которой бойня в Кербеле, когда убили имамов, была просто пустяком.

Откуда было знать Махмуду, что мужчина где-то нашел и натянул на себя первую попавшуюся юбку и ее красный цвет - не цвет распушенности и бесстыдства, а цвет крови человеческой.

Это село было одним из прекраснейших сел на свете; когда мир пылал и трескался от жажды, вокруг этого села на каждом шагу пели родники, принося сердцу прохладу; когда мир не находил куска хлеба, желтая пшеница этого села перемалывалась на

мельнице, мешки громоздились друг па друга; когда в мире скот не находил и черной колючки, скот этого села с раннего утра разбредался по горным склонам и под вечер возвращался во дворы с полным выменем; когда мир замерзал от холода, надевал шубу на шубу и не находил дров, чтобы согреться, печи этого села горели, весело потрескивая; когда в мире люди не могли поделить между собой земных благ, столько земли, и пили кровь друг друга, а вереницы войск разрушали города, превращали в развалины селения и одна сторона нападала я уводила табуны, отары, а другая сторона, в свою очередь мстила злобно, жестоко, отвесные скалы, глубокие обрывы, пробивающие небо горные вершины вокруг этого села не допускали, чтобы здешних мест коснулось копыто чужого коня, охраняли это село от чужого дыхания, и однажды проходивший по этим местам арабский поэт и путешественник йеменец Абульгасым Талыб эл-Хасан Джамаледдин Гияс ибн Зияд Мухаммед Кямаледдин Хамндахисал, псевдонимом которого было Гезал Ха-сиятди-Прекрасиодушный, написал длиннее своего имени касыду и прославил это село как рай земной, который лучше, чем рай небесный.

Жители села были рослые, краснощекие, мужчины - с сильными руками, женщины - с полными молока грудями; народ работающий, они сеяли, убирали и ели на здоровье; и в смутное время они были довольны своей судьбой и благосостоянием и при надобности умели прощать друг друга, быстро забывали плохое и жили хорошо.

В то время Азер только что женился и жил вместе с молодой женой Айсулу в этом селе, воспетом более чем рай повидавшим мир Гезалом Хасиятли; усталость Азера за полный день работы в поле забывалась в чистой и здоровой постели Айсулу; жар гладкого и нежного как у рыбы тела Айсулу говорил о благодати жизни.

Когда у Азера и Айсулу родился первый сын, Азер дал своему первенцу имя имама Али.

- Имя я дал, лета пусть аллах даст! - сказал он, и в тот день все жители села развели костры, зарезали скотину и до утра пировали, пели, плясали: каждый раз, когда на свет появлялся ребенок, село устраивало такое празднество.

Когда у Азера с Айсулу родился второй сын, Азер второму сыну дал имя имама Гасана, потом у них родился третий сын, и Азер назвал третьего сына именем имама Гусейна, родился четвертый сын, и Азер дал четвертому сыну имя имама Зейналабдина.

Сыновья Азера и Айсулу были самыми здоровыми, самыми красивыми, самыми умными и самыми ласковыми детишками села, и все жители, глядя на этих мальчиков, говорили:

- Ребята достойны своих имен!

Потом у Азера с Айсулу родился пятый сын, и Азер дал пятому сыну имама Мухаммед-Багира, потом родился шестой сын, и Азер назвал шестого сына именем имама Джафар-Садыха, прошли дни, месяцы, у Азера с Айсулу родился седьмой сын, и Азер дал седьмому сыну имя имама Мусаи-Казыма.

Азер называл сыновей именами имамов, и мальчики росли такими здоровыми, красивыми, умными и ласковыми, что жителям села понемногу стало казаться, будто эти мальчики и в самом деле имамы, заново родились на свет, и в любви людей к этим мальчикам, в том, как все их ласкали, чувствовалось что-то вроде благоговения. Конечно, эти мальчики пока что были для людей обычными мальчиками, но и в этой обыденности сквозило что-то необычное, и тогда сельский аксакал девятилетний Баяндур-Ихтияр впервые задумался, и однажды ночью у него пропал сон, и, не сумев заснуть, он вышел во двор, потом побродил в ночной темноте по улицам; прислушался к тишине спящего села и сам себя спросил:

- Бог отворачивается от нас?

У Азера с Айсулу родился восьмой сын, и Азер дал восьмому сыну имя имама Рзы; потом у Азера с Айсулу родился девятый сын, и, когда Азер хотел дать девятому сыну имя имама Мухаммеда-Таги, сердце Айсулу вдруг сжалось в тревоге, и Айсулу, глядя на спящего в свисающей с потолка зыбке девятого сына, сказала: - назови его по-другому... -

и эти слова, в сущности, пришлось по душе Азеру, но другое имя дать уже было невозможно, и без того все село перешептывалось, что вот пришел и Мухаммед-Таги...

Азер дал девятому сыну имя имама Мухаммеда-Таги. Весь мир кишел сумасшедшими, но в этом селе, которое Гезал Хасиятли полагал лучше рая, был всего один помешанный, и его звали безумец Ибрагим. Безумец Ибрагим мог что днем, что ночью сидеть, беседовать с тобой, и ты в жизни не сказал бы, что этот мужчина с густой седоватой бородой, с седоватыми кудрями, с руками - каждая бычьей силы - сумасшедший, но время от времени, внезапно, у Безумца Ибрагима глаза чуть не вылезали из орбит, и в такие минуты Безумец Ибрагим слышал голоса ниоткуда, потом у него сводило руки-ноги, он падал на землю и бился в корчах, и изо рта у него шла пена. После того как Безумец Ибрагим приходил в себя и поднимался, он, тяжело дыша, рассказывал людям, что слышал голос ниоткуда, и удивлялся, что никто, кроме него, не слышал слов, произносимых этим голосом.

Жители села никогда не придавали значения сказанному Безумцем Ибрагимом, все сочувствовали Безумцу Ибрагиму, что у сильного, здорового мужчины такое горе, но случилось так, что однажды село поверило Безумцу Ибрагиму, да и, по сути дела, все жители этого села уже много времени ждали вести, которую провозгласил Безумец Ибрагим.

По селу разнеслась весть, что рано поутру перед глазами Безумца Ибрагима сверкнула молния, и голос ниоткуда сказал Безумцу Ибрагиму, что через некоторое время Мехти Сахибаз-заман - последний имам, Властелин времени - появится в вашем селе, в доме Азера, чтобы судить людей судом праведным.

До сих пор никогда перед глазами Безумца Ибрагима не сверкала молния, и никогда Безумец Ибрагим не слышал так ясно голос ниоткуда. Ближе к полудню Безумец Ибрагим, рассказывавший всем встречным и поперечным услышанное им, вдруг схватился за грудь, упал на землю, забился в судорогах, изо рта у него пошла пена, и больше он уже не поднялся.

Вечером Безумец Ибрагим умер.

Уж не для того ли аллах держал Безумца Ибрагима, чтобы донести до людей услышанную им нынче поутру весть? Какими же невежественными, глухими для гласа божьего были жители этого села, что ставили перед именем все видевшего и все слышавшего Ибрагима слово «безумец» и не принимали во внимание его прорицаний?

Жители села сбежались к дому Азера с Айсулу, и стали жители села целовать руки, подолы, ноги у Али-Гасана, Гусейна, Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, Мусаи-Кязыма, Рзы и даже Мухаммеда-Таги, которому еще не исполнилось сорока дней, и с этого дня все село начало ждать Мехти Сахибазамана, но никто не знал, что в ночь по мгновении того же дня девяностопятилетний Баяндур Ихтияр, сердце которого охватило смятение, опять не мог уснуть, в полночь вышел во двор, обошел по одному все кварталы спавшего села и спросил сам себя:

- Бог на нас разгневался?

Потом девяностопятилетний Баяндур Ихтияр вспомнил строки из сказаний Деде Коркута, которые еще в детстве слышал от озана; эти строки долгие годы словно хранились в темной шкатулке, а теперь шкатулку открыли, и эти строки вышли на свет: в ночной тишине губы девяностопятилетнего Баяндур-Ихтияра, кривившиеся весь день при взгляде на людей, будто совершенно потерявших разум, и кривящиеся теперь от страха и тоски, качали повторять услышанные еще в детстве эти светлые строки:

Ты выше высоких, высокий бог!
Ты не рожден от матери,
Ты не рожден от отца,
Ничью пищу не ел.
Никого не отталкивал,
В юдоли скорби ты первый,
Аллах вечный,
Адама ты короновал.
Дьявола ты подрал,
В черные небеса послал луну,
Рыбу с распоротым животом,
Древности твоей предела нет,
Нет у тебя очертаний,
Нет у тела твоего предков.
Милый аллах, помощи прошу у тебя,
Помощи прошу у тебя!
Любимый аллах,
Помощи себе прошу...

Снова прошли дни, миновали месяцы, у Азера с Айсулу родился десятый сын, и Азер дал десятому сыну имя десятого имама Али-Аннаги, и после этого все жители села день и ночь принялись ждать появления одиннадцатого, а потом и двенадцатого имама Мехти Сахибазамана.

Одному из жителей села - Ягубу Мелик Султану вспомнилось, что шесть лет назад его корова вечером, не вернувшись из лесу, ночью они пошли и увидели, что волк разодрал корову, и если это не горе, то что же это? Исфаил сын Мухтара вспомнил, что в позапрошлом году из восемнадцати цыплят, вылупившихся из яиц, выжило только семь, и сети это не горе, то что же это? На свете были такие большие города, как Тавриз, как Ардебиль, как Гянджа, и жители этих городов золото за золото не считали, серебро богатством не считали, а девушки этого села носили браслеты из меди, и если это не горе, то что же это? Абульфаз вспомнил, что в прошлом году на свадьбе сына соседа Алекпера этот Алекпер куда больше внимания уделял другому соседу - Фараджуллаху, чем ему, а Фараджуллах вспомнил, что три года назад старшая дочь Абульфаза бросила камень в его младшего сына и разбила ребенку голову, а за что? - неужто за то, что синишка Фараджуллаха потоптал абульфазов огород? - и если это не горе, то что же это? А разве не горе, что Мардан сын Абдуллаха не отдал, свою дочь за Искендера, а выдал за такого мужа, как Алибала? А как можно было терпеть, что в хлеву Алиовсата содержались четыре дойные коровы, а во дворе отца семерых детей Керима была всего одна корова?

После появления Мехти Сахибазамана всей этой несправедливости будет положен конец, и справедливость восторжествует.

И тут словно чьей-то злой волей начался недород - обычный, не очень страшный, такие бывали и прежде, и село, богатое и дружное, хуже или лучше справлялось с ними, но теперь все пошло кривь и вкось: Гюля не засеивались, этот брат говорил - пусть тот брат сеет; тот брат говорил - почему я должен сеять, этот пусть сеет; а земля в этот год рожала туго, сеять должны были все; но этот с тем стали кровниками, сосед с соседом не уживались, один двоюродный брат надувал другого, дочь дерзила отцу, мать жалела еду для сына.

Могила Безумца Ибрагима стала святым местом. Над селом нависла нужда и вражда, и на святом месте, жалуясь и клеветая друг на друга, люди откладывали решение дел своих до прихода Мехти Сахибазамана и просили святыню сделать для них то, что они прежде делали сами.

У Азера и Айсулу родился одиннадцатый сын, и не было у Азера иного выхода, как дать одиннадцатому сыну имя одиннадцатого имама Гасан-Аскера, а уж после этого все жители села начисто забыли о своих дочерях и сыновьях, забыли о своем доме и, сложив руки на груди, стали ждать, что придет Мехти Сахибаззаман и осчастливит их. Но каково же будет это счастье? Ведь если Фараджуллах станет счастлив, Абульфаз должен быть несчастен; Абульфаз мог быть счастлив только тогда, когда Керим несчастен; Зубейда будет улыбаться тогда, когда Фатма заплачет...

В селе начался голод: то ли потому, что недород в самом деле подкосил его, то ли потому что никто не сеял, никто не убирал; но хлеба не было, и люди варили крапиву и набивали себе животы, только Азер сеял и жал в поле, кормил своих сыновей, обхаживал корову, поил своих сыновей молоком, и поэтому и Али, и Гасан, и Гусейн, и Зейналабдин, и Мухаммед-Багир, и Джафар-Садых, и Мусай-Кязым, и Рза, и Мухаммед-Таги, и Али-Аннаги, и Гасан-Аскер росли здоровенькими, и в лице каждого из них была черточка прекрасного лица Айсулу, Али было четырнадцать лет, Гасан-Аскеру не было еще и года, и эти дети не могли понять, чего хотят от них люди, почему целуют им руки, подолы, а если они так любят детей, то почему не присматривают за своими, почему у сельских детишек животы пухнут с голоду...

Ребятишки сбегались к забору и смотрели на тетю Айсулу, которая сидела, скрестив ноги, у тендира во дворе, лепила на его стенки чуреки, и Айсулу, горестно восклицая про себя «бедняжки!», давала каждому по кусочку хлеба, но на всех не хватало, и потому ей самой; кусок не шел в горло.

Ослы остались в селе без присмотра и разбрелись по степям, кони одичали и табунами подались в лес, волки, будто поняв, что сельчане оголодали и поглупели, резали коров, по ночам врывались в сараи, уносили баранов и коз, а оставшихся душили.

Сельские жители передрались друг с другом, этот воровал у того горсть гороха, тот из-за одной груши разбивал голову этому.

Девяностовосьмилетний Баяндур-Ихтияр начал обходить по одному все дома села:

- Люди, вы что, с ума сошли? - говорил он. - Образумьтесь! - говорил он. - Вы сами себя заколдовали! Очнитесь! Страхните злые чары! - говорил он; но Баяндур-Ихтияра никто не слушал, и в конце концов людям так надоело пустая болтовня девяностовосьмилетнего старика, что они дали ему пинка под зад и прогнали из села, и когда Баяндур-Ихтияр попытался вернуться, у могилы Ибрагима старика забросали камнями, и дети, и женщины, и мужчины швыряли в него что под руку попало - камни, головешки, и с того времени никто больше не видел Баяндур-Ихтияра...

Осень наступила рано, съедобная зелень кончилась, на деревьях плодов не осталось, и люди были голодны и не находили пищи, но все можно было вытерпеть, потому что Айсулу. снова была беременна и до возвращения в этот мир Сахибаззамана оставалось немного, скоро мир улыбнется.

По мере приближения родов, когда ребенок начал шевелиться, толкаться, в сердце Айсулу возникло томление и беспокойство, и Айсулу однажды ночью, в постели, целуя руку Азера, прошептала:

- Давай сбежим отсюда...

Азер спросил скорее себя, чем Айсулу:

- Куда бежать?

Куда можно было уходить с одиннадцатью детьми и в ожидании двенадцатого, бросив дом и землю без присмотра? Где они могли бы найти приют и вообще почему они должны были бежать? Кому они что сделали худого и кому что должны?

Айсулу не хотела разлучаться с Азером, день и ночь оставалась рядом с Азером, и Азер с трудом отрывался от Айсулу, чтобы пойти поработать в поле.

И в этот день Азер был в поле.

По селу во мгновение ока разнеслась весть: у Айсулу начались схватки, и опытная в таких делах тетка Гамарбану, зажав в руке подол своей юбки, в двенадцатый раз побежала в дом Азера, чтобы принять новорожденного.

Являлся на свет Мехти Сахибаззаман.

Все село сбежалось к дому Азера.

- Да принесут нас в жертву аллаху!

- Нет бога кроме аллаха! Ла илаха иллаллах!

- Грядет Сахибаззаман!

- Мехти идет!

- Да падем мы жертвой ради аллаха!

В глазах всех людей села, от мала до велика, был безумный блеск, и казалось, вырвавшееся из груди этих побледневших, тощих людей волнение, жажда избавления от невзгод, как мираж, окутали все село.

Двор Азера был полон людей.

- Грядет Сахибаззаман!

- Сахибаззаман грядет!

Али, Гасан, Гусейн и Зейналабдин, Мухаммед-Багир, Джафар-Садых, Мусай-Кязым, Рза, Мухаммед-Таги, Али-Аннаги, Гасан-Аскер, прижавшись друг к другу, сидели, объятые страхом, на веранде, смотрели на этих людей, с пеной у рта кричавших во дворе: - Грядет Сахибаззаман! - и ждали своего нового братца Мехти.

В этот миг донесся детский крик, и люди, умолкнув, прислушивались к этому, будто ниоткуда доносящемуся голосу - голосу Сахибаззамана; люди устали то ли от ожидания, то ли от голода, вражды, проклятий, грязи, но даже взрослые мужчины, слушая голос Сахибаззамана, плакали как женщины.

В детском крике Мехти Сахибаззамана было утешение, успокоение, что разливалось в каждой груди, и усталость, голод, вражда, проклятия, грязь, растворялись и исчезали в этом целительном бальзаме; голос младенца будто отрывал ноги людей от земли и поднимал их в воздух, и люди ощущали никогда дотоле не испытанную легкость.

Женщины, не удержавшись, набились в дом, и вдруг самая страшная, самая ужасная на свете весть донеслась из комнаты, где слышался детский крик:

- Ребенок - девочка!

Двенадцатый ребенок Азера и Айсулу оказался девочкой.

От этой вести люди замерли, колени их задрожали, сердца остановились, в глазах потемнело, людей прошиб холодный пот, все онемели и не могли издать ни звука.

Тетка Гамарбану вынесла младенца наружу и обеими руками протянула и показала людям похожую на красный кусочек мяса девочку, а сама вперила в глаза сельчан свои глаза, пылающие гневом. Было холодно, и голенькое дитя, только вышедшее из материнского лона, от внезапного холода умолкло, и вокруг воцарилась тишина, гнев, пылающий в глазах тетки Гамарбану, зажег людей, и когда ребенок вдруг снова закричал, крик его после мертвой тишины привел людей в движение. Фараджуллах влез на стоявшую во дворе деревянную бочку, крупные жилы на его дочерна загоревшей под солнцем, толстокожей шее раздулись, и он закричал:

- Безумные люди!.. Люди, поверившие словам сумасшедшего Ибрагима! - кричал он. - Сумасшедший Ибрагим обвел нас вокруг своего члена и ушел!.. Нам, простакам, и этого мало! Теперь сумасшедший Ибрагим смотрит с того света и говорит: пепел вам на головы!.. И еще хохочет над нами, покатывается!..

Будто и вправду по двору разнесся дикий хохот Безумца Ибрагима, и люди в оцепенении слушали его.

Взгляд Фараджуллаха коснулся стоявших на веранде, прижавшихся друг к другу и трясущихся от страха Али, Гасана, Гусейна, Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, Мусай-Кязыма, Рзы, Мухаммеда-Таги, Али-Аннаги, Гасан-Аскера, и Фараджуллах, протянув руку к веранде, завопил:

- Это дьяволы! Дьяволы довели нас до этого! Жажда мести, охватившая всех, вырвалась наружу, волнами распространилась по кварталам села, по равнинам, по горам:

- Это дьяволы!

- Дьяволы!

- Дьяволы!

Тетка Гамарбану изо всех сил швырнула людям лежащий на ее вытянутых ладонях и плачущий кусочек мяса, руки крестьян взметнулись вверх, красный кусок поймали налету, крик прекратился, красный кусок исчез, руки обагрились алой кровью, и люди двинулись к веранде. Али убили, задушив его, Гасана и Гусейна убили, разбив им головы камнем, Зейналабдин, Мухаммед-Багир, Джафар-Садых умерли, раздавленные ногами, Мусаи-Кязыма убили, схватив за ноги и разбив ему голову о стену, у Рзы от ужаса разорвалось сердце, и он умер сам, Мухаммеда-Таги убили, свернув ему шею, Али-Аннаги, Гасан-Аскера убили, растерзав, и в эту минуту жуткий вопль, от которого волосы вставали дыбом, как будто отрезвил людей, и все замерли, глядя на босую, с непокрытой головой Айсулу, из-под длинной юбки которой все еще струилась кровь.

Айсулу выбралась из комнаты, где родила, и с жутким воплем, от которого волосы вставали дыбом, смотрела по очереди на задушенного Али, на разбитые головы Гасана и Гусейна, на растоптанных Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, на Мусаи-Кязыма, чья окровавленная голова, как тряпка, лежала на груди, на побелевшего будто уснувшего Рзу, у которого только из уголка рта сочилась кровь, на Мухаммеда-Таги, чья вывернутая голова смотрела, назад, на Али-Аннаги и Гасан-Аскера, чьи головы, чьи ребра были разорваны, на окровавленные руки и ноги односельчан.

Люди застыли на месте, и Айсулу, уже больше не крича, а воя, прошла сквозь толпу, спустилась во двор, взяла стоявшую у сарая косу и, взявшись одной рукой за рукоять, а другой - за железное лезвие, натачиваемое Азером каждый день и способное срезать волосы на руке, изо всех сил вонзила конец его себе между ног и раскроила себе живот до самой груди.

Люди остоленели, никто не мог тронуться с места.

Айсулу растянута на земле в лужи крови, и разрезанные внутренности Айсулу вывалились из живота, и все мухи села слетелись и впились в Айсулу.

Айсулу еще не умерла, но, крепко сжав рот, не издавала ни звука, только смотрела расширившимися глазами, и то, что не сказали ее губы, говорили расширившиеся глаза.

Такими, замершими на месте, и застал людей Азер, придя с Гюля домой.

Азер сначала обмыл и похоронил Айсулу, потом похоронил Али, Гасана, Гусейна, потом Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, потом Мусаи-Кязыма, Рзу, Мухаммеда-Таги.. потом Али-Аннаги, Гасан-Аскера, но, как ни искал, не мог найти и клочка от тельца дочери: ребенок был растерзан руками, растоптан ногами и смешан с землей.

Два дня и две ночи Азер был занят этим делом и даже сам не знал, что его черные как смоль волосы, борода, пушок па груди и на руках стали совершенно седыми.

Село на склоне гор, воспетое Гезал Хасиятли как рай земной, дотла разрушилось и лежало в развалинах: кто умер-умер, кто сбежал-сбежал, в селе осталось всего три-четыре человека, и однажды увидели, что на могиле Ибрагима камень над Безумцем повален набок, могила пуста, а на земле - следы босых ног; и тогда последние три-четыре человека тоже бежали из этих мест, и рядом с развалившейся сельской мельницей выросла плакучая ива; листья этой ивы по ночам собирали столько росы, что утром, после восхода солнца, весь день плакали, с листьев, с ветвей лились струйки воды; потом наступал вечер, приходила ночь и близ этой ивы кто-то голосом Баяндур-Ихтияра тихонько пел из сказаний Деде Коркута:

Спящие напротив черные горы
Постарели, трава не вырастет.

Ручьи, налившиеся кровью,
Высохли, вода не потечет.
Подобные соколам кони
Состарились, жеребят не дадут.
Золотые верблюды
Одряхлели, верблюжат не принесут...

Тот Мужчина в Красной Юбке и был ставший бродягой Азер...

...Угли костра все еще тлели.

Махмуд всего этого не знал, Махмуд не ведал, что Мужчина в Красной Юбке, вырвавший хлеб у старого нищего, - человек, обреченный на пожизненное горе; Махмуд этого не знал, но сейчас, в ночную пору, на берегу реки колдовской взгляд Мужчины в Красной Юбке волновал его так сильно, что если бы в эту минуту у Махмуда была чаша Джамшида, в которой можно было увидеть все на свете, он посмотрел бы на Мужчину в Красной Юбке и попробовал бы понять смысл его пронзительного взгляда.

А Мариам?

Постепенно и журчание реки, и голос молодого певца отдалились, потом совсем умолкли, и Махмуд в этом безмолвии, в этой пустоте уснул, и сон Махмуда вначале осветился светом Мариам, но потом, постепенно, в сон этот проник взгляд Мужчины в Красной Юбке.

Сафи почувствовал, что Махмуд уснул, но Сафи заснуть не мог.

Сафи еще раз проверил рукой свой пояс

Что могло случиться с поясом? Зачем он проверял? Ложись и ты, спи, утро вечера мудренее, спи, несчастный Сафи, спи, убогий Сафи, спи; спи, чтобы завтра снова прислуживать хозяину...

Сафи прослужил всю жизнь, по сколько можно было служить другим?

Доносившаяся издали трель певца призывала Сафи к Самой Высокой Ветке - к раю, как называли его мудрецы, но к раю не на том свете, а на этом, и говорила трель певца, что в таком возрасте нельзя делать своим пристанищем место код кустом.

Сорок шесть лет он жил так вот беспросветно, и Хызр, никогда не придет на помощь Сафи, и Сафи должен сам помочь себе.

Сафи снова проверил рукой пояс.

Об этом поясе никто на свете не знал, кроме одного лишь Сафи да еще аллаха.

Во мраке ночи Сафи ощутил решимость, которой не испытывал никогда прежде, и прошептал сам себе:

- Бог милостив...

Угли в костре догорали, превращались в пепел, и костер все больше ослабевал, охладевал.

ХIII

Облака стояли ярко-красными, и купы красных облаков над бескрайней сероватой степью создали какой-то свой, серовато-красный мир, и казалось, в этом серовато-красном мире никогда не было живого существа, не было и следа теплого дыхания, живого тепла. Облака заглатывали уходящее солнце.

В этом серовато-красном мире их было трое: Махмуд, худой, длинный босой мужчина, на котором не было ничего, кроме серой рубахи до колен, и светлоглазый, светловолосый юноша в лохмотьях, но в его походке, движениях, взгляде ощущалась мощь здорового тела, прикрытого этими лохмотьями.

Босой мужчина подобно псу, взявшему след, ни разу не поднял головы и не отвел глаз от земли:

- Вот здесь они прошли, - говорил он и по следу на камнях, на кустах, который способен различить только он один, шел за Шатунами; и Махмуд со Светловолосым шли за Босым Мужчиной к Шатунам.

Недавно им встречалась толпа развратных арабских, армянских, еврейских и греческих женщин, и, увидев их, Босой Мужчина сказал, что Шатуны недалеко.

Худая женщина с загоревшим до кофейного цвета морщинистым лицом, лет сорока пяти-пятидесяти, глядя на Махмуда, высунула язык и стала играть им, и подмигнула, потом стала еще быстрее всовывать язык в рот и высовывать обратно, и слюна потекла с кончика языка на землю; женщина еще раз подмигнула, и Махмуд не знал, что делать. В эту минуту он почувствовал на своем запястье сильную руку Светловолосого. Светловолосый, сжав сильной рукой запястье Махмуда, отвел его в сторону, и они снова зашагали рядом с Босым Мужчиной.

Может быть, этот Светловолосый, с раннего утра до заката не открывший рта и не сказавший ни единого слова, был немой? Но его постоянно устремленные вдаль светлые глаза были задумчивы и печальны, этот человек, несомненно, сам с собой разговаривал, сам был своим собеседником; разумеется, Махмуд не слышал его беседы с самим собой, но угадывал, и угадывал также, что на душе у Светловолосого беспокойно; и душа его горевала не только о хлебе насущном, не только о том, чтобы остаться в живых и жить... Толпа развратных женщин осталась позади.

Махмуд встретил этих двоих сегодня рано утром, вернее, они встретили Махмуда, Махмуд уже несколько дней плутал по пустыне, не знал, куда идти, и никто ему не встречался, и хотя в кармане у него лежали две золотые монеты, во рту уже несколько дней маковой росинки не было. С позавчерашнего вечера он шел по проселочной дороге, поднимающейся к эрзерумским горам, и сам не заметил, как сбился с дороги и заблудился.

Странно, Махмуд не знал, куда он идет, никого не встречал, один бродил по степям, по горам, но не терялся, никуда не торопился, и порой Махмуду даже казалось, что он и не хочет никого видеть, хочет быть вот так, один-одинешенек... Махмуд отгонял это чувство, потому что бессознательно ощущал, что если поддастся этому чувству, все в жизни для него изменится, станет другим, и сам Махмуд будет другим человеком, и тогда, конечно, на всей земле у Мариам никого не останется.

Когда сегодня рано утром подошли эти двое, Махмуд искал под кустами какую-нибудь съедобную зелень, и Босой Мужчина, едва завидев Махмуда, спросил:

- Куда ушли Шатуны?

Махмуд не мог ничего сказать этому внезапно появившемуся в пустынном месте Босому Мужчине, и Босой Мужчина тоже понял, что Махмуд не знает Шатунов, что Махмуд голоден и беспомощен.

- Идем, - сказал Босой Мужчина. - У Шатунов всегда найдется кусок хлеба. - Потом он глотнул, и его большой острый кадык поднялся и опустился.

Махмуд зашагал следом за Босым Мужчиной и сам удивился, как получилось, что он последовал за этим мужчиной, не будучи с ним знаком, не зная его. Как велика сила слова «хлеб»-.. Впрочем, нет, Махмуд ошибался: оказывается, всем существом Махмуд тянулся к людям... Махмуд не знал, кто эта Шатуны, о которых так заинтересованно спрашивал Босой Мужчина, но во всех случаях Шатуны, которых часто называл Босой Мужчина, были человеческие существа, и Махмуд понял, что тосковал не только по Мариам, - Махмуд тосковал по людям вообще; а ведь Махмуд и не знал, что так привязан к людям... Чувства обманывают, чувства и впрямь преходящи... Как сложно, оказывается, человеческое сердце, как оно таинственно: люди были жестоки, люди были жадны, безжалостны, проливали кровь, не понимали друг друга, да, да, это было так, и даже хуже, однако, и без людей было невозможно.

Махмуд уже целую неделю был одинок.

Правда, до встречи с Мариам Махмуд всегда был одинок, но это было одиночество в окружении близких, и, как ни странно, за время странствия Махмуд больше привязался к Сафи, чем за всю предшествующую жизнь.

Бедный Сафи... Сафи пожертвовал жизнью ради Махмуда. Сафи не мог вынести тягот этого скитания, этой нищеты, Сафи погубил себя. Утопился ли он в реке? Или бросился со скалы? Стал кормом для птиц и червей?

Когда в ту ночь на берегу реки Сафи поставил Махмуду на спину глиняную банку, Махмуд ощутил в руках Сафи что-то родное, ласковое и вдруг вспомнил свое детство, вспомнил мать, вспомнил отца и всей душой умилился, но потом умиление прошло, возникла непонятная пустота, и в этой пустоте возникло угрызение: Махмуд видел вокруг себя каменные сердца, но самое холодное, самое каменное сердце было у него самого.

В течение всего этого странствия Махмуд ни разу не представил себе состояния матери или отца. Ведь Махмуд знал, что он - самое любимое существо и у матери, и у отца, и для матери, и для отца нет никого дороже, чем он... Почему Махмуд никогда не поинтересовался состоянием тщедушного Сафи? В чем был виноват Сафи, что ему пришлось скитаться по степям? Ведь Махмуд ясно видел, что Сафи мается, Сафи боится, Сафи устает, так почему же он считал, что так и должно быть, почему не сочувствовал Сафи?

А если все это так, что сжигало сердце Махмуда? Только ли из-за разлуки с Мариам оно горело? Вначале Махмуду казалось, что это действительно так, но потом он все больше начинал чувствовать, что нет, это не только так. Мариам была дорога, без Мариам не было жизни, невозможно было обмануть доверие Мариам, не искать Мариам, не найти Мариам, ибо если бы это было возможно, значит наступил бы конец света; все это было так, но сердце Махмуда горело не только от разлуки с Мариам, и когда утром, после топ ночи на берегу реки, Махмуд остался совершенно один, он вдруг понял, почему горит его сердце - оно горело из-за всего в мире, и потому Махмуд не вызывал перед мысленным взором образов только матери, только отца, он горевал обо всех людях; увиденные днем чужие люди ночью стояли у него перед глазами: один был несчастен, голоден, и у Махмуда пылало сердце - ну почему человек должен быть несчастен, почему в таком огромном мире должен быть голоден; другой был убийца, предатель, и у Махмуда пылало сердце - ну почему человек должен быть убийцей и предателем? Так думал Махмуд...

Бедняга Сафи ... Оказывается, у Сафи в кармане оставалось всего две золотые монеты, и Сафи, положив эти два золотых в карман Махмуда, покорился судьбе. Махмуд решил без колебаний и был совершенно уверен, что в этом бесприютном мире, в этом беспощадном мире Сафи избрал самоубийство, предпочел самоубийство.

Махмуд так решил, но Махмуд не знал...

...Что в ту ночь угли в костре догорали, превращались в пепел, и костер все больше ослабевал, охладевал. Сафи смотрел на гаснущий костер.

Махмуд спал.

Гаснущий костер о многом говорил Сафи: если бы никто не помогал этому костру, не подбрасывал поленья, не подкладывал дров, он погас бы совсем, как теперь вот гаснет. Пройдет день, прольется дождь, подует ветер, и даже следов костра не останется, и никто не узнает, что когда-то тут горел костер и согревал кого-то своим теплом. И Сафи никто не поможет. Сафи должен был сам себе помочь и поможет. За всю сорокашесшлетнюю жизнь Сафи никогда не был так решителен. Приподняв рубашку, Сафи развязал пояс и даже не испугался, что кто-то придет, нападет и ограбит. В тот самый миг, как Сафи решил, что хозяин драгоценностей - он сам, Сафи изменился, Сафи стал смелым и сильным.

Сафи расстелил перед собой в слабом свете гаснущего костра снятый пояс. Рассыпавшиеся драгоценные камни притянули слабый свет костра, засияли, замерцали, засверкали.

На талии, с которой был снят пояс, и во всем теле Сафи почувствовал какую-то птичью легкость и понял, что эта легкость вызвана не только освобождением от пояса, эта легкость - легкость освобождения от многолетнего прислужничества, приниженности, лишений.

Некоторое время Сафи смотрел на драгоценности, в слабом свете костра переливавшиеся зеленым, голубым, красным, желтым, потом, выбрав из этих драгоценностей один червонец, повертел в руке и искренне выругал себя: глупец, столько ты страдал, сколько размышлял; тебе, что ли, выпало быть самым строгим аскетом на свете?

Сафи протянул руку и бестрепетным движением поделил лежащее перед ним богатство ровно пополам, вынул из-за пазухи скатерку, которую они всегда стелили перед собой, и, собрав в горсть половину драгоценностей, высыпал их в скатерку, связал в узелок, потом осторожно встал, подsunул узелок под шерстяную накидку, которой был укрыт Махмуд, и вернулся на свое место.

Сафи старался не смотреть на спящего Махмуда, потому что в глубине души опасался, что, если он посмотрит на Махмуда, охватившая его решимость может растаять, исчезнуть, и мир убожества снова затянет Сафи в свое лоно, а Сафи готов был умереть, но возвращаться в мир убожества не хотел.

Сафи не смотрел на Махмуда, но не смог удержаться, взглянул в сторону узелка, только что спрятанного под шерстяной шалью. Сафи подарил Махмуду половину драгоценностей и по существу сделал Махмуда - одинокого, несчастного, беспомощного - одним из самых богатых людей в стране. Этого никто на свете не сделал бы, а Сафи сделал... Махмуд утром проснется и под укывшей его шерстяной накидкой найдет кучу драгоценностей, но... но что будет Махмуд делать с таким богатством? Ведь для Махмуда богатство не имело значения, и, следовательно, богатство не спасет Махмуда... А возможно, даже напротив, какой-нибудь бандит из-за этого богатства вонзит кинжал Махмуду прямо в сердце... Сафи словно ощутил холод этого кинжала в своем сердце и быстро прогнал от себя это чувство, нет, назад пути не было, шаг сделан, и если сейчас Сафи отступит, он недостоин жить.

Сафи отвел глаза от того места, куда положил узелок, но не смог удержаться, не сумел, снова посмотрел в ту сторону и снова, поднявшись, осторожно вынул из-под шерстиной накидки только что осторожно положенный туда узелок, развязал, высыпал половину содержимого себе на ладонь, присоединил к драгоценностям, лежащим на поясе, а ополовиненный узелок снова завязал, положил под шерстяную накидку, Махмуду и пошел.

Вернулся, аккуратно сложил пояс и собрался снова обвязывать его вокруг талии, но не смог обвязать, потому что горстка, положенная под шерстяную накидку, с колдовской силой и заразительностью притягивала Сафи.

Махмуд был несчастен, беспомощен в этом мире. Махмуд был не первым и не последним. Махмуд по самой природе своей был несчастливцем, а если несчастливцем будет владеть даже сокровищами всей Индии, он не сможет сделать себя счастливым. Судьба приговорила Махмуда, и если бы даже Сафи высыпал на голову Махмуду все драгоценности, все золото, сиявшее и переливавшееся сейчас на разложенном поясе в слабом свете костра, обреченность Махмуда не уменьшилась бы, скорей напротив.

Оставь, Сафи, оставь эти укоры, свойственные миру убожества, будь мужчиной, Сафи, не тебе переживать мировую скорбь, Сафи, аллах делает тебя счастливым, аллах милостив.

Решительным движением Сафи взял пояс, обвязал вокруг талии, подошел к Махмуду, наклонился, забрал из-под шерстяной накидки узелок, сунул и его за пояс, вышел к самому берегу реки, вдруг остановился, сунул руку за пазуху и вынул оттуда два золотых, которые припрятал на черный день, положил эти два золотых на землю рядом с

головой Махмуда, сквозь ночную мглу быстрыми шагами направился к своей цели, скрылся, исчез.

Молитвенный коврик Сафи остался забытый на берегу реки... ..Босой Мужчина внимательно оглядел камни, кусты и сказал:

- Попрошайки идут за Шатунами. Если мы попадемся им в лапы, они нас съедят. - Босой Мужчина глотнул и снова поднялся и опустил его большой острый кадык. - Пойдем кружным путем, нагоним Шатунов.

Махмуд ничего не спрашивал: кто такие Шатуны, что значит Попрошайки? И Светловолосый ни слова не говорил, и так, молча, они шли по следу, па который напал Босой Мужчина. Ярко алели кучевые облака.

Глаза Босого Мужчины были такими же красными, как эти облака, потому что Босой Мужчина уже много лет страдал бессонницей, и от бессонницы-то и стал нищим скитальцем: сколько лет уже, едва этот человек чуть задремывал, он видел, как истекающее из его тела семя - семя, что множит поколения, завязывает жизнь нового человека - это семя поджаривается на горящем очаге, в кипящем масле, шипя на сковороде как яичный белок; сколько лет уже это видение не оставляло Босого Мужчину, не давало ему спать, сводило с ума и привело к Шатунам. Четыре дня назад Шатуны побили и прогнали Босого Мужчину за то, что он кричал по ночам во время своих видений, но жить без людей было невозможно, и в сущности сердце у Шатунов было мягкое, и Босой Мужчина снова возвращался к Шатунам.

- Шатуны!.. Шатуны!.. - крикнул Босой Мужчина, показывая длинным гонким пальцем на скопление скал вдалеке. И действительно, они нагнали Шатунов.

Шатуны разбрелись по скалам, и надетые на этих людей грязные и выцветшие лохмотья не отличались от скал в этом серовато-красном мире, только отросшие волосы, нестриженные бороды либо чернели, либо белели как серебро.

Эти человеческие существа, которых Босой Мужчина и ему подобные звали Шатунами, были толпой бездомных нищих, скитающихся вдали от родных мест. Голодные неудачники, погорельцы, беглые убийцы, дервиши, ограбленные путники, разорившиеся купцы, состарившиеся проститутки, пожизненные нищие, а также соглядатаи бродили по степям, по горам; ночью грабили окраинные сельские дворы, уводили отбившуюся от стада корову, барана, козу, курицу - все, что невзначай попадалось под руку, земля им была тюфяком, небо - пологом. Разбойники, дорожные грабители, не боявшиеся ни дарга, ни аскеров, боялись Шатунов и, завидев их, отходили в сторону.

Сегодня Отпущенник Мухаммед с Торговцем Колючками Махмудом затащили на скалы заблудившуюся в степях старую лошадь.

Отпущенник Мухаммед обыграл калантара Зафара и освободился от рабства. Калантар Зафар затеял ради веселого пиршества такую игру: если кто-либо из рабов придумает самую большую жестокость и испробует ее на самом близком своем друге-рабе, то Калантар освободит его и положит ему в карман десять таньга. Раб Мухаммед неожиданно напал на раба Ахмеда, с которым они были неразлучны с детства, вместе ели-пили и пятнадцать лет вместе служили калантару Зафару, связал ему руки, намертво прикрепил ему на спину медный кувшин, предварительно проделав маленькую дырочку в его дне; перед возвышением, где собрались гости калантара Зафара, торчали одичавшие и высохшие кусты ежевики, а в кустах была наглухо замкнута Гюлянка, и раб Мухаммед втолкнул на эту Гюлянку раздетого и связанного раба Ахмеда, потом, вскипятив казан масла, влил его в медный кувшин, прикрепленный к спине раба Ахмеда; кипящее масло, вытекающее со дна медного кувшина в дырочку, обжигало голую спину раба Ахмеда, и раб Ахмед, рыча как бык, пытался избавиться от раскаленного кувшина на спине, бросался на ежевичные кусты, и ежевичные кусты раздирали тело человека со связанными за спиной руками, разрыва-ля ему лицо, ранили глаза; раб Ахмед, все так же рыча, бросился на землю, кипящее масло вылилось через горлышко кувшина на голову раба

Ахмеда, и небо и землю оглушил такой вопль, что даже у калантара Зафара, слышавшего тысячи стонов и воплей на Гюлях сражений, а также в застенках, во время пыток, на которые он осуждал врагов, заколотилось сердце, потом голова раба Ахмеда вполне сварилась, и раб Мухаммед как-несомненный победитель, даже герой, получил свободу, но и знавшие, и не знавшие его, услышав об этой истории, отвернулись от раба Мухаммеда, и как ни молил раб Мухаммед, что, ей-богу, люди, не такой уж я дурной, безжалостный человек, вы же знаете, у каждого на лбу что-то написано, ей-богу, люди, если бы Ахмед сумел первым связать мне руки, то придуманная мной шутка была бы детской забавой перед его придумкой, - эти мольбы никто не слушал, и раб Мухаммед, ставший Отпущенником Мухаммедом, ушел бродяжить и примкнул к Шатунам.

Ашуг Тахир Мирза влюбился в Гюляндам - дочь правителя города Карвангыран Хатама Мелика, и гошмы Тахира Мирзы, где говорилось о красоте Гюляндам, о муках неразделенной страсти, о тяжести разлуки, о грезах нетерпеливого влюбленного, в которых он мечтает соединиться с любимой, люди заучили наизусть, и, услышав эти гошмы, Хатам Мелик поклялся, что велит у позарившегося на дочь такого отца, как он, Тахира Мирзы, вырвать с корнем язык, отрезать все пальцы, играющие на сазе; и Тахир Мирза долгое время скрывался, не показывался никому на глаза, но однажды односельчанин ашуга Махмуд по прозвищу Торговец Колючками пообещал Тахяру Мирзе, мол, устрою так, что увидишь свою Гюляндам, и взял у простодушного, как все истинные влюбленные, Тахира Мирзы, деньги, потом пошел к Хатаму Мелику, и пообещал ему, мол, устрою так, что Тахир Мирза попадет в твои руки, и взял деньги также у Хатама Мелика; и Тахир Мирза попал в руки Хатама Мелика, и Хатам Мелик сделал, как поклялся; велел вырвать у Тахира Мирзы язык с корнем, отрезать все десять пальцев, но Хатам Мелик узнал и о том, что Торговец Колючками Махмуд взял деньги также у Тахира Мирзы, а, будучи сам алчным и двуличным, Хатам Мелик терпеть не мог алчности и двуличия в других и не оставлял этих пороков безнаказанными; и Торговец Колючками Махмуд понял, что дела плохи, сбежал и подался в конце концов к Шатунам.

Старую лошадь, пойманную в степи и приведённую Отпущенником Мухаммедом и Торговцем Колючками Махмудом, Палач Кязым намерен зарезал в этих скалах.

У Палача Кязыма отец был палачом, и дед был палачом, и все считали, что сын Палача Кязыма Алифаттах тоже будет палачом, но произошло нечто настолько странное, что народ диву давался; правнук Палача Мехсуна, внук Палача Фатуллы Красного, сын Палача Кязыма Алифаттах вдруг начал писать стихи, и написанные Алифаттахом любовные газели так нравились молодым людям, что они переписывали их и вешали на шею как талисман; и Палач Кязым понимал, что Алифаттах вдруг начал писать газели и касыды неспроста, Палач Кязым чувствовал, что если смотреть в корень, сын унаследовал склонность к поэзии от самого Палача Кязыма; он это чувствовал и с трепетом душевным ожидал, чем все это кончится. Помимо совершаемых по приговору суда палаческих дел, таких как битье по пяткам, отсекание рук и ног, ушей и носов, вырывание глаз, Палач Кязым за двадцать три года отрубил 1211 человеческих голов, но голову 1212-го человека отрубить не смог - сердце не позволило отрубить голову убийце, который всего за три серебряных монеты убил отца с сыном, и тогда судейская стража схватила самого Палача Кязыма, ему отрезали нос, уши и посадили в темницу, и в этой мрачной темнице, куда не проникал ни один солнечный лучик, Палач Кязым представлял себе все краски мира, видел восход солнца поутру и закат его ввечеру, и так, будто копился всю жизнь, из груди его хлынул поток философских стихов - Палач Кязым и сам стал поэтом. Никто не знал, как Палач Кязым сбежал из тюрьмы; Палач Кязым всем говорил, что его вызволил из темницы архангел Михаил, а кто мог знать тайны этого мира? Может быть, и вправду так было... Поскольку Палач Кязым не знал грамоты, он не записывал бьющие из его груди, как родники из земли, газели, касыды, мюраббе, терджибенды, рубай, кыта, и поскольку эти стихи были сложны и звучали крайне витиевато, они не запоминались, забывались. Попав к Шатунам, Палач Кязым был вынужден резать, свежевать и разделявать

животных и он резал, свеживал и разделявал их, сочиняя при этом философские стихи о добрых и дурных делах мира. Все равно, увы, никто не понимал глубокий смысл этих стихов, но Палач Кязым не падал духом, все сочинял и сочинял свои сложные философские газели, касыды, терджибенды, рубай, кыта.

Разведя костер прямо на скалах, Шатуны сделали шашлык из лошади, зарезанной Палачом Кязымом под распев философских стихов, съели ее, и запах жаренного на огне мяса впитался в эти монолитные скалы, в бурые кусты гаратикан, в лохмотья Шатунов и еще не выветрился. Всюду белели крупные лошадиные ребра, бедренные кости, шейные и спинные позвонки, обглоданные так, что были совершенно чистыми и Попрошайки не нашли бы на этих костях ничего, что можно было бы сгрызть; однако, порыскав у подножия скал, они нашли бы лошадиную голову и ноги и, обжарив, съели бы их.

Попрошайки - это была толпа, состоявшая из глухих, хромых, прокаженных; гонимые всеми, даже Шатунами, они всегда следовали за Шатунами на некотором расстоянии и жили тем, что оставалось после Шатунов.

Багрец серовато-красного мира понемногу выцветал, и, по мере того как солнце скрывалось за все еще отдающими алым темными облаками, Шатуны, отдыхая, рассыпались там и тут после еды и казались обиднее; вместе с багряными отсветами облаков исчезала и необычайность этих людей, и их нищета выглядела такой, как она есть.

Когда Махмуд, Светловолосый и Босой Мужчина подошли к скалам, на них никто не обратил внимания, и Босой Мужчина с неожиданной для его худобы и изможденности прытью подбежал к костру с разбросанными вокруг него костями, Светловолосый сел на землю, прислонился спиной к осколку скалы и стал растирать обмотанные тряпками ноги, а Махмуд как стал, так и стоял, не двигаясь.

Махмуд не мог отвести глаз от этой нищеты. За время странствия Махмуд хорошо понял, что мир - совершенно иной, чем он думал, и порой собственные страдания и заботы казались Махмуду мелкими, но Махмуд не представлял себе, что даже в этом, ином мире есть такая нищета.

Махмуд оглядывал по одному рассыпавшихся по скалам Шатунов и увидел среди них Мужчину в Красной Юбке.

У Мужчины в Красной Юбке один глаз совершенно побелел - того, что с ним произошло, видно, было недостаточно, и десять дней назад в степи ему плюнула в глаз змея, но Махмуд узнал Мужчину в Красной Юбке, едва увидел его, и, глядя в единственный глаз этого человека, понял смысл этого незабываемого взгляда и как будто снова услышал слова, сказанные им Мужчине в Красной Юбке: «Эх, откуда тебе знать, что такое горе?» - и наивность этих слов так унижала Махмуда в его же собственных глазах и делала таким убогим, что Махмуд задыхался от своей униженности, несурзности, убожества, сердце его сжалось и щемило, щемило.

Урод Мухтар лежал на боку на скале и тяжело дышал, так как съел больше всех. Урод Мухтар смотрел на неподвижно стоящего Махмуда, и взгляд Махмуда не понравился Уроду Мухтару. Уроду Мухтару отрубили левую руку чуть ниже локтя, и Урод Мухтар, высушив эту отрезанную руку, сохранил ее себе и, суя эту отрезанную руку чуть ли не в глаза людям, собирал милостыню, а когда уставал нищенствовать, примыкал к Шатунам. Уроду Мухтару в сущности полагалось бы находиться среди Попрошаек, потому что безрукие, безногие не смели появляться среди Шатунов, но если все боялись Шатунов, то Шатуны боялись высохшей руки Урода Мухтара.

Махмуд тоже посмотрел на Урода Мухтара и увидел, что этот несчастный так доволен своей судьбой, что повесил на шею илан-мунджугу - похожую на бусинку косточку из черепа змеи предохраняющую от дурного глаза; подумать только, что это был за мир, если и этого несчастного могли сглазить...

Урод Мухтар поднялся, подобрался к Махмуду и, не отрывая от Махмуда глаз, начал кружить вокруг него. Ростом Урод Мухтар был ниже Махмуда, и, слегка склонив голову набок, глядел на Махмуда снизу вверх и, кружа вокруг него, вдруг спросил:

- Кто это?

Потом еще быстрее закружил вокруг Махмуда и, глядя на него снизу вверх, то громко, то тихо зачастил:

- Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?..

Махмуд не знал, что отвечать на этот без конца повторяемый вопрос, а взгляды Шатунов постепенно устремлялись на Махмуда. Урод Мухтар, кружа вокруг Махмуда, посмотрел в сторону Шатунов и, протягивая к лицу Махмуда вынутую из-за пазухи высушенную руку, то шепотом, то переходя на крик, все повторял:

- Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?..

Люди по двое, по трое стали собираться вокруг Махмуда и Урода Мухтара, и непрерывно задаваемый Уродом Мухтаром вопрос стал словно эхом отдаваться среди Шатунов: кто это? кто это? кто это? кто это?..

Внезапно в груди Махмуда будто пролился теплый дождь, и то, что в этом горестном мире было все-таки возможно такое душевное тепло, растрогало Махмуда, но ведь и Махмуд немало повидал, и Махмуд искало продумал, и Махмуд немало мог поведать этим Шатунам, этим несчастным Шатунам, и Махмуд мог сказать, мол, я тоже - такой, как вы, я тоже - один из вас. Махмуд и сам не заметил, как начал говорить, и изумился, услышав собственный голос:

- День и ночь горел я в огне, день и ночь пылал, охватило и затрясло горе меня! Судьба и со мной несговорчива была, братья мои! Грусть и разлука - подарки тебе, сказала она, братья мои! Острым мечом рассекло мне грудь, разрубило на части, расчленило меня горе, братья мои!..

Окружив Махмуда, Шатуны смотрели на него как на чудо света, и в скалах в этот миг стояла такая тишина, будто не только Шатуны тупо смотрели на стоящего в середине Махмуда, но и огромные тысячелетние скалы, отвесные каменные утесы в свою очередь дивились молчанию, немоте и озадаченности Шатунов.

Махмуд ощущал на своем лице, на шее, на груди ласковое дыхание, чувствовал что-то родное, близкое, и это чувство, вскипая, изливалось из груди Махмуда в слова:

- Слезы моего сердца не иссякают ни днем, ни ночью, братья мои! Меня, как и вас, горе гонит из степи в пустыню, братья мои! Меня, как и вас, поймало, как птенца в гнезде, и смяла судьба, братья мои!

Шатуны смотрели, не мигая. Шатуны смотрели на этого стройного юношу, стоящего посреди и произносящего странные слова, и в словах, бурно выплескивающихся из уст этого юноши, было какое-то колдовство, и это колдовство кого-то из Шатунов уводило в детство, кому-то являло образ давно забытой матери, кому-то напоминало о ребенке, на кого-то во все глаза смотрел убитый им человек; и это было нехорошее колдовство, ибо если бы это колдовство освободило все, что томилось в плену запертой годами памяти, заставило увидеть все, что таилось за слепотой чувств, пробудило в этих людях человеческое достоинство, тогда невозможно было бы жить, и Шатуны это бессознательно ощущали.

Рвущееся из груди волнение и жар вскинули к небу обе руки Махмуда, и Махмуд произнес:

- Пощади, судьба, оглянись! Кровавая судьба, не довольно ли обрушивать камни на головы этих людей! Пожалей их, пора! Всесильный, сделай зиму этих людей весной! Разожги безумные души огнем любви!..

Когда Махмуд произнес эти слова, Урод Мухтар, словно пробудившись ото сна, снова вперился в Махмуда снизу вверх, качал кружить вокруг него, вдруг прижал свою высушенную руку к лицу Махмуда и закричал:

- Клянусь святым семейством,¹ он сумасшедший! Он сумасшедший! Он сумасшедший!..

Длинные, грубые, черные от грязи ногти высушенной руки Урода Мухтара вонзились в лоб Махмуда, струйки крови потекли на его брови, потом на глаза.

Урод Мухтар снова прокричал:

- Он сумасшедший!

На этот раз низкий бас Урода Мухтара отрезвил Шатунов.

Кто-то завопил:

- Это охотник, у него из глаз течет кровь убитых!

Люди чуть не падали от хохота и с гиканьем принялись освистывать этого сумасшедшего, столько времени болтавшего чепуху:

- От него пахнет кровью! - Шатуны покатывались от смеха.

- Он отрезал голову дэву! - Шатуны с удовольствием начали бросать Махмуду в лицо все, что попадалось.

Махмуд широко раскинул руки, будто хотел обнять Шатунов:

- Братья! Братья! Братья мои!

- Два пятака дали, чтоб заговорил, теперь три пятака даем - не умолкает! - Шатуны, помирая со смеху, с еще большим сладострастьем стали швырять Махмуду в голову камни, угли, головешки, лошадиные кости...

- Охотник, марала ищет!..

В этот момент из толпы выскочила, старуха с взъерошенными курчавыми седыми волосами и, брызгая слюной, тоненьким голоском стала приговаривать:

- Однажды солнце скрылось, днем стало темно. Падишах Мелик Джаббар и падишах Мелик Саттар со своими женами вышли на берег моря посмотреть, что такое? Вдруг из глубины выплыла рыба и проглотила всех четверых. Дети остались сиротами! Была одна девушка. Знаешь, что она сделала? Увидала одного такого как ты - схватилась за это! - старуха изловчилась и ухватила Махмуда между ног. - Сказала, охотник, если про охоту не расскажешь, не выпущу! Оторву!

Стыд и замешательство охватили Махмуда, но, глядя на хохочущую в восторге толпу, Махмуд вдруг подумал, как немного нужно для счастья, да и вообще еще неизвестно, что такое счастье...

Пуще всех заливалась, белея единственным зубом, Гысыр Гары. Когда исчезла Джейран, Гысыр Гары осталась в одиночестве на чужбине, в конце концов примкнула к Шатунам и за это время вынесла столько голода и мучений, что забыла Гянджу, забыла вероломство Джейран, забыла и Махмуда, и, в сущности, только теперь была самым вольным и беззаботным человеком на свете: Гысыр Гары больше не думала ни о том, как заработать деньги, ни о том, как разладить или наладить чьи-то отношения, не заботилась о завтрашнем дне, потому что завтрашнего дня не было, все дни были одинаковы, отражались один в другом как в зеркале; совершенно свободная и бездумная жизнь состояла в одинаковости вчерашнего, нынешнего и завтрашнего дня: съешь, что попало Б руки, и живи.

Махмуд чувствовал, что лицо его запылало, и это пылали не кровавые ссадины, оставленные иссохшими ногтями Урода Мухтара. Конечно, Махмуд мог вырваться из клешнеподобных пальцев этой старухи, броситься с отвесной скалы, и все бы кончилось; и Махмуд всем телом почувствовал легкость этой свободы, этого близкого небытия, но Шатуны с жадностью ждали, чем кончится представление, на лицах Шатунов было такое блаженство, которое иррису жаль было оборвать ради ссадин на лице, и Махмуд заговорил - заговорил об охоте.

- Вышел я на охоту однажды. Передо мной заяц проскочил, безногий!..

Шатуны громко рассмеялись.

¹ Святое семейство (Али-аба) - Мухаммед, Али, Фатъма, Гасан и Гусейн

- Лук я взял, стрелы забыл. Кинул стрелу, заяц растянулся на земле!..
Шатуны рассмеялись еще громче.
- Был у меня нож без лезвия, вынул его из кармана, зайца освежевал!..
- Ай душа - заяц! - сказал Урод Мухтар, не устоял от смеха, сел на землю и закатился, колотя о скалу твердыми перстами высушенной руки.
- Нашел казан без дна. Пожарил заячье мясо в казане без дна!..

Седая старуха разжала пальцы и, усевшись рядом с Уродом Мухтаром, чуть не потеряла сознание от хохота. Махмуд уже не стыдился этой разжавшейся клешнеобразной руки. Глядя на плачущих от хохота Шатунов, Махмуд и сам плакал, но рассказывал, - и был счастлив, что Шатуны не видят, не понимают что он плачет, и вдруг Махмуду вспомнился отец: незадолго до прощания Зияд-хан спрятал от Махмуда свои маленькие узкие глазки, и Махмуд только теперь понял, что Зияд-хан, оказывается, плакал.

- Созвал я семь тысяч семьсот семьдесят семь моих друзей, охотников, они пришли, все поели, и еще осталось!

Шатуны не могли нахохотаться:

- Семь тысяч...
- ...семьсот...
- ... семьдесят семь...
- А потом что было?
- Оставшееся мы завернули в кушак, получился петух. Мы сели на этого петуха, отправились в путь!..

Шатуны снова покатались со смеху:

- На петуха...
- Сели на петуха...

И тут произошло нечто неожиданное: Гысыр Гары, чуть не упавшей в обморок от хохота, вдруг показалось, что нос ее удлинился, и когда она поднесла руку к носу, увидела, что нет, это не нос, это - клюв, у Гысыр Гары появился клюв; потом Гысыр Гары в ужасе, потрясшем все ее существо, увидела, что на теле ее вырастают птичьи перья и все оно покрывается этими перьями; Гысыр Гары хотела закричать, хотела позвать на помощь, но вместо крика стала каркать по-вороньи, ужас как будто прошел и сменился радостным удивлением.

Вороньего карканья никто не услышал, общее внимание сосредоточилось на Махмуде, все хохотали, и никто не заметил, как Гысыр Гары вдруг уменьшилась, как на глазах превратилась в большую черную ворону, как потом взмыла с этих скал в небо и сделала два круга над Шатунами, а потом улетела далеко-далеко, исчезла в глубине небесной.

- На петуха...
- Сели на петуха...
- А потом?
- Что было потом?
- Нам встретилась река. В реке нашли палан¹. Распороли палан, из него...
- Нет, не распарывайте палан!

Эти слова выкрикнул Амбал Дитя Омара, ибо всю жизнь он накладывал на плечи палан и таскал на нем тяжести; но теперь Амбал Дитя Омара состарился, силы в руках уже не осталось, он не мог больше таскать тяжести, некоторое время нищенствовал, примкнул к Шатунам и теперь, видно, Амбал Дитя Омара рехнулся от смеха, потому что вдруг начал так кричать, будто у него на глазах режут голову его ребенку:

- Нет, не распарывайте палан!.. Не распарывайте палан!..

¹ Палан - особым образом сшитая подставка для грузов; носится на спине амбалами (грузчиками, носильщиками).

Шатуны обернулись и злобно посмотрели на Дитя Омара, так грубо нарушившего веселье, а Амбал Дитя Омара прочел в гневных взглядах Людей свой приговор и в страхе закричал еще громче:

- Нет!.. Нет!.. Нет!..

Отпущенник Мухаммед растолкал всех длинными костистыми волосатыми лапами, схватил тяжелый обломок камня, изо всех сил ударил по голове Амбала Дитя Омара; прыгнувшая из черепа Амбала Дитя Омара белая каша смешалась с кровью, алая масса расплзлась по его лицу, и, когда Амбал Дитя Омара ничком упал на землю, Отпущенник Мухаммед вскочил на высокую скалу, рукой стер забрызгавшие его грудь и шею кровь и белую кашу и громко закричал:

- Инни дарибаллаху гатилун! Я ударил, аллах убил!

Махмуд обеими руками закрыл уши, обхватил голову, Шатуны пришли в движение. Брызнувшая и постепенно густеющая кровь словно пробудила в них дремавшую до поры жажду крови, отбросила их голоса, жесты, чувства и побуждения к первобытности, и Махмуд, сжатый, сдавленный пришедшей в движение, возбужденной толпой, понял, что это конец, он будет растоптан как дебе, тот набитый соломой кожаный мешок, который бросают под ноги боевым слонам, когда учат их топтать врага на поле битвы; и в этот последний миг Махмуд хотел выкрикнуть имя Мариам, совсем забытой им со времени встречи с Шатунами, и Махмуду даже показалось, будто он выкрикнул это имя, закричал «Мариам!.. Мариам!..», но шум и крики распаленных, взбесившихся Шатунов заглушили крик Махмуда, сорвали имя Мариам с уст Махмуда, раскатали его в тонкий лаваш, раскатали и уничтожили...

В эту минуту резкая и сильная рука, схватив Махмуда за плечо, дернула его, и, хотя Махмуд уже не мог ни о чем думать, ничего чувствовать среди совершенно одичалых Шатунов, он ощутил в этих сжимающих его плечо сильных пальцах что-то знакомое и покровительственное.

Светловолосый схватил Махмуда за руку, вырвал его из толпы и, волоча за собой, утащил со скал, увел от Шатунов.

Солнце совсем закатилось, и от серовато-красного мира уже не осталось и следа. Все теперь было окутано вечерними сумерками, и в сумеречном мраке не было и намека на какой-либо свет; окутавшие все вокруг вечерние сумерки говорили о бедах и горестях мира, и вокруг, как мутная йода, растекалась безнадежность.

Шатуны остались позади.

И чернеющие очертания монолитных скал остались позади.

Странно, по мере того как они удалялись от Шатунов, как исчезали очертания монолитных скал, в сознании Махмуда наступала ясность, перед мысленным взором Махмуда представляли по одному лица Шатунов, он видел эти лица со всеми их черточками, четко и ясно, и эта четкость и ясность усугубляли окутавшую все вокруг безнадежность. Одно из представших перед ним сейчас лиц Махмуду только теперь показалось похожим на лицо Мирзы Салмана, и он вздрогнул от такого предположения.

Интересно, что сейчас там, в Гяндже? В родной Гяндже, в усаженной чинарами Гяндже... Махмуд и не представлял себе, что Гянджа ему так дорога и он может так соскучиться по Гяндже. Что делает Зияд-хан? Как Гамарбану? Мирза Салман? Интересно, та яблоня перед дворцом вновь опустила до земли ветки, отягощенные плодами? Интересно, та птичница, что присматривала за курами, по-прежнему во дворце и так же улыбается, поднося к ушам маленьких детей постукивающие, попискивающие яички? Может быть, она давно умерла, а Махмуд и не знает? Ведь в последнее время он, кажется, совсем не видел эту толстую, пышущую здоровьем, но ласковую женщину... Внезапно перед глазами Махмуда появилось лицо одного дворцового слуги, и Махмуд увидел лицо этого слуги с такими подробностями, каких никогда прежде не замечал, даже шрам над бровью увидел. Махмуд не знал имени этого человека. Сколько лет уже этот человек был слугой

во дворце, и за все это время Махмуд не перекинулся с ним ни единым словом, - так по чему же теперь он вспомнил этого человека?

Махмудом завладела мысль, которую он давно уже гнал от себя, не подпускал близко, отстраняя: в самом деле, есть ли смысл в его скитании? если мир погружен в такую безнадежность и мерцают лишь далекие воспоминания, есть ли смысл искать в этом мире свет? если в этом безнадежном мире, в этом печальном мире был еще горший мир таких вот Шатунов, имел ли право Махмуд пускаться на поиски счастья?

Светловолосый выпустил плечо Махмуда, и Махмуд впервые за этот долгий и мучительный день, день, наполненный страданием за людей, услышал голос Светловолосого:

- Этот голод, эта ни-ни-нищета, должны быть уничтожены!..

Светловолосый заикался, и теперь, когда он был явно взволнован, заикался еще сильнее.

- Нация так с-с-страдает, а два б-б-больших тюркских государства -Османов и Сефевидов - вместо того, чтобы об-об-объединиться, и-и-истребляют д-д-друг д-д-друга!.. Ч-ч-чем н-на-матывать на голову чалму д-д-двенадцати имамов, на-на-называ-вать себя кызылбашами, за-за-заботились бы о чести своих на-на-народов!.. Даже на наших де-де-деньгах пишем и-и-имена двенадцати имамов, а свое имя на-на-написать им в голову не припри-приходит!.. Зульгадарлинцы в одну с-с-сторону отделились, аф-аф-афшарлинцы в другую, каджарцы в третью, ру-ру-румийцы - в четвертую, устаджлинцы н-не признают ша-ша-шамлылинцев, шехсеванцы - па-па-падарлинцев... Чтобы устранить этот голод, эту нн-ни-нищету, тюрки в-в-всей земли должны о-о-объединиться!

Светловолосый говорил странные слова, и Махмуд, шагая рядом, с любопытством смотрел на Светловолосого: в речи, взгляде, жестах этого юноши, одетого в лохмотья, была какая-то решимость, вера и даже ворожба; произносимые им слова захватывали человека, притягивали. Махмуд чувствовал ледяной холод в сердце этого человека, но в то же время в этом сердце был и жар; это было похоже на запотевшее изнутри оконное стекло, когда за окном - ледяная стужа.

Светловолосый истолковал улыбку на лице Махмуда по-своему.

- Да, да, мы должны о-о-объединиться!.. Я вижу, ви-ви-вижу, ты образованный человек. Сам Хаджа Насиреддин Туси в «Эхлаг-Насири» пишет, что чем крепче е-е-единение, тем со-со-совершеннее жизнь.

Махмуд сразу же увидел ошибку в словах Светловолосого и потому сказал:

- Туси призывает к единению всех людей, а ты мечтаешь только о единстве тюрков. Светловолосый еще больше разволновался и стал заикаться еще сильнее, но это косноязычие вместо того, чтобы ослабить впечатление от речи Светловолосого, усиливало его:

- Д-д-для меня н-н-нет человечества, с-стоящего над нацией! Для меня т-т-тюрки в-в-выше человека!.. В-в-все животные не-не-неодинаковы! наряду со львом, ти-ти-тигром есть и черви! И л-л-люди неодинаковы. Тюрки в-в-всей земли, независимо от с-с-строения их лиц, от их о-о-обычаев должны о-о-объединиться!.. А мы что д-д-делаем? Гасан Длинный заключил со-со-союз с г-г-греками против ос-ос-османцев! Ка-ка-каракоюнлинцы и а-а-агкоюнлинцы перебили друг друга! Что делает Султан Салим? Едва взойдя на престол, ве-ве-шает более с-с-сорока тысяч кызылбашей - своих п-п-подданных! Кто эти к-к-кызылбаши? Наши же! Что делает Шах Исмаил? Б-б-блюдет честь ш-ш-шиитства! Вместо т-т-того, чтобы б-б-блюсти тюркскую честь! Сами себя из-из-изрубили м-м-мечом! Вот такое и п-п-получается!.. - Светловолосый обернулся и, протянув руку, указал на скалы, где остались Шатуны.

Махмуд впервые встретился с такой философией и удивленно спросил:

- А голодные, нищие других народов?

Этот простой вопрос совершенно вывел Светловолосого из себя, и Светловолосый, гневно сверкая глазами, прокричал в ответ:

- Д-другие н-народы? Д-д-другие пароды должны быть нашими р-рабами! М-м-мы еще можем справиться с бедами своей, т-т-тюркской нации, а т-т-ты говоришь о д-д-других? Я- я сделаю их рабами! От Китая до С-с-средиземного моря, от С-с-сибири до Йе-е-мена вся земля н-н-наша! Я объединю в-в-все тюркские народы! Если м-м-моей жизни не хватит, э-э-это сделает мой сын! Если и его ж-жизни не хватит, то его с-с-сын сделает! А потом с-с-следующий!.. А потом с-с-следующий! – изо рта Светловолосого стала литься пена, и казалось, он сейчас вовсе потеряет самообладание, как вдруг он протянул руку, схватил Махмуда за грудь и, тряся его со злобой, словно усиливающейся от внутреннего отчаяния, гневно, заплетающимся языком закричал: - Н-н-ненавижу я эту ф-ф-фальшивую добродетель! Т-т-такие, как ты, не дают про-про-пробудить народ, по-по-поднять его на ноги! Рабы лживых в-в-вопросов: «А другие?» Прикрывающие ложным человеколюбием с-с-свою беспомощность, ничтожность. Надо уничтожить эту философию че-че-человечества, с-с-стоящего н-и-над нацией! В-в-все эти книги ва-на-надо с-с-сжечь! И к-к-книги Туси т-т-тоже!..

Оттолкнув Махмуда, Светловолосый быстрыми шагами удалился в темноту, скрылся из глаз.

Спустилась ночь.

После всех криков, хохота, волнений темную ночь заполнила мертвая тишина.

Махмуд, опустившись на землю, вслушивался в тишину.

Мертвая тишина ночи будто вытаскивала по одной занозившие тело Махмуда, невидимые глазу, но болезненные тонкие колючки, однако это не приносило покоя, напротив, вместо телесной боли его охватывала полная безнадежность.

Махмуд посмотрел в небо.

Небо было полно сверкающих звезд. В детстве, когда ему было пять-шесть лет, Махмуд всегда, глядя на звезды, думал: ведь звезды - не птицы, у звезд нет крыльев, как же они взлетели и сели на небо?

Детские годы тоже были в такой глубокой дали, как эти звезды, и далекая детская наивность в сравнении с жестокостью мира была свечкой толщиной с детский мизинец, она излучала хрупкое мерцание, она таяла, исчезала.

В хрупком свете тающей, исчезающей тоненькой свечки, глядя на бесчисленные звезды, Махмуд почувствовал себя самым одиноким, самым беспомощным, самым несчастным человеком на свете, почувствовал и то, что в этой мертвой ночной тишине он плачет, всхлипывая.

Махмуд навзничь растянулся на земле.

И мокрыми глазами увидел себя Махмуд среди Шатунов, увидел, что кто-то стоял посредине и плача говорил что-то, и, вместе с Шатунами окружив этого кого-то, Махмуд вместе с Шатунами смеется над этим кем-то, хватая с земли камни, головешки, кости, кидает в этого кого-то и разбивает ему голову.

Потом видение исчезло.

Те скалы, где остались Шатуны, как магнит притягивали к себе Махмуда.

Но нет, в ногах сил не было и...

И это был конец...

И тут произошло такое, что Махмуд не понял, действительность это или сон, или бред; но он посмотрел на свои руки и увидел, что руки его окрасились в ярко-голубой цвет. Только что все тело Махмуда, все его мышцы напряглись, и Махмуд изо всех сил сдавливал горло, за которое ухватился обеими руками; и странно было, что в руках столько силы, в груди - столько гнева, и изо всей этой силы, охваченный всем неистовством этого гнева, он душил - кого? или что? нет, это был не человек, и не другое живое существо; это был как будто сгусток ярко-голубого облака, и Махмуд схватился за горло, именно за горло, которое нашел у ярко-голубого облака, и душил, сжимал изо всех сил, и сжимая, и сдавливая, понимал, что силу ему дает страстное чувство мести; нонет, это было похоже скорее на сгусток дыма, чем на облачный дом, на сгусток ярко-голубого

дыма; но горло в этом дыму было как живое горло, как человеческое горло, и Махмуд сжимал это горло пальцами, ладонями, сжимал изо всех сил и порой сам становился невидим в том сгустке ярко-голубого дыма; дым охватывал все его тело, и внезапно в том сгустке ярко-голубого дыма Махмуд увидел два больших, вытаращенных, как у задушенного, ока, и эти очи, каждое величиной с ладонь, была бесцветны; эти два огромных, выпученных ока смотрели на Махмуда ничего не выражающим взглядом, и Махмуд сразу же понял, что эти бесцветные огромные очи - глаза Бога, это горло, которое он сжимал изо всех сил,- горло Бога, это сгусток ярко-голубого дыма и есть сам Бог.

Руки Махмуда ослабли, Махмуд совсем обессилел, и сгусток ярко-голубого, дыма улетел, растаял, и Махмуд остался наедине с собой...

...Махмуд не знал, что завтра, рано поутру, прискачут посланные для этого Светловолосым - правителем Эрзерума Сулейман-пашой -всадники, найдут Махмуда и доставят во дворец.

XIV

Родной, ласковый шепот повторял Хмурому Пастырю: «Уже немного осталось, жизнь моя!.. Совсем немного! Уже виден купол Святой Обители! Мариам будет спасена! Мариам будет свободна!.. Мало, совсем мало осталось...»

Сложенная сотни лет назад Святая Обитель и вправду показалась, и ее чернеющий вдалеке купол принес сердцу Хмурого Пастыря успокоение, которого он не испытывал никогда: все было позади, все страдания, все муки оставались в прошлом, крест господень одолел безбожную похоть и насилие, я так и должно было быть, ибо все-таки добро было сильнее зла и в самый последний момент побеждало.

Длинная, до щиколоток, черная ряса Хмурого Пастыря, насквозь пропотела, липла к спине, к груди, и большой железный крест, свисающий с его шеи, ударял Хмурого Пастыря по груди в такт его широким, быстрым шагам, как бы подтверждая его мысли.

Хмурый Пастырь никогда не видел Святой Обители, но, едва показался куполообразный силуэт, узнал Святую Обитель тут же, внезапно, на этой, поросшей жесткими кустами, каменистой горной тропе уловил пасхальный аромат, как будто всюду в окрестностях пекли куличи, и серые колючие кусты, каменные глыбы, осколки гранита показались Хмурому Пастырю такими родными, словно все они были тут расставлены руками Мариам.

Широким, торопливым шагом всходя вверх, Хмурый Пастырь представлял себе, нежные смуглые руки Мариам, и вдруг Хмурому Пастырю почудилось, что крупные острые колючки серых, ставших такими милыми, кустов вонзились в нежные, смуглые ладони Мариам, и ладони Мариам покраснели от крови; и эта кровавая краснота заставила Хмурого Пастыря остановиться среди дороги, и Хмурый Пастырь вдруг подумал, что, несмотря на родной, ласковый шепот и близость Святой Обители, к которой они с мучениями добивались с той ночи, когда вышли из Гянджи, и до сего дня, несчастье не минует его и Мариам; и Хмурый Пастырь поднял обе руки, хотел отогнать от себя это предчувствие, потом судорожно сжал руки и отвернулся, чтобы не видеть кровавых ран на ладонях Мариам: нет, нет, для истинных рабов божьих в Святой Обители есть средство от любого горя, и Святой Старец поможет Хмурому Пастырю советом и лаской, ибо если господь почему-либо и отвернулся от него, грешного, то от Мариам он не отвернется.

Хмурый Пастырь представил себе Мариам во дворце, исторгающем каждой своей клеткой запах страсти, отвратительном каждой своей вещью, - во дворце, богатство которого омыто слезами, который сделал девственность развратной, непорочность - чудовищной, увидел Мариам в мусульманском придворном наряде, разжигающем похоть, и это видение было еще страшнее и еще нестерпимее видения алой крови на ее ладонях. Нет, Мариам, не может находиться в этом вертепе безбожия и разврата. Правда, теперь Мариам находилась именно там. Правда, сумасшедший Сулейман-паша, взявший на себя

опеку над сыном Зияд-хаи Махмудом, велел в течение одной ночи разыскать Хмурого Пастыря и доставить Мариам во дворец, где Мариам все еще оставалась непорочной и чистой.

А что будет завтра?

Сулейман-паша назначил на завтра свадьбу Мариам с Махмудом. Сулейман-паша был таким безумцем, что ни перед чем не останавливался, мог пойти на что угодно, а к тому же был хитер как лиса, чуток как волк и даже читал мысли по лицу Человека.

Сулейман-паша поселил Мариам и Хмурого Пастыря во дворце вдвоем и вчера сам зашел в отведенный им покой. «Послезавтра свадьба!» - сказал он и пристально посмотрел на Хмурого Пастыря. Хмурый Пастырь знал, что вырваться из дворца Сулейман-паши невозможно, но все же мелькнула у него мысль бежать вместе с Мариам в Халеб, прибегнуть к помощи Халеб-ского дарги Артюн-бека. Вдруг Сулейман-паша, заикаясь, сказал:

- Н-н-нет, п-п-поп, велью повесить и Артюн-б-б-бека, и тебя!..

И Хмурый Пастырь понял, что настал последний миг и единственная надежда - Святая Обитель. Сегодня утром, оставив Мариам во дворце, он отправился в путь. Без Мариам Хмурый Пастырь был свободен, мог идти на все четыре стороны, куда угодно, пленницей была Мариам, но эти сластолюбцы, эти жестоковейные магометане хорошо знали, что, подобно тому как жизнь дэва заперта в стеклянном сосуде, жизнь Хмурого Пастыря - его дочь Мариам - заперта во дворце, и потому никто не следил за ним, не преследовал его.

Правда, безбожники, хоть они и бдительны как гуси, не знали, что для детей апостольской церкви есть Святая Обитель и врата Святой Обители отверсты, и в Святой Обители найдется средство, чтобы вырвать Мариам из рук многоженцев.

Хмурый Пастырь много знал о Святой Обители, много слышал о ней от паломников, побывавших у Святого Старца, искавших помощи и утешения. Нельзя было предсказать заранее, кому и как будут они оказаны. Говорили о чудесах, каких не случалось со времени воскрешения Лазаря, говорили, что преследуемые, достигнув Святой Обители, становятся невидимыми, безнадежно больные исцеляются, одержимые бесом обретают разум. И Хмурый Пастырь знал, что щепоть праха, а может быть, платок или иная одежда, полученные от Святого Старца, скроют Мариам от глаз нечестивых. «Верую, господи!» - прошептал Хмурый Пастырь и почувствовал, что у него прибавилось сил, к нему пришло второе дыхание, мрачные видения исчезли. Он широким, торопливым шагом стал взбираться вверх. «Верую, господи!» - повторил Хмурый Пастырь.

Святая Обитель открылась взору его целиком. Монолитные камни древнего здания, одиноко высящегося на голой скале, почернели так же, как его купол, и приближаясь, Хмурый Пастырь увидел, что купола приделов и главный купол загажены дикими голубями, оставившими повсюду заплаты.

Хмурый Пастырь знал, что купол Святой Обители не из золота, но все же столь простой и земной облик священного прибежища на мгновение заставил Хмурого Пастыря растеряться, но в тот же миг Хмурый Пастырь понял, что так и должно быть, что истинная мощь - в евангельской простоте и бедности, которая искони стоит выше мира и соблазнов его - богатства и сводящей с ума земной красоты.

Хмурый Пастырь никогда не видел и Святого Старца, но как только увидел, сразу узнал его. Святой Старец, выйдя из кельи, как простой монах, сидел на земле перед Святой Обителью, на нем была истрепанная и продранная за долгие годы длинная белая рубаха из грубого домотканого холста, он был тощ, ноги босы и грязны, длинная борода и длинные редкие волосы совершенно белы, чело, ланиты и длани его были сплошь в морщинах, и Хмурый Пастырь, приближаясь, с изумлением отмечал, что живые глаза Святого Старца не соответствуют ни одежде, ни белизне волос и бороды, ни морщинам на челе: в глазах Святого Старца откровенная страстность, земные чувства и волнения.

Хмурый Пастырь подошел к Святому Старцу. Он победил, он стоял перед Святой Обителью и знал, что врата ее отверзятся перед ним, чистота Мариам будет сохранена, но в сердце Хмурого Пастыря не было радости.

Святой Старец, обхватив руками худые, острые колена, устремил на Хмурого Пастыря снизу вверх пристальный взгляд своих немигающих глаз, и Хмурый Пастырь увидел в его глазах недобрую усмешку. Широкие брови Хмурого Пастыря сдвинулись: что-то случилось...

...Хмурый Пастырь был прав.

Святая Обитель впервые за долгие годы становилась свидетельницей перемены и даже перелома.

Недавно старый отшельник, проживший в голой келье близ этого заброшенного монастыря ровно шестьдесят четыре года три месяца и неделю, проводивший похожие один на другой дни и ночи в молениях, вернувший обители славу и прославивший святым, бросил взгляд на лесистую гору напротив, и эта картина так потрясла старика, что он перестал молиться и только глядел и глядел на нее.

Зеленая лесистая гора ровно шестьдесят четыре года три месяца и неделю возвышалась напротив и, наверное, в летнюю пору всегда бывала такой зеленой, и солнце всегда падало на лесные вершины, но для того, чтобы увидеть это, старому отшельнику понадобилось шестьдесят четыре года три месяца и неделя.

Старый отшельник ощутил острую боль в сердце. Последнее время у него часто болело сердце, но отшельник понял, что нынешняя острая боль в сердце - не такая, как всегда.

В молодости старый отшельник согрешил с немой и полупомешанной соседской девушкой и, чтобы замолить этот грех, стал аскетом, и понадобилось, оказывается, ровно шестьдесят четыре года три месяца и семь дней, чтобы на восьмой день, рано утром, он взглянул на улыбающийся под солнцем лес и в течение одного мгновения осознал, что, в сущности, согрешил он не тогда, а потом; осознал, что великий грешник - тот, кто не может увидеть простой красоты мира, такой, как красота этого леса, а не тот, кто ценит дары земли - еду, питье, женскую ласку; грешен тот, кто отворачивается от них и превращает дни свои в бессмысленную и однообразную пустыню, тот, кто душит и убивает свои чувства и способен понять все это лишь через шестьдесят четыре года три месяца и семь дней.

Старый отшельник по привычке стал думать о Сыне Божьем, во имя которого он отказался когда-то от радостей земных, и с каким-то грустным злорадством сразу же вспомнил, что искупитель грехов рода адамова любил пировать у верующих в него, любил детей, птиц и полевые цветы, похвалил девицу, которая омыла ему ноги драгоценным мирром. «Пустите детей приходить ко мне!» - вспомнил отшельник, и сердце его снова пронзила острая, доселе не испытанная боль.

Он подумал, что старался делать добро все эти годы - лечил, исповедовал, укрывал от преследований, мирил, утешал в горестях мира сего. Но странно, он не был уверен, что это так уж важно, и даже подумал, что не знает, было ли все это от него или просто само собой выходило; более того, он не знал даже, было ли все это на самом деле или ему приписывала чудотворство людская молва; ведь в глубине души он никогда не чувствовал себя святым и чудотворцем и только с удивлением соглашался, что он - звено, связующее малых сих с господом и волей его. Он научился хорошо понимать людей и по глазам видел, кто чего хочет от бога, и лишь самого себя не знал и не понимал: не знал и не понимал, что жизнь прожита зря, и хотя она была такой долгой, эта жизнь, он и сам не заметил, как она прошла.

Но нет, это ведь неправда, что лишь сейчас он что-то понял и увидел: уже давно, несколько лет, пожалуй, а может, и больше, как он ощутил, что молится, постится, подкладывает колючки под колена и беседует с паломниками, ничего при этом не испытывая, кроме досады и стыда за их рабское легкоеверие и тупое «ослушание»; они и

впрямь считали его святым, но главное - считали всемогущим и готовы были целовать ему зад, если он его откроет, как целовали его грязные руки и ноги.

...Хмурый Пастырь, глядя в тоскливые глаза Святого Старца, понял, что если он сейчас о чем-нибудь спросит, что-нибудь скажет, то услышит такой ответ, который все перевернет вверх дном. Собрав все силы, Хмурый Пастырь поклонился в пояс, прошел мимо Святого Старца и остановился перед черными чугунными воротами Обители. Эти черные ворота не примут малейшего пятна в душе человеческой.

И тут случилось нечто, чего Хмурый Пастырь никогда не мог бы себе представить. Родной, ласковый шепот произнес: «Я должна с тобой расстаться!.. Я должна с тобой расстаться!..» - Хмурый Пастырь всем телом ощутил, как отлетел, как покинул его этот шепот, и только после этого тяжелые черные ворота Святой Обители со скрипом и скрежетом начали отворяться.

Слушая этот скрип и скрежет. Хмурый Пастырь чувствовал, что ему в спину вонзилась пара горящих глаз, и хотя Хмурый Пастырь сосредоточил все силы, он не смог удержаться и обернулся.

Святой Старец пристально смотрел на Хмурого Пастыря.

Хмурый Пастырь спросил:

- Что ты хочешь сказать, отец?

Святой Старец сощурил свои всепроникающие недобрые глаза и сказал:

- Ворота открываются перед тобой, а не должны бы.

- Почему, отец?

- Ты отвергаешь любовь. Ты разлучаешь друг с другом истинно любящих. Бежишь от мусульман, а того не ведаешь, что и мусульмане, и христиане - одно дерьмо. И те губят любовь и эти, а любовь превыше всего - превыше законов людских и беззаконий людских, а наипаче таких, как ты, - кто закон доводит до беззакония и беззаконие выдает за закон...

Хмурый Пастырь ничего не ответил.

Святой Старец все знал, и к тому же. возможно, эти слова произнес вовсе не Святой Старец, а сам Хмурый Пастырь говорил с собой... Эта мысль чуть не подхватила и не швырнула его в медленно, со скрипом и скрежетом приотворяющиеся тяжелые черные ворота Святой Обители, и Хмурый Пастырь всем существом понял, что надо спешить, надо торопиться, иначе все рухнет.

Святой Старец, протянув руку, показал перстом на ворота Святой Обители:

- Ты думаешь, они кому-нибудь принесли счастье?

Хмурый Пастырь сказал:

Я не ищу счастья, отец, я ищу чистоты.

- Чистоты ищешь? Да ведь ты слеп! Как ты можешь увидеть, что чисто?

- Я вижу тебя, отец.

- Ты слеп и жалок! - Святой Старец вскочил с проворством, не подобающим его летам. - В глупом старике, загубившем жизнь свою, ты зришь чистоту, а не зришь этих гор. этого леса, этого солнца! Несчастный! Господь дал тебе два глаза, а ты живешь слепым и умрешь слепым! - Святой Старец запнулся. - Умрешь? Да разве ты не мертвец? Ты мертвый! Мертвый! Мертвый! - и, выкрикивая это, Святой Старец побежал в сторону леса, будто не мог найти себе места, будто кто-то гнал Святого Старца.

Что это было? Уж не дьявол ли вселился в обличье святого? Хмурый Пастырь понимал, что это не так что старик, чьи глаза сверкали гневом и болью, который, приподняв руками длинный подол рубахи, с невероятной для его лет легкостью бежал в сторону леса, и есть сам Святой Старец, но Хмурый? Пастырь понимал также и то, что нельзя думать об этом, надо спешить, чтобы побыстрее уйти из этого места.

Ворота, наконец, отворились, и Хмурый Пастырь вошел.

В пустом, холодном и сыром храмовом помещении, чья высота уходила под купол, голову заломило от вони: всюду был помет диких голубей, всюду ворковали голуби. Когда глазг Хмурого Пастыря освоились с темнотой, он увидел диких голубей и изумился,

как голуби проникли в храм? Поднял голову? к высоким каменным сводам и увидел квадратное пятно света: с кровли Святой Обители, как с крыши обыкновенного старого здания, упал камень, и голуби, видимо, годами и десятилетиями проникали в эту брешь и вили себе гнезда.

Хмурый Пастырь направился к открытой двери левого придела, и, когда под ногами его ломалась и хрустела высохшая скорлупа голубиных яиц, волосы его шевелились, и Хмурому Пастырю казалось, что он топчет ногами только что вылупившихся птенцов.

Хмурый Пастырь знал от очевидцев, что в левом приделе слагались дары, жертвуемые Обители. Так оно и было. Хотя Хмурый Пастырь в свете, падающем из открытых врат и дыры в куполе, среди серебряных кувшинов и тазов, мешков с рисом и окаменевшим зерном, подков, паласов, одежды впервые в жизни увидел блеклое, тускло мерцающее платье, он сразу узнал его и, быстро взяв это платье, еще торопливей, чтобы поскорее избавиться от вони голубиного помета, от сырости, от запаха гниения, вышел из зала. Солнечный свет ослепил Хмурого Пастыря, он зажмурился и сам не заметил, как подумал, что, может быть, прав Святой Старец и он действительно слеп?.. Тяжелые черные врата, скрипя, скрежеща, щелкая, как старые кости, медленно закрылись за Хмурым Пастырем, и скрип этих старых врат почему-то приободрил Хмурого Пастыря. Потом Хмурый Пастырь услышал смех и открыл глаза.

Святой Старец, выйдя из леса, сидел на большом валуне шагах в двадцати от врат Святой Обители и покатывался со смеху. У Хмурого Пастыря, в который раз сегодня, волосы зашевелились. Хмурому Пастырю показалось, будто не Святой Старец, а одряхлевший, обессиленный филин сидит на валуне. Святой Старец, не сводя с Хмурого Пастыря сверкающих глаз, вытянул руку, указывая на него длинным перстом и хохоча, приговаривал:

- Слепец, ищущий чистоты!.. Слепец!.. Дурак!..

Хмурый Пастырь сунул за пазуху взятое в Святой Обители платье и, крестясь, торопливо удалился.

Святой Старец, спрыгнув с валуна, стал кидать вслед Хмурому Пастырю попадавшие под руки камни, обломки веток, сосновые шишки.

Камни и шишки падали по двум сторонам от Хмурого Пастыря, но Хмурый Пастырь больше не оборачивался и уже не крестился, а, бегом миновав спуск, удалился от этого места, где что-то было не так.

Платье, сунутое Хмурым Пастырем за пазуху, было холодное, никак не согревалось, и Хмурого Пастыря бил озноб.

XV

Играли музыканты, плясали танцовщицы, и самым счастливым человеком на свадебном торжестве был Сулейман-паша.

Махмуд твердил:

- Мне не нужно счастья, достигнутого насильем.

Сулейман-паша смеялся:

- Правильно, Меджнун забросал камнями войско Нофаля, но Искендер, победив Дара, женился на Ровшанак!..¹

Глядя на арабскую красавицу, исполняющую перед ним танец живота, Сулейман-паша вспомнил этот разговор пятидневной давности и снова рассмеялся: Махмуд мог много говорить, мог возражать, но Сулейман-паша был человек, делающий то, что он хочет, и Сулейман-паше доставляло удовольствие вот так претворять в жизнь желаемое, быть сильным и властным.

¹ Имеется в виду Александр Македонский, который после победы над Дарием III женился на его дочери Роксане.

Арабская красавица, с искусством, достойным тавризских и стамбульских дворцов, вращая животом, танцевала перед Сулейман-пашой, и Сулейман-паша, смеясь, показал ей пальцем, который украшал перстень с крупным изумрудом, на сидевшего чуть поодаль Махмуда.

- Жених - не я, а о-о-он. Перед н-н-ним и танцуй.

Танцовщица понимала азербайджанский язык; состроив глазки, она бросила на Сулейман-пашу лукавый взгляд, и, танцуя, направилась к Махмуду.

Танец живота был чужд нравам, обычаям и быту азербайджанцев, был распространен только во дворцах, и танцовщицами всегда бывали аравитянки, их и привозили из арабских стран. И эта красивая арабская девушка была из Магриба и, как все невольницы, все танцовщицы эрзерумского дворца, да и вообще все красавицы Эрзерума, была влюблена в Сулейман-пашу. Сулейман-паша знал, что в него влюблены все эрзерумские девушки, и конечно, Сулейман-паше было приятно, что в него все влюблены, но у Сулейман-паши не было времени в полной мере насладиться любовью, потому что все его помыслы, дела и поступки состояли в том, чтобы объединить всех тюрок земли и создать Великое Тюркское Государство, - он и во сне видел это. И во время переговоров с соседними правителями, и обходя в одежде нищего, пядь за пядью, всю подвластную ему землю Эрзерума, и на Гюлях сражений Сулейман-паша преследовал только эту цель и, в сущности, жил во имя этой цели. Сулейман-паша мечтал о больших, о мировых войнах, желал владеть всем миром, хотел, чтобы ему подчинились все народы земли - от арабов до англичан, от китайцев до греков, и хотя, сокрушаясь всем сердцем, Сулейман-паша понимал и видел, как ограничены его возможности в сравнении с желаниями, все равно он делал, что мог, а главное, во все это искренне верил. Когда он высказывал заветную мысль Махмуду, которого доставили во дворец, Махмуд внимательно выслушал его, а потом спросил:

- Но почему все другие народы должны сказать нам «да»?

Сулейман мгновенно нашелся:

- А разве п-прежде чем создать людей, аллах не собрал их д-души и не спросил, п-п-прнзнают, ли они его б-богом, и они не ответили: «д-д-да»?

Конечно, это было сказано полушутя, а настоящий ответ Сулейман-паша намеревался дать в книге, которую писал но ночам, при свечах. Эта книга должна была стать кораном для всех тюрок, независимо от племени и страны, будь то огузы или кыпчаки. Нет Сулейман не претендовал на то, чтобы быть пророком: последним пророком был Мухаммед, а Сулейман был верующим мусульманином, но до мусульманства Сулейман был азербайджанцем и хотел, чтобы такими, как он, были все существа на земле, говорившие на тюркских языках. Написанная Сулейманом книга будет жестокой книгой, и Сулейман звал это. Эта книга призвала кастрировать больных, сохранять чистоту крови, запрещала жить родившимся калеками, приговаривала к смерти сумасшедших, слабоумных, и он сам чувствовал, что это ужасно. Порой лежа ночью один, он представлял себе, что убогим родился его собственный ребенок и он должен распорядиться убить своего ребенка; но величие подлинного тюрка должно было заключаться в том, чтобы во имя блага нации он был в силах отрезать и отбросить часть своего тела. Когда Сулейман-паша и Махмуд встретились среди Шатунов, Сулейман, глядя на Махмуда, думал, каким должна быть потомство от этого красивого юноши, совсем еще мальчика. И должно ли оно быть. Сулейман чувствовал, что это юноша образован, умен, но совершенно ясно было и то, что он был слаб духом, горемычен, беспомощен, а у слабого и сын будет слаб и не сможет возвысить, возвеличить свой край, землю, нацию с мечом в руках, и ум не придет к нему на помощь: ум понадобится через сто лет, через двести лет, когда меч уже сделает свое дело; пока же силой меча можно заставить служить себе ум других.

Махмуд, войдя во дворец и увидев Сулейман-пашу, сразу же вспомнил разговор о книгах и, указывая на груды книг перед Сулейманом, спросил:

- А эти книги? Сулейман сказал:

- И их сожгу.

Махмуд увидел среди книг «Гюлистан» Саади и прочитал - наизусть строчку из «Гюлистана»:

- Все люди - органы одного тела...

Сулейман понял смысл слов Махмуда, лицо его побелело как мел, резким движением руки он хлопнул по переплетенному в джейранью кожу «Гюлистану» и с трудом вымолвил:

- С н-н-нее первой и на-на-начну!..

В больших голубых глазах Махмуда было такое выражение, которое откровенно говорило о прямо противоположном тому, что задумал Сулейман-паша, и это выражение чуть было не поколебало сердце Сулеймана... Сулейман чувствовал в Махмуде, который был по крайней мере на десять лет моложе него, али-этхарлыг, дитя, столь же невинное, как дети пророка, и это чувство гасило гнев против Махмуда, не позволяло быть жестоким...

...Придет время, и через девятнадцать лет после этого свадебного торжества Сулейман-паша, истративший жизнь в мелких схватках, в последней мелкой схватке будет предан и смертельно ранен, и даже самые близкие ему люди, уставшие от бесконечных мелких войн, от изводивших их пустых мыслей и слов, от столкновений, от стычек во имя этих пустых мыслей и слов, уйдут с Гюля боя, оставив там безвременно состарившегося, проводшего жизнь на коне Сулеймана, и, лежа навзничь, на окровавленной земле, Сулейман перед тем, как потерять сознание, увидит в окутавшей мир голубой пустоте давно забытые большие голубые глаза и выражение тех больших голубых глаз; Сулейман не сможет вспомнить, чьи они, эти глаза, но большие голубые глаза в голубой пустоте будут смотреть на него с недоступной ему чистотой и невинностью, и внезапно обрушившийся ливень захлещет по его лицу, по глазам, принесет прохладу пылающему огнем телу, и в прохладе, в голубой пустоте улыбка больших голубых глаз, смотрящих с недоступной ему чистотой невинностью, скажет о зря прожитой жизни Сулеймана, о напрасно пролитой крови, и Сулейман улыбнется: поздно уже, все кончено; потом улыбка застынет на лице Сулеймана, и ливень будет хлестать открытые глаза Сулеймана, застывшее его лицо, застывшую на лице улыбку...

...Магрибская девушка кружилась, изгибаясь каждой частичкой своего красивого обнаженного тела, и когда она кружилась быстрее, длинные косы, ее, взметнувшись в воздухе, описывали дугу.

У Сулеймана все танцовщицы, служанки, невольницы были аравитянки, армянки, эфиопки, иудейки, потому что Сулейман считал, что свои должны растить и воспитывать сыновей, с молоком своим прививать детям почтение и любовь к их древней и славной истории, ибо без этого нет нации и завтрашнего дня нации.

Сулейман посмотрел на Махмуда и снова улыбнулся.

Сначала, когда Сулейман-паша узнал, в чем горе Махмуда, он рассмеялся про себя, потому что горе Махмуда рядом с мыслями, с заботами Сулеймана было столь мелким и бессмысленным, что хотя бы про себя не посмеяться было невозможно.

Сулейман в течение всего лишь одной ночи велел разыскать Хмурого Пастыря, доставить его с дочерью во дворец и теперь устраивал свадьбу Махмуда с дочкой священника. Для Сулеймана не имело значения, что Махмуд - сын гянджинского Зияд-хана: Зияд-хан не ответил на письмо Сулеймана, на его призыв, жил только интересами своей маленькой земли, да к тому же был свергнут и убит; но Махмуд, независимо от того, гянджинский он был или тавризский, эзерумский, нахичеванский, дербентский, даже крымский, или самаркандский, или стамбульский, был свой, и в эту минуту Сулейман смотрел на Махмуда как на собственное творение, потому что Сулейману казалось, что в этом коварном и путаном мире он осчастливил хоть одного своего.

Потом Сулейман посмотрел в сторону сидевшей, за кисейной занавесью, в противоположном конце зала, невесты. Попова дочка смотрела в пол, лицо ее было бледно, но свадебный наряд сверкал и переливался от драгоценностей, украшений, золотого и серебряного узорочья. Сулейман в своей книге категорически запретил тюркским девушкам выходить замуж за представителей другой расы, причем не только за христиан, иудеев, буддистов, но и за арабов и персов, которые были мусульманами, но мужчинам разрешал жениться на женщинах другой расы - это пока было нужно для роста народонаселения. Однако теперь Сулеймана беспокоило другое: в мерцании свадебного платья невесты, застегнутого на четыре пуговицы, он чувствовал что-то неестественное, и Сулейман с нескрываемой злобой посмотрел на отца девушки.

Хмурый Пастырь отводил глаза от глаз Сулеймана. Он не был трусом, но взгляд этого сумасшедшего паши вызывал озноб, а кроме того, Хмурый Пастырь боялся не только взгляда этого нечестивца с окровавленными руками. Дело было в том, что Хмурый Пастырь, как ни старался, не мог удержаться и время от времени взглядывал на Махмуда. Святой Старец назвал Хмурого Пастыря слепцом, но Хмурый Пастырь видел в этом мусульманском отроде такую чистоту, что ему было страшно, потому что чистота не уменьшала ненависти и отвращения в его груди, напротив, умножала стократно: он должен был быть сластолюбцем и насильником, этот отпрыск мусульманского хана, в его глазах не должно было быть чистоты.

Дворец Сулейман-паши был ничто в сравнении с такими же дворцами соседних правителей, даже калантаров, даже богатых купцов; вместо роскоши, ковров, шелков, таящихся в каждом углу чувственных усад до поведения придворных - здесь все служило целям Сулейман-паши; но Хмурый Пастырь ненавидел всей душой каждую блестку даже в этом простом дворце, звучавшую здесь музыку, эту танцовщицу, изгибающую свое обнаженное тело - жертву страстей, жирные блюда, расставленные на полу, на большой ковровой скатерти, разлитый в чаши желтый шафрановый шербет, даже аккуратно разложенные в хрустальных вазах крупные ярко-красные яблоки, янтарные гроздья винограда, каждая ягода которого была чуть ли не с большой палец, распространяющие вокруг аромат спелые груши, не уместающиеся на ладони персики, налитые соком, надтреснутая хурма - все в этот миг казалось Хмурому Пастырю отвратительным. Хмурому Пастырю казалось, что от мягкого тюфячка, на котором он сидел, подогнув колени, от сладкой музыки, от приветливых лиц, от теплого ароматного воздуха он весь в грязи, он покрыт липкой грязью, и чтобы очиститься от этой грязи, мало три дня и три ночи мыться в реке. Однако за отвращением, злобой и страхом в сердце Хмурого Пастыря был покой. Платье, принесенное из Святой Обители, сияло как солнце.

Протянув Мариам это блеклое, тускло мерцающее платье, Хмурый Пастырь сказал:

-Свадебное платье.

Мариам удивленно посмотрела на это старое платье, вынутое отцом из-за пазухи, и Хмурый Пастырь впервые в жизни солгал:

- Осталось от мамы.

Хмурый Пастырь сам испугался этой внезапно, непредумышленно произнесенной лжи: от этой лжи исходил могильный запах, и Хмурому Пастырю стало страшно, что вновь он услышит тот родной, ласковый голос. Но голос больше не звучал.

Мариам ничего не спросила у отца, и четыре слова Хмурого Пастыря Мариам были последними.

И без того с тех пор, как они ушли из Гянджи, Мариам с Хмурым Пастырем, хоть и были все время вместе, говорили очень мало, а в эрзерумском дворце вообще не разговаривали: все говорили глаза.

Когда Мариам надела оставшееся от матери скромное, тускло мерцающее платье на четырех пуговицах, это платье переменялось на глазах: засияло, засверкало тысячами красок, стало самым прекрасным свадебным платьем на свете; оно облекло стан Мариам,

точно сшито было для нее, но Мариам чувствовала в нем смутный, непонятный холод. Может быть, ощущение холода возникло оттого, что Мариам ждала от платья, оставшегося от матери, ласки, которой она никогда не видела, но по которой всегда тосковала, а платье было тяжелое, неласковое?

Сидя за кисейной занавесью и ожидая, когда закончится свадьба, Мариам всем телом ощущала этот холод и понимала, что холод исходит от свадебного платья; как будто она надела на голое тело платье, опущенное в прорубь, задубевшее на морозе и ставшее скользким, как змеиная кожа.

Мариам чувствовала, видела, понимала, как страдает отец с той ночи, как они вышли из Гянджи, и в течение всего их долгого бегства. Хмурый Пастырь ничего не говорил, но Мариам знала все, о чем не говорил отец, и понимала, что все эти страдания из-за нее; разумом она это понимала, разумом горевала, но сердце заставить горевать было невозможно, сердце не слушалось. Мариам поняла, знала, что отца ее как тисками сдавила не только любовь Махмуда, но и то, что его любовь нашла отклик в сердце Мариам, но сердце невозможно было заставить не любить, сердце не слушалось, и Мариам ничего не могла поделать.

Как хорошо, что сердце нельзя заставить.

Как хорошо, что сердце не слушалось.

В течение этого затяжного бегства Мариам сто раз мечтала умереть. Мариам знала, что так нельзя, что это - грех, но Мариам и без того погрязла в грехе, и при виде всегда задумчивого и молчаливого отца ощущение греховности сто раз на дню убивало и воскрешало Мариам.

И пляска танцовщицы, и звуки музыки истаявали и исчезали в ледяном холоде, охватившем тело Мариам, и, охваченная этим ледяным холодом, Мариам посмотрела на отца и увидела в глазах отца настороженность но за ней угадывалось давно не виденное спокойствие, умиротворенность, и почему-то его спокойствие и умиротворенность вонзились в тело Мариам ледяными иголками, вызвали у нее еще большую дрожь.

Мариам посмотрела сквозь тюлевую занавеску на Махмуда в тот же миг поняла, что хотя в течение этого долгого бегства сто раз желала смерти, она не хотела умирать и все это время не только сердцем, но и телом своим стремилась к Махмуду. Жар этого чувства, пробившись сквозь ледяной холод, согрел Мариам, и тут глаза Мариам встретились с глазами отца, глядящими на нее из-под широких жестких бровей, и Мариам ощутила, что, несмотря на ледяной холод платья, лицо ее запылало.

Танцовщица больше не плясала, она села рядом с девушками, обвевавшими Сулейман-пашу опахалами из павлиньих перьев, и, глубоко дыша, удовлетворенно улыбалась.

Трое музыкантов, играющих на сазе, кеманче и свирели, перешли к мугаму, и старый певец, армянин, принявший мусульманство и ходивший в мечеть, Кербелаи Уста Арсен идущим из самого сердца чистым голосом запел совсем недавно распространившуюся газель Шаха Исмаила Хатаи:

Будь уверен, что богу принадлежит Хатаи,
Мухаммеду Мустафе принадлежит Хатаи,
Суфию Джунейде, сыну Гейдара,
Алияр Муртузе принадлежит Хатаи.
Из любви к Гасану явился на свет,
Гусейну-Кербелаи принадлежит Хатаи,
Али-Зейналабдину, Багиру, Джафару,
Мусаи-Кязыму, Рзе принадлежит Хатаи,
Мухаммеду Таги, Али-Аннаги также,
Гасан-Аскеру принадлежит Хатаи...

По мере того как Кербелай Уста Арсен четко и ясно выпевал священные имена, глаза Сулейман-паши начали метаться. Кербелай Уста Арсен был единственным иноплеменником, которого Сулейман-паша терпел при дворе за прекрасный голос и искусство; к тому же певец, после того как принял мусульманство, стал самым набожным рабом аллаха: совершал намаз, постился, ходил в Кербелу, где посетил могилу Имама Гусейна, из заработанного на празднествах всегда платил зекат, перестал пить вино, ровно тридцать два года не ел свинины, я даже во время свадеб улучал минуту, чтобы пропеть на мелодию мугамат духовные стихи, такие же как эта газель Хатаи о двенадцати имамах. Кербелай Уста Арсен за свою шестидесятивосьмилетнюю жизнь распоряжался многими торжествами и отлично разбирался в настроениях пирующих. И на этот раз, увидев мечущиеся глаза Сулейман-паши, он понял, что у этого бесноватого, который ми с чем не считался, приближается приступ бешенства и это вызвано пением Кербелай Уста Арсена, Сердце старого певца заколотилось, он не знал, что ему делать, и тут Сулейман-паша сам пришел на помощь Кербелай Уста Арсену: нетерпеливым движением руки дал знать мудрому певцу, мол, переходи на другую мелодию, и, воодушевленный столь легким, избавлением от беды, Кербелай Уста Арсен, не кончив газели, мастерски перешел на другую песню - стал петь самую любимую этим безумным пашой песню «Сары бюльбюль» - «Желтый соловей» и заливался соловьем так, будто ему было не шестьдесят восемь, а пятнадцать лет.

Сулейман-паша с трудом удержался, чтобы не нарушить торжество, но этот старик так искусно сменил мелодию, что никто ничего не понял. Когда певец исполнял газель Хатаи, Сулейман думал, что если глава государства пишет такое, чего ждать от простонародья? Он слушал слова Хатаи, думал о них и сходил с ума от мысли, что если так пойдет, в конце концов шиитство и вообще мусульманство сменит самое имя нации...

Соловьиные трели старого певца вернули Сулейману прежнее настроение. Хорошо, что он удержался и не прервал слов Хатаи. Если бы Сулейман, прервав эти безнациональные мусульманские вопли/плюкул старому певцу в лицо и пинком в зад прогнал с пиршества, шпионы Шаха-Исмаила, которые были везде и, несомненно, на этом свадебном торжестве тоже, через, каких-нибудь два дня донесли бы шаху: Султан Салим разбил тебя в Чалдыране, захватил Тавриз, и теперь Сулейман-паша Эрзерумский на пиру обрывает посередине твою благочестивую газель... А подобное истолкование Сулейман-паша считал бы ниже своего достоинства.

Кербелай Уста Арсен, прочистив горло, подражал соловью и соловьиные трели Кербелай Уста Арсена как будто навевали в залу луговой аромат, а тут еще слуги подожгли благовонную траву узерлик и направили дымок в сторону пирующих; и дым узерлик словно унес все заботы и напомнил о пении птиц об изумрудной зелени лесов, о чистоте родников в проходящем мире, но в этой изумрудной зелени, в этой родниковой чистоте было что-то искусственное, как будто все это было сделано из стекла, изящно, красиво и безжизненно.

Сулейман снова взглянул на Махмуда и улыбнулся: безумная любовь существует, оказывается, не только в созданиях поэтов...

Сулейман захотел осчастливить этого юнца, который не признает насильственность счастья, - Сулейман снова улыбнулся, - и осчастливил.

Махмуд заметил улыбку и вдруг пожалел Сулеймана - почему? - он и сам не знал. Махмуд уже несколько дней испытывал в душе какое-то непростое чувство к этому человеку и теперь понял, что это чувство жалости; во всем существе, в самой природе Сулеймана были острота и холод меча, но, несмотря на это, - а может быть, как раз поэтому - Махмуду было жаль этого человека.

Потом Махмуд подумал, а сам-то он кто?

Мариам сидела прямо против Махмуда за кисейной занавесью, и когда это пиршество окончится, Мариам будет принадлежать Махмуду, они не будут никого бояться, ни от кого бежать, день и ночь будут вместе, у них будут дети, и этих детей

Мариам будет кормить белейшим молоком своей груди, и разве все это - не самое большое счастье на свете? Но если все это было самое большое счастье на свете, почему же Махмуд не был счастлив, и почему перед глазами Махмуда вдруг оказался Мужчина в Красной Юбке? Ведь все достигнуто, мучительное странствие окончено, Мариам дышит с ним одним воздухом, и между ними нет никакого препятствия, никакой преграды, кроме этой кисейной занавеси, которую сам же он вскоре отведет, и Мариам станет его, - и почему же теперь он думает не об этом, не о Мариам, а думает о Мужчине в Красной Юбке?

Во время первой встречи во дворце Сулейман-паша, изумившись неведению Махмуда, прямо в глаза сказал ему, что Зияд-хан убит, его место занял ставленник Султана Салима Баяндур-бек, и еще больше изумился, когда Махмуд довольно спокойно встретил страшную весть, но Сулейман-паша не знал, что такое же изумление охватило и самого Махмуда: Махмуд изумился своему безразличию и в течение всех следующих дней Махмуда огорчал и тяготил гнет этого безразличия.

Махмуд хотел думать об отце, но перед его глазами появлялся несчастный старик, убитый Шатунами за то, что невовремя пожалел палан, и Махмуд, собирав всю свою волю, хотел придать лицу этого несчастного старика черты отца, хотел увидеть вместо него отца и некоторое время видел, но потом это видение сменялось зрелищем тысяч черепов, чьи глаза были выклеваны воронами и коршунами, и Махмуд явственно видел эту пирамиду голов на Чалдыранской равнине. Те, кому некогда принадлежали черепа, тоже были людьми, и у этих людей были сердечные радости, были горести, были дети, были родители, эти люди тоже жили под небом, видели солнце, луну, звезды. Махмуд хотел думать о матери, но перед его глазами появлялась та, что была среди Шатунов, закатывающаяся от хохота несчастная старуха с единственным белеющим зубом во рту, и Махмуд, хотя всем разумом своим и не хотел так думать, но все же думал, что если мать его и пострадала, то хуже, чем той старухе, ей не будет...

Это безразличие мучило Махмуда; мир стал совершенно бесцветным и безысходным.

Кербелаи Уста Арсен, вывел последнюю руладу, поклонился публике, музыканты тоже смолкли, и Сулейман-паша, улыбаясь, посмотрел в сторону двери, через которую входили и выходили слуги, и тут в нее с шумом, с пляской вбежал Безбородый, Козел и Безволосый.

Сулейман-паша не держал при дворе шутов, поскольку полагал, что когда азербайджанец, надев на голову шутовский колпак, кувыркается перед людьми, он в сущности унижает свой народ. Сулейману доставляли удовольствие не шуты, а древние народные игры, а если они Сулейману доставляли удовольствие, значит, так тому и быть.

Безбородый прилепил к подбородку кусок белого ситца, на голову надел островерхую шапку, на плечи - вывернутую наизнанку шубу, подпоясался красным кушаком, а с кушака свисали пустой мешок, пустой казан и половник. Тот, кто изображал Безбородого, пищал тоненьким голоском и, чтобы казаться толще, под шубой привязывал к животу подушку.

Завернувшийся в белую шкуру Козел подвесил длинную бороду, прилепил ко лбу два длинных рога и промежуток между рогами заполнил свежей травой; на шее у него висел бубенчик, и, когда этот долговязый человек, согнувшись как козел, прыгал и скакал, звон бубенчика заглушал все вокруг.

Голову Безволосого обтягивал бараний желудок, поверх желудка красовалась дырявая папаха, одежда была в лохмотьях; он то и дело совал в нос нюхательный табак и чихал, лицо было в муке, а с шеи свисала тыква.

Безбородый, приплясывая, сказал:

- Я зима, сын зимы, что мне делать Козел, приплясывая, сказал:

- Мои дела хороши, я - весна, и тем доволен! Безволосый удивленно спросил:

- А я кто?

Козел рассмеялся:

- Тыква!

И Безволосый рассмеялся, и Безбородый рассмеялся, и все собравшиеся рассмеялись, и Махмуд рассмеялся, и Мариам рассмеялась.

Безволосый сочувственно спросил:

- Брат мой безбородый, миляга Безбородый, отчего ты плачешь?

Безбородый, вытирая слезы, сказал:

- Покажите мне надежнее место.

Козел спросил:

- Зачем тебе?

Безбородый сказал:

- Я жену спрячу!

Безволосый быстро спросил:

- У тебя жена молодая?

Безбородый, плача, сказал:

- Коза!

Козел спросил:

- Красивая? Безбородый, плача, сказал:

- А зачем же я ее прячу?

Безволосый закричал:

- Знаю место!

Безбородый спросил:

- Где?

Безволосый сказал:

- У нас в доме!

Безволосый так произнес эти слова, и Безбородый так опешил, что все собравшиеся от седобородых до чернобородых рассмеялись этой простой крестьянской шутке; от души рассмеялись и Махмуд, и Мариам.

Безбородый выступил вперед и, приплясывая, произнес:

Что-то ты уж слишком прост,
Борода - собачий хвост!
Безбородый шутку ценит,
Соберет он урожай
И тебя, беднягу, женит,
Кого хочешь выбирай!

Безволосый провел рукой по выпуклому животу Безбородого и всей грудью выдохнул: «Ого!»; собравшиеся снова рассмеялись, а Козел, выставив вперед рога, сказал:

Безволосый, право слово.
Сел верхом на Домового,
Съездил к бабке-повитухе
С безволосиком во брюхе.
Он рожать всегда готов..

Безволосый прервал Козла и громко выкрикнул:

-В казане кипит мой плов!..

Выкрикнув это, Безволосый выхватил из руки Сулейман-паши горсть плова, который тот взял с тарелки, и поднес ко рту, я сунул себе в рот. Сулейман сначала

удивился такой невероятной смелости Безволосого, но замешательство быстро прошло, и Сулейман-пашу обуял смех.

И все гости смеялись, и Махмуд с Мариам смеялись. Насмевшись, Махмуд почувствовал, что все это время тело его, сердце его, все существо его тосковало, оказывается, по такому смеху, тосковало по такой простой и непритязательной шутке, и пока он смеялся, на сердце становилось все легче и легче.

Безбородый, Козел и Безволосый будто внесли в застойный аромат, в сверкание драгоценных камней на пальцах, в яства на расстеленной по полу широкой скатерти, в эту ханскую свадьбу дух земли, будто открыли широкие, годами не открывавшиеся окна, и ты оказался прямо против свежевспзханной земли и полной грудью вдохнул простор, свежесть, плодородие этой свежевспзханной земли.

Махмуд почувствовал себя счастливым и посмотрел на Мариам.

Мариам показалось, что они снова бродят по соломенно-желтой равнине, и соломенно-желтая равнина снова пахнет ярко-зеленой свежей весенней травой; потом соломенная желтизна и весенняя зелень смешались, и это желто-зеленое было словно сиянием желто-зеленого солнца, и желто-зеленая радость этого сияния слепила глаза.

Махмуд снова ощутил аромат тендирного чурека, который обжег его в детстве, и жар горячего хлеба согрел его душу. А если в мире был такой аромат, и если в мире был жар свежего хлеба, можно ли было о них забывать и должен ли был человек грустить?

Как ответил тот старик? Махмуд тогда спросил у старика, как это грудь, его не разорвется от горя? Что сказал старик? А, старик сказал так: «Ты всюду видишь горе, ищешь горя, а я вижу и вон те горы, вижу и эти травы, цветы, вижу и эту речку...» Так он сказал...

Внезапно Мариам вспомнился их дом в Гяндже, Мариам вспомнилась Белая Коза, вспомнились соседи и весь день скакавшие на улице ребятишки, она увидела по одному лица всех этих людей, и всю ее заполнила радость, будто сейчас канун пасхи и Мариам разрисовывает яйца, и жар этих, только что вынутых из кипятка, яиц будто обжег ей ладони, и Мариам показалось, что она, сидя перед горячей, потрескивающей печкой,огревает замерзшие пальцы рук и ног, и жар огня растапливает лед платья на ней.

вСтранно, согретый жаром горячего хлеба, Махмуд увидел свою маму и только теперь понял, какая она красивая; как будто первый слой лица Гамарбану растаял и исчез в идущем от хлеба тепле, а вместе с ним исчезли и преждевременная старость, и заботы, и злое возбуждение, и Махмуд увидел никогда ее виданное им подлинное лицо матери: это было обычное женское лицо, оно хотело радоваться, любить и быть любимым, хотело жить, и в его обычаиности была самая близкая на свете красота; а если на свете была такая красота и в этой красоте было нечто родное и близкое, почему тогда человек должен был искать сложности? в один прекрасный день человек поймет, что сознательно или нет, но он всю жизнь искал сложность, во всем видел сложность, а самая большая мудрость, оказывается, была в простом и обычном; а если в обычаиности мира сего таится счастье, тогда непременно, непременно и Шатуны найдут горстку света, ибо эта горстка света - а больше и не нужно вовсе! - находится не за железными воротами, охраняемыми дэвами, - ее не надо там искать; - эта горстка света на каждом шагу, всюду, во всем на земле.

После простодушных шуток Безбородого, Козла и Безволосого Сулейман-паша был вполне доволен собой и миром. Все еще улыбаясь, Сулейман посмотрел на магрибскую танцовщицу, сидевшую рядом с дворцовыми служанками и невольницами, и подумал, что после свадьбы вызовет к себе эту красавицу, проведет с нею ночь, осчастливит и эту красивую девчонку. Сулейман-паша был сегодня как Хызр-Ильяс: всем раздавал радость...

Снова заиграл саз, зазвучала кеманча, заговорила свирель, и Кербелаи Уста Арсен, отдохнувший и повеселевший после шуток Безбородого, Козла и Безволосого, начал петь

набор мелодий «Шур», и голос, и глубокое дыхание старого певца в ту ночь нашли путь к сердцам всех собравшихся на пиршество.

Всех, кроме Хмурого Пастыря.

За все время пиршества у Хмурого Пастыря даже губы не разомкнулись.

В улыбке на лице дочери Хмурый Пастырь увидел примету счастья, и это больше всего потрясло Хмурого Пастыря: если грязь безбожия, прикинувшись простотой и человечностью, не постыдилась обмануть и смогла обмануть чистоту Мариам, какое лицемерие могло быть больше этого? почему пиршество, украшением которого были песни мошенника и отступника, отказавшегося от веры христовой и заслуживающего быть живьем сожженным на костре, - это свадебный пир его единственной дочери? почему, почему, почему это должно было выпасть на долю ему, за какой грех? за какой грех его единственная дочь должна была чувствовать себя счастливой в этой грязи?

Хмурый Пастырь искал грех; да разве сами эти вопросы не были грехом? О, туго натянуты под пальцами отступника были не струны саза, вызывающего алчную похоть, а выдерживающие, выдерживающие, выдерживающие нервы Хмурого Пастыря. Но осталось немного, и все это кончится: ведь есть предел и страданиям... Сияющее как солнце платье спасет Мариам, оно не даст, чтобы рука нечестивца коснулась тела Мариам.

А что будет потом?

Хмурый Пастырь вздрогнул.

А потом?

Почему Хмурый Пастырь не задумался над этим простым вопросом: а что будет потом?

Но во всяком случае рука нечестивца не коснется Мариам и, в сущности, в этом и будет счастье Мариам. Мариам потом его поймет. Все будет хорошо...

Будет хорошо...

А почему должно быть плохо?

Не довольно ли стольких мук и страданий?

Но у Хмурого Пастыря откуда-то изнутри поднимался страх, страх дурного предчувствия, и Хмурый Пастырь хотел задушить этот страх, этот ужас, потому что он призывал Хмурого Пастыря снять с дочери это платье, разорвать, растоптать, выбросить. В этом тайном страхе пряталось и горчайшее сожаление, сожаление о том, что уже поздно, он никогда не сможет снять с Мариам это платье, не сможет разорвать и растоптать, ибо платье расстегнется и упадет только перед тем сыном апостольской церкви, который когда-нибудь - о, когда же, когда? - станет судьбой Мариам...

Хмурый Пастырь изо всех сил стиснул челюсти, пытаясь задушить поднимающийся изнутри страх, и не давал своему сердцу развалиться, выскочить, закричать...

Кербелаи Уста Арсен перешел к циклу «Шур» и с юношеским задором вновь запел слова Хатаи, но это были иные слова:

Любовь моя немолчная тревога.

Все пред тобой ничтожно и убого.

И молим мы всевидящего бога:

Да здравствует любовное свидание...

Эти слова Хатаи еще больше ублажили Сулеймана, и Сулейман посмотрел на сидевшего в дальней части пиршества главного евнуха Хаджи Аллахкерима, а потом на танцовщицу. Магрибская красавица все прочла во взгляде Сулеймана, и, лишь однажды опустив и подняв веки и длинные ресницы, высказала все слова своего влюбленного сердца, все чувства, теснящиеся в груди, не уместящейся в вытканной стамбульскими позументчиками, обшитый золочеными галунами лиф, и сверкающими черными глазами

метнула стрелу, а потом, будто сама устыдившись такой откровенности своей страсти, отвела глаза от | Сулеймана.

Уменьши груз - невольник не потянет,
Рейхан - не роза, запахом не манит,
Что все богатства, если нас не станет?
Да здравствует любовное свиданье...

Кербелай Уста Арсен, воодушевляясь произносимыми им же самим словами, запел еще прекраснее...

...Кучевые облака плыли с востока на запад, и луна, и звезды иногда показывались из-за облаков, а потом снова скрывались, но разливающееся в эти промежутки ясное сияние, проходя сквозь небольшие окна, заполняло спальню, и тогда Мариам яснее видела большие голубые глаза, и что-то несказанное родное в бледном лице разливалось теплом по всему телу Мариам и влекло к себе, и притягивало.

Они стояли, обнявшись, посреди комнаты, и Махмуд всей грудью чувствовал биение сердца Мариам, прильнувшей к нему, и Махмуду казалось, что, в сущности, это его собственное сердце, это его сердце бьется в его собственной груди, и Махмуд расстегнул верхнюю из четырех пуговиц на платье Мариам и провел губами по шее Мариам, молочно белеющей в заполняющем время от времени спальню ясном сиянии.

Потом Махмуд расстегнул вторую пуговицу на платье Мариам.

В этот миг для Мариам не было на свете ничего, кроме близости этих губ, бродящих по ее шее, по ее груди, и все тело Мариам было во власти этих губ; тепло, идущее от этих губ, от пальцев, от дыхания Махмуда, окутывало Мариам, и Мариам казалось, что она входит в это теплое облако, как в материнское лоно.

Махмуд расстегнул третью пуговицу платья на Мариам и провел губами между грудями Мариам, потерся лицом о грудь Мариам, словно на этой груди, в теплой ложбинке, хотел спрятаться от всего мира.

Мариам, захватив пальцами светлые волосы Махмуда, прижимала к своей груди его лицо, лоб, и учащенное горячее дыхание, и тепло больших голубых глаз обжигало грудь Мариам к все ее существо.

Махмуд расстегнул последнюю из четырех пуговиц на платье Мариам, и выпуклые груди Мариам выскочили из платья - наружу, и в этот миг произошло то, что потом знали наизусть во всем Азербайджане от Мараги до Дербента, от Баку до Эрзерума: четыре пуговицы платья Мариам сами собой застегнулись одна за другой и снова скрыли тело Мариам.

Махмуд почувствовал в этом платье, вновь застегнутом на Мариам, змеинный холодок, а Мариам снова начала дрожать в этом платье; Махмуд снова расстегнул пуговицы на платье Мариам стынущими от ледяного холода пальцами, и как только была расстегнута последняя, пуговицы снова застегнулись одна за другой сами по себе.

-Порви! Порви! Порви это платье! - закричала Мариам, но Махмуд попытался разорвать ворот этого платья, но это платье, уже утратившее свой нарядный блеск и тускло мерцающее, неподдавалось, как ни силился Махмуд, как ни дергалась Мариам: платье не поддавалось, и Мариам почувствовала, что в ночной темноте кто-то закрывает ей рот, не дает крикнуть, но Мариам с трудом, противясь всем своим существом, высвобождалась и кричала: - Спаси меня! Спаси меня! Спаси меня! - но Махмуд не мог спасти Мариам, бьющуюся у него в руках как холодная рыба; и Махмуд на мгновение вместо ясного сияния луны и звезд увидел заполнивший комнату смех Людей, увидел всюду улыбки Людей, и в их смехе, и в их улыбках увидел безысходность этого безумного мира, и из груди Махмуда вырвался вздох, и этот вздох превратился в комок огня, и Махмуд понял, что горит.

Пламя охватило одежду, волосы Махмуда.

Мариам сначала не поняла, что за факел заплеменился вдруг перед ее глазами, потом поняла, что Махмуд горит, и бросилась на этот горящий факел, руками, всем телом пыталась погасить этот горящий факел, обняла этот горящий факел голыми руками, прижала к своей груди и сама тоже загорелась, и запылала, и наконец ледяной холод покинул ее тело, и Мариам почувствовала дивное тепло...

...Хмурый Пастырь, стоя в ночной темноте под большим тутовым деревом, устремил взгляд на едва различимое во мраке маленькое двойное окошко спальни, отведенной во дворце Сулейман-паши для Мариам и Махмуда, и ждал. Хмурому Пастырю казалось, что вот сейчас с силой распахнутся ворота дворца и виновник всех его страданий - окаянный сын Зияд-хана - как безумный убежит прочь; его прогонит дыхание Святой Обители, прогонит десница господня, протянутая в роковой час ему, Хмурому Пастырю, и господь, вернет в лоно церкви своей рабу свою Мариам; но вдруг Хмурый Пастырь увидел вспыхнувший в том двойном окне огонь, потом поднялся переполох, потом языки пламени вырвались из окон в ночную мглу...

...Главный евнух Хаджи Аллахкерим, неожиданно войдя в опочивальню Сулейман-паши, закричал: Пожар! Пожар! - и Сулейман, поглядев при свете горящих свечей на вытаращенные от страха глаза евнуха, оттолкнул пригревшуюся в его объятиях магрибскую красавицу и вскочил на ноги.

Всюду разносился запах горячей человеческой плоти, и, пока слуги принесли воду, двойной факел полностью выгорел, превратился в горсть пепла, и слуги с трудом потушили пожар, занявшийся от этого двойного факела...

...Кучевые облака все плыли и плыли с востока на запад, временами вокруг воцарялось ясное сияние, и в этой то проясняющейся, то темнеющей ночи Хмурый Пастырь бежал, что было сил и, закинув голову к небу, что было сил кричал:

- Да будет воля твоя!.. Да будет воля твоя!.. Да будет воля твоя!..

Хмурый Пастырь кричал, не останавливаясь, потому что боялся Хмурый Пастырь, боялся, что если перестанет выкрикивать это, с уст его сорвутся другие слова.

Хмурый Пастырь боялся, что отвергнет бога, сорвет крест, висящий на шее, и он торопился, бежал что было сил, не давая себе возможности сделать это:

- Да будет воля твоя!.. Да будет воля твоя!.. Да будет воля твоя!..

Хмурый Пастырь бежал, задевая за кусты и деревья, и вдруг увидел в окрестной тьме комья серебристой белизны, и Хмурому Пастырю показалось, что верхушки деревьев, побелели, листья-поседали.

Впереди смутно различались отвесные утесы Эрзерумских гор.

Хмурый Пастырь шагнул в пустоту, и, когда он камнем летел вниз головой, ему вдруг показалось, что Святой Старец стоит под обрывом, широко раскинув руки, манит его и приговаривает:

- Иди, глупец, иди!

Потом все кончилось.

...По приказу Сулейман-паши горсть пепла похоронили.

XVI

Наступал вечер.

Купы облаков, окрашенные заходящим солнцем в ярко-алый цвет, снова плыли с востока на запад; природа была все той же.

Небольшой караван из четырех верблюдов, выйдя из-за встречного холма, медленно продолжал свой путь. На переднем верблюде был закреплен черный паланкин, и под вечер, приподняв занавес, из него выглянула женщина, даже внутри паланкина не снявшая с лица кисеи.

В шестидесяти шагах стояла старая гробница, купол которой был выбелен известью, немощный старик, борода и волосы которого были такими же белыми, как этот купол, сидя на земле рядом с гробницей, смотрел в сторону каравана.

Женщина, высунув руку из паланкина, остановила караван и что-то сказала молодому слуге, тотчас же соскочившему со второго верблюда и подбежавшему к ней.

Слуга бегом приблизился к старику, что-то спросил, потом бегом вернулся и сказал:

- Это мюджевир¹ при гробнице, госпожа.

Женщина, высунув голову из паланкина, сказала вожатому каравана:

- Правь туда, - и вожатый, потянув верблюда за голову, направился к гробнице.

Женщина открыла в паланкине маленькую шкатулку и, вынув одну золотую монету, протянула молодому слуге. Слуга хотел положить золотой перед стариком, но старик, подняв глаза от земли, посмотрел на паланкин и покачал головой.

Женщина спросила:

- А чего ты хочешь?

Старик слабым голосом произнес:

- Хлеба.

Слуга вернул женщине золотой и побежал к другим верблюдам, чтобы принести хлеба.

Глаза старика показались женщине знакомыми, и женщина, приподняв с лица кисею, пристально посмотрела на старика, но не узнала его.

Старик тоже не узнал эту женщину.

Слуга принес и положил рядом со стариком корзинку с хлебом.

Женщина больше ничего не спрашивала у этого немощного старика: чья это гробница? кто ты сам? чего еще тебе нужно?

Караван тронулся в путь и вскоре скрылся из виду.

Старик, как обычно, остался один.

В черном паланкине была Джейран.

С того дня, как Джейран сбежала с конюхом Джафаром, прошло ровно тридцать семь лет.

В селе конюха Джафара - в прекрасном Талыстане, в горах - Джейран не выдержала больше трех месяцев: скучала, тосковала и в одну прекрасную ночь сбежала из Талыстана; торгуя своим телом, обольщая каждого встречного, снова разбогатела стала госпожой, пробила к большим дворцам, прожила жизнь в свое удовольствие, и постепенно состарилась, и осталась одна, и теперь уже несколько лет жила лицом к лицу с этим одиночеством.

Двойной и тройной платой Джейран удерживала при себе молодых слуг, а большинство их было сельчанами, они в жизни еще не знали женщины! Джейран хотелось в сильных, молодых, здоровых объятиях спрятаться от своего одиночества и неприкаянности. Молодые слуги по утрам одевали Джейран, в полдень ее купали, вечером раздевали, но все это они проделывали в темноте, за плотно занавешенными дверьми и окнами, потому что Джейран не хотела, чтобы они видели ее дряблое состарившееся тело, но молодые слуги и без того чувствовали под руками обмякшую, обвислую кожу, и, едва выдавался случай, сбегали. Джейран горячила им кровь сотнями способов и в сладострастной игре с ними пыталась бежать от самой себя.

Единственный светлое воспоминание Джейран было связано с возникающим иногда перед ее взором человеком с большими голубыми глазами, светлыми волосами,

¹ Мюджевир - человек, живущий при какой-либо гробнице.

бледным лицом, но с годами и его светлый облик померк, годы иссушили и его, и он искрошился, рассыпался, осталось только смутное, безликое, безымянное настроение.

Паланкины, в которых Джейран отправлялась в странствия, всегда были черными.

И старый мюджевир не узнал Джейран, как и Джейран не узнала мюджевира.

Не только Джейран, никто не знал, что имя старого мюджевира было Сафи.

После той ночи, когда он оставил спавшего на берегу реки Махмуда и ушел, у Сафи было много приключений, Сафи владел несметными богатствами, деньги приносили деньги, самые красивые, женщины стремились во дворец Сафи, перед Сафи заискивали вельможи, но Сафи не мог найти счастья в этом мире: за всю жизнь он не спал спокойно ни единой ночи, и в конце концов, преследуемый видениями, Сафи бросил все свое богатство, в поисках Махмуда пришел в Эрзерум и с тех пор стал мюджевиром у могилы Махмуда и Мариам.

Сафи каждый день просил у аллаха смерти, но прожил дольше всех людей на земле.

Говорят, когда-то жил человек по имени Мухаммедали, и этот человек прожил еще больше Сафи. Любопытно какой грех совершил Мухаммедали?

Сафи прожил ровно двести четырнадцать лет и скончался летом 1682 года - 1074 года хиджры.

И тогда произошло небывалое. На том месте, где в свое время был дворец эрзерумских правителей, а теперь не было ничего, кроме древней гробницы, на месте, называемом в народе Долиной мюджевира, только что окончилась весна, наступило лето, все вокруг было в цветах. Внезапно в полдень небо потемнело, в Долине мюджевира поднялся ураган, раздался грохот в небе и на земле, выпал черный снег, произошло землетрясение, посреди Долины мюджевира образовалась трещина, земля разделилась на двое, потом снова соединилась, ураган прекратился, черный снег растаял, снова подняли головки цветы, но Сафи уже не было, его поглотила земля.

Жители этих мест, рассказывали, будто иногда перед древней гробницей возникает в воздухе и играет сам собой саз и будто когда-то был народный певец по имени Сазлы Абдудла и этот саз будто бы принадлежал Сазлы Абдулле. Да будет мир и успокоение со всеми нами.

ПОВЕСТИ

ЧУДЕСА В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

I

И в это утро Адиля, как всегда, делала зарядку уже после того, как она прозвучала по радио. Теперь Адиля вполуха слушала последние известия и думала о том, что вчера, и позавчера, и позапозавчера диктор теми же словами и в той же интонации говорил те же или очень похожие вещи и что завтра, и послезавтра, и послепослезавтра она, делая утром зарядку, будет слушать то же самое, и не в ее власти изменить существующий ход вещей. Одно и то же изо дня в день, лишь зима сменяет осень, весна - зиму, потом приходит лето, и снова осень. И все чаще и явственнее чудилась ей сидящая в темном дальнем углу комнаты некая старуха, которая вяжет нескончаемые носки и бормочет под нос: «Четыре сына у меня - один родился зимой, другой весной, третий летом и четвертый осенью. Эти носки я вяжу моему старшему сыну. Он самый лучший мой сын. Самый сильный и смелый, быстрый, как огонь, горячий, как огонь...»

Весна... Весной привычное с детства ожидание чуда, жажда новизны и чего-то необыкновенного сменялось в душе Адили чувством тоскливой безысходности, и Адиля становилась злой и раздражительной.

Сегодня на рассвете Адиля сквозь сон с нарастающим раздражением слушала, как Халил, стараясь не шуметь, собирался на базар, как загрохотал лифт и захлопала дверь в подъезде, как за стеной в соседней квартире включили радио и пустили в ванной воду. Начинался новый день, не несущий в себе ничего нового, такой же, как вчерашний и завтрашний. Просыпаться не хотелось, но сна уже не было, и Адиля поднялась, включила радио, машинально раскинула в стороны руки и начала делать зарядку.

Диктор... в заключение о спорте. Вчера бакинец Ахмед Мамедов, преодолев стометровку за десять и одну десятую секунды, установил новый республиканский рекорд.

Адиля. Молодец!

Диктор. Вчера на первенстве страны по баскетболу «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом девяносто один - восемьдесят. За «Спартак» выступает самый высокий спортсмен страны Сергей Иванов. Его рост - двести тридцать сантиметров.

Адиля. Подумать только!.. Вот уж действительно полтора Ивана!.. Спросить бы у него, как дела там, наверху? А с меня хватит этой зарядки. Достаточно. Хорошенького понемножку.

Ленясь расстегнуть, она стала стягивать пижамную курточку через голову, когда раздался телефонный звонок. С робкой надеждой на чудо Адиля взяла трубку и разочарованно услышала знакомый голос.

- Алло! - сказала она.

- Здравствуй, Ада. Я тебя сразу узнал...

Адиля. А-а... Привет.

Голос. Ты тоже узнала? Видно, эти три года не сделали нас чужими. Как дела?

Адиля. Порядок.

Голос. Я слышал, ты замуж вышла. Поздравляю...

Адиля. Мерси.

Голос. Я тоже ведь женился, Ада.

Адиля. Молодец.

Голос. Ну, ты не меняешься, Ада...

Адиля. А зачем меняться?

Голос. Ты даже не спрашиваешь, откуда я знаю твой телефон?.. Ничего, увидимся - расскажу.

Адиля. А мы с тобой не увидимся.

Голос. Ого, вот это уже новость!

Адиля. Все. Привет.

Голос. Ада, Ада, ты ничего не хочешь мне сказать?

Адиля. Хочу: иди к черту!

Адиля сердито, бросила трубку и включила радио.

Диктор. А сейчас прослушайте танцевальные мелодии. Исполняет на гармонии Теюб Теюб-оглу.

Халил появился из кухни с первыми тактами музыкальной мелодии, словно только их и дожидался.

Халил. Ты уже встала? Почему так рано? Как дела, душечка? Иди посмотри, что я купил на базаре.

Адиля. Доброе утро.

Халил. Ну, здравствуй. Дай поцелую.

Раскрыв объятия и вытянув губы дудочкой, он двинулся на Адилию. Она попыталась избежать встречи с Халилом, но это ей не удалось.

Адиля. Ну, ладно, хватит... **Халил.** Ах, ты моя сладкая! Прямо сахар!

Адиля. Хватит, сказала!..

Халил. Не сердись, милая, не сердись... Хватит так хватит. Как говорится, хорошенького понемножку.

Адиля. Опять целую гору укропа накупил?

Халил. Конечно, душечка. Это витамин С, милая, чистый витамин С. А витамин С, ты же знаешь, для всего полезен. И даже для... Салим говорил, я тебе не рассказывал?

Адиля. Не болтай глупости...

Халил. Ах ты, милочка моя! Я ведь жду не дождусь отпуска, в Кисловодск поедem, ты увидишь тогда, каков Халил-петушок!

Диктор. «Гайтагы». Исполняет на кларнете Шамси Иманов.

Халил. На кухне я навел порядок. Помидоры жутко дорогие - рубль шестьдесят кило.

Адиля. Так ты не купил?

Халил. Купил, мамочка, полкило для тебя купил. Я съем одну штучку. Как говорится, хорошенького понемножку.

Адиля. Ну ладно, я пошла, Халилушка.

Халил. Куда?

Адиля. На работу, куда же еще?

Халил. Но ведь еще больше часа до начала твоей работы.

Адиля. Значит, впритык.

Халил. Как это - впритык, мамочка, тебе же десять минут ходу?..

Адиля. Мне эта дорога надоела.

Диктор. Прослушайте в том же исполнении танец «Ханчобаны».

Адиля. Та же дорога, те же дома, те же углы, те же знакомые лица. Каждый день, каждый день... Сегодня пойду на работу по другим улицам.

Халил. Ох, и фантазерка ты у меня! А помнишь, что у нас семьдесят лотерейных билетов? Чует мое сердце, выиграем машину... Салим говорит...

Адиля. О господи боже, как ты надоел мне со своим Салимом! Салим сказал, Салим говорит... Я о чем тебе говорила, а ты - о чем?

Халил. Я думал, до твоей работы мы немного посидим. Я не рассказывал тебе, вчера Салим из-за меня дал нагоняй бухгалтеру. Подумать только, какие-то вычеты накануне отпуска... Ну, Салим его отчитал...

Адиля. Ради Салима замолчи... Я пошла,

Халил. Ты хоть завтракала?

Адиля. Кажется, да... Ну конечно! Ты приготовь что-нибудь, поешь хорошенько, потом иди на работу.

Халил. Дай я провожу тебя.

Адиля. Нет, Халилушка, ты садись поешь.

Халил. Ну, позволь мне проводить тебя, моя душечка?

Адиля. Я ведь сказала тебе - нет. О, как мне надоело одно и то же! Ну сколько можно видеть тебя - каждый день?! Прости... Не сердись, ладно? Поцелуй меня... Ну, теперь все... Как ты говоришь, хорошенького понемножку.

2

На почте самая горячая пора. Жужжат телетайпы, выдавая ленточки телеграмм, резко звонит междугородный телефон, щелкают кассы, принимая от граждан плату за квартиры и коммунальные услуги, мерно стучит штамп-молоточек в руках девушек, регистрирующих заказные письма и бандероли, вполголоса переговариваются клиенты.

Беспрерывно хлопает входная дверь. Только Адиля сидит без дела за окошком номер три, на котором написано «До востребования». Адиля вырезает ножницами полоску бумаги, закрашивает ее чернилами и приклеивает перед тройкой на стекле, получается 13.

Заведующий почтовым отделением, пожилой человек по фамилии Единственный, следя за порядком, подходит к Адиле. Останавливается, смотрит на число 13 и произносит довольно спокойным тоном:

- Ну так же нельзя, товарищ Адиля! Сколько раз можно человеку говорить?!

Адиля. А в чем дело, товарищ Единственный?

Единственный. Вы понимаете, что у вас получилось на стекле?

Адиля. Тринадцать.

Единственный: Вижу, Я спрашиваю, зачем это вам? Ведь это не в первый раз. На что вы намекаете?

Адиля. Это символ нашей судьбы, товарищ Единственный...

Единственный. Глупости все это. Детство. До каких пор будете в куклы играть? Неприлично! Если повторится еще раз выговор объявлю, так и знайте.

Адиля. Строгий?

Единственный. Да, строгий! Я не знаю и не хочу знать, что вы имеете в виду, подставляя к тройке единицу. Но ведь что получается? До востребования - в окошке номер тринадцать. Тут что-то не то... Вряд ли это понравится нашим клиентам. Да и не только клиентам. Неужели вы не понимаете? Вдруг начальство заглянет... Или кто-нибудь сверху...

Адиля. Вы имеете в виду товарища Иванова?

Единственный. Кто это - Иванов?

Адиля. Да так... Один человек...

Единственный. Он что, из министерства?

Адиля. Нет, выше... Понимаете, выше...

Единственный. Так... И вы с ним знакомы?

Адиля. Да. Сегодня утром познакомились.

Единственный внимательно смотрит на нее. Потом переводит взгляд на часы, висящие на столе, и вдруг кричит, и крик его покрывает шум почтового отделения.

- Ибрагим!

Ибрагим, заместитель начальника почтового отделения, маленький, лысый, кругленький, подскакивает от окрика, как мячик от стенки, и мгновенно оказывается перед Единственным...

- Да, товарищ Единственный!

Единственный. Не видишь, что ли? Время перерыва.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный! Ибрагим подходит к двери и, не пуская на почту посетителей, приговаривает:

- Перерыв, товарищи. Нельзя, товарищи, перерыв. Неужели непонятно, товарищи?.. Пе-ре-рыв!

Ему доставляет удовольствие маленькая, кратковременная, по власти над людьми! Его лысина розовеет и начинает лосниться, голос обретает металлическое звучание, но глазки... Глазки остерегаются - они бегают, прячутся, они все время в движении и подобны дыркам на телефонном диске: словно кто-то внутри Ибрагима все время набирает номер, и в дырках мелькают пустота и знаки, пустота и знаки...

Единственнов садится за стол, надевает очки и углубляется в газету. Помещение постепенно почти пустеет, уходят клиенты, разбегаются на обеденный перерыв служащие. Лишь Адиля остается на месте. Она сидит неподвижно, устремив взгляд в одну точку, когда появляются подруги Адили, женщины лет тридцати, вызывающе одетые. Они останавливаются перед прикрытой дверью...

Ибрагим. Нельзя!

Гюльзар. Ой... Вы нас не узнали, Ибрагим-муаллим? Здравствуйте!

Ибрагим. У нас перерыв.

Зулейха. Адиля, скажи этому типу, пусть нас пропустит.

Адиля. Ибрагим, ну что это такое? Товарищ Единственнов! Почему...

Ибрагим. Ну, ладно, ладно. Проходите.

Зулейха и Гюльзар подходят к Адиле и говорят вместе.

- Привет.

Адиля улыбается, придвигает им стулья. Девушки садятся.

Зулейха. Ой, Ада, в универмаг такие пальто-джерси привезли, такие пальто! И красные, и болотного цвета, и мышинового...

Адиля. На что мне джерси...

Гюльзар. Что с тобой творится в последнее время... На что мне то, на что мне это, зачем кино, зачем гулять?

Зулейха. Были бы у меня деньги... Купила бы себе джерси... Не помнишь, почему они были с рук? Послал бы мне аллах такого, как Халил...

Адиля. Дался тебе Халил, сказала же - не трогай его...

Зулейха. Я же ничего плохого не говорю...

Гюльзар. Эх, а я уж ни о чем таком и не мечтаю!

Зулейха. Не ври, пожалуйста. Вот был бы у меня муж... Пусть даже самый никудышный. Какой-нибудь поэт непризнанный.

Гюльзар. На поэтов надежда плохая, помечтай о ком-нибудь другом.

Зулейха. Почему? Это на них наговаривают. Вот со мной по соседству живет поэт Фнкрет Садыг - святой, да и только.

Гюльзар. Раз святой, значит, жениться не может. Эх, недавно шли мы с Зулей, видим, Салех...

Зулейха. Да, Ада, знаешь, какой он теперь стал? Такой представительный - с ним не шути!

Гюльзар. У него сын уже в школу ходит. Так вот, остановился Салех, поздоровался с нами. Спросил, как дела. Говорю, все по-прежнему, отлично. А про себя думаю: пусть моим врагам будет так же хорошо... Тебе привет передал, Ада.

Зулейха. Подумаешь, большое дело: привет передал... С нами водились и нас любили, дрались, чтобы только потанцевать с нами, хвастались друг перед другом...

Гюльзар. ... в смысле, мы тоже мужчины.

Зулейха. ...да фасонили, а как пришло время жениться, нашли себе других девушек. Не таких веселых и свободных, как мы. С папами...

Гюльзар. А мы-то, дуры...

Адиля. Да хватит вам, ради бога. Не начинайте все сначала, не расстраивайте меня, я и так с утра не в себе.

Зулейха. Она права... Пусть все мужчины катятся к чертовой матери! Интересно, Фира одолжит мне денег?

Гюльзар. Фира теперь не здороваются со старыми знакомыми, а ты хочешь, чтобы она тебе деньги дала?

Единственный поднимается с места, подходит к двери. Задумчиво смотрит на улицу. Ибрагим приближается к нему.

- Какая мерзкая погода...

Единственный. И погода хорошая, и жизнь превосходная, и люди прекрасные, и если есть еще у нас жулики, то ты - один из них!

Ибрагим обижается и отходит к своему столу.

Гюльзар. Ада, кажется, этот ваш заведующий опять не в духе.

Зулейха. Что это с ним?

Адия. Наверно, опять с женой поссорился... Хотите я вас снова познакомлю?

Гюльзар. Сколько раз можно знакомиться? Ты уже трижды нас к нему подводила.

Зулейха. Неважно, от скуки чего не сделаешь. Пусть. Давай снова знакомь нас, Ада, зови его сюда.

Адия. Товарищ Единственный, Зуля и Гуля уже целый год изводят меня: познакомь да познакомь.

Единственный медленно подходит к ним. Он не знает, как держать себя с этими насмешливыми и дерзкими женщинами:

Зулейха. Какая у вас романтическая фамилия, товарищ Единственный!

Адия. Это не совсем так, Зуля. Фамилия нашего уважаемого заведующего - Гульмамедов, а Единственный - псевдоним.

Гюльзар. Как интересно! Значит, вы один - единственный на свете человек?

Единственный. Да.

Зулейха. Ваше лицо мне очень знакомо. Где-то я вас видела.

Единственный. Возможно.

Зулейха. И я вас откуда-то знаю...

Единственный. Очень может быть.

Адия. Четырнадцать лет назад на Восьмое марта в газете была фотография товарища Единственного. Его сфотографировали, когда он покупал подарок своей супруге. Наверное, там вы его видели.

Гюльзар. Нет, я тогда была слишком мала, чтобы газеты читать.

Зулейха. Товарищ Единственный, а вы в кино не снимались?

Адия. Да нет... Товарищ Единственный - ветеран почтового дела. Сам министр знает товарища Единственного, он даже упомянул о нем однажды в своем докладе.

Гюльзар. А-а-а, вспомнила, где я вас видела! Здесь, на почте. Неделю назад!..

Единственный. Все прекрасно, все хорошо, но еще не известно, кто кого-разыгрывает!

Адия. Товарищ Единственный, я и не знала, что у вас есть чувство юмора...

Единственный. Хватит, товарищи! Ибрагим, где ты там, Ибрагим!

Ибрагим. Я здесь, товарищ Единственный, я здесь!

Единственный. До конца перерыва осталось пять минут. Ты меня понял?

Ибрагим. Да, товарищ Единственный. У меня к вам маленький вопрос.

Единственный. Ну, давай свой вопрос, Ибрагим.

Единственный с Ибрагимом отходят в сторону, и подружки вновь остаются одни.

Зулейха. Да они просто горят на работе. Откуда только такие берутся?

Гюльзар. Эти два остолопа?

Зулейха. Всюду такие остолопы, и поэтому, как говорят моя бедная мама, мы остались ни с чем.

Гюльзар. Чтоб им всем мурдешир¹ лица вымыл!

Адия. Тише ты, Ибрагим услышит.

Гюльзар. Ну и пусть услышит, мне-то что?

Адия. Как что? Ведь Ибрагим - мурдешир и есть.

Гюльзар. Что?

Адия. Ибрагим - мурдешир.

Зулейха. То есть как это?

Адия. Ну, обыкновенно, мурдешир... Подрабатывает... Как выдается свободное время, бежит в мечеть, помогает обмывать покойников.

Гюльзар. Ой, мама!..

Зулейха. Ада, как ты работаешь вместе с таким человеком?

Адия. Обыкновенно.

Гюльзар. Не боишься?

Адия. А чего бояться?

Гюльзар. Нет, я тебя не узнаю. Где прежняя Ада?

Адия. Это потому, что не боюсь Ибрагима? А почему я должна его бояться? Что, другие лучше, что ли? Десять лет назад испугалась бы. Потому что я ничего о жизни не знала, мы порхали себе как бабочки...

Зулейха. И не задумывались даже, что осень не за горами...

Адия. Вы думаете, все здесь могут разыгрывать этого Единственного? Да все дрожат перед ним. Знаете, как его боятся?! Он такой вредный, а передо мной заискивает...

Гюльзар. А-а-а. А почему это он перед тобой заискивает?

Адия. Через два года он уйдет на пенсию. Так вот, уже сейчас стелится передо мной, чтобы потом Халил помог ему с пенсией. Иногда он у меня спрашивает: «Адия, ваш муж по-прежнему работает в министерстве социального обеспечения?»

Гюльзар. Бедняга.

Адия. Все мы бедняги.

Гюльзар. Не говори...

Единственный. Ибрагим! Перерыв кончился.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный

Гюльзар. Ну, ладно, Ада, мы пошли.

Адия. Хорошо, привет.

Гюльзар. Да, забыла сказать, я ведь опять документы в институт подала... На заочное. Помоги, аллах.

Адия. Аллах поможет, дождайся...

Зулейха. До свидания, Ада. Куплю джерси, вечером принесу показать.

Адия. Хорошо.

Почтовый зал постепенно заполняется людьми, вновь начинают шуметь аппараты. Единственный, понаблюдав за Адилей со стороны, подходит к ней.

Так вы говорите, сегодня утром познакомились с товарищем Ивановым?

Адия. Да-а-а...

Единственный. Вы говорите, он откуда-то... сверху?

Адия. Да. А что?

Единственный. Вы сегодня с утра не в духе, товарищ Адия. Может быть, еще что-то произошло? Вы знаете, я всегда близко к сердцу принимаю ваши заботы...

Адия. У меня, кажется, свекор помер, товарищ Единственный.

Единственный. То есть как это - кажется? Официально скончался?

Адия. Нет, официально нет.

Единственный. Опять вы меня разыгрываете. Я прошу вас, товарищ Адия... И когда вы только повзрослеете...

¹ Мурдешир - человек, занимающийся ритуальным обмыванием покойников у мусульман.

Обидевшись, Единственнов удаляется, Адиля механически обслуживает посетителей. И вдруг происходит что-то необычное для почтового отделения: какой-то человек во фраке со скрипкой проходит к нише в стене, устраивается там и начинает играть. Никто его не видит и никто не слышит его игру. Единственнов щелкает на счетах, Ибрагим ставит сургучные печати на посылках, все прочие тоже заняты своим делом, - Адиля одна слышит музыку. И никто, кроме нее, не видит мужчину в черном костюме и белой рубашке, который возник ниоткуда и подошел к Адиле. И остались для нее в почтовом отделении только он и она.

- Здравствуйте, - сказал он.

- Здравствуйте, добрый день... - ответила она.

- Есть ли письмо для меня?

- Для вас?... Сейчас посмотрим.

И Адиля начала торопливо перебирать конверты «до востребования».

- Нет, для вас нет письма...

Между тем никому не видимый скрипач стал играть все громче. И сердце Адилы забилося в ритме его мелодии.

Мужчина. Нет... Нет и нет, и никто мне не поможет...

Адиля. Вы не грустите. Вы будете приходить за письмом каждый день... И спрашивать его у меня... Только у меня, не правда ли?

Мужчина. Да.

Адиля. Я знаю, что значит для вас письмо. Но даже если оно запоздает, вы не рассердитесь, не разочаруетесь, вы будете ждать его и разговаривать со мной... Вы и сейчас никуда не уйдете... Мы... мы станем друзьями... Очень близкими друзьями... Или я ошибаюсь?..

Мужчина. Нет, не ошибаетесь.

Адиля. Мы доверимся друг другу. Я все вам расскажу. Даже то, что никому на свете не сказала бы. Даже то, что скрываю от себя. Я не скрою от вас ничего. А вы будете меня слушать. И будете говорить:

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Вы ведь будете это повторять, не так ли?

Мужчина. Так. В горах - туман...

Адиля. Упал на колени...

Мужчина. Альпийский луг...

Адиля. Достался оленю... Вы знаете, почему я до конца откроюсь вам? Потому что никто больше не сможет меня понять... Потому что люди стали мне чужими... Потому что я стала сама себе чужой... Я стала пустой... Равнодушной...

Мужчина. Я знаю...

Адиля. Знаете? Конечно, конечно, вы знаете. Вы все знаете. Вы ответите на все мои вопросы. Вы не боитесь вопросов... Мы с вами будем путешествовать! Ведь правда? Мы побываем везде! Где мы только не побываем! Но больше всего нам понравится в горном лесу. Вечерами, сидя в палатке, мы будем вслушиваться в шум дождя. Мы забудем, что пройдет время и мы умрем, станем землёй, а лес этот останется, и дождь никогда не кончится. Мы забудем, мы забудем обо всем - и о наших заботах, и о наших тревогах, и о наших страхах. Забудем о людях несчастных и о людях счастливых. Мы, только мы будем в нашем мире: вы, я и еще лес... и еще темнота лесная... и деревья... наша маленькая палатка... и дождь... Невдалеке от нас будет горная речка. Мы будем слушать ее... Потом наступит тишина, эта тишина принесет нам счастье, мы растворимся в этом

счастье и станем по-настоящему свободны. Утром, проснувшись, мы будем купаться в горной реке. Соловьи будут петь: «Цветок, цветок! Раскройся!» И мы будем радоваться, радоваться... ведь так?

Мужчина. Конечно. Ведь мы будем часто видеться...

Адиля. Правда? Вы правду говорите? Ну, конечно, вы говорите правду. Конечно, правду. Я больше не буду сомневаться в этом. Мы будем видеться часто, очень часто. Потому что иначе невозможно. Так больше невозможно, вы понимаете? Невозможно так! Я не могу больше так жить! Может ли быть на свете столько бессмысленного, однообразного! Может ли жизнь быть такой пустой? Сколько может человек разговаривать сам с собой? До каких пор он может быть счастлив только в мечтах, в мире, который он сам себе вообразил, - в несуществующем мире? Ну до каких пор можно задавать один и тот же вопрос: «Ну и что?» До каких пор? Ведь больше невозможно это выносить! Невозможно, понимаете?

Мужчина. Понимаю.

Адиля. Понимаете, конечно, понимаете. Вы все понимаете.

Мужчина. Мы еще не раз будем беседовать с вами. Пока ... я не получу письмо. Мы будем видеться, пока я не получу письмо.

Адиля. Пока вы не получите письмо. А потом - все?! Конец?! О не спешите получать это письмо, прошу вас, не спешите. А вдруг оно придет завтра? Нет, и после того, как вы получите письмо, мы будем видеться, потому что в нем будут хорошие вести, я это чувствую, знаю...

Мужчина. Нет, после того, как придет это письмо, мы больше не будем нужны друг другу. Не будет уже необходимости в наших встречах...

Адиля. Я не хочу этого! Не хочу!

Мужчина. Все будет хорошо, вот увидите... Все будет хорошо...

Адиля. Вы... уходите?

Мужчина. Я еще приду... Приду... Обязательно приду...

Мужчина исчезает. Адиля закрывает глаза, а когда открывает их, перед окошком стоит старик в очках, с палкой в руке...

Старик, Барышня, милая, красавица моя, который раз я уже говорю, что моя фамилия Алигулузаде, к тому же я - профессор, а вы опять что за письмо мне даете? Это письмо Гамбаргулузаде! Детка, что мне за дело до Гамбаргулузаде?! Я ведь Алигулузаде, профессор. Сначала дала мне Мартиросяна, а теперь Гамбаргулузаде!..

Адиля. Что вы говорите? Как ваша фамилия?

Старик. Это уже явное издевательство! Да это просто безобразие! Где тут у вас заведующий? Позовите заведующего!

3

Гюльзар и Зулейха с юных лет тянулись к Адиле, негласно признавая ее превосходство. Им необходимо было видеть ее, и на почту они являлись почти каждый день.

Адиля сидела задумавшись. Весна незаметно переливалась в лето, и старуха, отмеряющая время, казалось Адиле, вязала и приговаривала: «Этот носок я вяжу моему второму сыну. Первый мой сын - неверный. А вот второй - самый лучший сын. Я его больше всех люблю. Он - как родник. Как родник чистый, как волна мягкий, как волна ласковый...»

Лето теснило весну, а Адиля еще не приняла решения...

Зулейха. Не знаю, Ада, что с тобой последнее время...

Адиля. А что?

Гюльзар. Ты стала какая-то такая...

Адиля. Какая такая?

Зулейха. Вот мы у тебя и спрашиваем, какая ты сейчас. Ведь прежней Адили нет...

Адия. Но ведь и ты не прежняя, Зуля... Ты так же шутишь, смеешься, но все больше по инерции, а может быть, ты играешь, кто знает?.. Прежней Зулейхи больше нет. И прежней Адили - тоже. И прежней Гюльзар.

Гюльзар. Все это понятно. Ада, конечно же я - не прежняя. Мне теперь тридцать четыре, как же я могу быть двадцатилетней? Разве я могу теперь смеяться так, как раньше? От всего сердца, весело, бездумно? Вот в том-то и дело, что бездумно. Ни о чем не думала двадцатилетняя Гюльзар, попусту тратила время, влюблялась в Жана Маре, в Рашида Бейбутова, и не только в них, к сожалению. Любила веселые компании, ну, да вы все это знаете не хуже меня... И вот результат! Не знаю, винить мне теперь двадцатилетнюю Гюльзар или хвалить - что в молодости жила не кривя душой, в свое удовольствие. Но где эта молодость? У моих ровесниц уже дочки чуть ли не на выданье, а я? Осталась ни с чем. Кто на мне женится? Никто. Я уже седею... Скоро не помогут ни пудра, ни краска, буду я старая кокетка. Но у тебя ведь по-другому, Ада...

Адия. А чем это я от тебя отличаюсь?

Зулейха. Я, конечно, понимаю, Ада. - Халил - не тот, о котором ты мечтала, совсем не тот... Но все же...

Адия. Я сказала, не трогай Халила. Не твое это дело!

Зулейха. Ладно, не буду, не сердись...

Гюльзар. А по-моему, любовь - это все пустое. Это для двадцатилетних, потом все проходит... Чего уж тут горевать.

Адия. Да что вы напали на меня?! Я знаю это не хуже вас, Любовь - как пустая консервная банка! Жизнь - вечные похороны неисполнившихся желаний! Я знаю это лучше вас всех. Но почему? Почему это так?

Зулейха. Вот видишь, ты спрашиваешь - почему? Потому что ты не можешь смириться с этим. И напрасно. Ты опять думаешь, как прежняя Адия, вместо того чтобы смеяться над прежними мечтами, причем смеяться так же беззаботно, как раньше. У тебя есть все, Ада. Завидую тебе. Сейчас только и мечтаю, чтобы у меня появился такой мужчина, как Халил, поженились бы мы и жили себе потихоньку. Это и есть счастье.

Гюльзар. И не говори.

Адия. Если вы еще раз вспомните про Халила, я вам больше не подруга...

Гюльзар. Ну, хорошо, давай поговорим о чем-нибудь другом. Надо же как-то развлекаться...

Зулейха. А о чем другом? Вчера звоню Фире - денег одолжить, туфли на платформе появились. А она мне: клянусь Аликом, нет ни копейки.

Гюльзар. Она только и клянется Аликом, когда врет... Накличет, что этого завмага Алика вытянут из магазина за ушко да на солнышко...

Единственнов, сидевший все время над бумагами, поднял голову, посмотрел на часы и крикнул:

- Ибрагим!

Дремавший открытыми глазами Ибрагим подпрыгнул, как мячик.

- Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Перерыв окончен!

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственнов! Зулейха. Ладно, мы пошли, Ада.

Адия. Привет.

Гюльзар. Привет. Не растравляй себя. Что наша жизнь - игра...

Зулейха. Прощайте, Ибрагим-муаллим Гюльзар. Спокойной ночи, Ибрагим-муаллим. Польщенный Ибрагим берет Гюльзар за руку.

- Заходите, девушки, заходите.

Гюльзар вспоминает, что он мурдешир, вздрагивает от омерзения, пытается вырвать у него свою руку и громко кричит:..

- Ой! Убери свою руку. Ну!

Единственный. Что случилось, товарищи?

Зулейха. Эй, мурдешир проклятый, чего живых людей хватаешь? Сейчас получишь...

Ибрагим. Ох, была бы моя воля!.. Я бы ей показал... Я бы ее... Я бы их... Стервы, пробы негде ставить!

Единственный подходит к Ибрагиму и что-то говорит ему тихо. Ибрагим, потирая покрасневшую лысину и подсакивая на месте от возмущения, выкрикивает:

- Девушки! Ха, девушки! Они уже лет двадцать как не девушки. Шайтаны в юбках, да еще в коротких!

Единственный. Брось, не связывайся. Эта кошка Адиля их в обиду не даст. Ты с ней поосторожнее, у нее любовник новый, товарищ Иванов.

Ибрагим. А кто такой этот Иванов?

Единственный. Думаю, важная птица... Оттуда...

Единственный многозначительно воздевает палец к небу. Ибрагим замирает, весь словно худеет и бледнеет на глазах. В тревожном молчании они расходятся по своим местам. Адиля сидит с отсутствующим видом. Появляется скрипач, встает в свою нишу и начинает играть... Вскоре возникает мужчина в черном костюме. Адиля обрадованно вскакивает.

Адиля. Спасибо, что пришли.

Мужчина. Здравствуйте.

Адиля. Я боялась, что вы не придете.

Мужчина. Но я обещал вам. Мне письма нет?

Адиля. Нет, еще не получено... Дайте-ка посмотрю еще раз... Нет...

Мужчина. Не беда. Собственно, я пришел вас пригласить.

Адиля. Пригласить меня? Куда?

Мужчина. Куда хотите.

Адиля. Куда я хочу?.. Идемте... поедem в Кисловодск... Нет, в Джидырскую степь... Пусть ударит нам в нос запах чабреца, ничего, вынесем! В детстве нас всегда на лето возили, в Шушу. Тогда отец был еще жив... А я смотрела на горы, мечтала скорее подрасти, хотела обнять эти горы, разделить со всеми свою радость... А теперь... А теперь я хотела бы снова стать ребенком... Но больше не будем об этом... Мы поедem в Джидырскую степь!.. Поехали?

Мужчина. Поехали.

Адиля. Вы ощущаете запах чабреца? Какой сильный запах... Посмотрите на эти горы... Туман расходится...

Мужчина.

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Адиля. Мы на самую вершину поднимемся!.. Смотрите, сколько здесь цветов!.. Я бывала в этих местах, но никогда не было так хорошо... Это потому, что я с вами. Вы слышите, крики удоов? Знаете, что они кричат? Одного зовут Иса, а другого - Муса. Один спрашивает: «Иса, нашел?» Другой отвечает: «Муса, нет»... Говорят, было двое братьев-чабанов. Однажды у них пропала любимая овца. Искали-искали, так и не смогли найти ее. Тогда они обратились к аллаху с просьбой сделать их птицами, чтоб они увидели наконец свою овцу. Аллах превратил их в птиц. А они все равно овцу не нашли... Может быть, овцу унес волк? Ведь здесь полно волков... Нет, нет, не будем сегодня говорить о волках, лисах, шакалах... Как сильно пахнет чабрец! Этот запах всем нравится, а я бы хотела, чтобы плохие люди не выдерживали запаха чабреца. Чабрец - только для самых лучших...

Мужчина. Значит, на свете нет плохих людей...

Адиля. Нет плохих людей? Почему?

Мужчина. Потому что все выдерживают запах чабреца.

Адиля. Нет, это неправда, я не так хотела сказать. У нас по соседству жил один слепой, Мамадбагир-кшии. Он говорил, на свете нет плохих людей, самое трудное - узнать человека близко, а после того, как близко, очень близко его узнаешь, поймешь, что нет плохих людей. Так ли это на самом деле? Ну вот, взяточнику какое оправдание? Как он может быть хорошим человеком? Как может быть хорошим человеком подхалим? Или вор? Правда, всем им нравится запах чабреца, но один вдыхает его, думая о хороших делах, а другой - о плохих... Послушайте, как вы объясните, почему многие хорошие люди несчастны? Слышите кузнечика? Вы слышите, как он поет? Так вот, несчастный человек никогда не почувствует прелести этого стрекотанья.

Мужчина. Почему же?

Адиля. Потому что я часто бывала в этих местах. И совсем не так давно вместе с Халилом. Нюхали чабрец, смотрели на туманные горы, слушали, как журчит речка Дашалты, слушали песню кузнечика, и все это пробудило во мне не радость, а грусть, потому что я опять задумалась о себе, о своей неудавшейся жизни. Даже эта красота наводит на меня только печаль.

Мужчина. А почему вы, созерцая эту красоту, не задумались о том, чтобы распрощаться с вашей неудавшейся жизнью? Изменить ее?

Адиля. Потому что это невозможно.

Мужчина. Своего рода утешение, не так ли? Это ведь утешительно: сказать себе «невозможно» - и продолжать.

Адиля. Нет, это не утешение, это истина. Все так думают. По крайней мере, те, с кем я встречаюсь каждый день. Для них это тоже невозможно. Хотите, я познакомлю вас с ними? И тогда вы увидите, права я или нет. Хотите?

Мужчина. Ну что ж...

Адиля. Правда? Вы хотите с ними познакомиться? Я знаю, вы делаете это для меня... Может, чтобы лучше меня понять... Помочь мне разобраться в самой себе. Но как познакомить их с вами?.. Знаете что, пусть они расскажут о таком событии в их жизни, которое они считают для себя самым важным, самым замечательным. Только все вопросы задавайте вы. Ну, будто вы судья. А с кого мы начнем?

Мужчина. С товарища Единственного.

Адиля. Договорились! Товарищ Единственный Товарищ Единственный! Если вам нетрудно, подойдите сюда на минуточку. С вами хочет поговорить один товарищ...

Единственный. Здравствуйте.

Мужчина. Вы Алмамед Ахмед-оглы Гюльмамедов. Единственный - ваш псевдоним. Вам пятьдесят девять лет. Вы женаты. У вас трое детей. Два внука. Вы заведующий почтовым отделением.

Единственный. Да...

Мужчина. Расскажите, пожалуйста, какое событие своей жизни вы считаете самым значительным?

Единственный. Самое значительное событие в моей жизни?

Мужчина. Да, пожалуйста.

Единственный. Самое главное событие в моей жизни? Сейчас... Однажды меня вызвали в министерство и командировали в Кедабек - проводить кампанию подписки на газеты. Ибрагим тоже был со мной. Мы ходили по селам, агитировали... Кедабек, вы же знаете, горный район, выдали нам лошадей, чтобы мы объехали все села. И вот спускались мы в дождь из большого села Гара-Мурад. Вдруг конь споткнулся, и я вместе с ним покатился с обрыва... Очнулся через десять дней в районной больнице. Весь в гипсе. Открыл глаза, рядом Ибрагим на стуле сидит. Мои первые слова были... Нет, лучше пусть сам Ибрагим скажет. Ибрагим, эй, Ибрагим!

Ибрагим. Я здесь, товарищ Единственный.

Единственный. Ну-ка, Расскажи товарищам, пусть они услышат. Когда я в больнице через десять дней открыл глаза, что я сказал тебе прежде всего?

Ибрагим. Вы сказали: «Ибрагим-им». А я сидел около вас и плакал. А вы говорите: «Ибрагим, в каком состоянии колхозный конь? Он не убится?»

Единственный. Да, как только я пришел в себя, я в первую очередь поинтересовался состоянием упавшего вместе со мной колхозного коня!

Мужчина. Значит, это и есть самое главное событие в вашей жизни?

Единственный. Думаю, что да!

Ибрагим. У товарища Единственного на первом месте стоят общественные интересы!

Мужчина. Почему во время войны вы, товарищ Единственный, симулировали болезнь и не пошли на фронт?

Единственный. Я... нет... Это было так давно... У меня есть справки... Я... Я...

Ибрагим. Не может быть... Это просто не может...

Мужчина. Вы Ибрагим Гасым-оглу Азизов. Вам тридцать восемь лет. Женаты. Трое детей. Работаете заместителем заведующего почтовым отделением.

Ибрагим. Да...

Мужчина. Вы должны сейчас же рассказать, какое событие было самым значительным в вашей жизни.

Ибрагим. Я должен?

Мужчина. Пожалуйста!

Единственный. Говори, не бойся.

Ибрагим. Самое главное событие в моей жизни... Какое событие в моей жизни было самым главным, товарищ Единственный?

Единственный. Сам подумай...

Ибрагим. Да! Самое главное в моей жизни то, что судьба свела меня с товарищем Единственным! В результате отеческой заботы товарища Единственного я поднялся от грузчика до заместителя заведующего! Вы сделали меня человеком, товарищ Единственный! Вы воспитали меня по принципам Макаренко! Я этого никогда не забуду!

Единственный. Это мой гражданский долг...

Мужчина. По какой цене, Ибрагим, вы продаете нижнее белье покойников, которых обмываете?

Ибрагим. Нет... Что вы... Да я... Никогда...

Мужчина. Почему вы постоянно желаете смерти товарищу Единственному? Надеетесь стать заведующим?

Ибрагим. Я... Я... Нет...

Мужчина. Можете идти.

Единственный. И я тоже, товарищ ээ-э-э?..

Мужчина. Да, и вы тоже.

Адия. Ну, что вы скажете?

Мужчина. Давайте следующего.

Адия. Халил! Халил-ил!

Халил. Что, мамочка, что, душа моя?

Адия. Иди сюда на минутку.

Халил. Что такое, мамочка?

Мужчина. Вы Халил Юсуф-оглу Керимов. Вам сорок семь лет. Вы работаете в министерстве социального обеспечения. Женаты. Детей нет.

Халил. Да, это так... А дочка не виновата, виноват я...

Мужчина. Вы должны рассказать сейчас о главном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Халил. С чего это вдруг?

Мужчина. Говорите.

Халил. Если вы настаиваете, пожалуйста... Мамочка, ты и без того знаешь, какое событие главное в моей жизни. Но я могу повторить. Самое главное, самое главное событие всей моей жизни - это женитьба на Адиле.

Мужчина. А другое событие вы не вспомните?

Халил. Другое? Могу, конечно, в моей жизни было мною чего... Но...

Мужчина. Не стесняйтесь, говорите.

Халил. Ладно... Это было примерно год назад. Меня вызвал к себе начальник отдела Кязимов и говорит: «Халил, мы с тобой уже двадцать четыре года работаем вместе. Я считаю тебя своим другом. С этой минуты называй меня просто по имени, я для тебя - Салим». С тех пор я и при сотрудниках зову его по имени. Потому что мы друзья. Потому что он такой замечательный человек, потому что он...

Мужчина. Вы любите Адилю?

Халил. Я не могу без нее жить.

Мужчина. Вы пожертвуете ради нее своей жизнью?

Халил. Я... Когда до нее дотрагиваюсь, весь дрожу...

Мужчина. Отвечайте на вопрос. Пожертвуете ли вы ради нее своей жизнью?

Халил мнется: все так необычно, вдруг на самом деле ему придется расстаться с жизнью. Адиле такая... Не знаешь, чего от нее ожидать. Он избегает смотреть на Адилю и не знает, что отвечать.

Халил. Я... Я сказал же...

Мужчина. Можете идти.

Адиле. Даже забыл со мной попрощаться... Испугался, что ли? Ладно. Ушел - и хорошо. Зуля! Зуля! Где ты?

Зулейха. Что, Ада?

Адиле. Иди сюда, дело есть.

Зулейха. Здравствуйте.

Мужчина. Зулейха Али-гызы Халилова. Вам тридцать шесть лет. Незамужем. Работали секретаршей, уже месяц, как не работаете вовсе.

Зулейха. Что делать, он был страшный бабник.

Мужчина. Вы должны нам рассказать о самом, на ваш взгляд, значительном событии в вашей жизни. Прошу вас.

Зулейха. Если вы всерьез, тогда и Гюлю позовите, вместе будем рассказывать.

Адиле. Гюля, Гюльзар!

Гюльзар. Привет. В чем дело?

Мужчина. Гюльзар Ахмед-гызы Мамедова. Тридцать четыре года. Незамужем. Работаете телефонисткой - в ночную смену.

Гюльзар. Вы из статуправления?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Зулейха. Слышала, Гюля, мы должны рассказать о самом главном событии в нашей жизни! Расскажем!

Гюльзар. Расскажем.

Зулейха и Гюльзар берутся за руки словно на эстраде и поют.

Самое главное?

Это просто смешно.

Потому что нам главного

Не дано.

Уж так получилось.

Такая судьба.

А раньше мы думали –

Не беда.

Мы такие красивые,
Чего же еще?
Мы такие счастливые!
Официант, счет!

За границу не ездили,
Проси не проси.
Тебя по уху съездили?
Эй, такси!

Заморочили головы
И себе и другим,
Раньше мы были молоды
И теперь - хотим.
Раньше мы были щедрые –
Ветер в голове.
Дуры мы несусветные. Обе. Две...

Гюльзар. Ну, что? Достаточно?

Зулейха. Как вам наш репертуар?

Гюльзар. Вы довольны нами?

Зулейха. Пошли, Гюля! Привет.

Гюльзар. До свиданья! Мы поплыли.

Мужчина. Стойте.

Зулейха. Что еще.

Мужчина. Вы любили Салеха, и он любил вас. Он хотел ребенка. Почему вы сделали аборт?

Гюльзар. Ой... Я ничего не знала!

Адиля. Я знала.

Зулейха. Потому что... я была так молода, а он - студент, я думала, все еще впереди, зачем нам ребенок? А потом уже было поздно... Он женился на скромной чистенькой девушке. Он даже не знает, что творит сейчас эта скромная чистенькая девушка у него за спиной!.. А я бы этого не делала! Нет! Нет! Не делала!!!

Гюльзар. Успокойся, Зуля... Успокойся... Не надо больше ее спрашивать...

Мужчина. Хорошо. Я обращаюсь к вам. Почему вчера вечером вы подняли руку на вашу старую мать?

Гюльзар. Верно... Вы правы. Я вчера подняла на маму руку, толкнула ее. Причем это не первый раз... Потому что... потому что она еще больше, чем я, виновата в том, что мне теперь уже все равно, я никому не нужна, у меня и желаний даже никаких не осталось. А все потому, что, когда я в шестнадцать лет приходила домой в двенадцать ночи, она не наказывала меня, а сладко спала... Ее больше интересовало, сколько она денег получит с проданного пива... И все-таки я очень люблю мою маму...

Мужчина. Можете идти.

Адиля. Вы рассердились на них? Ведь они честно ответили на ваши вопросы. Не соврали. Они такие, как есть, только и всего. И поэтому...

Мужчина. И поэтому?

Адиля. И поэтому они несчастны! Самые несчастные на свете! Нет желаний... Никакой радости впереди... Самые несчастные на свете, потому что уже примирились со своим несчастьем... Наверно, так легче жить. Кто знает, может быть, это и правильно...

Мужчина. Значит, вы счастливее Зулейхи и Гюльзар, не так ли? Вы ведь не примирились со своим несчастьем. Вы ведь страдаете постоянно. Даже если захотите, не сможете примириться, потому что это не в вашем характере.

Адиля. Нет, нет. Мы все несчастные: и Зулейха, и Гюля, и я... Потому что жизнь проскользнула у нас между пальцами... Ну, что из того, что я каждую ночь твержу себе перед тем, как заснуть: «Так жить нельзя! Ты все делаешь не так. Почему? Почему ты не начинаешь жизнь сначала? Это ведь не жизнь, то, что ты делаешь...» И я даже даю себе слово, что так больше не будет. А утром просыпаюсь и... весь день проходит так же, как предыдущие. Все то же самое. Снова Халил, его мелкие радости, желания, не стоящие ржавой копейки... Снова лицемерные речи Единственнова, омерзительное лицо Ибрагима... Снова нерадостное житье Зули и Гюли!.. А перед тем как заснуть снова, несбыточные мечты. Обманчивые надежды...

Мужчина. Может быть, еще кого-нибудь позовете?

Адиля. Кого? Хватит, наверно. Да больше никого знакомых и нет... Салима, что ли? Меня от него тошнит. Давайте лучше посмотрим на эти горы... Вы видите облака? Пойдет дождь. Потом перестанет. Мы промокнем, но это ничего. Зато радугу увидим. Потом послушаем кваканье лягушек... Давайте ни о чем не думать, просто смотреть. Видите, мне на ладонь села божья коровка. В детстве распевали мы, а теперь поют нынешние дети:

Божья коровка, улети на небо,
Там твои детки кушают конфетки.

Мужчина. Вы Адиля Мелик-кызы Керимова. Вам тридцать пять лет. Три года замужем. Детей нет. Работаете в почтовом отделении.

Адиля. Да...

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Хорошо... Понимаете, мы все умрем... Сколько ни есть людей на земле, все умрут... Их заменят новые люди. И они умрут. Я умру, и моя мама умрет. Если бы у меня был ребенок, и он бы умер. И Зуля умрет. И Гюльзар. И вы, я думаю, тоже умрете...

Мужчина. Верно.

Адиля. Так почему же вы не приходите в ужас? Зачем вам это письмо, если вы все равно умрете?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Простите. Простите меня. Я сейчас... Самое значительное событие в моей жизни - это осознание собственной смерти. Однажды ночью, холодной ночью, я поняла, что будь ты счастливым или несчастным - все равно умрешь. Это и есть самое страшное. Смерть!

Мужчина. Это - не самое страшное.

Адиля. Я бы очень хотела вам поверить...

Мужчина. Ну, так поверьте.

Адиля. Может, и вы скажете, что вокруг бурлит радостная жизнь, и нельзя отрывать от коллектива? Может быть, и вы скажете, что надо быть волевым, стойким, еще бог знает каким? Не говорите мне этого! Я не хочу, чтобы вы говорили эти холодные слова! Я много слышала таких слов. По радио в газетах... Я все это знаю.

Мужчина. Я вам и не говорю о том, что вы знаете.

Адиля. Хорошо... А что же тогда, по-вашему... Что, по-вашему, самое страшное?

Мужчина. Представьте себе одного артиста. Он всю жизнь провел на сцене. Состарился. Его уважают, он знаменит, многие его любят. Все привыкли к нему, не представляют себе сцену без него. И никому не придет в голову, что он бездарен. Всюду

пишут, что он талантлив, все говорят, что он большой актер. Но вот однажды он пришел домой после спектакля. И вдруг, внезапно, неожиданно он осознал, что бездарен, что нет в нем настоящего таланта. Осознал, что всю жизнь был бездарен, что известность - мнимая, и уважение - выдуманное, и любовь - только видимость, а ежедневные девичьи письма с любовными признаниями - бред собачий. Никогда ни одну из этих девушек он не сделал и не сделает счастливой, потому что бездарен, потому что обманывал не только других, но и себя самого. Он играл Отелло, срывал аплодисменты, но никогда не испытывал чувств истинного Отелло. Он играл Гамлета и снова срывал аплодисменты, но гамлетовские переживания были ему всегда чужды... Все это я вам рассказываю для того, чтобы задать следующий вопрос. Почему вы вышли замуж за нелюбимого человека?

Адиля. Сказать правду? Хорошо... Я вам признаюсь... Потому что не было любимого и потому что я не смогла бы выйти за лучшего. Я была уже тридцатидвухлетняя старая дура. Люди, которых я любила, существовали только в моих мечтах, в жизни они мне не встретились.

Мужчина. Да. Вы вышли замуж за нелюбимого человека потому, что вам уже было все равно. К тому времени вы уже примирились с вашей неудавшейся жизнью. Стали равнодушны к своей судьбе...

В их беседу врывается звонок, раздается голос Единственного, призывающего Ибрагима. Адиля вздрагивает и видит себя сидящей за рабочим столом в почтовом отделении. Ее собеседника нет, он исчез. Ибрагим стоит у дверей и никого не пускает внутрь. Единственный встает и подходит к Адиле:

- Я объявляю вам благодарность, товарищ Адиля.

Адиля. Что вы говорите?

Единственный. Я объявляю вам благодарность.

Адиля. За что? За то, что вчера этот смешной старик профессор жаловался на меня?

Единственный. Нет. Вы прислушались к справедливой критике. Сделали надлежащие выводы из моих замечаний, ведь вы больше не изображаете цифру «13» на окошке.

Адиля. А-аа-а...

Единственный. Да! Я ценю, когда к моим замечаниям прислушиваются!

Адиля. С занесением в личное дело?

Единственный. Непременно!

4

Адиля в своей квартире лежит на диване, просматривая иллюстрированные журналы, и снова чудится ей старуха, которая сидит на старом стуле, вяжет носки и приговаривает: «Эти носки я вяжу моему третьему сыну. Первые два никудашные получились. Вот третий у меня - самый хороший, самый любимый. Он для меня как воздух. Он всех умнее, всех добрее, такой красивый, такой высокий, светлый, как небо...» Адиля отбрасывает журналы, встает, включает радио и сразу его выключает. Снова устраивается на диване. Входит Халил.

Халил. Купил наконец подарок для дочери Салима. Ну, и народу было за хрусталем! Дай я тебя поцелую!

Адиля. Ну, пожалуйста, не надо!

Халил. Хорошо-хорошо, мамочка, не сердись. Видишь, хрустальная ваза, мамочка, и всего за двадцать рублей. Посмотри, какая вещица! Я сейчас распакую...

Адиля. Не нужно, не разворачивай.

Халил. Почему же посмотришь, какая красота.

Адиля. Я же сказала, не разворачивай, не хочу.

Халил. Двадцать рублей, конечно, тоже деньги, особенно перед отпуском...

Адиля. Ради Салима, кончай, эти разговоры.

Халил. Что с тобой, Адиля?

Адиля. Ничего, что может быть?..

Халил. Ну, тогда собирайся, пора уже, неудобно опаздывать к Салиму.

Адиля. Прости, Халил, настроения нет, я устала. Не пойду, пожалуй. А ты иди, а то Салим на тебя обидится... Скажи там что-нибудь, почему я не пришла... А ты знаешь, галстук тебе идет...

Халил. Ты же его сама выбирала...

Адиля. А? Да-да. Надо было пару купить. Теперь модно один разрезать и в карман вместо платочка... Очень красиво.

Халил. Неудобно получится... Мы уже три года ходим с тобой на день рождения дочери Салима. Если теперь никто из нас не придет, будет нехорошо...

Адиля. Ну, конечно, нехорошо...

Халил. Ладно... Я зайду и от твоего имени поздравлю, скажу, что ты больная, и быстренько вернусь. Отдыхай. И все-таки хотя Салим мне друг, но все же перед курортом тратить двадцать рублей на подарок - не дело, откровенно говоря... Правда, Салим не такой человек, чтобы обращать особое внимание на подарки, но и с пустыми руками тоже ведь не пойдешь... Слышишь, звонок? Кто это к нам, интересно? Пойду открою.

Зулейха. Здравствуйте, Халил-муаллим.

Гюльзар. Добрый вечер.

Халил. Здравсьте, здравсьте. Проходите, пожалуйста, Адочка дома.

Гюльзар. Привет!

Зулейха. Ее высочество отдыхает.

Адиля. Здравствуйте.

Халил. Хорошо, что вы пришли. Когда я уйду, Адочка не будет скучать.

Зулейха. Куда вы уходите, Халил-муаллим?

Халил. На день рождения дочери моего друга Салима.

Гюльзар. Ада не пойдет?

Адиля. Останусь с вами.

Зулейха. Что это, в гости не хочется?

Халил. Сколько ни зову - не идет. Заварить вам хорошего чаю?

Гюльзар. Большое спасибо, мы сами, Халил-муаллим.

Халил. Ладно, мамочка, уже пора, я пошел. До свидания. Я скоро вернусь.

Гюльзар. Нет на свете человека лучше, чем Халил-муаллим!

Адиля. Сколько раз я говорила - не называй его «муаллим»

Гюльзар. А как называть?

Зулейха. Халилушка...

Адиля. Какие вы жестокие...

Зулейха. Ладно, ладно... Ты даже не спрашиваешь, какую отметку получила Гюля?

Адиля. Да, правда, сегодня же у тебя экзамен. Сколько?

Гюльзар. Двойку!

Зулейха. Сколько раз я ей говорила, что ничего не выйдет у нее с институтом, говорила: не трать зря время, кому это надо?

Гюльзар. Мне надо. Летом подам на очный.

Зулейха. Девочки, что вместе с тобой заявление подадут, матерью тебя будут звать!

Гюльзар. Знаешь, Ада, меня злит не то, что я срезалась, а что именно Саадат-ханум меня завалила. Тридцать лет мы соседи. А когда я ей отвечаю, так она будто первый раз меня видит, как залепит двойку А! Солмаз, другой соседке, поставила пять. Я говорю: «Саадат-ханум, почему вы мне двойку поставили, а Солмаз - пятерку, неужели Солмаз знает лучше меня?» А она: «Гюльзар, разве ты не знаешь, как я тебя люблю? С Солмаз я даже не здороваюсь при встрече, а тебя всегда обнимаю и целую». Я говорю:

«Саадат-ханум, лучше бы вы Солмаз обнимали и целовали при встрече, а мне бы поставили пятерку».

Адиля. А она что?

Гюльзар. Да ничего, улыбается.

Зулейха. Эх, если бы у тебя был такой отец, как у Солмаз.

Гюльзар. Чтоб они все поскорей в руки мурдешира попали!

Зулейха. Тихо, Ибрагим услышит.

Гюльзар. Ада, а как жена Ибрагима с ним спит?

Адиля. Откуда я знаю?

Зулейха. Эх, ну их всех к шайтану! Вставайте, пойдем в кино. Хорошая картина идет, Ада, называется «Чушь на постном масле». И погода отличная - моросит потихоньку.

Гюльзар. Одевайся, Ада, одевайся, пойдем. Совсем как прежде. Хоть посмеемся от всего сердца. Подумаем, что нам снова по семнадцать лет. Обо всем забудем.

Зулейха. Может, мне после этого перестанет сниться пальто джерси.

Гюльзар. Слушай, ради аллаха, забудь про пальто-джерси. Вставай, Ада, вставай, одевайся.

Адиля. Нет, я не пойду.

Зулейха. Ну, Ада...

Гюльзар. Мы ведь не на день рождения дочери Салима идем...

Адиля. Нет, не хочется, вы идите. Только не упрашивайте.

Зулейха. Ада, давай поговорим серьезно.

Адиля. Серьезный разговор тебе не идет. И мне не хочется говорить серьезно.

Гюльзар. Ну конечно! Зачем это нам?

Зулейха. Ради аллаха, брось ты паясничать!

Гюльзар. Вспомните, что сейчас где-то далеко, в пустыне Атакама, прекрасная девушка мечтает о глотке воды - и благодарите свою судьбу. Вспомните, что сейчас где-то в далеких краях, на острове Ньюфаундленд, прекрасная несчастная девушка готова на все ради куска хлеба - и благодарите судьбу. Вспомните, что...

Адиля. Не смешно.

Гюльзар. Конечно, кто будет смеяться над какими-то словами, когда можно над нами самими? Старые кокетки...

Зулейха. Ада, меня злит, что ты никогда ничем не бываешь довольна. Я уж тебе говорила, для меня самым высшим счастьем было вот так, как ты, устроить свою жизнь и сидеть в своей хибаре. А к тебе, когда ни придешь, ты вместо того, чтобы радоваться, дуешься на весь белый свет. А нам больше некуда ходить, кроме как сюда... Что с тобой, Ада?

Адиля. Я сказала, прекратите эти разговоры! Надоело!

Зулейха. Вставай, Гюля, пойдем отсюда! В кино или еще куда...

Гюльзар. Пойдем! Представим, что нам снова по семнадцать лет. Пофлиртуем с детишками, что первый пушок над губой холят! Обхохочешься, на них глядя!

Зулейха. Вряд ли ты будешь смеяться от души, подруга. Губы раздвинешь - и ладно...

Гюльзар. И вправду! Мы ведь не лошади, чтобы ржать! Привет, Ада. Передай Халилу-муаллиму каши сожаления по воду того, что чрезвычайной важности дела не позволили нам дождаться.

Адиля. Непременно.

Когда подруги уходят, Адиля поднимается с дивана, смотрит в окно, включает радио, снова выключает, потом подходит к дивану, садится. Скрипач в черном фраке со скрипкой в руке возникает в комнате, приближается к Адиле, останавливается и начинает играть совсем рядом с ней. И вдруг появляется Мужчина. Увидев его, Адиля вскакивает с места.

Адиля. Вы пришли? Я знала, что вы придете. Я ждала вас. Знала, что и домой ко мне придете. Заходите. Заходите, садитесь.

Мужчина. А вы приветливы как настоящая хозяйка дома.

Адиля. Правда? Ну, что же... Сварить кофе? Может, чаю хотите? Или откроем шампанское? Давайте отпразднуем еще раз Новый год! Да, встретим вдвоем Новый год, послушаем музыку, потанцуем, а? Хотите, вы будете Дедом Морозом? Вы не обиделись! Может быть, вы расстроены, что не приходит ваше письмо?

Мужчина. Нет, письмо придет рано или поздно. И тогда мы больше не увидимся. Потому что мы больше не будем нужны друг другу.

Адиля. Нет, нет. Не хочу. Я не хочу расставаться с вами. Если вас не будет... когда вы не придете, все будет кончено.

Мужчина. Ну что вы...

Адиля. А не отдам вам это письмо. Я спрячу его от вас. Я его порву.

Мужчина. Нет, вы не порвете это письмо и не спрячете его, потому что вы знаете, что я его жду.

Адиля. Правильно...

Мужчина. А теперь одевайтесь. Одевайтесь, пойдем гулять. Я приглашаю вас на прогулку.

Адиля. Правда? Сию минуту... Где мой плащ? Вот он. Пойдемте. Пойдемте. Представим себе, что мы и на самом деле гуляем. Дождь моросит. Такой мокрый весенний вечер... Мне кажется, я всю жизнь ждала такой дождливый весенний вечер. Когда обычно в такую погоду я смотрела из окна на улицу, то думала, что и мокрые тротуары, и эта пустынная каменная улица тоже ждут... Они ждут наших шагов... Будем гулять до утра, не так ли?

Мужчина. До утра?

Адиля. Конечно, ведь нас-то никто не ждет. Мы никому не нужны. И вам никто не нужен. Не будем вспоминать, что наша прогулка может кому-то показаться смешной, для кого-то бессмысленной...

Мужчина. А почему эта прогулка должна кому-то казаться смешной?

Адиля. Почему? Почему... Не знаю. Я чувствую это... Как вам сказать?... Вы помните, по телевизору показывали футбол, - с мирового чемпионата. Когда футболисты играли, у нас было уже утро, поэтому игру сняли на пленку, а вечером показывали по телевизору. Люди откладывали из-за футбола свадьбы. Город будто вымер - ни одного мужчины, словно война прошла. Все смотрели телевизор. Артисты не знали, что делать - театры пустовали. Все сидели у телевизора. Но не волновались, потому что знали, что мяч в ворота не влетит. Нам был известен счет. Мы знали, на какой минуте в чьи ворота влетит мяч, сколько их будет забито всего, кто будет их забивать. Об этом было в вечерней газете, ну и, конечно, по радио... А игроки во время съемки ничего еще не знали. Забив мяч в ворота, они обнимались, бухались на колени и молились, а мы знали, что они все равно проиграют. Мы знали, что их ждет. Знали, что отчаяние, слезы на глазах их противников - неуместны, потому что они выиграют. А они ничего не знали, они понятия не имели, что их ожидает... Я это запомнила навсегда. Я чувствую это постоянно, непрерывно. Мне все время кажется, что все наши радости, все печали - мнимые, бессмысленные. Десять лет мы проживем, или двадцать, или тридцать - не все ли равно? Но сейчас забудем обо всем... Забудем обо всем, будем гулять по мокрым улицам и радоваться.

Мужчина. Почему бы вам не взглянуть на эти десять, двадцать, сорок лет как на вечность?

Адиля. Вечность? По правде сказать, я никогда не понимала, что это такое... Если всерьез...

Мужчина. Есть одна легенда. Стоит алмазная гора высотой в тысячу верст, вершины ее не видно. Раз в тысячу лет на гору садится маленькая птишка и долбит ее

своим клювом. Потом снова улетает. Улетает с тем, чтобы вернуться через тысячу лет. Вернуться, чтобы снова потюкать своим крохотным клювом. Когда эта птичка продолбит алмазную гору до основания, пройдет лишь один миг вечности...

Адия. Один раз каждую тысячу лет... Двадцать лет тоже могут быть своего рода вечностью? А если эти двадцать лет живешь рядом с таким человеком, как Единственный, или с таким, как Ибрагим или Халил? А что желать несчастливцам, подобным Зулейхе и Гюльзар?.. А на что им эти годы? Зачем им вечность? Ни к чему... Так же, как и мне. Ведь вам они все о себе рассказали. И я тоже рассказала...

Мужчина. Вы могли бы позвать и других людей.

Адия. Других людей? Кого это? Может, надо было позвать Салима, начальника отдела, где работает Халил? Было бы то же самое. Каждый раз он смотрит на меня так, что кроме Халила все понимают смысл его взглядов. Или учительницу Саадат-ханум? Эту взяточницу... Или Салеха, которого жена обманывает. Вы что, открыли бы ему на это глаза? Надо их было вызвать?

Мужчина. Нет.

Адия. А кого же еще?

Мужчина. Вызвали бы своего соседа Фазиля. День и ночь работает, содержит такую семью, а дома шутки, смех не прекращаются. Мы бы спросили у него, в чем секрет. Или вызвали бы учительницу Месьму, которую вы помните еще по средней школе. Совсем состарилась уже, но школу не оставляет. Мы бы спросили у нее, в чем дело? Наконец, вызвали бы вашего отца.

Адия. Моего отца нет в живых. Он погиб на войне.

Мужчина. Я знаю. Мы бы спросили у него, почему, раз все так пусто и бессмысленно, вы, тридцатипятилетний мужчина, пошли на войну? Наверно, он ответил бы...

Адия. Может быть... Может быть, он и ответил бы... Но разве изменилась бы наша жизнь от одного этого ответа?

Мужчина. Нет, от одного этого ответа ваша жизнь не изменилась бы. Потому что вы сами этого не хотите. Вы их забыли - и отца, и учительницу Месьму... Они вам не нужны. Нет, вы меня не прерывайте. Сегодня я должен вам сказать все... Они вам не нужны, потому что вы - сама по себе. Взгляните из вашего окна на город, так надоевший вам. Подумайте, что вы смотрите на него впервые. Подумайте о людях, живущих под этими крышами. Почему вы решили, что их существование бессмысленно? Вы думаете, зачем эти люди строят дома, заводы и фабрики, закладывают буровые? Для чего они так стараются? Ведь вы этого не знаете?

Адия. И вы повторили эти холодные слова... Эти слова как лед холодные, очень холодные...

Мужчина. Потому что вы боитесь этих слов. В глубине своей души вы чувствуете, что эти слова правдивы, чувствуете, что повсюду жизнь продолжается и эта жизнь, со всеми ее радостями, со всеми печалью, интересна, богата, но проходит мимо вас. А вы не осмеливаетесь в нее включиться...

Адия. Вы стали вдруг таким резким!.. Я не хочу, чтобы вы были таким резким, таким беспощадным. Я не хочу с вами расставаться. Я хочу, чтобы мы с вами до утра бродили по этим улицам...

Мужчина. А утром? Ведь утро не будет таким, как этот дождливый весенний вечер. Утром вы снова встанете и пойдете на работу. С работы снова вернетесь домой. Ночью, когда уляжетесь спать, еще до того, как уснете, снова поднимет голову ваш внутренний голос. Вы снова уснете под упреки этого голоса. И снова утром встанете и пойдете на работу. Так пройдут годы. И малая птичка своим крохотным клювом сквырнет вашу алмазную гору...

Адия. Ничего. Я больше не боюсь этого. Я больше не боюсь этого, потому что есть вы. Мы каждый день будем встречаться. Снова отправимся в Джидырскую степь. Мы

с вами пойдем в Кедабек, разожжем костер чуть пониже селения Большой Гара-Мурад, где упал вместе с колхозным конем мой начальник, испечем в золе картошку и навсегда забудем о моем начальнике...

Мужчина. Ну что вы притворяетесь? Зачем вы лжете?

Адиля. Я... Не понимаю вас...

Мужчина. Разве вы о нем забудете? Вспомните, утром вам придется поздороваться с ним... Или я не прав?

Адиля. Какой вы безжалостный, жестокий!.. Не будьте таким! Прошу Вас... Вы мой единственный друг. Я могу обидеться на вас. И тогда уже все будет кончено. Ведь мы с вами еще много раз будем встречаться. Много-много раз, до глубокой старости... До тех пор, пока птичка не продолбит алмазную гору своим крохотным клювиком.

Мужчина. Нет, это невозможно...

Адиля. Невозможно! Почему? Неужели для вас есть невозможные вещи?

Мужчина. Я жду письмо. Когда придет это письмо мы больше не увидимся.

Адиля. Но ведь вам, наверно, и другие письма будут приходить?

Мужчина. Те письма я буду получать у других...

Адиля. Понимаю... У других, таких, как я, похожих на меня... Я понимаю, вас везде ждут... Это наша последняя встреча?

Мужчина. Возможно.

Адиля. У меня будто что-то оборвалось внутри... Никогда в жизни не было подобного ощущения... Не знаю, что это такое? Я будто лечу в самолете... А самолет то падает, то взлетает, падает, взлетает... Почему эти улицы так пусты, безлюдны?

Мужчина. Вы ведь этого хотели. Вы хотели забыть про всех, никого не хотели видеть.

Адиля. Нет, теперь безлюдье меня пугает... Думаете, я не понимаю, зачем вы приходили ко мне? Чтобы уйти навсегда. И тогда мне поневоле придется искать других людей - тех, что под крышами... А вы исчезнете...

Вдруг из коридора раздается голос Халила:

- Вот я и пришел, мамочка, ты не скучала, родная?... Ну и компания была!.. Жаль, что тебя не было, мамочка, я так расстроился. Салим сам поднял тост за тебя. Он так хорошо говорил, мамочка, у меня прямо сердце сжалось... Что это с тобой, мамочка? Отчего ты такая бледная?

Адиля. Что со мной? Ничего со мной. А что должно быть?

Халил. И в самом деле - что может быть... На улице такой дождь, ужас! Хватайся за дождевку, лезь на небо. Ты у меня все-таки умница, что не пошла, промокла бы насквозь!

Адиля смотрит на него, потом оглядывается, словно видит комнату впервые, вынимает из шкафа плащ, повязывает непромокаемую косынку, снимает домашние туфли и надевает сапожки.

Халил. Куда это ты, мамочка?

Адиля. Я иду гулять.

Халил. В такую погоду идешь гулять?

Адиля. Да. В такую погоду иду гулять

Халил. Тогда и я пойду с тобой.

Адиля. Нет, я буду гулять одна.

Халил. Но, мамочка...

Адиля. Я сказала, я хочу гулять одна...

А время идет. Тянется нить в руках старухи, которая не устает приговаривать: «Эти носки я вяжу моему младшему сыну. Все остальные не очень надежные оказались, и

старший мой сын, и второй, и третий... Младший - мой самый любимый. Он для меня - все не могу без него, он самый добрый, щедрый, как земля...»

Лишь в почтовом отделении все по-старому. Посетителей мало. Каждый занимается своим делом. Адиля сидит за своим окошком №13. Единственнов наблюдает за ней, потом встает и подходит.

Адиля. Я вас слушаю, товарищ Единственнов.

Единственнов. Опыт показывает, что можно сломить волю даже таких стойких людей, как я.

Он опускает палец в чернильницу и рисует перед тройкой на стекле единицу.

Адиля изумленно смотрит на товарища Единственнова.

Единственнов. Увы, товарищ Адиля. Вы удивлены, почему товарищ Единственнов так пессимистично настроен?.. А вы знаете, сколько лет я работаю в почтовой системе? Ровно сорок один год. Сорок один год! Я прошел славный путь от сельского почтальона до заведующего городским почтовым отделением!.. Ну и что? Я говорю, ну и что? А мое будущее?.. Только вы можете мне помочь, товарищ Адиля...

Адиля. Я? Пожалуйста, чуть яснее, товарищ Единственнов.

Единственнов. Совершенно верно. Говорить надо всегда ясно, открыто. В министерстве связи освободилось одно местечко, товарищ Адиля, место товарища Меликова. Товарищ Меликов вчера неожиданно скончался.

Адиля. То есть скончался официально?

Единственнов. Да. И в газетах писали. А я, вы и сами отлично это знаете, опытный и способный почтовый работник. Так вот, я говорю... Может, вы шепнете обо мне на ушко товарищу Иванову?

Адиля. Аа-а-а... Я подумаю, товарищ Единственнов.

Единственнов. Вы подумаете?

Адиля. Да.

Единственнов. Обо мне?

Адиля. И о вас тоже...

Единственнов. Большое спасибо, товарищ Адиля, большое спасибо! Обратите внимание, к вам посетитель.

К окошку Адили подходит старик профессор.

Подходит поближе Ибрагим и прислушивается.

Старик. Здравствуйте. Я - Алигулузаде. Есть для меня письмо?

Адиля. Сейчас посмотрю... Минуточку... Нет. Нет вам писем.

Старик. Нет? Не может быть. Категорически не может быть!

Адиля. Нет, в самом деле, нет. Ну, если хотите, я еще раз посмотрю... Так... А-ли-гу-лу-за-де... Нет!

Старик. У жены склероз! Целых шесть дней, как я приехал из Гянджи, а она все не пишет. Сказал ведь, пиши, чтобы я не беспокоился, так она до сих пор не написала! Я подам на развод!

Единственнов. Пожалуйста, не нервничайте, уважаемый товарищ Алигулузаде, не волнуйтесь. Придет письмо. Может, только сейчас пришло? Пойду посмотрю свежую корреспонденцию.

Старик. И я с вами.

Ибрагим. Еще раз здравствуйте, товарищ Адиля. Как дела?

Адиля. Неплохо, товарищ Ибрагим.

Ибрагим. О, товарищ Адиля, никто, кроме вас, не называет меня товарищем. Товарищ Единственнов всех называет товарищ, всех, кроме меня... Я так ценю ваше уважение. Товарищ Адиля... У меня к вам большая просьба. Я очень прошу вас помочь... Стесняюсь сказать... В общем, поговорите обо мне с товарищем Ивановым... Я оправдаю ваше доверие, товарищ Адиля!

Адиля. Знаешь, Ибрагим, мне почему-то кажется, что сейчас произойдет какое-то необыкновенное событие...

Ибрагим. Что произойдет?

Адиля. С утра у меня трепещет сердце в ожидании...

В почтовом отделении появляется Скрипач в черном фраке. Он идет прямо к Адиле. На этот раз его все видят, смотрят на него с изумлением. Он поднимает скрипку, собираясь играть, Адиля оглядывается, удивленно смотрит на Скрипача.

Ибрагим. Эй! Что такое?! Кто вы? Что это вы делаете? Товарищ Единственный! Товарищ Единственный!

Единственный. В чем дело? Что случилось? Что вы делаете здесь со скрипкой? Кто вы такой? Кто знает этого товарища?

Ибрагим. Артист, что ли?! А чего ему тут делать?

Единственный. Сюда посторонним вход воспрещен. На каком основании вы здесь появились?

Скрипач. Ну что же, если меня видят, значит, я больше не нужен. Я сделал свое дело и могу удалиться.

Единственный. Ну вот. Все в порядке. Продолжайте работу, товарищи! Возьмите, товарищ Адиля, это свежие письма. Может быть, есть и уважаемому товарищу Адигулузаде.

Адиля просматривает письма. Она не видит, как некий мужчина входит в дверь. Этот человек хотя и похож на знакомого Адиле Мужчину, но все же чем-то отличается: и одет по-другому, и двигается не так. Он садится за стол, вынимает авторучку и задумывается над бланком телеграммы.

Адиля. Вот так письмо! Первый раз такое вижу! На конверте ничего не написано! Не написано, кому предназначается! Абсолютно чистый конверт, видите? Я, кажется, догадываюсь...

Единственный. О чем догадываетесь, товарищ Адиля? И тут Адиля видит мужчину, сидящего за столом, и бросается к нему.

Адиля. Пришло ваше письмо! Мужчина. Мое письмо? Что за письмо?

Адиля. Да, ваше! Пожалуйста! Это ваше письмо, не видите разве, что на конверте ничего не написано!

Мужчина. При чем тут я? И откуда вы меня знаете?.. Странно... С какой стати мне должны писать безымянные письма? Разве у меня нет имени?

Адиля. Простите... Простите... Я, кажется, совсем потеряла голову... Я приняла вас за другого. Простите...

Мужчина. Что все это значит? Кто мне может это объяснить? Единственный. Товарищ Адиля, что с вами?

Адиля. Ничего...

Старик. Наверно, это мое письмо... Вскройте, взгляните, оно должно начинаться с «Алигулу-джан».

Единственный. Сейчас. Дайте, пожалуйста, письмо, товарищ Адиля.

Адиля. Пожалуйста.

Единственный. Да, тут написано: «Алигулу-джан, здравствуй».

Старик. Видите, мое! Я же говорил, у жены склероз, забыла на конверте имя написать! До свидания, спасибо вам, до свидания...

Единственный. Товарищ Адиля, как вы себя чувствуете? Вы не больны?

Адиля. Нет, не больна.

Единственный. Я понимаю... Переволновались немного из-за этого странного письма?.. Что это вы пишете?

Адиля. Я больше не волнуюсь. Все в порядке.

Единственный. Тогда не буду вам мешать. Так вы подумайте, помните, о чем я вам говорил?

Адиля. Нет, я ухожу.

Единственный. Уходите? Домой? Ну что ж, я вам разрешаю. Пойдите домой, хорошенько отдохните. Что это? Заявление? По собственному желанию? Почему? Что случилось?

Адиля. Я так решила.

Единственный. Куда вы уходите? Не будете больше работать?

Адиля. Буду, конечно. Буду работать, но только не с вами, товарищ Единственный.

Единственный. Ха! Может, пойдете на завод?

Адиля. Почему бы и нет? Не вы ли без конца твердите, что общественные интересы превыше личных?

Единственный. Я... Да! Но...

Адиля. Привет!

Ибрагим. Что?

Адиля. Прощайте!

Единственный. Клянусь жизнью, вот это фокус!

Ибрагим. Да психованные они все, товарищ Единственный.

Единственный. Нет. Хитрюга она! Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственный!

Единственный. Знаешь, почему она уходит?

Ибрагим. Понятия не имею...

Единственный. Потому что ей предложили жирное местечко, понял?! Может, даже сам товарищ Иванов! Кто такую душку упустит?

Ибрагим. Вах! Хороша штучка, клянусь здоровьем!.. Я и сам не прочь!..

Единственный. Ибрагим! Ибрагим. Да, товарищ Единственный! Единственный. Не забывайся!

Ибрагим. Есть, товарищ Единственный!

6

Адиля, поджидая Халила, сидит у себя дома на диване и курит сигарету. Рядом на полу стоит чемодан. Входит Халил.

- Что так рано, моя душечка? Дай я тебя поцелую!

Адиля. Нет. Не нужно, Халил.

Халил. Хорошо, мамочка... Ой, ты опять куришь?! Это же так вредно... Ради меня, пожалей свое здоровье.

Адиля. Слушай, Халил...

Халил. Ради Халила поменьше кури, мамочка... Наверно, рано пришла и заскучала, да? А я так спешил, хотел что-нибудь приготовить для тебя, придешь с работы, поешь... Что это за чемодан? А, уже готовишься к отпуску? Ах ты, моя умница! Ну, дай я тебя поцелую!.. Ну, просто не терпится твоему петушку!

Адиля. Слушай, Халил, я ухожу...

Халил. Это... Как понять?.. Куда уходишь, мамочка?

Адиля. Навсегда ухожу, Халил.

Халил. Как?.. Почему?

Адиля. Я больше не хочу изменять, Халил.

Халил. Если... если ты мне... изменила... я ...я прощу тебе это...

Адиля. Подумай, что ты говоришь! Ты же мужчина, в конце концов. Я себе не хочу изменять, понимаешь ты? Себе. Я больше так жить не могу и не хочу, Халил. Ведь я не люблю тебя, совсем не люблю, и ты об этом знаешь.

Халил. Но нам, мамочка, тебе... тебе...

Адиля. Я больше не хочу этого, Халил. Я не хочу больше. Мы должны разойтись. Чтобы хоть чуточку уважать себя, мы должны разойтись. И ты не расстраивайся, Халил.

Халил. Как это не расстраивайся?.. Как не расстраиваться... А ты... А зачем ты выходила за меня? Зачем?

Адиля. Прости, Халил. Такую, как я, ты всегда найдешь.

Халил. Найду, конечно, а через три года она меня оставит.

Адиля. Дело не в тебе, Халил. Дело не только в тебе...

Халил. Что я тебе плохого сделал, а?.. Всегда заботился о тебе, всегда о тебе думал, делал все, что ты говоришь... Мы ведь даже не ссорились по-настоящему, почему же ты теперь так поступаешь? Пожалей меня, не спеши. Какие хочешь условия создам тебе, Адочка, какие хочешь условия! Все куплю тебе, все сделаю. Смотри!.. Вот видишь сберкнижку? Ты об этом даже не знаешь, я тебе не говорил до сих пор, скрывал от всех!.. Тут у меня ровно три тысячи, Адочка, ровно три тысячи рублей. Всю жизнь собирал по копейке, все на тебя потрачу, все! Возьми, хочешь, прямо сейчас возьми, положи в свой чемодан!

Адиля. Отпусти мою руку, Халил, отпусти. Ты унижаешь себя еще больше.

Халил. Нет! Не пущу, не хочу, чтобы ты ушла! Не пущу! А я? Мне что делать? Может... может, у тебя есть другой? Я на все согласен, Адочка, на все согласен! Хочешь... хочешь... два дня в неделю не приходи домой...

Адиля. Пусти меня! Пусти!..

Адиля отталкивает Халила, хватает чемодан и уходит. Халил, прислонившись головой к спинке дивана, сидит, закрыв глаза... Время словно остановилось.

Старуха. Ну и ну!.. Нитки кончились, не смогла довязать носок. Может, и хватит?.. Только это и делаю весь год... Лучше уж пойти сыновей навестить. Пойду всех четверых проведаю. Матерью зовусь, а раз в год их вижу. Двенадцать внуков у меня. Пойду-ка навещу всех разом. Прямо сейчас встану и пойду!..

Халил открывает глаза, лихорадочно что-то пишет. Обшаривает карманы брюк, пиджака, обыскивает диван. Шарит по столу. Наконец видит сберегательную книжку на полу, поднимает ее и кладет в нагрудный карман пиджака...

7

По улице неторопливо, с достоинством, с папкой под мышкой движется Единственный. Его догоняют Зулейха и Гюльзар.

Зулейха. Товарищ Единственный! Товарищ Единственный!

Единственный. Вы ко мне, товарищи?

Зулейха. Да! Я к вам, товарищ Единственный!

Гюльзар. Здравствуйте, товарищ Единственный.

Единственный. Здравствуйте.

Зулейха. У меня к вам просьба, товарищ Единственный.

Единственный. Я никогда не оставался равнодушным к просьбам моих сограждан. Слушаю вас.

Зулейха. Возьмите меня работать на место Адили.

Гюльзар. Говорят, в вашем почтовом отделении происходят таинственные явления. Просто чудеса.

Зулейха. Может, и мне повезет, увижу кое-что и я.

Единственный. В наше время разве можно верить в чудеса? Ай-яй-яй... С вами надо бы разъяснительную работу провести... Жаль, времени нет... А где сейчас товарищ Адиля?

Гюльзар. Она живет у матери.

Единственный. И где работает?

Зулейха. Где-то работает. Мы пока не знаем. Ну как, товарищ Единственный? Берете меня на место Адили?

Единственный. А вы... вы тоже знакомы с товарищем Ивановым?

Зулейха. С Ивановым?..

Гюльзар. Говори, что знакома!

Зулейха. Ах вы о товарище Иванове. Ну, конечно, а как же? Адиля успела меня с ним познакомить...

Единственный. Правда?

Зулейха. Зачем мне врать?

Единственный. Ну, тогда завтра выходите на работу! Для меня не может быть лучшей характеристики... А пока - всего вам доброго, товарищи!

Зулейха. Пойми, Гюля. Может, мне повезет, а потом и твоя очередь настанет.

8

Почта. Каждый занят своим делом, и все по-прежнему. Только на месте Адили сидит Зулейха. Лениво перебирает письма, появляется Скрипач в черном фраке и сразу направляется к Зулейхе. Его, как и прежде, никто не замечает. Он поднимает скрипку и начинает играть. Мужчина в белой сорочке, черном костюме и черном галстуке подходит к Зулейхе.

Мужчина. Здравствуйте...

Зулейха. Здравствуйте.

Единственный. Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственный!

Единственный. Время перерыва!

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный! Перерыв, товарищи, нельзя... Перерыв...

Мужчина. Есть письмо для меня?

Зулейха. Для вас? Сейчас посмотрю... Нет, вам нет письма...

В дверях почтового отделения появляется профессор Алигулузаде. Ибрагим не пускает его.

- Нельзя, обеденный перерыв.

Профессор. Нельзя? То есть как нельзя! Я профессор Али-гулузаде! Через некоторое время начнется моя роль! Как это нельзя?

Единственный. Ибрагим!

Ибрагим. Есть, товарищ Единственный!

Единственный. Впусти уважаемого товарища Алигулузаде.

Ибрагим. - Есть, товарищ Единственный!

Единственный. Через некоторое время начинается роль уважаемого профессора Алигулузаде. Его спутают с Гамб-аргулу-заде, дадут ему его письмо. Уважаемый товарищ Алигулузаде снова придет ко мне жаловаться. Впусти его.

Ибрагим. Входите, пожалуйста, уважаемый товарищ Алигулузаде.

Старик входит и садится на стул в ожидании своей роли.

Мужчина между тем говорит Зулейхе в окошко:

- Смотрите внимательнее, прошу вас.

Зулейха снова начинает перебирать конверты. А Скрипач в черном фраке играет все громче...

СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН

История одной встречи

- Надо, чтобы повезло!.. Бывает, парень и девчонка и живут-то в разных районах, и встретятся бог весть где, а вдруг оказывается, будто они как нарочно друг для друга рождены...

(Из высказываний Баладжаханум, жены мясника Ага-наджафа, когда она, лузгая семечки, беседовала с молоденькими девчатами у ворот.)

- А мае только одно и нужно, чтобы Мамедага был счастлив!

(Эти слова Али сказал Самедулле в тот вечер, когда была свадьба Ядуллы и Фатьмы и кларнет Алекпера забивался так, что ноги сами пускались в пляс.)

- У меня не получилось, пусть же хоть Месмеханум будет счастлива.

(Так подумала Гюльдесте, глядя на белевший в ночи снег из окна поезда, мчавшегося в Воронеж.)

ГЛАВА

I

Эта глава знакомит читателя с Мамедагой и его алюминиевым фургоном, который в лунном свете сверкает как серебряный, с милиционером Сафаром, с Мирзоппой - а это сосед Мамедаги по кварталу в детские годы, и, наконец, с Месмеханум. - читатель услышит, что сказали и чего не сказали друг другу Мамедага и Месмеханум.

Это был странный вечер. Нет, на Апшероне таких вечеров сколько угодно было и еще будет, но когда из-за алюминиевого Фургона вдруг вышло ярко-красное кучевое облако, Мамедага подумал, что вечер сегодня какой-то удивительный, хотя и сам не донял, чему тут удивляться. И тогда он удивился своей мысли прищурил глаза и некоторое время смотрел снизу вверх на ярко-красное облако, потом, задумчиво проведя ладонью по голове, взглянул на море, но все равно ничего не понял - ни в себе, ни в этом облаке.

А удивительный летний вечер только еще начинался, еще должно было пройти какое-то время, прежде чем окончательно закатится солнце, ярко-красным раскрасившее облако за алюминиевым фургоном, взойдет луна, зажгутся звезды, заквакают лягушки и заверещат во всю мочь цикады, погаснут огни во всем селе - только не в пансионате и санатории, расположившихся выше, среди загульбинских скал, пролетит и исчезнет сигнал электрички, идущей в Баку и обратно, - словом, кончится этот удивительный вечер, и начнется на морском берегу Загульбы обычная летняя ночь.

А пока что луна, уже успевшая появиться, выкрасила море, ставшее теперь синекрасным, и оно сверкало, переливалось от самого горизонта до берега. Но Мамедага повидал таких летних вечеров на Апшероне немало, и в самом одновременном явлении луны и солнца на небе для него не было ровно ничего непривычного или странного.

В тот день с утра дул ветер; каждый час он менял направление, то с севера швыряя белую пену волн на скалы, то превращаясь в южный - моряну. К вечеру ветер внезапно стих, и тогда снова набросились комары. Ни с чем нельзя было сравнить море Загульбы, ее песок, ее скалы, зато и комары се были беспощадны. Но сегодня даже массированный налет комаров не мог расстроить Мамедагу, - удивительным был этот вечер!

Мамедага снова, прищурившись, посмотрел на красное облако: оно понемногу таяло, и то, что оно таяло, отзывалось каким-то странным сожалением в его сердце. Он не мог понять в себе этого сожаления, так же как не мог понять и удивительности сегодняшнего вечера; он просто решил, что удивительному не надо искать объяснения; успокоившись, он довольно потянулся и, почесав голову, поднялся по маленькой деревянной, лестнице в фургон.

Как только ранним утром на дороге появлялся фургон Мамедага с выведенными на нем разноцветными словами «Пневматический тир», у чайчи Газанфара сразу портилось настроение, а все потому, что большинство его клиентов — молодежь села и подростки — в этот день уже не отходили от фургона: стреляли из ружья, разрушали пирамиды, построенные из банок, набрасывали на крючья резиновые кольца.

Приезжая в Загульбу летом, Мамедага останавливал фургон не в самом селе, а на песчаном берегу моря. Мамедага считал, что там, где нет простора, не может быть и отдыха. Где не видно горизонта, где тебя не обожжет солнце и не омоют дожди, где ты не можешь остаться один на один с морем, скалами, деревьями - там нет настоящего отдыха. Один на один - это не значит, что только ты и море, нет, но чтобы между тобой и морем не было асфальта, не было железной дороги, чтобы ты был далеко от дыма, мазута и шума.

Если бы Мамедага захотел, он мог бы устроиться в любом тире в центре Баку. В управлении его все знали и уважали: ведь каждую неделю он, как у них говорится, «привозил план» и не имел не только что выговора - даже замечания; он мог ходить с высоко поднятой головой. Однако Мамедага не хотел работать в столичном тире, ибо был он влюблен в свой фургон, в свою бродячую жизнь. Раз в неделю он отправлялся в Баку, сдавал выручку, выходной проводил дома, а потом снова в путь. Не было села на Апшероне, где бы он не побывал. В каждом селе он останавливался на день, самое большее на два; он не любил задерживаться дольше, потому что хотел, чтобы появление его фургона воспринималось как праздник.

На этой неделе он из Баку выехал в Хурдалан, оттуда - в Дуках, в Мамедли, потом в Фатмаи, из Фатмаи приехал сюда, в Загульбу, в ее удивительный вечер, а завтра рано утром он должен возвращаться в Баку.

После восьми или половины девятого вечера в тир уже никто из села не приходил, потому что в это время показывали фильмы, и Мамедага тоже, закрыв тир, шел в кино, но чаще по вечерам он занимался своим фургоном: мыл, чистил, осматривал мотор, а потом ходил купаться в море.

Он любил смотреть с моря на стоявший на берегу фургон. Каждый раз, глядя на чистую алюминиевую поверхность фургона и выведенные на нем большими разноцветными буквами призывы, он испытывал желание похвастаться своим тиром перед всем светом. Но море смывало хвастовство, оставляя одну только чистую радость; так оно промывает раковину, доводя ее до зеркального блеска, и в этой радости Мамедага купался как в море. Конечно, он понимал, что иметь в наше время такой фургон и разукрашивать его - не слишком большое дело, но почему-то каждый раз, глядя на фургон и перечитывая призывы на нем, он поддавался чувству безмерного восторга. На боках фургона были выведены два одинаковых призыва:

«Учитесь искусству метко стрелять!» и

«Юноши и девушки! Овладевайте техническими видами спорта!»

А перед входом в фургон под надписью «Пневматический тир» было выведено тоже разноцветными буквами:

«Можно ли одним выстрелом убить двух зайцев? - Можно!»

Это Мамедага придумал и написал сам, но это не было лишь красивой фразой для завлечения клиентов. Мамедага вообще никогда и никого не обманывал. Он сделал забавный механизм: на груди у деревянного зайца была красная точка, и, когда пуля попадала в эту точку, заяц падал направо, а прикрепленный сзади него второй заяц - налево.

Но случилось так, что, плавая в море этой удивительной летней ночью, Мамедага вовсе не испытал того постоянного чувства радости, которое обычно вызывал в нем фургон.

Позже, осматривая одну за другой бумажные мишени, деревянных зайцев, лису, медведя, льва и еще какого-то неведомого зверя, а также и сложенную из банок пирамиду, Мамедага вообще почувствовал, как тоска подступила к горлу; за время работы в тире это происходило с ним впервые, и сразу же фургон показался ему тесным и скучным; он никак не мог понять, отчего это произошло и почему эта тоска нахлынула так внезапно. Зарядив одну из винтовок, он поднял приклад и, прищулив глаз, выстрелил: как всегда, он попал в десятку; потом с удивившим его самого безразличием (да что же это такое с ним?..) перемахнул через стойку, взял щипцы и вытянул из резины железную пулю со щеточкой, затем, снова перешагнув через стойку, подошел к дверям фургона.

Он смотрел на огни села, и вдруг одна очень простая мысль потрясла его: если сейчас здесь с ним что-нибудь случится, то никто об этом не узнает, пройдет время - и этот фургон пригонит сюда кто-нибудь другой, и люди снова придут сюда поразвлечься, но никто из них и не вспомнит, что был на свете такой парень по имени Мамедага, который очень любил и этот фургон, и этот песок, и это море. Мамедага посмотрел на свет, идущий от села, и ему показалось, что хотя целый день с утра до вечера он с людьми, на самом же деле он совершенно одинок, с этими своими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем. Мамедага никогда не задумывался над такими вещами и не знал, что придет время - подобные мысли появятся...

Послышались чьи-то шаги, и по глухому кашлю человека Мамедага понял, что идет милиционер Сафар. Войдя в фургон, Сафар сказал:

- Добрый вечер, гага¹, - и, вытащив платок, вытер свое худое, с выступающими скулами, потное лицо.

- Добрый вечер, Сафар, - ответил Мамедага, еще не пришедший в себя от своих недавних мыслей. Снова перемахнув через стойку, он сел на деревянную скамейку, покрытую маленькой подушечкой, верх которой был искусно сшит из лоскутков Сакиной-хала², - эта подушечка была для Мамедаги самой дорогой вещицей во всем фургоне.

- Да какой же я Сафар³, а? Зовут-то меня Сафар, а я только раз в жизни совершил путешествие, спустился вон с тех гор сюда, и все! - Сафар поднял руку над головой, как бы показывая те самые горы, которые можно увидеть, выйдя из фургона.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как милиционер Сафар расстался с горами Лачина. Но тоска по родным местам «и во сне, ни наяву не покидала его; каждый год собирался он поехать туда, но каждый раз что-нибудь да мешало. Конечно, если бы его жене Зибейде захотелось, то он бы сейчас гулял не здесь, а там!

... В квартале, где жил Мамедага, тоже были такие «путешественники». Это были люди, приехавшие в Баку из районов; одни из них получали от государства освободившиеся квартиры, другие покупали себе дома. Приезжие ни с кем не сближались и, как правило, чувствовали себя чужими в квартале, а квартал не забывал тех, кто жил в этих домах прежде. Старые жители получали квартиры в новых домах, они переезжали,

¹ Гага - браток (разг.)

² Хала - тетя, обычное обращение к женщине старше тридцати лет

³ Сафар - путешественник

но какое-то время поддерживали связь с кварталом, и, хотя постепенно все связи прерывались, все-таки квартал держал их в своей памяти. Это было похоже на историю со старыми и новыми деньгами: в обиход уже вошли новые, но если нужно было подсчитать особенно тщательно, люди невольно переходили на старые.

Приезжих называли по местности, из которой они прибыли: карабахские, гянджинские, шемахинские; любопытно, что приезжие между собой тоже не очень-то сближались, словно между ними проходили невидимые границы их районов.

Агабаджи поселилась в квартале с незапамятных времен, а после того как Абдул бросил ее с детьми, она работала кассиршей в Желтой бане. Теперь Агабаджи возмущалась:

- Видели вы этих карабахских? Везери¹ они не едят... Говорят, эта трава не для людей... Тоже мне умники нашлись!

Жена ювелира Алашрафа Зибя вторила ей:

- Конечно, нашла о чем говорить, цену золота знает только ювелир! Правду говорят: откуда ишаку знать, что такое плов с шафраном?

- Э-э, ей-богу, ну не понимаю я этих бакинских!.. Каждый день с утра до вечера варят кюфта-бозбаш. Утром, только прос-иешься, уже слышишь: тук-тук, - это они на доске рубят мясо, ночью ложишься спать - и опять тук-тук, опять мясо рубят!

Это уже рассуждает Аллахверди, который продал дом в Барде, переселялся со всей семьей в Баку и теперь учится на курсах водителей трамвая.

А окончивший еще до революции Харьковский университет преподаватель русского языка Алхаебек, глядя поверх очков со стеклами плюс восемь, говорил:

- Сынок, что это за слова такие: «карабахские», «бакинские»? Что за «чушки» и «хамшари»? Как не стыдно? Зачем вы друг другу ярлыки приклеиваете, зачем проявляете друг к другу такое неуважение?

Конечно, милиционер Сафар не знал, о чем сейчас вспомнил Мамедага, но, вытерев пот с лица и обмахиваясь уже мокрым платком, он сказал, обращаясь к Мамедаге:

- Гага, у одного человека спросили: «Откуда ты?» Он ответил: «Я еще не женат». Это верно, но проклятые горы никак не выходят из головы! Не выходят из головы, и все тут! Попасть бы туда сейчас, гага, клянусь тобой!.. Надо только надеть шерстяной джемпер, а пиджак застегнуть, не то зуб на зуб не попадет от холода, да еще крепкого чая выпить цвета петушиного гребешка, чтобы сразу и тело согрелось, и душа насладились. Когда разговор дошел до чая, милиционер Сафар совсем расстроился:

- Здешний чай - разве чай?.. Сколько ни сыпь заварки, каким способом его не заваривай, все равно того вкуса не получится... А знаешь отчего это, гага? От воды! Вода, которая из-под скал, - это совсем другое дело, гага!

Милиционер Сафар снял фуражку и вытер свою давно полысевшую голову. Солнце до черноты опалило его лицо, но часть головы, постоянно закрытая фуражкой, осталась белой; она была похожа на белую касу, которую перевернули вверх дном и надели ему на голову.

- Клянусь тобой, гага, этого чая я бы выпил сейчас стаканов двадцать, и не скажу, что напился... Хорошо бы самовар поставить и чтобы на нем чайник мурлыкал!..

Милиционер Сафар, очевидно, страдал оттого, что не может сию же минуту выпить чая цвета петушиного гребешка, настоящего на горной воде. Мамедагу же чай в данный момент интересовал меньше всего на свете; он все еще находился во власти своих тоскливых мыслей и не мог понять, что с ним происходит, откуда эти мысли: быть может, он уже начинает чувствовать бремя своих лет? Неужели возраст дает о себе знать?.. Он перевел взгляд с белой головы милиционера Сафара на деревянного зайца, лису, медведя

¹ Везери - съедобная пряная трава.

и неведомого зверя и почувствовал, как в нем просыпается прежнее желание, мечта, которую он носил в своем сердце уже два года, с которой колесил по дорогам Апшерона.

Два года назад в Баку на бульваре открылась выставка американских аттракционов, и с того самого дня, как Мамедага побывал на выставке, одна мечта не оставляла его: захотелось ему ездить по селам не с одним своим алюминиевым фургонком, но и возить с собой такой вот аттракцион, нечто вроде передвижного цирка. Для детей и подростков Апшерона это было бы праздником; каждую неделю в очередное село приезжал бы этот праздник, так думал Мамедага. и вдруг именно теперь ему показалось, что, если бы у него был такой аттракцион, он не только не затосковал бы, у него не было бы времени и в затылке почесать!

Милиционер Сафар наконец надел на голову фуражку.

- Вот так-то, гага, - сказал он, - зовут меня Сафар, а путешествовал я лишь раз в жизни...

И тут же он вспомнил, что сегодня утром, когда он во дворе зубным порошком доводил до блеска свои форменные пуговицы, его жена Зибейда на что-то разозлилась и сказала, что он не Сафар, а сафех¹. Почему Зибейда разозлилась, этого милиционер Сафар вспомнить не мог и улыбнулся: он привык к выходкам Зибейды и уже давно на нее не сердился. Потом Сафар вспомнил, что Зибейда вышла из себя, кажется, из-за Начальника. И тут милиционер Сафар явно расстроился; шлепнув севшего ему на плечо комара и почистив рубашку, он сказал:

- Правильно говорят: где твоя цель, туда и путь твой. Посмотрел на Мамедагу и улыбнулся. - Ты еще молод, чтобы понимать такие вещи.

Конечно, Мамедага не знал, о чем подумал милиционер Сафар, но зато он хорошо знал, что этот худой долговязый человек никогда больше не увидит своих гор и никогда не выпьет чая цвета петушиного гребешка, заваренного в горной воде. Неизвестно, почему Мамедага так решил, должно быть, весь вид милиционера Сафара говорил сам за себя.

Мамедага не знал и того, что у милиционера Сафара два начальника: один, естественно, в отделении, а другой - дома. Дело в том, что у милиционера Сафара было шесть дочерей и один сын; сын был последним ребенком в семье, и, когда он родился, Сафар и Зибейда впервые в жизни договорились, назвали ребенка Начальником. Дети, конечно, смеялись над именем их сына, и тот приходил домой в слезах: зачем только его так называли! Зибейда обвиняла теперь во всем милиционера Сафара, хотя когда-то и сама была довольна. Вот отчего и поселилась грусть в сердце милиционера Сафара: он понял, что Зибейда хотела назвать своего мальчика этим именем, потому-что знала - муж ее никогда не будет начальником.

Милиционер Сафар не переживал и теперь, что дал ребенку такое имя, во-первых, потому, что не имя красит человека, а человек красит имя; во-вторых, ведь это не какое-нибудь ругательное слово! Чтобы оправдать свое имя, Начальник должен был бы постараться хорошо учиться, но все было наоборот - вот это действительно расстраивало милиционера Сафара, и кстати, было причиной его прихода в этот вечерний час к фургону.

Милиционер Сафар снова снял фуражку, вытер мокрым ком белую голову, потом длинными черными пальцами вытащил из старого портсигара папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

- На свет летят, э, гага, эта сукины дети комары, на свет летят. Я сейчас ухожу, а ты погаси свет.

¹ Игра слов: сафар - путешественник, сафех - непутевый.

Мамедага посмотрел на электрическую лампу, висевшую в салоне фургона. Двухсотваттная лампа, которую Мамедага протирал чуть ли не ежедневно, так ярко освещала фургон, что казалось, будто свет не вмещается в небольшое помещение тира. Мамедага вдруг ощутил всю тесноту своего фургона, сердце у него сжалось, и он принял категорическое решение завтра же поднять вопрос в управлении об аттракционе. Если понадобится, он пойдет к Наджафу и вообще начнет действовать!

Раньше Наджаф жил в одном квартале с Мамедагой, он был старше его всего на четыре года, но работал теперь заместителем министра. Кто бы из квартала ни приходил к Наджафу с просьбой, он делал все, что было в его силах. Воспоминание о Наджафе немного рассеяло Мамедагу, он заметил пустую кобуру милиционера Сафара, - милиционер Сафар каждый день перед выходом из дома на работу заворачивал в газету свой завтрак, хлеб с сыром, и клал в кобуру. Мамедага пододвинул ему по стойке ружье и предложил:

- Если хочешь - стреляй.

Милиционер Сафар шлепнул комара, севшего теперь уже на шею, обтерся мокрым платком, сказал:

- Нет, гага, большое спасибо. Я не люблю, бить и стрелять. Мое правило - решать все вопросы мирно, спокойно... Знаешь, гага, зачем я к тебе пришел? - Милиционер Сафар наконец решился перейти к самой сути: - Не пускай ты сюда моего сына! Как придет - гони его!

- Он что, тайком брал у тебя деньги на тир?

- Да нет, скажешь тоже... Разве станет мой сын воровать? Неужели ты его не знаешь?

- Нет.

- Вот потому и говоришь так... Дело в другом, гага. Позавчера я спрашиваю его: ты уже взрослый парень, перешел в восьмой класс, должен знать, кем хочешь стать. А он отвечает: я знаю. Так кем же ты будешь? Он и говорит: у меня будет фургон, и я буду по селам возить тир...

Мамедага посмотрел на горестное лицо Сафара, на его промокшую от пота рубашку со сверкающими металлическими пуговицами, встал, перемахнул через стойку и, подойдя к двери фургона, взглянул на огни села. Ему показалось странным, что рано утром он уже уедет отсюда и не скоро еще приедет снова, а какой-то совершенно другой человек завтра же, купаясь в море, будет представлять в своем воображении сверкающий под солнцем алюминиевый фургон и в мечтах будет считать его своим, будет гордиться им... Огни села вдруг показались ему близкими, они согревали душу, и он подумал, что в каждом селе Апшерона, когда гаснут огни, кто-то еще не спит и у кого-то перед глазами стоит серебристый фургон, тот самый, который принадлежит ему, Мамедаге. Он поднял голову и посмотрел на небо. Красное облако растаяло, нигде уже не было видно его отсвета, ни в море, ни на горизонте.

Взошла луна, зажглись звезды, слабый норд выплескивал на берег волны, их гребешки отливали в лунном свете молочной белизной, той молочной белизной, которая словно бы воплощала в себе всю чистоту этой удивительной летней ночи. Мамедага совсем уже не мог теперь понять, отчего это минут десять назад ему было так тоскливо? Если есть на свете вот такая молочная белизна, то о чем можно тосковать и о чем может болеть сердце?!

Милиционер Сафар никогда никого не обижал - что может быть хуже этого? Но теперь, глядя со спины на темные волосы нарня, на его широкие плечи, мускулистые руки, он подумал, что сказал что-то не совсем то, чем-то задел этого парня. Но ведь и парень, со своей стороны, должен его понять! Милиционер Сафар аккуратно сложил свой мокрый платок, положил его в карман, достал из старого портсигара своими длинными черными пальцами еще одну папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

- Знаешь, гага, ты зря обижаешься. Что я сказал? Ничего плохого... Я просто хочу, чтобы мой единственный сын хорошо учился, вырос, стал большим человеком.

Разные люди говорят разное, слов наговорено и выслушано за жизнь множество, но слов, которые в детстве сказал ему молла Сулейман, Мамедага не забывал никогда. Странно! Бывает, бросят тебе слово, которое прозвучит как пощечина, но через месяц забудется - и не вспомнишь. А порой скажут тебе такое, на что и внимания не обратишь, но потом всю жизнь это с тобой.

Молла Сулейман жил в одном квартале с Мамедагой и рассказывать о нем - это все равно что рассказывать о старой Желтой башне, старой мечети, в которой нынче разместилась небольшая шерсточесальная фабрика; об Узком тупике, по которому с трудом и боком могут протиснуться два человека. На глазах моллы Сулеймана были очки с толстыми стеклами, на голове - кофейного цвета, местами полысевшая бухарская папаха, в руке - старая палка, отделанная серебром. Сначала слышался стук трости моллы Сулеймана, а потом он, выйдя из какого-нибудь двора, шагал по тротуару.

В квартале не любили моллу Сулеймана. Молла Сулейман был: незванный гость, человек, который суется не в свое дело. В то время Желтая мечеть не была еще шерсточесальной фабрикой, и в один из дней, во время махаррама¹, Мамедага в первый и последний раз в жизни влез с ребятами на желтый забор и заглянул во двор мечети.

Молла Сулейман, стоя посередине маленького дворика, повторял слова мерсие²:

Как не плакать камню кровью сегодня,
Отрезаны семьдесят две головы сегодня.
О если бы в этот день, в этот миг
Я был в Кербеле!

Увидев выпученные глаза моллы Сулеймана за чистыми стеклами очков, Мамедага подумал о том, что если бы молла Сулейман в самом деле попал в Кербеле в тот день, когда там рубили головы, то первым, кто сбежал бы, оставив людей в беде, был бы молла Сулейман.. Вечером дома Мамедага рассказал обо всем, и Сакина хала сначала накричала на него, чтобы не смел больше ходить к мечети, но, не сдержавшись, улыбнулась:

- А ты хорошо сказал...

В квартале, где жил Мамедага, дома были, как правило, одно- и двухэтажные, и у всех крыши были залиты киром. Взобравшись на крышу, Мамедага с ребятами поджидал моллу Сулеймана. Они продергивали нитку сквозь дырочку в бумажном рубле и, как только раздавался стук палки, спускали деньги с крыши на тротуар. Дойдя до лежащей на тротуаре рублевки, молла Сулейман останавливался, внимательно смотрел на нее сквозь очки, потом, нагнувшись, хотел поднять ее. Как только молла Сулейман наклонился, ребята тянули за нитку, и старик несколько метров полз чуть не на четвереньках за бумажкой. Потом мальчишки с криком дергали нитку вверх, и рублевка, минуя большой рябой нос моллы Сулеймана, поднималась на крышу. Посылая проклятия, призывая всяческие бедствия на их головы, молла Сулейман, постукивая палкой, продолжал свой путь по тротуару.

- Погодите, собачьи дети! Я заставлю вас наизусть читать эллезине!³

Однако самое удивительное заключалось в том, что через три-четыре дня молла Сулейман почему-то снова, не удержавшись, наклонился, чтобы поднять привязанную к нитке рублевку.

Однажды Мамедага, сидя под тутовым деревом перед Узким тупиком, строгал палочки (для игры в шимагадер). Вдруг кто-то схватил его за шиворот и поднял. Мамедага никогда бы не подумал, что в руках у моллы Сулеймана такая сила. И глаза моллы он никогда не

¹ Ма х а р р а м - первый месяц магометанского календаря.

² Мерсие - мусульманская духовная элегия

³ Эллезине - труднопроизносимые арабские слова в Коране

видел так близко. Глубоко запавшие, эти сердитые глаза увеличивались толстыми стеклами.

Притянув лицо Мамедаги вплотную к своим глазам и брызгая слюной, молла Сулейман сказал:

- Единственное, что я хотел бы знать, это кем ты будешь, когда вырастешь?! Амбал ты будешь, амбал! Амбал Дадаш¹ будут тебя называть!

В это время откуда-то появился сосед Мамедаги по тупику Китабулла и забрал его из рук моллы Сулеймана:

- Отпусти ребенка, ай киши!² Отпусти, говорю!

Молла Сулейман, оглядев сердитыми глазами высокую фигуру Китабуллы, его широкие плечи, сильные руки, сказал:

- А ты кто, Гочу Наджафгулу?³

- Нет, я не Гочу Наджафгулу. но ребенка отпусти!

- Так... Значит, ты чесальщик Мансур!⁴ - Эти слова молла Сулейман произнес, прямо-таки корчась от злости, но отпустил Мамедагу.

Ровно неделю потом чувствовал Мамедага на своей шее сухие пальцы моллы Сулеймана.

С тех пор прошло много лет, и сказанные в то время слова забыл, наверное, и сам молла Сулейман.

Приезжая в Баку, Мамедага ставил фургон у своего дома колесами на тротуар, и тут же со всего квартала сбегались к нему ребята. И никто из них не подозревал, что в свое время и Мамедага так же вот прыгал перед машинами, останавливающимися в квартале, хотя машины эти, полторки и виллисы, по сравнению с его алюминиевым фургоном были все равно что старый барабан рядом с новой нагарой. Первым делом Мамедага шел в Желтую баню, где начинал с терщика Джабара. Расстеревшись как следует, он двигался в парную, там парился в свое удовольствие, а выйдя из бани, выпивал кружку холодного пива в будке Асадуллы. Дома надевал чистую рубашку, новый костюм, повязывал галстук и шел на улицу к тутовому дереву, что растет в начале тупика. Там к нему подходили товарищи, соседи по кварталу, здоровались, спрашивали как дела, рассказывали Мамедаге все новости: кто обручен, какую девушку согласились выдать замуж, кто поменял работу, кто поругался с соседями, кто с кем помирился и кто на кого обиделся. Но о главных новостях он узнавал еще дома. Когда его приглашали на свадьбу, то пригласительный билет вручали Сакине-хала. Мамедага всегда старался так распределить свое рабочее время, чтобы суметь прийти на свадьбу, иначе тут же начинались пересуды, чего Мамедага крайне не любил. Когда же все-таки прийти не было совсем никакой возможности, он заранее приносил свой подарок и поздравления.

Оставаясь в Баку каждое воскресенье, он то ходил на поминки и выражал соболезнование, то приносил извинения. В квартале все, любили Мамедагу, а молодые его уважали. Мнение квартала было единодушным: «Мамедага - настоящий мужчина!»

Иногда и молла Сулейман, постукивая палкой, проходил мимо сверкающего под солнцем, крытого алюминием фургона; остановившись под окнами Мамедаги, выходящими на улицу, он поднимал свою палку, стучал по стеклу, вызывая мать Мамедаги, и, уставившись женщине прямо в глаза своими страшными, увеличенными стеклами очков глазами, говорил:

- Сакина-баджи¹, машаллах! Машаллах! У тебя хороший сын! Да не сочтет аллах его липшим для тебя. Пусть будет счастлив!

¹ Амбал Дадаш - до революции известный бакинский носильщик,

² Ай киши - обращение к мужчине

³ Гочу Н а д ж а ф г у л у - до революции известный бакинский атаман.

⁴ Чесальщик Мансур - символ великодушия, доблести в классической восточной литературе.

И Сакина-хала с тайной тревогой бормотала: - Большое спасибо, ай молла! Долгой тебе жизни!

Боялась Сакина-хала, что молла Сулейман сглазит Мамедагу. Утром она варила в медном казане бозбаш и прямо в нем отправляла молле Сулейману - это было нечто вроде взятки.

Было у моллы Сулеймана два сына, и оба сидели в тюрьме. Один во время войны попал в плен и перешел на сторону фашистов, а другой изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку-армянку.

Сакина-хала была довольна своим сыном. В прошлом году Мамедага по-шахски выдал замуж свою сестру. Теперь у Солмаз был хороший дом, семья, да к в мужья хороший человек попался. И все-таки Мамедага вызывал постоянное беспокойство у Сакины-хала. Во-первых, Сакина-хала волновалась за сына, когда он бывал в отъезде, а во-вторых, время шло, а Мамедага никак не женился. Сакина-хала прочила ему лучших девушек квартала, но Мамедага не только думать, но и разговаривать об этом не хотел. Сакина-хала знала, что, если сын скажет «да», она приведет ему в жены самую достойную девушку квартала из самой почитаемой семьи. Даже их сосед, управдом Керим, несколько раз намекал, что зря, дескать, Мамедага ходит холостым. А у управдома Керима дочка - украшение всего квартала; днем она работает в библиотеке, вечером учится в институте.

В эту удивительную летнюю ночь Мамедага вдруг вспомнил свой квартал, дом, тутовое дерево перед Узким тупиком, и почему-то ему показалось, что его отделяют от дома не два часа езды, а долгие дни дороги; ему показалось, что квартал его и снежные горы милиционера Сафара очень-очень далеки от песчаного морского берега Загульбы. И, обращаясь к Сафару, который давно уже раскаивался в сказанном и, прислонившись к стойке, стоял, смущенно обмахиваясь фуражкой, Мамедага просил:

- Так ты говоришь, хорошо сейчас в горах?

Лицо Сафара просияло: так просто и легко было исчерпано это тягостное недоразумение между ними. Он с радостью воскликнул:

- Клянусь тобой, гага, там сейчас такая красотища! Ну просто слов нет!..

Помолчав немного, он сказал совсем иным, будничным и служебным голосом:

- Кажется, к тебе клиенты идут.

И привычным движением надел фуражку на голову. Всматриваясь через дверь в людей, подходивших к фургону, милиционер Сафар явно помрачнел;

- Паршивец такой, опять, кажется, напился...

И тотчас в фургон поднялись двое - толстый и худой, распространяя вокруг себя резкий запах спиртного.

Увидев перед собой толстого парня, Мамедага сразу же узнал его. А Мирзоппа, косо взглянув в сторону милиционера Сафара, равнодушно посмотрел на Мамедагу, на деревянного зайца, лису, медведя, льва, неведомого зверя и вдруг рассмеялся:

- Шикарно живете!

Он вытащил из кармана мятую пятерку и шлепнул ею по стойке:

- Пятьдесят пуль! Стреляем до утра!

Приятель толстого, худой парень, проголосовал обеими руками за это предложение:

- Постреляем!

Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа его не узнал, но ие это было важно сейчас, а то, что Мирзояна пьян; поскольку речь шла о ружьях с пулями, хотя это пули для тира, со щеточкой, то будь на месте Мирзоппы родной брат Мамедаги, он и ему не позволил бы стрелять в пьяном виде.

Прищуриив набухшие веки, Мирзояна посмотрел на деревянного зайца и громко рассмеялся:

¹ Баджи - сестрица.

- Да здесь и вправду шикарно! И чего мы до сих пор сюда не заходили?

Мирзоппа взглянул на худого, и худой снова поднял обе руки вверх и снова ответил кратко:

- Постреляем!

- Дай-ка нам, брат, ружье, но чтоб оно стреляло без обмана - сказал Мамедаге Мирзоппа.

И, конечно, в другое время сказавший такие слова Мамедаге вылетел бы из тира, как пуля со щеточкой вылетает из ружья. Но Мамедага умел держать себя в руках, когда надо пропустить мимо ушей обидное слово. И сейчас, глядя прямо в жирные глазки Мирзоппы, он спокойно ответил:

- Постреляете в другой раз. Я уже закрыл тир.

- Что это он сказал? - Мирзоппа взглянул на худого, мол, что за глупости мы выслушиваем! - Давай живее ружья и пули!

Худой был в состоянии только еще раз поднять руки и крикнуть:

- Постреляем!

- Не постреляете! - сказал милиционер Сафар.

- А ты заткнись! - бросил Мирзоппа милиционеру Сафару и провел рукой по горлу.

- Я тобой сыт во как! Куда ни пойду, всюду прешься за мной. Отвяжись!

Милиционер Сафар фуражкой отмахивался от запаха водки, заполнившего фургон.

- Эх, Мирзоппа, не желаешь ты быть человеком! - сказал он. - На ногах ведь не стоишь, где уж тебе стрелять.

Мирзоппа достал из кармана еще одну мятую пятирублевку и шваркнул ее о стойку:

- Деньги плачу! Сто пуль давай!

Худой снова промтинговал руками и выкрикнул свой лозунг:

- Постреляем!

- Не постреляете, - повторил милиционер Сафар.

Мирзоппа почесал свою жирную волосатую грудь, выпиравшую из расстегнутой рубашки, и хмуро пробурчал:

- Разве я не сказал тебе - отвяжись? Чего тебе надо, а?

Денег не хватает - могу дать!

Удивительное свойство Мирзоппы - сказать самое обидное для человека. От злости милиционер Сафар даже охрип:

- Я за всю свою жизнь не съел и крошки хлеба, добытого нечестным путем! За всю жизнь я ни разу даже краешком глаза не заглядывал в чужой карман. Я всегда был честным, жил по правде и буду так жить всегда.

Мирзоппа с ненавистью смерил милиционера Сафара с ног до головы:

- То-то ты так и живешь!

Милиционер Сафар, надев фуражку, подошел к Мирзоппе вплотную:

- Как я живу, ну? Как живу?!

Мирзоппа, не отвечая ему, обернулся к Мамедаге:

- Быстро! Каждому ружье и сто пуль!

Мамедага никогда не предполагал, что однажды, да еще в такую удивительную летнюю ночь, он снова встретится с Мирзоппой. Сейчас ему казалось, что он совершенно забыл о Мирзоппе и, если бы не увидел его теперь, может быть, никогда бы и не вспомнил. Мамедага молча глядел на толстого парня.

- Ну, в чем дело, а? - Прищутив один глаз, Мирзоппа внимательно осмотрел Мамедагу и узнал его. - Ты не Мамедага?

- Мамедага...

Отец Мирзоппы Алиаббас-киши был кирпичик, и всю их семью называли кирпичиками. Большой котел для варки кира стоял на улице перед домом, где жил Мирзоппа, и до наступления осени котел медленно передвигался от дома к дому вдоль

квартала: Алиаббас-киши заливал крыши всех домов киром если почему-либо большого котла нигде не было видно, то всем казалось, будто в квартале чего-то не хватало, что-то было явно не так.

Мирзоппа вечно был окружен ребяташками младше его на несколько лет, и они, конечно, ему повиновались. Никто, впрочем, не знал точно, сколько Мирзоппе лет, и ребят дома иногда стращали:

- Видишь, Мирзоппа курит папиросы, потому и не растет. Кто курит, тот обязательно будет таким же толстым, как Мирзоппа, и не будет расти. Таким он останется до самой смерти!

Никто из ребят не хотел быть похожим на Мирзоппу: многие его боялись, но не было таких, которым бы он нравился. Он первым среди ребят закурил и первым заговорил о женщинах.

Семья Мирзоппы жила в нижней части квартала, рядом с маленьким летним кинотеатром. Как-то летом в этом кинотеатре три месяца подряд ежедневно крутили фильм о Тарзане. Проснувшись утром, ребята тут же бежали в очередь за билетами. Перед кинотеатром появилась толпа спекулянтов. И в то лето некоторые, особо энергичные из них, спекулируя билетами, набрали денег на «Победу». А у ребят не всегда хватало на билет, и они лезли на крышу дома Мирзоппы, чтобы смотреть кино оттуда, и за это Мирзоппа собирал с них по двадцать копеек с каждого.

Мирзоппа разговаривал высокомерно, готов был на любую пакость, заставлял ребят прислуживать себе, а сам прислуживал взрослым. Мамедагу он не любил, потому что хотел, да не мог послать его ни за папиросами, ни за дровами для разжигания огня под котлом. Пару раз в укромном месте Мирзоппа дрался с ним; ни тот, ни другой по-настоящему не победили, только Мирзоппа все равно ходил как победитель и вел себя как победитель.

Но однажды все переменялось.

В тот день Мирзоппа, сидя на тротуаре перед своим домом, ел селедку с черным хлебом и тихонько напевал про себя:

И «Победе» я не рад:
У Тарзана горе,
Джейн обрезала канат,
Я с ней в ссоре.

Жена мясника Аганаджафа - Еаладжаханум иногда под настроение пела среди девушек квартала эту известную песенку иначе:

Мне «Победа» ни к чему,
На «Москвич» не сяду.
Только «ЗИМ»у самому
Буду рада!

Она пела и, как обычно, подмигивая собравшимся вокруг нее молоденьким девушкам, громко хохотала.

Мать учившегося на трамвайных курсах Аллахверди - Айна, глядя на Баладжаханум из окна своей квартиры, говорила сама с собой: «Посмотрите, как она хохочет! Словно лиса соблазняет ворону...»

Мамедага, купив в керосиновой лавке керосину, нес его домой и, проходя мимо Мирзоппы, не удержавшись, остановился...

В те годы в доме Мамедаги часто бывала шекербура, пахлава, шекерчурек. Сакина-хала работала на кондитерской фабрике, где раз в два-три дня им выделяли сладкий паек,

зато других продуктов в доме почти не было, а селедкой вообще никогда и не пахло - Сакина-хала не любила запаха селедки.

Конечно, Мирзоппа сразу смекнул, что у Мамедаги слюнки потекут при виде селедки, - Мирзоппа потому и был Мирзоппой, что знал, чем и в какой момент раздражить человека.

- Мировая селедка! - Мирзоппа, причмокивая, сосал рыбий хвост. - Хочешь?

Мамедага понимал, что Мирзоппа так просто никогда не угощает, но не удержался и сказал:

- Да, хочу.

- Деньги с собой есть?

Когда Мамедага покупал керосин, ему дали сдачу, и эта мелочь лежала сейчас в нагрудном кармане трикотажной рубашки Мамедаги, но в то время каждая копейка в их доме была на счету, и он не решился отдать эту мелочь Мирзоппе.

- Ну, есть деньги?

- Нет.

- Тогда держи! - Мирзоппа просунул вымазанный жирной селедкой палец между двумя другими пальцами и показал Мамедаге кукиш, продолжая причмокивать и сосать хвост. Однако тотчас он придумал иное:- Принеси из дому шекербуру, поменяемся только чтобы хорошую, а сверху миндаль. И побольше!

Конфеты, шоколад, шекербура, пахлава, шекерчурек считались в квартале самым большим лакомством, но, ясное дело, в те годы эти сладости были редкостью. У кого бывала возможность, пекли к новруз-байраму шекербуру и пахлаву. Понятно, что домашние шекербура и пахлава получались вкуснее фабричных, но в те времена никто не обращал внимания, дома они готовились или на фабрике.

Мамедага вынес из дому шекербуру, а Мирзоппа, который ждал его перед Узким тупиком, взяв шекербуру в руки, оглядел ее со всех сторон, как ювелир Алашраф разглядывает золото, и Мамедага подумал, что Мирзоппа сейчас что-нибудь выдумает, но шекербура все-таки соблазнила Мирзоппу, и он ограничился тем, что сделал вид, будто это с его стороны большое одолжение:

- Ну ладно, для тебя разве... Держи!

Мамедага взял селедку и кусок черного хлеба и тут же все съел, а Мирзоппа между тем ушел домой.

Прошло два дня, и на третий вечером Мирзоппа сам пришел в Узкий тупик и показал Мамедаге зажатый в руке кусок черного хлеба с селедкой:

- Шекербуру принесешь?

- Нет, не хочу.

- Не хочешь? Селедки не хочешь? - Глаза у Мирзоппы чуть не вылезли на его жирный лоб. - Ах, так, значит!

В тот же вечер Мирзоппа собрал вокруг себя под тутовым деревом ребят со всего квартала и начал:

- Ей-богу, не вру, здорово я тут поразвлекся - надул этого маменького сынка. Он мне приносил шикарную шекербуру, притом сверху миндаль, а я совал ему старую селедку с черным хлебом, хлеб я приносил из хлева в Ясамаллах¹, где его бросают баранам Гаджибалы. А шекербуру я поел в свое удовольствие!

Мирзоппа выразительно рассказывал, ребята охотно смеялись, а Мамедага в жизни еще так не краснел: ясное дело, Мирзоппа приносил хлеб вовсе не из сарая в Ясамаллах, и селедка была свежая, он все выдумывал, но рассказывал эту ложь и удовольствием, и Мамедагу выставил растяпой.

Прошло несколько дней.

¹ Ясамалы - отдаленный район Баку

Однажды, когда Мамедага. возвращался из школы, Мирзоппа вновь стоял перед Узким тупиком, и Мамедаге показалось, что Мирзоппа давно здесь стоит, чтобы не пропустить его. На мясистом лице Мирзоппы было то самое выражение, с каким он стоял перед теми, кто старше и сильнее его, если бывал виноват. Едва завидя Мамедагу, он, вроде бы смущаясь, сказал;

- А, кореш, из школы идешь? - И тут же перешел на свой обычный тон свысока: - Ну, ладно, подумаешь, что случилось, а? Ну, пошутил я, ты что, совсем наивный, шуток не понимаешь? Брось... - Мирзоппа слегка запнулся и добавил, снова вроде бы немного смущаясь: - Послушай... Мировая селедка есть, клянусь жизнью, высший класс! Хочешь?

- На держи! - На этот раз Мамедага соорудил ему кукиш. Из пальцев, вымазанных чернилами, и ткнул им Мирзоппе прямо в лицо.

Мирзоппа страшно расвирепел.

- Ей-богу, жалко, отец мой дома, а то бы я тебе врезал! - сказал он и ушел.

Мирзоппа ушел, но Мамедага почему-то не ощутил сладости этой мести, что-то было в сегодняшнем разговоре Мирзоппы, в его позе, даже в том, как он уходил, такое, что мешало Мамедаге спокойно торжествовать.

Был полдень, и Сакина-хала, придя с работы на перерыв, чистенько вымела двор мокрым веником. Во дворе, как всегда после этого, стало прохладнее. Мамедага, сидя на большом камне у дверей, наматывал на катушку только что изготовленного воздушного змея нитки десятого номера. И тут из переулка раздался поглубевший, уже совсем как у мужчины, голос Мирзоппы:

- Мамедага!

Мамедага кинул катушку за ворот бумазеевой рубашки я вышел к воротам.

- Ну чего? - спросил он и снова увидел на лице Мирзоппы то же выражение - просительное, которое появлялось у Мирзоппы, если ему приходилось держать ответ перед теми, кто старше и сильнее.

- Выйди на минуту.

- Зачем?

- Дело есть к тебе...

Мирзоппа отвел его в укромное место в тупике за мусорными ящиками и. перед тем как перейти к делу, вежливо осведомился:

- Как твои дела?

- А тебе что? Тебе чего надо?

И Мирзоппе стало ясно, что наладить отношения с Мамедагой ему будет трудно. Скривившись, он озадаченно почесал голову и посмотрел своими выпуклыми глазами на воробьев, сидевших на высоко протянутых электрических проводах. Мамедага понял, что Мирзоппа не знает, с чего и начать. Наконец Мирзоппа решительно сказал:

- Слушай, Мамедага, клянусь жизнью, отец привез шикарную кильку, на банке написано «экстра», а купил он ее в продмаге перед музеем Низами.

Мамедага подумал, что Мирзоппа завтра же соберет ребят и заставит его краснеть, выдумав очередную небылицу, но вдруг ему почему-то стало жаль Мирзоппу. Перед ним был какой-то другой Мирзоппа, хотя он снова попытался взять тон благодетеля:

- О тебе же хлопочу, шикарная килька! Принеси только шекербуру, можно и без миндаля. Принесешь?

Не отвечая ни слова, Мамедага ушел домой. Взяв одну шекербуру, он вернулся к Мирзоппе, а тот, отрезав ломоть черного хлеба и положив кильки, тоже вышел из своих ворот. Взяв шекербуру, он снова, как ювелир Алашраф, оглядел ее со всех сторон и только после этой процедуры протянул Мамедаге хлеб с кильками.

- Бери, клянусь, ни с кем другим бы не поменялся. Мировая вещь! Кореш ты мой, что поделаешь...

И тут Мирзоппа рассмеялся, и жалкое выражение с его толстого лица слетело, вмиг Мирзоппа стал прежним Мирзоппой. Он круто повернулся и вошел в свой двор, закрыв за

собой ворота. И в этот момент Мамедаге показалось странным, что Мирзоппа опять не стал есть шекербуру тут же, на месте.

Мамедага бросил кильки смотревшей на пего серой кошке, мяукавшей у электрического столба, хлеб сунул в решетку уличного окна Мирзоппы и, взобравшись по столбу, попал на крышу одноэтажного здания. Спрятавшись за кирпичную трубу, он глянул в сторону двора Мирзоппы.

Около крана во дворе на перевернутом ведре сидел Дуду, и Мамедага удивился про себя, как это ведро выдерживает тяжесть такой туши. А перед Дуду стоял Мирзоппа и подносил шекербуру прямо ко рту юродивого брата. Дуду, откусив кусочек, пережевывал и проглатывал его так медленно и величественно, как огромная грузовая машина идет на первой скорости по асфальту, и пусть другие машины одна за другой обгоняют ее, она не обращает на них внимания и движется словно черепаха.

Никто из ребят в квартале не знал настоящего имени Дуду; все называли Дуду просто Дуду. Дуду был чрезмерно толст, но и голова у него тоже была большая. Ему всегда надевали очень широкие сатиновые шаровары, чтобы он не растер до крови ляшки, к тому же на его фигуру брюк просто не было. У Дуду всегда тряслась голова, изо рта всегда текла слюна. Дуду не умел разговаривать, и когда он хотел сказать слово, то издавал какие-то странные звуки. Дуду никогда не подходил к ребятам, а, изредка появляясь на улице, останавливался у дворовых ворот и смеялся сам с собой, издавая те самые звуки. Дуду было тринадцать лет, он был всего на полгода младше Мамедаги, но в школе он не учился.

Отец Дуду приходился Мирзоппе дядей; он погиб на войне, а мать его за дурные дела (говорили, что среди ночи приходили мужчины из других кварталов целоваться с ней под тутовым деревом) отец Мирзоппы, Алиаббас-киши, выгнал из дому. Дуду остался в их семье.

Вкладывая шекербуру прямо в рот Дуду, Мирзоппа говорил брату:

- Ешь, ешь! Завтра опять принесу. И сверху миндаль будет. И конфеты куплю. Завтра кино мировое, ребята придут на крышу, будут кино смотреть, а я с них деньги соберу и конфеты тебе куплю.

Дуду, устремив свои ничего не выражающие глаза в неведомую точку, медленно прожевывая кусочек шекербур, внезапно поднял голову и, посмотрев на крышу, увидел там Мамедагу, пытавшегося спрятаться за трубой. Дуду начал издавать свои разнообразные звуки, из-за чего кусочки шекербур из его рта полетели прямо в лицо Мирзоппы.

Мамедага хотел убежать не потому, что боялся Мирзоппу, а потому, что понял: он не должен был увидеть то, что увидел; понял, что раскрылась тайна сердца Мирзоппы и вот так, подглядывая, раскрывать эту тайну нехорошо.

- Эй, негодяй, сын негодяя, ты чего влез на нашу крышу?!- Мирзоппа прямо-таки лопался от злости, но его ругань обозлила и Мамедагу, потому что для Мамедаги самое непростительное - ругать отца: отец его тоже не вернулся с войны, и Мамедага даже лица его не помнил. Али ушел на фронт в первый год войны и в первый же год недалеко от Москвы пал жертвой фашистской пули.

Мирзоппа кинулся к стене так, будто вот сейчас подпрыгнет и будет на крыше:

- Спускайся вниз, негодяй, сын негодяя!

- Сам ты сын негодяя, - Мамедага ответил Мирзоппе тем же ругательством, но лицо у него пылало так, словно выскакивающие изо рта Дуду кусочки шекербур попали ему в глаза, а не Мирзоппе.

Мамедага соскользнул по столбу вниз и, не дожидаясь, пока Мирзоппа выскочит со двора на улицу, добежал до Узкого тупика и исчез: Мамедага не боялся, но будто устыдился чего-то.

Весь этот день он уже не выходил из дому, а вечером из Узкого тупика раздался густой, как у мужчины, голос Мирзоппы:

- Мамедага!

(Часто матери и старшие сестры, перехватив взгляд Мирзоппы, не пускали ребят играть с ним, говорили: «Он взрослый мужчина, только не растет. Из глаз его льется бесстыдство. Он вам не пара. Играйте со своими сверстниками»).

Мамедага выглянул из ворот:

- Чего тебе?

- Выйди на минуту, дело есть.

Конечно, Мамедага по понятной причине не хотел говоритьс Мирзоппой, но рано или поздно они должны были встретиться, и он вышел в тупик. Мирзоппа отвел его в укромное местечко у мусорных ящиков, помолчал, уставившись своими выпуклыми глазами в электрический столб, потом достал из-за пазухи пачку «Беломорканала» и закурил папиросу с тем горьким выражением на лице, какое бывает у взрослых курильщиков.

- Послушай, - сказал он, - Мамедага, клянусь, жизнью, мало ли что бывает между братьями, ну и что? С этого дня я против тебя ничего не имею, клянусь братом, но и ты не говори ребятам, что Мирзоппа кормит шекербурой Дуду, ладно?

Мамедага даже и не думал делать этого, то есть то, что он увидел и услышал, взобравшись днем на крышу, произвело та него такое 'впечатление, что Мамедага разозлился на себя самого, и очень разозлился, к тому же Мамедаге стало понятно, что и у Мирзоппы есть сердце и это сердце не всегда закрыто, иногда оно раскрывается, становясь широким и чистым, но сейчас Мирзоппа испугался, что о чистоте и широте его сердца узнают другие ребята квартала, - и Мирзоппа снова стал обычным Мирзоппой, а тут уже Мамедага здорово на него разозлился, в его сердце внезапно забушевала жажда мести, ему хотелось хоть немного помучить Мирзоппу, расплатиться с ним за все его подлости и оскорбления! Мирзоппа спросил еще раз:

- Ну?

- Скажу!

Мирзоппа искоса взглянул на него, потом, выкурив папиросу до конца, швырнул окурок в мусорный ящик и, скрипнув никогда не чищенными зубами, сказал:

- Слушай, я тебя прошу, клянусь, никого никогда не просил! У каждого есть свое достоинство...

Мамедага знал, что Мирзоппа нахально врет, что он всегда канючит, когда ему приходится туго; умоляя старших, он тысячи раз говорил «я плохо поступил», и, зная это, Мамедага снова не захотел уступить Мирзоппе и ответил ему зло, ехидно:

- А на собранные с нас деньги Дуду конфеты покупаешь?

Мирзоппа помахал рукой перед глазами Мамедаги:

- Эй, человек должен быть мужчиной, а не мартышкой.

Мы тебя человеком считали, в дом приходили!.. Что за человек ты, а?

Самое плохое в Мирзоппе было то, что он боялся, как бы другие не узнали о его доброте; обманывать, приставать к людям, отрезать подметки у прохожих - вот что было в его глазах выражением силы, и он всерьез боялся, что ребята из квартала, узнав о его нежностях с юродивым братом, перестанут его уважать и отвернутся от него. Он некоторое время мрачно смотрел на Мамедагу, как бы раздумывая, что делать и как выйти из положения, в которое попал, треснуть ли сейчас пару раз. Мамедагу и получить сдачи или снова приняться за уговоры? Наконец, решившись, он поморщился, почесал зачем-то шею и сказал:

- Если никому не скажешь, я окажу тебе небывалое уважение, клянусь!

- Какое?

- Небывалое! Отведу тебя в шикарное место...

Естественно, что ни одно слово Мирзоппы не вызывало у Мамедаги доверия, и Мирзоппа, зная это, не стал тянуть резину и приблизив губы к его уху, прошептал:

- Смотреть на шикарных женщин!..

Мамедага считал, что Мирзоппа способен на что угодно и может совершить любое самое подлое дело, которое другому и в голову не придет, но на этот раз он ему не поверил. Когда толстые жирные губы Мирзоппы коснулись его уха, он содрогнулся. А Мирзоппа, оглянувшись по сторонам, снова приблизил свои губы к его уху:

- На купающихся в бане женщин. Совсем голых, клянусь!

У Мамедаги как будто сердце оборвалось и упало под ноги, и он, сам не узнавая себя, спросил:

- А не обманешь?

- Э, парень, я что - шучу с тобой? Идем.

В верхней части квартала, где жил Мамедага, стояла старая баня, которая называлась Желтая баня; ее потому так называли, что стены ее почему-то всегда красили в желтый цвет. Фасад бани был обращен к улице, задняя сторона почти вплотную примыкала к глухой стене другого двухэтажного здания, а между ними на этом небольшом свободном пространстве гуш-баз¹ Агамехти соорудил свою голубятню. По ночам здесь царила непроглядная тьма.

Мирзоппа привел Мамедагу к голубятне и, показав рукой на ее крышу, сказал:

- Если смотреть оттуда, все видно шикарно!

На задней стороне Желтой бани, наверху, было маленькое оконце, и до этого светящегося оконца можно было дотянуться с крыши голубятни Агамехти. Мирзоппа, как пес, идущий по следу, разыскал это место.

Мамедага был словно во сне и сам не знал, как он пришел сюда, он понимал, что его приход сюда с Мирзоппой - плохой поступок, понимал также и то, что тот, кто, вынюхивая, как собака, нашел это маленькое окошко, - самый низкий человек на свете, а присоединиться к подлецу - тоже подлость. Он хотел убежать отсюда, душный и влажный воздух в этой щели меж двух домов едва не лишил его сознания, но что-то, словно магнит, удерживало его здесь, и к тому же было уже поздно: если бы он сейчас сбежал отсюда, то оказался бы размазанней перед Мирзоппой; сердце у него защемило - хоть бы скорее закончилось все это!

- Мужчины купаются... - Мирзоппа, наострив уши, прислушивался к доносящимся из этого маленького окошка стукам тазов, журчанию воды и по этим звукам различал, кто купается, - Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа провел у голубятни немало вечеров.

Голуби, почуяв людей, начали ворковать, и от их воркования сердце Мамедаги забилося еще сильнее. Мирзоппа взял его за руку тоже вспотевшей рукой.

- Не бойся, - сказал он.

Мамедага выдернул свою руку из его; ему показалось, что рука Мирзоппы вымазана слюной, текущей изо рта Дуду; он всмотрелся в едва различаемое в темноте мясистое лицо настороженного, прислушивающегося Мирзоппы, - это был настоящий Мирзоппа, это уже был не тот Мирзоппа, который тайком скармливал Дуду шекербуру и обещал Дуду конфеты. Разумом Мамедага понимал - нужно бежать отсюда, чтобы покончить с этим позором, сверх того следовало бы отколотить Мирзоппу, но вот ноги его не слушались и сердце тревожно колотилось в ожидании чего-то.

Мирзоппа снова сжал ему запястье своей потной рукой - мол, слушай. Из маленького окошка бани больше не доносилось ни звука, видимо, люди кончили купаться и вышли из номера. Некоторое время стояла тишина, и в этой тишине только голуби ворковали в голубятне гушбаза Агамехти; потом из окошка снова слышались звуки, и Мирзоппа прошептал:

- Это Шарабану, она чистит номер.

¹ Гушбаз - любитель птиц (преимущественно голубей и ловчих).

Шарабану была уборщицей в Желтой бане. В Желтой бане кроме общего мужского и общего женского отделений было еще три отдельных номера, и маленькое окошко находилось в одном из этих номеров.

Снова наступила тишина, и снова через некоторое время послышались стук тазов, кашель, журчание воды, и Мирзоппа на этот раз прошептал уже совсем тихо:

- Поднимайся.

Мамедага по деревянной лестнице взобрался наверх и на голубятне, приподнявшись на носках, приткнулся к маленькому окошку. Вдруг все его тело задрожало, перед глазами появилась пелена, и за этой пеленой совершенно голая женщина намыливала голову и тело совершенно голый девушке; девушке было лет семнадцать-восемнадцать, и Мамедага с пересохшим горлом, дрожа от волнения всем телом, не мог глаз оторвать от этой девушки, смотрел и смотрел на ее ноги, груди, заросшие волосами подмышки; ему казалось, что сейчас земля под его ногами исчезнет и он провалится куда-то полетит и провалится. Женщина вылила на голову девушки полный таз воды, и, когда вода смыла мыльную пену с волос девушки, ее лица и тела, Мамедага вздрогнул от того, что эта худая, невзрачная девушка, которую он по сто раз на день видит у них на улице, так необыкновенна, так загадочна и волшебна!

Мирзоппа снизу подергал Мамедагу за брюки: мол, слезай, дай и я немного посмотрю; Мамедага вспомнил, что Мирзоппа стоит внизу, и в ужасе поднял другую ногу и оттолкнул его руку. Мамедагу охватил ужас, и в этом ужасе он видел, что на этот раз женщина намыливается сама и девушка, нагибаясь, ей помогает, намыливает матери спину, поясницу, и каждый раз, когда девушка наклонялась и выпрямлялась, у Мамедаги дрожало все тело, и в тот момент он и сам не знал, что это означает.

Мирзоппа больше не мог оставаться внизу; от нетерпения он поднялся по лестнице, уместился кое-как на крыше и, отеснив Мамедагу в сторону, наклонился. Мамедага, затаив дыхание, ждал, что сейчас произойдет. Вдруг из груди Мирзоппы вырвался стон, и он ударил свою большую голову о старую стену бани. Мамедага, опомнившись, спрыгнул прямо с крыши голубятни и упал на землю, на сырую из-за соседства с баней землю. Голуби в голубятне заворковали еще громче, и, когда Мамедага открыл глаза, он увидел, что Мирзоппа тоже спрыгнул; некоторое время они так и глядели в темноте друг на друга: Мирзоппа - стоя на ногах, Мамедага - лежа на земле, потом Мирзоппа начал плакать, рыдая так, как никогда не видел и не мог себе представить Мамедага.

Купавшаяся в бане женщина была мать Мирзоппы, а купавшаяся в бане девушка была сестра Мирзоппы - Адиля.

После того вечера Мамедага не мог прийти в себя долго - несколько месяцев, и не потому, что впервые в жизни увидел голую женщину и голую девушку, нет, его пугала мужская честь, он не мог открыто смотреть в глаза ребятам и парням своего квартала, задыхался от сознания того, что на женщину, изредка заходившую к ним во двор и беседовавшую с его матерью, и на девушку, которую он встречал на улице каждый день, он смотрел тайком, через окно бани. Иной раз он внезапно просыпался ночью с мыслью о том, что совершил позорное дело и, корчась в постели, называл себя самым дурным человеком на свете.

В эти месяцы, мучаясь совестью, Мамедага сполна узнал цену благородства, мужества, честности; прошли годы, и со временем случай этот в его памяти постепенно превратился из раны в некий сон детских лет, и действительно уже трудно было отличить, что было наяву и чего не было. Но с тех пор Мамедага ни разу в жизни не поступал так, чтобы ему пришлось перед кем бы то ни было опускать глаза. И когда речь заходила о Мамедаге, женщины квартала говорили:

- Дай ему бог долгую жизнь, пусть живет столько, сколько земля. С лица как будто Китабулла, и характер - золото! Настоящий мужчина.

У Сакины-хала, ясное дело, от этих и подобных слов только что крылья не отрастали, чтоб летать, но вела себя она достойно: мол, так и должно быть, ее сын и сын

Али другим быть не мог. А Солмаз тотчас доводила эти слова до сведения Мамедага, и за это Мамедага на нее ворчал:

- Не передавай мне таких слов.

Конечно, никто из ребят квартала так ничего и не узнал о ночном приключении - Мамедага никому не рассказал, но Мирзоппа уже редко показывался в квартале. А через некоторое время кирщики и вовсе уехали из города. Алиабас-киши говорил аксакалам квартала:

- Лет через шесть-семь в Баку не останется домов, где надо заливать крыши киром. Старые сносят, а новые строят в пять-семь этажей, через некоторое время в девять-десять будут строить. И все с кровлей. Лучше мне уже сейчас переселиться в одно из сел. На Апшероне у всех домов крыши мировые, в какое село ни поеду, без дела не останусь.

И с тех пор большой котел для варки кира не показывался в квартале, где жил Мамедага, и все постепенно к этому привыкли, никому уже не казалось, будто без котла что-то не на месте или чего-то не хватает на улице...

А было это лет пятнадцать-шестнадцать тому назад. И вспомнил Мамедага свое детство сегодня благодаря этому непонятно удивительному вечеру да еще и из-за Мирзоппы. Разглядывая в ярком свете фургона располневшее лицо Мирзоппы, он вдруг почувствовал в себе какую-то виноватость перед ним, и в этом чувстве вины ощущалось тепло детских воспоминаний; тепло и печаль вошли в сердце Мамедага, что никак не вязалось с самодовольным смехом нагло смотревшего на него Мирзоппы.

Худой парень, снова подняв руки, выдал свой лозунг:

- Постреляем!

Милиционер Сафар, поглядев на худого парня, подумал, что в голове этого болвана кроме слова «постреляем» нет ничего, он жаждет ружья, жаждет пули. Такие вот и проливают понапрасну кровь свою и чужую, и хотя их собственная особа копейки не стоит, но детей они оставляют сиротами, а женщин - безутешными.

Мирзоппа, все так же самодовольно улыбаясь, оглядел Мамедагу с ног до головы.

- Неплохо выглядишь, - сказал он. - Ну, ладно, неужели своему старому другу по кварталу ты не дашь пострелять?

Самодовольная, самоуверенная повадка Мирзоппы была отвратительна, она была точно рассчитана на унижение окружающих, но Мамедага не подал виду, а про себя даже искренне пожалел, что Мирзоппа так много выпил в этот вечер. Если бы он не был пьян, конечно, Мамедага хоть до утра разрешил бы ему стрелять. И денег бы с него не взял. Правда, Мамедага всегда считал, что надо быть щедрым за свой счет, а не за счет государства, но сейчас вообще об этом не стоило и думать, потому что Мирзоппа с трудом держался на ногах, а парень рядом с ним был ии на что не способен, кроме как поднимать Руки и твердить одно и то же слово. Дело было не в том, что пуля Мирзоппы могла попасть в кого-нибудь, хотя в тирах таре случаи бывали (у работавшего в Баку в тире на улице Самеда Вургуна одноглазого Исфахла глаз выбила пуля такого вот пьяного), нет, дело было в том, что в инструкции черным по белому запрещалось стрелять в тире людям в нетрезвом состоянии, а Мамедага не хотел поступать так, чтобы быть вынужденным опускать глаза хотя бы и перед инструкцией.

- В другой раз, - ответил Мамедага.

- Слушай, чего это ты со мной всю дорогу не ладишь?!- вроде бы спросил Мирзоппа, но в его грубом голосе была откровенная угроза,

- Постреляем!.

Ну, это, ясное дело, сказал худой парень и поднял руки вверх.

- Не постреляете! - сказал милиционер Сафар, снова доставший из кармана мокрый платок и вытиравший им потное лицо.

- А ты не лай! - Мирзоппа вытаращил на милиционера Сафара свои пьяные глаза.

И милиционер Сафар вздрогнул - он услышал стон своего сердца: о сын гор, до чего ж ты дошел, что какой-то щенок говорит с тобой на собачьем языке! Сунув в карман мокрый платок, он схватил Мирзоппу за руку:

- Пошли в отделение! Мирзоппа выдернул руку:
- Отстань от меня!
- Пойдем!
- Сказал тебе, отстань!
- Пошли, и все!

Милиционер Сафар снова попытался схватить Мирзоппу за руку, но тут зазвенела пощечина и на худом смуглом лице милиционера Сафара остались белые следы толстых пальцев Мирзоппы.

Это было совершенно неожиданно. Первым пришел в себя худой парень, - с удивлением взглянув на Мирзоппу и милиционера Сафара, он ударил себя рукой по кепке «азеродром» и, в мгновение ока выскочив из фургона, исчез в темноте ночи.

- Ах ты... на представителя власти руку поднимаешь?!

Звук пощечины и торопливое бегство кинемеханика Агагюля (того самого худого парня) отрезвили Мирзоппу, и, взглянув на поднимающийся и опускающийся большой кадык задыхающегося от ярости милиционера Сафара, он понял, что дела его плохи.

Милиционер Сафар схватил его за грудки:

- Иди впереди меня!

И Мирзоппа уже не вырывался из рук милиционера Сафара, только язык свой сдержать он не мог:

- Ну, идем, идем! Куда хочешь идем. Тебя никто не боится. Один раз звякну Наджафу, он твои погоны снимет! Увидишь!

- Меньше болтай, иди! - Милиционер Сафар сказал эти слова так грозно, что Мирзоппе стало ясно: если он еще издаст хоть звук, этот крестьянский сын подомнет его под себя, как медведь; поняв это, он замолчал и пошел вниз по лестнице из фургона.

Мамедага вышел вместе с ними, но милиционер Сафар, повернув к Мамедаге свое словно бы еще больше потемневшее лицо, сказал:

- Ты не ходи, гага! Сафар его из рук не выпустит. Таких много перевидал Сафар!

Мирзоппа, громко прочистив горло, резко сплюнул на песок, но сказал без прежней наглости:

- Ладно, из отделения позвоню Наджафу, тогда увидишь!

Мамедага постоял перед фургоном, глядя на удаляющихся в лунном свете милиционера Сафара и Мирзоппу, а потом, вздыхая носами туфель мелкий береговой песок Загульбы, медленно побрел в сторону моря.

Весь берег был совершенно пуст, и казалось, будто в этих местах никогда и не было никого, будто море здесь всегда было одиноко и берег, всегда был один на один с морем. Эта пустота делала море еще более огромным и бескрайним, но таким же огромным и бескрайним казалось теперь одиночество моря, и это стало еще одной печалью в эту летнюю ночь; море не гудело глухо, как обычно, море журчало, будто река или даже ручеек. Текущие с гор милиционера Сафара реки, наверно, тоже журчат, и им невдомёк, что оставивший им свое сердце милиционер Сафар этой ночью на краю села под названием Загуль-ба на Апшероне, на берегу моря, в тире от парня по имени Мирзоппа получил незаслуженную пощечину!

Может быть, низость этой пощечины и сделала эту ночь грустной, а море таким одиноким? Мамедага посмотрел на начинающиеся сразу за песчаным берегом загульбинские скалы, и монолитные скалы в лунном свете показались ему более внушительными, чем обычно. Мамедага подумал, что придет время, эта пощечина забудется, дурное эхо ее звона в этих местах совершенно изгладится, придет и такое время, когда на свете не станет ни Мамедаги, ни милиционера Сафара, ни Мирзоппы, по эти скалы будут все так же мерцать в лунном свете. Мамедага понимал, что это не очень-

то и глубокая мысль, все ясно и так - на свет приходили мамедаги, уходили мамедаги, и всегда так будет, но вот в чем дело; раз уж на свете есть такие монолитные скалы и они так внушительны, есть такие огромные моря, луна и звезды, которые вечны, а жизнь, данная тебе, коротка, то ее надо прожить правильно, прожить чисто, соблюдая свое мужское достоинство, чтобы ночью, когда ты, ложась в постель и засыпая, вспоминаешь свой день, нечего было стыдиться. Если уж на свете есть милиционер Сафар, у которого есть сын, названный Начальником, и который в жизни своей не съел куска, добытого нечестным путем, и помнит горы, с которых он пришел, потому что оставил там свое сердце, то на этом морском берегу, рядом с этими скалами и в этом лунном свете, он не должен получать несправедливую пощечину!

Издали послышался шум электрички, идущей в Баку: железные колеса со стуком двигались по рельсам, и этот стук сейчас стал пульсом загульбинской ночи, этой безлюдной ночи, - он бился в ней, и, вслушиваясь в этот ночной пульс, Мамедага подумал, что и жизнь - тоже нечто вроде поезда, который довозит тебя до остановки, выпускает, берет взамен другого, и возвращается обратно, и, ссадив другого в другой точке, берет нового, едет - возвращается, едет - возвращается, и раз у этого пути есть начало и есть конец, раз поезд не сойдет с рельсов и не нарушит расписания, то положи перед собой папаху и подумай, будь на этом пути человеком, живи как мужчина и как мужчина умри.

Потихоньку дул норд и потихоньку приносил в эту ночь прохладу; комары исчезали, и Мамедага подумал, что и комары относятся к природе, и ветер относится к природе, но ветер - враг комаров, и вообще этот мир так устроен, что у каждого зла, у каждой подлости есть свой враг; конечно, и эта мысль не была столь уж глубокой мыслью, но за ней пришла догадка, что, может быть, эту ночь сделало удивительной как раз то, что Мамедаге впервые захотелось пофилософствовать?

Появился какой-то новый звук, и около своего алюминиевого фургона, отсвечивавшего серебром в лунном свете, Мамедага увидел чью-то тень. Кто-то ходил туда-сюда вокруг фургона и звал его:

- Э-эй!.. Э-эй!..

Кричала женщина, но Мамедага не мог понять, почему это среди ночи женщина должна бродить около фургона! Он, не отвечая, пошел ей навстречу.

- Эй!.. Э-эй!..

Когда Мамедага подошел к фургону, девушка лет восемнадцати-девятнадцати буквально расстреляла его свирепым, но опять-таки непонятным набором бранных слов:

- Людей в тюрьму сажаешь, а сам гуляешь по берегу моря?.. Отдыхаешь, да? Дышишь свежим воздухом? Люди для тебя не люди? Чего ты лезешь к людям? Рысью прискакал сюда, чтобы людей сажать?

Разглядывая в электрическом свете, падающем из открытой двери фургона, округлое смуглое лицо, сверкающие черные глаза, ладную небольшую фигурку в желтой трикотажной кофте и синей юбке, Мамедага никак не мог понять, чего хочет от него эта разгневанная девушка и что она здесь делает?

- погоди, ай баджи, что случилось? В чем дело?

- Какая я тебе сестра? Никакая я тебе не сестра! Посмотрите на него! Братец нашелся, а мы и не знали!.. Человека посадил - не был ему братом, а меня увидел - сразу ай баджи, сестрица!.. Хорош гусь!

Удивительная летняя ночь продолжалась, и поднятый этой смуглянкой шум показался Мамедаге смешным; он подумал, что если так пойдет и дальше, эта девушка кинется на него и расцарапает ему лицо. Мамедага еще не понимал, что, в сущности, эту летнюю ночь сделал такой удивительной внезапный приход этой смуглой девушки, а все, что было до этого, было лишь предчувствием ее прихода - иногда и такое случается в жизни, но Мамедага не знал об этом, он действительно растерялся:

- Какие люди, кого я посадил?

- Люди - мой муж!.. Понял? Идем сейчас же, ты посадил его, ты и освободи!

- Ты говоришь о Мирзоппе?!

Имя Мирзоппы как будто несколько остудило пыл разгневанной смуглянки, и она, все еще не отводя глаз от Мамедага, сказала, словно извиняясь:

- Да. О ком же еще?

Мамедага понял, эта девушка - жена Мирзоппы, но почему-то и это, как многое в ту ночь, показалось ему неожиданным и непонятным. Пройдя мимо так внезапно, среди ночи появившейся девушки, он решительно поднялся в фургон.

- Я тут ни при чем, - сказал он.

И снова эта девушка, начавшая бурно и потом притихшая, услышав его ответ и проводив его взглядом, уперла руки в бока и снизу вверх начала кидать в Мамедагу слова, как нули:

- Как то есть... «ни при чем»? Сначала сажаешь, потом говоришь: я «ни при чем»? Ну и гусь! Ты за кого нас считаешь? Мы тебе чушки какие-нибудь? Идем сейчас же, выпусти его! - Девушка тоже поднялась по ступеням и вошла в фургон. Яркий свет фургона, выстроенные вдоль стены ружья, призы: бутылка шампанского, настольное зеркало, кукла-невеста, фотоаппарат, висящие на стене деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и никому неведомый зверь - все это как бы несколько смутило девушку, и она, бегло оглядевшись, молча устремила на Мамедагу свои черные глаза: мол, идешь или нет?

- Я твоего мужа не сажал, баджи. Он и его товарищ пришли сюда пьяные...

Девушка быстро прервала его:

- Пусть провалится этот товарищ! Разве не товарищи сбили его, с пути? - крикнула она, но, будто сама не веря в весомость своих слов, потише добавила: - Ну и что ж, что выпил? В Советском государстве нет такого закона, чтобы за выпивку людей сажать!

- За выпивку не сажают, а вот за то, что дают пощечину милиционеру, сажают!

Но и девушка, как петух, бросилась в бой:

- Милиционер Сафар план выполняет, потому и посадил его!

- Что?! План выполняет?! - У Мамедаги просто не было слов, чтобы отвечать - так он был изумлен. - Ай баджи, прямо при мне ударил его, ни за что...

Немного помолчав, девушка сердито сказала:

- Бесстыжий он, да... - И Мамедаге не было ясно, к кому относится это слово, к Мирзоппе или к милиционеру Сафару.

Девушка снова искоса оглядела деревянных зверюшек и подумала, что, если бы этот тир не приехал и не остановился здесь на ночь, Мирзоппа сюда бы не пришел, не встретился с милиционером. Сафаром и ничего бы тогда не произошло из того, что теперь произошло.

- Ну и тир!

Конечно, Мамедага не знал, о чем думала сейчас девушка, и ее откровенная ненависть к его тире показалась ему опять-таки смешной; да и вообще в шуме, крике, поднятом ею, ему виделось чистое ребячество, чуть ли не розыгрыш, как и ее решительное утверждение, будто она чья-то жена. Мамедаге казалось все это забавной шуткой и хотелось, чтобы это на самом деле было шуткой.

Мамедага огляделся по сторонам и, оставшись довольным порядком в фургоне и своей аккуратностью, улыбнулся:

- Тебе не нравится мой тир?

Эта безоблачно-самодовольная улыбка Мамедаги вновь взбесила девушку:

- Твой? А почему это он твой? Это наш, государственный тир! Или, может быть, твой отец его тебе подарил?

Если вы помните, Мамедага по известным причинам с детства не переносил малейшего неуважения, к памяти отца. А сейчас от этой задиристой ночной гостьи тем более - ведь она могла решиться на все, вплоть до брани с упоминанием его отца, и потому Мамедага сразу же стал серьезен.

- Отец не мог подарить, - отвечал он и, чтобы прекратить разговор об отце, добавил, словно бы мимоходом, а прозвучало это скорее как признание пятнадцатилетнего мальчика, чем тридцатилетнего мужчины: - Отец погиб на фронте.

Девушка уже готовилась снова что-то там проорать, но, услышав не слова его, а этот странный, словно из детства дошедший голос, умолкла.

Мамедага никогда не откровенничал с незнакомыми людьми (да и со знакомыми тоже) и почувствовал себя неловко оттого, что он что-то важное сказал о себе этой девушке, которую видел впервые, а ее понимание важности сказанного им смутило его.

- Как тебя зовут? - спросил он, чтобы хоть чем-то нарушить неожиданное и неловкое молчание.

- Зачем тебе?

- Когда человек разговаривает с человеком, он должен знать, кто есть кто.

- Месмеханум.

Ответ не принес облегчения. Ни ему, ни ей.

Мамедага и не догадывался, какой заветной струны в душе Месмеханум он коснулся; он не знал, что в сердце девушки появилась сейчас тихая ноющая боль.

Ей казалось, что это было много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой и у этой девочки не было никаких забот. Не было и отца, но мать всегда говорила ей: твой папа погиб на войне. Мать часто бывала в поездках, и Месмеханум привыкла целыми днями оставаться одна, и в такие дни она беседовала с отцом; во время этих бесед, продолжавшихся и в школе-интернате, гремели пушки, взрывались снаряды; Месмеханум перевязывала отцу раны, а отец гладил ее по черным волосам своей крупной мужской рукой и улыбался. Тепло и ласка его больших мужских рук разливались по всему ее телу и пробуждали в ее сердце такую ответную любовь, что от умиления у нее иногда появлялись слезы. Но однажды, в один из самых обычных дней, Месмеханум поняла, что отец ее никак не мог погибнуть на фронте, потому что она родилась через три года после окончания войны. После такого открытия Месмеханум прекратила всякие разговоры с матерью об отце. Молчала и мать. Может быть, Гюльдесте постепенно забыла вовсе о прежних разговорах с дочерью или, как знать, не забыла, но, как и дочка, затаилась?

Все же тепло и ласку больших отцовских рук долгое время еще помнила Месмеханум, да, по сути дела, и теперь они согревали ее - пусть изредка, пусть совсем немного.

А Мамедага смотрел на высокую грудь стоявшей перед ним сердитой девушки, на ее красивые коленки, круглые лодыжки, пальцы ног в сандалиях - и сердце его тревожно заколотилось. Давно он уже не знал этой тревоги, и порой ему казалось, что она навсегда прошла для него вместе с юностью. Но сейчас тревога росла, окатывая своими волнами, поднимая и опуская так, что дух захватывало, и начисто смывая, погребая под собой все первые впечатления Мамедаги, и смешное перестало быть смешным, забавное - забавным, от задиристости не осталось даже следа: в резком свете фургона перед Мамедагой стояла Она.

Дни и ночи колеся по дорогам Апшерона, Мамедага, конечно, навиделся всякого и смотрел на жизнь трезво, - вот почему теперь это забытое волнение, возвращавшее его к юношеской поре, он воспринял как еще одну частицу этой удивительной ночи в Загульбе; только на этот раз он ощутил ее загадочную прелесть не одной душой, но и всем своим существом.

Заметив наконец, что глаза Мамедаги беспокойно бегают по ее желтой кофте, синей юбке и босым ногам, Месмеханум, по-своему истолковала волнение этого высокого широкоплечего парня и с испугом покосилась через открытую дверь фургона на море с белеющими гребешками волн, ощутила безлюдность берега и поэтому скорее для собственного успокоения, чем для Мамедаги, быстренько сказала:

- Я не из тех, не думай!

- А кто они - те, о которых я думаю? - Мамедага сел на перила и обхватил колени руками. - А?

- Я не знаю кто... - Взглянув в голубые глаза парня, девушка поняла, что встревожилась зря, и еще она поняла, что в его взгляде есть что-то очень родное, будто она много раз видела этот взгляд. Почему ей так показалось? Она с удивлением посмотрела на Мамедагу.

- Что сказали в милиции?

- Сказали, что на этот раз дела его плохи... Пятнадцатью сутками не отделаешься...

- А Наджафу он позвонил?

Месмеханум снова удивилась этому парню - нет ничего на свете, чего бы он не знал! Нет, как раз про это он, видно, ее знает, и она сказала ему, чтобы знал и это:

- Наджаф в прошлом году выгнал его из своего кабинета...

Сказала - и сама изумилась, как будто не она, а совсем другой человек произнес эти слова. Уж сколько лет Месмеханум привыкла молчать при посторонних, - никто не знал, каково ей приходится с мужем, их домашние разговоры оставались дома, и Месмеханум считала, что так будет всегда, до самой смерти. Умрет она, и люди будут говорить, что жила, мол, на свете такая Месмеханум и у этой Месмеханум был муж по имени Мирзоппа, они жили вместе... Но как они жили - этого никто не будет знать, и какая была она, эта Месмеханум, и что бывало у нее на сердце - тоже никто не будет знать. Ладно, пусть так. Но если никто ничего не должен узнать, тогда что же ей нужно сейчас, здесь, в этом фургоне, рядом с этими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем, рядом с этим чужим мужчиной? Отчего она не уходит? Разгневанная, ты пришла сюда, а теперь видишь, что парень ни в чем не виноват и от него ничего не зависит, все произошло из-за твоего непутевого мужа, так чего же ты не уходишь и чего еще ждешь? Месмеханум подумала об этом, и ей вспомнился ее дом, вспомнилась ее кровать, вспомнилось, что она снова одна-одинешенька в этом доме; утром встанет, пойдет на работу, продаст помидоры, огурцы, виноград - что придется, а вечером снова одна-одинешенька будет, сидя в комнате, смотреть из окна из большое инжировое дерево перед их домом и с тоской думать о том, что нет ничего хуже, чем вот так одиноко сидеть перед окном, лучше уж ссориться, ругаться, драться с Мирзоппой, слушать, как его громко рвет в туалете, а потом - как он спит, храпя и присвистывая...

Однажды, как всегда, в комнате запахло водочным перегаром, вошел Мирзоппа и, громко плача, как будто сообщая самую горестную весть (после выпивки такой плач частенько начинался у Мирзоппы), сказал, что Наджаф выгнал его из кабинета.

- В одном квартале выросли, в одном месте в альчики играли, строгали палочки шимагадер на одном асфальте, а теперь он меня выгоняет из кабинета!..

Так, страдая и переживая, он поплакал немного, пожаловался на неверность мира, а потом, как обычно, излил свою злость на Месмеханум, выдумав причину, пустил в ход руки, ноги, а Месмеханум расцарапала до крови его жирную физиономию. Но до всего этого никому не было дела. И этому сидящему на перилах, разглядывающему ее в ярком свете фургона голубоглазому парню тоже не было до нее дела, и Месмеханум сейчас же, выйдя отсюда, пойдет сначала в отделение милиции и снова подымет там крик-шум, и снова из этого крика-шума ничего не выйдет, после чего, наконец, одна-одинешенька она вернется домой, и пройдет еще одна тоскливая ночь, только и всего.

- Сколько тебе лет? - спросил Мамедага.

- Двадцать четыре, - Месмеханум снова удивилась сама себе: с чего это она отвечает этому чужому парню на такие вопросы?

- Тебе больше девятнадцати не дашь.

- Да, все так говорят... - Месмеханум улыбнулась и, сама не ожидая того, спросила:

- А тебе сколько?

- Как по-твоему?

- Тридцать...два!

- Два года прибавила...

- Тридцать?

Как будто вчера это было: счет возраста Мамедаги оканчится на «надцать» - пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... И тридцать казалось тогда ему чем-то очень далеким, он не мог себе представить себя в тридцать лет. Но верил: когда придет это время, мир станет совсем другим. Солнце - солнцем, луна - луной, звезды - звездами, но Мамедага уже мальчишкой понял, что под одним солнцем, луной и звездами у каждого есть свой мир; об этом он думал по ночам, особенно в летние ночи, когда спал на крыше; Сакина-хала с вечера стелила на крыше палас, на палас клала толстый шерстяной тюфяк, большую подушку, простыню - и постель Мамедаге готова. Ложась в полночь, Мамедага смотрел на луну, на звезды, ощущая прохладу выметенной мокрым веником Сакины-хала крыши, и думал о том, что через много-много лет ему исполнится тридцать, и мир станет другим; в чем будет состоять эта перемена, он не знал, но верил, что совершенно иным станет мир. Закрывая глаза, он вел по улицам Баку новенькую «Победу» - такси. Самой большой мальчишеской мечтой Мамедаги было стать шофером такси, и он каждую ночь, перед тем как заснуть, накачивал насосом шины своей «Победы», проверял мотор, осматривал аккумулятор, вытирал смоченными в бензине концами мазут со своих рук, а потом вел такси по улицам города.

Но казавшиеся такими далекими тридцать пришли, по существу, мгновенно - так думал Мамедага сейчас. Он мотался по улицам Баку шофером такси, а потом перешел в этот тир. О, если бы в те летние ночи, когда он спал на крыше, ему пришло в голову, что когда-то у него будет серебристый тир-фургон, он не смог бы уснуть от нетерпения! Да, прошли годы, и теперь ему ясно, что мир каждого человека изменяется, как и он сам, полнеет или худеет, но суть его неизменна - новые люди приходят в этот мир, другие уходят из него и забываются, но сам этот мир человека, как и большой мир людей, не становится совершенно другим: как постоянны солнце, луна, звезды, так всегда есть желание добра и зла, мужество и подлость, жадность и мечта - есть все, только у каждого это по-своему.

- А как тебя зовут? - спросила Месмеханум, и у нее уже просто опустились руки: что за вопросы она задает? Зачем ей знать, как зовут этого голубоглазого парня? Почему она так унижает себя?

- Мамедага, - он улыбнулся. - В детстве меня дразнили так:

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега
выиграл рога!

- Меня тоже дразнили. Когда я не знала урока, очень боялась, что Учитель вызовет, у меня руки-ноги дрожали. А ребята смеялись:

От страха Месме
не ханум, а... «ммее!».

Месмеханум рассмеялась громко, с удовольствием, вспомнив ту маленькую беззаботную девочку, боявшуюся вызова к доске: но вдруг перед ее глазами появилась жирная физиономия Мирзоппы, она словно почувствовала запах спиртного и вспомнила о том, что Мирзоппа сидит сейчас в отделении милиции и получит самое меньшее пятнадцать суток, а она... Она изумилась своему бесстыдству, но наконец поняла: будь что будет, но она не желает уходить из этого ярко освещенного фургона.

- Вот уж не сказал бы, что ты пугливая овечка!

- Теперь я не такая!

Да, теперь ты бедовая! - Мамедага тоже громко и с удовольствием рассмеялся.

Месмеханум посмотрела в глаза парня, подумала: странный парень, такие большие голубые глаза, а брови, ресницы, волосы черные; правда, голова уже начала седеть, но ведь ему только тридцать...

- О чем ты думаешь?

- Ни о чем, - соврала Месмеханум и почувствовала, что краснеет.

Месмеханум разучилась краснеть с тех пор, как вошла в дом Мирзоппы, и теперь, когда она почувствовала, что краснеет, ей показалось, что на свете нет никакого Мирзоппы, она никогда не выходила замуж, все это неправда, и она снова прежняя Месмеханум, плачущая на индийских фильмах, и горечь всех этих лет - просто сон; на один только миг ей так показалось, но она поняла, что пора уходить отсюда - от голубых глаз этого парня, о существовании которого еще час назад она просто не знала.

- Ну ладно, я пошла...

Мамедага не отвечал. Что ж, это совершенно естественно: уходит девушка, случайно здесь появившаяся. Так он подумал, но сердце его охватило какое-то беспокойство. Он еще не знал, но уже почувствовал: уйдет она - и вся таинственная красота вечера окажется напрасной, а внушительные скалы всю ночь будут шептать ему о бессмысленности его жизни. Мамедага молчал, не понимая самого себя.

Месмеханум не сошла по приставной лестнице, а спрыгнула прямо из открытой двери фургона на песок и посмотрела в сторону Загульбы: в селе все еще мерцали огни. Месмеханум знала там многих и могла сейчас представить каждого из этих знакомых ей людей, а вот из них никто не знал, что продающая, с восьми утра до шести вечера в овощном киоске помидоры, огурцы, виноград и дыни Месмеханум в это время ночи смотрит на льющийся из окон свет, стоя на берегу моря; никто из них не знает, что в сердце глядящей сейчас на свет их окон Месмеханум горечь одиночества; никто не знает и того, что Месмеханум, чей муж сидит в отделении милиции и ждет наказания - самое меньшее пятнадцать суток! - вернется домой уже не одна: с ней будет память о голубых глазах парня, которого она знает только по имени. Да, этого никто не знает и не узнает, хотя, в сущности, и сама Месмеханум знает только то, что скоро этого серебрищегося в лунном свете фургона здесь не будет и ей останется вспоминать эти голубые глаза, думать об этих голубых глазах, сидя по вечерам у окна и глядя на инжировое дерево. Она будет видеть эти голубые глаза, но почему и зачем так будет? Сердцем она вдруг почувствовала сходство или даже родство между взглядом этих голубых глаз и теплом, лаской больших отцовских рук, которые когда-то гладили ее по голове в ее мечтая - и дома, и в школе-интернате. Давно уже Месмеханум не чувствовала в себе столько доброты и нежности...

Мамедага, спустившись по лестнице, пошел было за девушкой, но повернул к морю и сказал:

- Ветер стих...

Месмеханум остановилась и, потрогав воздух ладонью, сказала:

- Да, стих... Вечером дула хорошая моряна.

Мамедага сказал:

- Моряна - теплый вечер... А ветер должен быть прохладным...

Месмеханум сказала:

- Я люблю моряну... Моряна дует в сторону моря, и можно с морем разговаривать...

Невероятное изумление охватило Мамедагу:

- Ты приходишь на берег и разговариваешь с морем?!

- Почему, разве нельзя говорить из дома? Моряна относит слова к морю...

Месмеханум сказала - и на этот раз здорово на себя рассердилась: да кто такой этот парень, с чего это она раскрывает перед ним тайны своего сердца? И для чего? Месмеханум задала себе этот вопрос и, остановившись, обернулась.

Мамедага посмотрел в глаза стоящей перед ним девушки. В лунном свете эти глаза почернели и сверкали ярче, чем в фургоне. В этом мире есть село под названием Загульба,

а там - красивая девушка по имени Месмеханум, и она любит моряну за то, что, когда дует моряна, можно беседовать с морем, - ведь сказанные человеком слова моряна передаст морю. Этого не знал не только Мамедага, на всей земле вообще никто не знал, что эта шумливая, крикливая, скандальная девушка, когда дует моряна, садится у окна и разговаривает с морем...

Месмеханум уже ясно понимала, что отсюда надо поскорее уходить. Приблизившись к девушке, Мамедага некоторое время постоял лицом к лицу с нею, потом нерешительно спросил:

- О чем ты думаешь?

Глядя прямо в его голубые глаза, Месмеханум сказала:

- А тебе какое дело, о чем я думаю? Кто ты такой? – Она сказала это и сама себе ответила, что эти глаза совершенно не виноваты в том, что она все им выкладывает.

- Я - Мамедага.

Месмеханум усмехнулась.

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
выиграл рога!

Мамедага усмехнулся:

От страха Месме
не ханум, а «ммее!»

Месмеханум рассмеялась - снова перед ее глазами появилась та беззаботная девочка:

- Да, меня дразнили ужасно!

И Мамедага рассмеялся - ему вспомнился мальчишка, который бегал за всеми проезжавшими по кварталу машинами.

И вдруг у Месмеханум пропала вся злость на этого высокого голубоглазого парня, внезапно он стал ей чуть ли не родным человеком; как будто они познакомились не час назад, а очень давно, еще в детстве, и тогда этот голубоглазый парень - он еще не стал таким представительным! - много раз видел Месмеханум, идущую в школу - в красном пионерском галстуке и с перепачканными чернилами пальцами из школы домой.

Мамедага пошел к морю, остановился и обернулся, глядя на скалы. Норд уже не бросал на них волны, и монолитные скалы теперь не казались суровыми, неприступными башнями, они стали легкими, как лодки, вот-вот поплывут, осторожно разрезая воду.

И Месмеханум глядела на скалы и, махнув в их сторону рукой, сказала, улыбаясь:

- В детстве я боялась этих скал, особенно вечером. Когда я не слушалась, мама говорила: «Смотри, эти скалы по ночам приходят и забирают непослушных детей!» И я начинала дрожать... Я даже не спрашивала, куда они забирают? А тебя пугали в детстве?

- Нет...

- И ты ни разу не дрожал от страха?

- Однажды было.

Пристально посмотрела Месмеханум на Мамедагу, так пристально, что Мамедаге показалось, что эта разговаривающая с морем, когда дует моряна, смуглая девушка сейчас прочтет все его мысли, узнает все, что у него на сердце. Поймет то, в чем Мамедага, честно говоря, сам пока не мог разобраться, он только чувствовал какое-то нежное тепло в сердце, как будто и там дует легкая моряна. Давно уже, очень давно, с тех летних ночей, когда он спал на кировой крыше их дома, в сердце Мамедаги не было такого тепла, то есть, конечно, за все эти годы у него было немало причин для радости и веселья, но вот

такого нежного тепла не было в его сердце, и теперь он понял, что все эти годы тосковал по такому теплу.

Помолчав, Месмеханум спросила:

- Чего же ты испугался?

- Да так...

В последнее время, колеся по дорогам Ашперона, он почему-то вспоминал эту старую историю и порой снова, как и Двадцать лет назад, видел Китабуллу улыбающимся, а когда Китабулла улыбался, то в уголке рта у него поблескивал золотой зуб, и вот сейчас, в эту удивительную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы, снова улыбнулся Китабулла, и сверкнул его золотой зуб.

- Ну, а все-таки?

- Так... Ветер улетел. Эта старая история, просто к слову пришлось. Хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, смешное?

- Не хочу, расскажи, чего ты испугался.

- Жили-были три брата, Самедулла, Ядулла и Китабулла. Самедулла, самый старший, носил закрученные кверху усы и работал в море. Когда в праздник он надевал свои медали и шел на демонстрацию, ребята с нашей улицы бежали за ним, глаз не отрывая от его груди. Средний брат, Ядулла, был сапожником. Его будка стояла на бульваре, рядом с нынешним Кукольным театром. Ребята из квартала часто забегали к Ядулле, потому что их ботинки он чинил бесплатно. Младшему - Китабулле - было двадцать пять; работал он шофером на полуторке, и, когда грузовик Китабуллы останавливался в Узком тупике, ребята гурьбой залезали в кузов, а один, самый достойный, садился в кабину рядом с шофером; покатав ребят, Китабулла привозил их снова к Узкому тупику.

А кабина у Китабуллы всегда выглядела нарядно и образцово. За стеклом торчали две открытки, надписи на которых ребята знали наизусть. На одной открытке был изображен Сталин: с трубкой в руке, он улыбаясь смотрел на карту СССР. На краю карты был нарисован рейхстаг с развевающимся над ним красным флагом. Сталин говорил: «Победили врага, победим и засуху!» На второй, в обрамлении красного сердечка, улыбалась девушка, склонив голову на плечо парня и прижав к своей груди букет фиолетовых, красных и желтых цветов. А над головами влюбленных порхали два целующихся голубка, и надпись на открытке гласила:

Пусть наша дружба будет вечной, Как дружба этих голубей.

Многие девушки квартала были без ума от Китабуллы, а ребята об этом знали (разве могло быть такое, чего не знали бы мальчишки!). Конечно, у нас было немало молодых, симпатичных парней, но Китабулла был среди них звездой. Балад-жаханум, жена мясника Аганаджафа, сидя перед своим окном с железной решеткой на маленькой деревянной табуретке, грызла семечки и говорила, подмигивая в сторону Узкого тупика, собравшимся вокруг нее девушкам: «У этого чертова парня лицо, как у Юсифа Прекрасного; если режешь лук, на него не засматривайся, а то и охнуть не успеешь, как вместо лука палец порежешь!..»

Ребята и Мамедага не раз слышали подобные беседы; они сразу смекали, что речь идет о Китабулле. Как только полуторка Китабуллы останавливалась перед Узким тупиком, девушки квартала начинали тайком поглядывать из окон в сторону машины и под каким-нибудь предлогом выходили на улицу; по и ребята, и девушки - все знали, что Китабулла влюблен в девушку из другого квартала; она любит его, но вот родители почему-то противятся их браку. И сколько бы не обсуждалась эта тема, никто не мог понять: как это можно не доверять девушку такому парню, как Китабулла?

И вот однажды вечером по всему кварталу разнеслась весть, что возлюбленная Китабуллы сбежала из дома; сейчас она у Самеддулы, а послезавтра состоится свадьба.

Китабулла с братьями жил в конце Узкого тупика. В их дворике было три дома. В квартале их называли «Мансур шушабеиди» - терраса Мансура; Мансур был дедом

Китабуллы, и все эти три одноэтажных дома он выстроил собственными руками! У каждого дома имелась терраса, украшенная деревянными решетками - шебеке, и фотографии этих шебеке висели в музее. В одном из домов жил Самедулла с семьей, в другом - Ядулла, а в третьем должна была жить семья Китабуллы.

В тот вечер Мамедага с ребятами разожгли перед Узким тупиком костер, а девушки их квартала, прогуливаясь по двое, по трое мимо Узкого тупика, старались просверлить взглядом! ворота Китабуллы.

Утром Самедулла с праздничными медалями на груди, словно в день демонстрации, обходил всех соседей, зашел он и во двор, где жила семья Мамедаги, и Сакиие-хала была вручена маленькая фотооткрытка-приглашение. На ней был изображен голубь, держащий в клюве письмо, а на письме было написано: «Приглашаем Вас на бракосочетание нашего дорогого Китабуллы с дорогой Тамиллой. Торжество состоится 17 сентября 1951 года в доме старшего брата жениха Самедуллы». А ниже шли две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

- Сакина-баджи, - сказал Самедулла, - Али нет, но есть ты. Что значит для меня Али, ты знаешь. Он был для меня всем, но что делать, его не вернешь. Прошу тебя, приходи завтра к нам, у Китабуллы свадьба.

Отец Мамедаги и Самедулла были друзьями с детства, вместе пошли они воевать, но Самедулла вернулся один.

Сакина-хала ответила:

- Пусть будут счастливы молодые! Пусть у них будет много сыновей и дочерей, пусть они вместе встретят старость! Большое спасибо за приглашение.

В тот день весь квартал доставал из нафталина наряды, гладил костюмы, стирал рубашки. Говорили лишь о том, как Китабулла любит Тамиллу и как Тамилла любит Китабуллу. Теперь уже все знали, что девушка, по которой столько времени страдал Китабулла, то есть Тамилла, учится в институте, и родители хотели выдать ее за преподавателя истории, но Тамилла любила только Китабуллу и однажды вечером собрала чемодан и ушла из дома. Почти все сведения были получены от жены Ядуллы - Фатьмы. В зеленом шелковом платье, сшитом ею за одну ночь, Фатьма ходила из дома в дом, занимала казаны, тарелки, стаканы, блюда и всем повторяла одно и то же:

- До чего умная девушка и какая красивая, в жизни такой красивой девушки не видела, не девушка, а лунный серп. Она достойна Китабуллы. Они без ума друг от друга. Зато отец у нее - настоящий тиран. Утром Самедулла-гадеш пошел к ним мириться, хотел пригласить на свадьбу их и всех их знакомых - пусть будут нашими дорогими гостями! - но его даже в дом не пустили. Это Самедулду-гадеша, а?! Самедуллу, старшего брата, не впустили в дом!

Мамедага вместе со всеми ребятами прямо-таки застыл от изумления: у человека столько медалей, а его не пустили в дом?!

Фатьма рассказывала:

- Большой человек отец Тамиллы! Каждое утро за ним машина приходит с работы, «эм-один». Ну и что? Говорят, он сказал: «Тамилла втоптала мою папаху в грязь, нет у меня больше дочери, до конца жизни нету, не показывайся мне на глаза!» А был бы умный, спасибо сказал: разве можно найти для дочери лучшего жениха, чем Китабулла? Да, но дочка его - что за девушка! Ум - при ней воспитание - при ней.

Девушка, достойная Китабуллы! Оба - как лепестки розы, тьфу-тьфу, не сглазить бы!

Всем в квартале было известно, что Фатьма очень привязана к своему младшему деверю, по ей верили, когда она расхваливала и Тамиллу - умна да красива, почему -

потому что девушка, которую такой парень, как Китабулла, ждал четыре года, девушка, которая отказалась выйти замуж за имеющего диплом учителя истории, потому что не любила его, - такая девушка просто не могла быть нечем иным, как лепестком розы.

Живший в нижней части квартала кларнетист Алекпер, прочистив свой кларнет с серебряными клавишами, говорил:

- Давненько уже в квартале не было свадеб - и вот, пожалуйста, да еще свадьба Китабуллы! Завтра я так зальюсь, чтобы даже у моллы Сулеймана косточки сами по себе в пляс пошли! Афлатуну я велел принести нагару, а Сиявуш возьмет зурну - все будет достойно имени Китабуллы! Пусть знает девушка, за какого молодца она выходит!

В тот день Солмаз то и дело спрашивала у брата:

- Ты принесешь мне конфетные обертки?

Мамедага важно отвечал:

- Сколько раз можно говорить об одном и том же?

- Много-много?

- Да, очень много!

Завтра на свадьбе будут, по обычаю, осыпать ребят самыми разными конфетами, и они, конечно, их съедят, но красивые обертки разглядят и соберут.

Сакина-хала, открыв давно не открывавшийся сундук, достала из него давно не надевавшееся желтое шелковое платье и вывесив его на террасе, чтобы ушел запах нафталина, сказала:

- Не могу обидеть Самедуллу, да и дух Али будет недоволен, если я не пойду на свадьбу. Али, пусть земля ему будет пухом, очень любил Китабуллу и всегда говорил: хорошим парнем станет Китабулла!

В тот день у ворот Китабуллы бляели два барана с красными ленточками вокруг шеи, а ребята, взобравшись на тутовое дерево перед Узким тупиком, срывали листья -и насыпали их перед этими баранами с красными лентами. Скоро на туге листьев совсем не осталось: мясо баранов должно было быть вкусным, ведь всему кварталу известно замечательное высказывание Алхасбека: «Эх, вкус у баранины исчез!.. А баран чем виноват?.. Если баран сидит в городе и ест вместе с человеком борщ, слушает радио, гуляет по асфальту, то какой же вкус будет иметь его мясо?» Но эти бараны с красными лентами в ночь перед свадьбой съели столько тутовых листьев, что завтра даже Алхасбек будет восторгаться вкусом их мяса!

В эту же ночь, лежа в постели, Мамедага думал о завтрашней свадебной суете, видел радостную улыбку Китабуллы и замечал, как сверкает в уголке его рта золотой зуб; видел свою мать, надевшую желтое шелковое платье, и радовался, что наконец-то мама смеется; видел, как его мама вместе с другими сидит в комнате для женщин, хлопает в ладоши и наслаждается игрой гармонистки Нисы, приговаривая: «Ай джан! Ай джан!» Потом Мамедага задумался о двух строчках, которые прочел на фотооткрытке - приглашении и попытался понять гм'ysl этих стихов, но, как ни старался, понять не смог, хотя Ш понял твердо: если в честь любви баранам на шеи повязывают красные ленточки, а его мама, достав из сундука желтое шелковое платье, вешает его проветриться, значит, любовь полезна живущим на земле людям, значит, придет день, и такое вот фото-приглашение от его имени пойдет гулять по рукам людей в квартале, и все люди прочтут на нем две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь
суть жизни и ее алтарь.

И только Мамедага, думая обо всем этом, заснул, как в Узком тупике поднялся плач. В квартале, где жил Мамедага, много происходило событий, но такого плача он не слышал ни разу в жизни. Среди ночи, внезапно, крики, вопли и рыдания женщин в Узком тупике зазвучали так, будто весь тупик взвыл от неожиданного и страшного горя. В одну

минуту волосы на голосе Мамедаги встали дыбом. Раздался крик вскочившей с постели и выбежавшей во двор Сакины-хала, и у Мамедаги задрожало все тело.

Весь квартал поднялся на ноги, от детей до стариков, все бежали на улицу, и в ту ночь перед Узким тупиком было столько народу, и все эти люди подняли такой плач, что прошли дни, месяцы, даже годы, но эта ночная толпа, этот ночной ужас врезался навсегда в память людей, звучал у них в ушах.

«Китабулла попал в аварию и погиб!» Эта весть в ту ночь поразила в квартале всех.

Вечером, доставляя груз из Локбатана, Китабулла неподалеку от Шихова столкнулся с пустым автобусом. Руль придавил грудь Китабуллы и воткнулся ему в живот. Он тут же скончался. С пьяным водителем автобуса ничего не случилось.

Когда тело Китабуллы сняли с машины и понесли в Узкий тупик, распахнулись ворота дальнего двора, и, вырвавшись из рук женщин, к гробу кинулась простоволосая босая девушка. Она ухватила обеими руками за гроб, и у мужчин, несших гроб на плечах, задрожали руки; они остановились, пораженные ее безумным взглядом; девушка дернула гроб так, что тело чуть не выпало из него, и мужчины, быстро сняв гроб с плеч, положили его на землю; в тот же момент девушка кинулась на труп, и вырвавшийся из ее груди вопль слился с общим стоном этой ночной толпы.

Вот такой впервые увидели Тамиллу жители квартала.

А утром Фатма, разодравшая себе лицо, кричала сорванным голосом так, что у нее чуть не лопались вены на шее:

- Приготовленных для твоей свадьбы баранов режут тебе на поминки, ай Китабулла, ва-а-ай!..

И гости, приглашенные на свадьбу, пошли хоронить Китабуллу - весь квартал пошел. Десятикилометровый путь от квартала до кладбища катафалк пронесли на плечах, и никто не сел в машину.

Друзья Китабуллы, шоферы, приехали на своих машинах и запрудили ими квартал.

Всю дорогу до кладбища сигналили их машины.

На кладбище Алекпер вытер рукой слезы. И, рыдая, вынул трясущимися руками кларнет из футляра, собрал его и сыграл над катафалком Китабуллы сейгях¹. Кларнет Алекпера прощался с Китабуллой от имени всего квартала. В тот сентябрьский день кларнет звучал так, словно звуки мугама рассказывали о всех горестях мира, - сгорая в пальцах Алекпера, кларнет воды просил...

Голова Китабуллы тоже была повреждена, поэтому лицо ему не открыли, и Мамедага никак не мог поверить, что этот длинный, завернутый с ног до головы в саван предмет - Китабулла.

Мамедага впервые в жизни попал на кладбище, и теперь он никак не мог осознать, что сейчас не что-нибудь, а тело Китабуллы в этой длинной белой оболочке снимут с катафалка и положат в свежотрытую могилу, насыплют сверху земли и польют водой, после чего все вернется в квартал, а эта могила останется здесь, и будет лить дождь, и дуть ветер, а эта могила не сможет никуда уйти, и черви набросятся на нее. Все тело Мамедаги содрогнулось, ему показалось, что черви поползли по его собственному телу; в этот сентябрьский день он понял, что когда-то придет время, и его самого положат в такую же могилу, укроют сверху землей, а мир останется прежним: в кинотеатрах, как и прежде, будут показывать кинофильмы; в театрах, как и прежде, будут ставить спектакли; люди, как и прежде, будут беседовать друг с другом; дети, как и прежде, будут готовить уроки... Мамедагу объял ужас, вылезаящими из орбит глазами он смотрел на длинный белый кокон, он задыхался, перед глазами его вместо Китабуллы, чей рот и нос были замотаны саваном, поднялся белый туман, и вдруг Китабулла улыбнулся, и в белом-пребелом тумане сверкнул его золотой зуб; Мамедага помнил только, что громко вскрикнул, что было потом, он не знал, - он пришел в себя уже дома, а своей кровати,

¹ Сейгях - азербайджанский мугам (музыкально-вокальный жанр).

спустя двое суток после похорон. В тот год зимой в Баку шел сильный снег, уроки были отменены, стояли машины, трамваи. Старики квартала говорили, то не помнят в Баку такой снежной, такой морозной зимы.

Однажды распространилась весть о том, что в одном из верхних кварталов появился волк. Согнувшийся за три месяца Самедулла, услышав об этом, произнес трясушимися губами:

- В наш дом волк пришел в сентябре...

А Алхасбек повторял слова Деде Коркута:

О бранный, бранный, бранный мир,
где смертен человек и сир...

...Они медленно брели по мокрому песку берегом моря. Месмеханум, помолчав, спросила:

- А что стало с девушкой?

- Тамиллой?

- Да.

- У Фатьмы было двое детей, но когда прошло сорок дней со дня смерти Китабуллы, она взяла обоих детей и ушла к отцу, развелась с Ядуллой и записала кебин¹ Тамиллы с Ядуллой, Фатьма говорила: - Тамилла - моя сестра, и Ядулла будет теперь моим братом. Все знали, что Фатьма сделала это в память Китабуллы...

- А почему Тамилла не вернулась в отцовский дом?

- Откуда мне знать?.. Наверное, не могла вернуться, да...

Все знали, что Фатьма заставила Ядуллу, потому что Ядулла и Фатьма очень любили друг друга.

Луна поднялась совсем высоко, и теперь линия горизонта, где соединялось полное бесчисленных звезд небо с морем, стала невидимой в далекой мгле; вместо горизонта была черная-черная пустота, а далеко-далеко, там, где проходила электричка, огни станции Бузовны отражались в море, и эти огни казались сейчас звездами моря; звезды моря и небесные звезды смешались между собой, но и среди этого множества выделялась утренняя звезда - большая, светлая, одинокая...

- А разве Тамилла любила Ядуллу? - спросила Месмеханум.

- Откуда мне знать... - сказал Мамедага и подумал: почему же этот простой вопрос до сих пор не приходил ему в голову, почему он не задумывался, любила Тамилла Ядуллу или нет?

Мамедага посмотрел на Месмеханум, не отрывавшую глаз от моря, и вдруг ему показалось, что эта смуглая девушка, неожиданно возникшая среди ночи на морском берегу Загульбы, - самый дорогой и родной для него человек.,

- Бедные... - сказала Месмеханум.

- Китабулла?

- И Кигабулла, и Тамилла, и Ядулла, и Фатьма, и ты...

- А я почему?

- Потому что мальчишкой увидел такое... До тех пор не забылось - и не забудется...

Конечно, откуда было Мамедаге знать, что и Месмеханум в бессонные длинные ночи думала о жизни и смерти? В те самые ночи, когда, с трудом дотаскив Мирзоппу до кровати, сваливала она его на постель, и Мирзоппа, издавая ртом, носом и животом разнообразные звуки, впадал в пьяный сон. В такие ночи у Месмеханум горело сердце, и она думала о своей жизни и о своей смерти, но почему-то ее думы заканчивались всегда тем, что Месмеханум попадала в какой-то сказочный мир и бродила среди волшебников,

¹ Кебин - брачный договор.

которые ее любят и лелеют. Где-то в середине ночи Мирзоппу начинало мутить, частенько он бывал не в состоянии встать и дойти до туалета, поэтому, вытянув шею, он прямо с кровати блевал на пол. Однако, если Месмеханум с вечера ставила у кровати таз, Мирзоппа, являясь пьяным и замечая таз, выходил из себя:

- Ты за кого меня считаешь? Пьяница я, что ли?!

И начинался скандал, пускались в ход руки-ноги, царапались лица, извергались ругательства; после чего таз уже больше не появлялся с вечера рядом с кроватью Мирзоппы, а он снова блевал с кровати на пол, но Месмеханум больше ни запаха не чувствовала, ни мычания Мирзоппы не слышала - она уходила в свой сказочный мир, пребывала там, среди добрых волшебников, на их ласку отзывалось не одно ее сердце, но и все ее тело, остававшееся нетронутым неделями, а то и месяцами; и, ощущая эту нежную ласку, Месмеханум засыпала.

И сейчас, в эту странную ночь, Месмеханум показалось, что она наяву попала в придуманную ею сказку, и поняла, почему ей не хотелось уходить из фургона, где на стенах висели деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и неведомый зверь и который сверкал серебром в лунном свете, будто вышел из мира ее бессонных ночей для того, чтобы этой ночью появиться здесь, на морском берегу Загульбы; и большие голубые глаза высокого симпатичного парня так похожи на добрые, ласковые глаза ее волшебников...

- У тебя есть на небе твоя звезда? - спросила Месмеханум.

- Моя звезда?... - Мамедага посмотрел на небо. - Нет, у меня нет своей звезды.

На дорогах Апшерона у Мамедаги было много знакомых автоинспекторов, но в небе Апшерона своей звезды у него не было. Мамедага и забыл, что человек выбирает себе на небе звезду и всегда может найти ее среди других; для Мамедаги все это осталось в детстве, как и другие игры.

- А у меня есть звезда!.. - Месмеханум посмотрела на Мамедагу с такой гордостью, словно ей принадлежал весь мир. - Взгляни. - Протянув руку, она показала на еле различимую звездочку под утренней звездой.

- Как ты ее разыскала? - Мамедага отвел глаза от этой едва различимой звездочки и, улыбаясь, посмотрел на Месмеханум.

А Месмеханум спросила:

- Твоя улыбка похожа на улыбку Китабуллы?

Месмеханум спросила, но тут же испугалась, что этот голубоглазый парень, улыбающийся ей в лунном свете, сидя за рулем своего фургона, тоже может встретиться с машиной пьяного и превратиться в длинный белый предмет; она испуганно посмотрела на свою звезду, чей свет с трудом пробивался на морской берег Загульбы.

Месмеханум не случайно выбрала себе такую далекую, едва Различимую звезду. Глядя порою по вечерам на большое инжировое дерево перед окном, она думала о том, что и счастье ее так же недостижимо, как эта звезда. А потом, когда у Месмеханум появился волшебный сказочный мир, расстояние до той звезды перестало быть непреодолимым, оно просто стало расстоянием до этого волшебного мира..

Вопрос Месмеханум озадачил и Мамедагу - словно он снова увидел улыбающееся лицо Китабуллы, и его золотой зуб сверкнул в лунном свете.

- Не знаю... Месмеханум сказала:

- Знаешь, о чем говорит мне моя звезда? Мамедага молчал.

- Моя звезда говорит мне: Месмеханум, ты никогда не умрешь! Месмеханум, ты всегда будешь жить! Месмеханум, черная земля тебя не увидит!..

Месмеханум захотелось, махая руками, громко закричать в эту странную летнюю ночь прямо своей звездой: «Э-ге-ге-гей!», но она сдержалась, потому что и без того уже вывернула всю свою душу.

Мамедага спросил:

-А больше тебе ни о чем не говорит звезда?

Месмеханум отвела глаза от своей далекой звезды и, услышав в голосе Мамедаги смех, сама рассмеялась:

- А больше ни о чем не говорит!

- Разве не говорит она тебе, Месмеханум, что, в сущности, ты не Месмеханум, а Месмебебе?..

- А-а-а... Это я-то ребенок? - Месмеханум ответила ему усмехаясь, но ей все же понравились его слова. В устах Мамедаги «Месмебебе» прозвучало как-то очень ласково, по-родному, и теплота этого слова разлилась по сердцу Месмеханум. Но тут же ей вспомнилось, как три-четыре месяца назад она поругалась с милиционером Сафаром.

Милиционер Сафар в очередной раз задержал пьяного Мирзоппу и повел его в отделение милиции. Узнав об этом, Месмеханум как всегда чуть не выцарапала милиционеру Сафару глаза. Милиционер Сафар, вытирая мокрым платком лицо, сказал:

- Дочка, ты еще ребенок, просто ребенок! Жалко мне тебя!..

Тогда эти слова сильно задели Месмеханум, ей показалось, что милиционер Сафар своими маленькими глазками, в сущности, многое видит и читает в другой душе. У нее даже опустились руки, и она подумала: почему из-за безобразных поступков Мирзоппы она прибегает в милицию и проявляет такое неуважение к пожилому мужчине? Ведь каков бы он ни был, этот мужчина, он в десять раз лучше Мирзоппы! Месмеханум хорошо понимала и хорошо знала, что о своем муже нельзя такие слова говорить и даже думать такое. Говорить-то, конечно, Месмеханум никому ничего и не говорила, а мысли эти с тех пор то и дело приходили к ней. Правда, и после, каждый раз, когда Мирзоппа, напившись, устраивал дебош и попадал в отделение милиции, Месмеханум отправлялась за ним и поднимала там скандал: мол, выпустите моего мужа, - ведь Мирзоппа был ее мужем, и она должна была вести себя так, но все это она проделывала уже механически, а душа ее была далеко...

Месмеханум захотелось забыть обо всем этом. Сейчас она не хотела думать ни о чем плохом на свете, и она шепотом сообщила Мамедаге нечто очень важное:

- Знаешь, моя звезда шутить не любит!

- Правда? - ответил ей тоже шепотом Мамедага.

- Да, - совсем уж тихо прошептала Месмеханум. - Давай и тебе выберем звезду?

Мамедага шепнул:

- Давай выберем...

- Месмеханум прошептала:

- Выбирай какую хочешь...

- Вон ту... - Протянув руку, Мамедага пальцем показал на еще одну еле различимую звездочку рядом со звездой Месмеханум.

- Пусть навсегда будет твоей...

- Хорошо...

И опять на Месмеханум навалилось предчувствие, что игра со звездами на безлюдном морском берегу Загульбы ничем хорошим для нее не кончится; конечно, ничего плохого и не произойдет, но горечь останется от этой игры и никогда не уйдет из сердца Месмеханум. А Месмеханум хорошо знала свое сердце: фургон, чье алюминиевое покрытие серебрится в лунном свете, уедет с морского берега Загульбы, и тогда звезда голубоглазого парня рядом со звездой Месмеханум превратит в ничто ее волшебный сказочный мир.

- Нет, эту нельзя! - громко сказала Месмеханум.

- А какую можно? - Мамедага понял, что в душу Месмеханум вошла какая-то тревога. - Столько звезд, какую же мне выбрать?

- Какую хочешь, только мне не показывай.

- Почему?

Месмеханум не хотела объяснять. Она хотела бы скрыть и от себя самой-то, что казалось ей неизбежным: пройдут дни, месяцы, кто знает, годы, и ветер, дождь, снег

унесут и след серебристого фургона из этих мест, и тогда, подняв голову, она увидит звезду некогда случайно встретившегося ей голубоглазого парня; ей придется каждую ночь видеть эту звезду, и ей будет тяжело, ей и этой звезде, потому что голубоглазый парень быстро забудет звезду, которую он выбрал себе в одну из ночей в небе Загульбы, и горечь человеческого одиночества забытой звезды почувствует тогда Месмеханум...

- Свою звезду никому нельзя показывать.

- А ты почему показала?

Месмеханум снова посмотрела на свою звезду и растерянно повела круглыми плечами, туго обтянутыми желтой трикотажной кофточкой.

Снова подул норд. Он понемногу крепчал; если и дальше так пойдет, ветер за ночь хорошенько похозяйничает в этих местах. Мамедага хорошо знал, что апшеронские ветры непостоянны - в течение часа взовьется такой ураган, только берегись. Ему вообще нравился ветер, а многие терпеть не могут апшеронских ветров, особенно те, кто приехал из других районов; они никак привыкнуть не могут к этим ветрам. А он много колесил по дорогам Апшерона, разрывая ветер своей тяжелой машиной, но в эту удивительную летнюю ночь на этом морском берегу Загульбы не надо бы ветру дуть так сильно, чтобы лесок забивался в нос и уши; в эту ночь ветру надо бы дуть так, чтобы эти скалы, превратившись в легкие лодки, хотели уплыть в море.

Мамедага сказал:

- Норд крепчает, кажется...

А Месмеханум посмотрела на него и сказала:

- Хочешь, остановлю ветер?

Мамедага пошутил:

- Ты колдунья?

- Да, я ужасная колдунья... - И Месмеханум оглянулась по сторонам.

- Что ты ищешь?

- Надо с деревом поговорить. Сказать дереву, чтобы оно остановило ветер.

Мамедага посмеялся над мудрой Месмебебе, но продолжил игру:

- А какое дерево тебе нужно?

- Любое.

Кто-кто, а Мамедага знал, что на песчаном морском берегу Апшерона найти растущее дерево - трудная задача; остов сгнившей лодки можно найти, водочные, пивные бутылки, засыпанные песком с довоенного времени, вымазанное мазутом весло, выброшенных на берег рыб, даже тюленя можно найти, но найти зеленое дерево, чтобы остановить ветер, - почти безнадежное дело.

- Вот на том холме растут маслины, пойдем туда... - И она, не дожидаясь ответа Мамедаги, сняла с ног сандалии и по еще не остывшему после полуденной жары песку быстрыми шагами пошла к темнеющему вдалеке холму.

Мамедага, наполняя свои туфли мелким песком, шел за колдуньей и чувствовал, что за этой быстро идущей босой девушкой с сандалиями в руках он шел бы вот так хоть на край света.

Месмеханум, обернувшись к нему, сказала, смеясь над горожанином:

- Сразу видно, что ты человек с асфальта. Снимай туфли, иди быстрее.

Сняв туфли и носки, Мамедага взял их в руки и подбежал к ожидавшей его в лунном свете колдунье.

- Ты не веришь, что я остановлю ветер?

- Верю!

- Крепко веришь? Сейчас увидишь!

Мамедага шел за ней по остывающему песку, плотному под ступней, по сыпавшемуся сквозь пальцы ног, и ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью; это смирение и эта печаль возникали и были только по ночам, а по утрам они пропадали; днем начинались заботы и движение,

днем ночной человек менялся и становился другим, но ведь то днем, - почему же сейчас в сердце Мамедаги проникло уже некоторое утреннее беспокойство?

Апшеронский ветер надул на морском берегу большой холм из песка, и, как только они дошли до этого песчаного холма, Месмеханум побежала вперед и начала взбираться; оглядываясь, девушка насмешливо говорила:

- Осторожнее, а то вдруг упадешь...

Мамедага, при каждом шаге проваливаясь в песок чуть ли не по колено, отвечал ей в тон:

- Не бойся! Я иду за тобой!

Песок на холме был очень теплый, и это тепло согревало ноги Мамедаги.

Месмеханум сверху кричала:

- Какой чудный горячий песок!

Мамедага знал, что в летний зной этот песок чудесным образом приносит разгоряченному телу прохладу.

А Месмеханум снова кричала:

- Жалко, что в будущем году сюда уже нельзя будет взобраться!

- Почему?

- Санаторий здесь построят! Со всех концов мира люди съедутся сюда. Во всем мире станет знаменитой Загульба. Во всех уголках мира узнают, что на Апшероне, на берегу Каспия, есть место, называемое Загульбой. Но жаль, что тогда уже этого песчаного холма не будет... Тогда я буду приходить, смотреть на этот санаторий, и мне будет вспоминаться, что в свое время здесь был песчаный холм...

С вершины холма в сторону загульбинского пансионата белела тропинка, и справа от этой тропинки сплошь росли маслиновые деревья.

- Здесь много змей, не наступи!

- В такой ветер какие могут быть змеи?..

- С ветром я сейчас справлюсь!

В ночное время змеи часто выползали на дорогу, и Мамедага на дорогах Апшерона летом, можно сказать, каждую ночь встречал ползущих прямо по асфальту самых различных змей. Большинство их оставалось под колесами машин, но по ночам другие снова выползали на асфальт. Асфальт хорошо сохранял дневное тепло и, наверное, поэтому апшеронские дороги по ночам влекли к себе змей.

А норд незаметно набрал силу.

Месмеханум, быстро обойдя мелкие деревца, остановилась в полных стрекотания цикад зарослях маслин, перед раскидистым оливковым деревом. Мамедага, задыхаясь, наконец догнал ее. Ему показалось, что Месмеханум очень хорошо знает это ветвистое дерево. В одной руке она держала свои сандалии, а в другой сжимала мелкие листочки маслинового дерева. Повернув голову, снизу вверх посмотрела она Мамедаге прямо в глаза, улыбнулась, а потом, снова обернувшись к дереву, потрясла его за ветку и сказала:

Я у мамы первенец,

Я лиса с черной пастью.

Норд, уйди.

Моряна, приди!..

И обернулась к Мамедаге:

- Ты у мамы какой по счету?

- Первый.

- Правда? - Месмеханум обрадовалась как ребенок. - Тогда и ты скажи.

И Месмеханум снова, тряся ветку маслинового дерева, стала медленно и тихо повторять свое заклинание, а Мамедага так же медленно и тихо повторял ее слова:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди.
Моряна, приди!..
И обернулась к Мамедаге:

Некоторое время они стояли молча. В зарослях маслин было тихо; мелкие, но частые листочки преградили путь лунному свету, и в темноте Мамедага чувствовал дыхание стоящей рядом с ним колдуньи, слышал, казалось, стук ее сердца, словно все это происходило во сне, когда он, как обычно в разъездах, спал в своей кабине на мягком кожаном сиденье. Только сон на этот раз какой-то необычный.

И вдруг - в эту удивительную летнюю ночь было все возможно - произошло в самом деле чудо: усиливавшийся норд внезапно прекратился, и цикады, почувствовав это, стали стрекотать громче.

- Видишь? - Черные глаза Месмеханум светились в темноте.

- Вижу! - отвечал застывший в изумлении Мамедага.

Так же ловко, как вошла. Месмеханум вышла из зарослей и быстро полезла на песчаный холм. Попадая босыми ногами на колючки и щепочки, Мамедага торопливо пошел за ней.

Ноги их снова проваливались, и тепло глубокого песка снова согревало их, и оба думали сейчас об одном: какая хорошая ночь! Конечно, они не знали, что думают об одном, но, думая об одном, оба одновременно посмотрели друг на друга и поняли: эта ночь была хорошей, потому что рядом с морем и с этим песчаным холмом под звездами и в лунном свет серебрится стоящий невдалеке алюминиевый фургон; эта ночь еще и потому была хорошей, что в самом центре ее, между морем, звездами и песчаным холмом стояла девушка, которая умела разговаривать с морем и дружила с деревьями, а рядом с ней стоял парень, чьи голубые глаза источали на нее тепло, напоминавшее о ласке крупных отцовских рук, которые в свое время Месмеханум выдумала, но забыть не могла.

А шум моря, прежде усиливавшийся под ветром, теперь вместе с ветром слабел, и пенные гребешки волн белели все реже, и море в лунном свете постепенно темнело; с вершины песчаного холма море казалось еще более огромным, просто гигантским.

Месмеханум вздохнула:

- Завтра будет жарко.

Мамедага ответил словно нехотя:

- Да, жарко будет...

И оба они вдруг почувствовали, что думать о завтра им не хочется; ночи, которая есть, одинокого фургона, что серебрится в ночи, маслинового дерева, что может остановить ветер, им вполне достаточно; они снова думали об одном - и их одновременно коснулась тревога.

Среди звезд показались зеленая и красная, послышался гул самолета; красная и зеленая звезды, пролетев над их головами, направились к аэродрому в Бина; огоньки исчезли, но гул еще некоторое время слышался, и Месмеханум, прислушиваясь к уходящему гулу, спросила:

- А ты откуда сюда приехал?

- Из Фатмаи.

Месмеханум громко рассмеялась;

- А-а-а... Мне казалось, ты с небес спустился, а ты говоришь - из Фатмаи... Ты в самом деле приехал из Фатмаи?

Мамедага тоже рассмеялся.

- Да, я приехал из Фатмаи, - сказал он и, отметив про себя, что гул самолета вовсе прекратился, подумал, что вчера, проведя самую обыкновенную ночь в Фатмаи, он даже представить себе не мог, что завтра в Загульбе его ждет такая ночь; Мамедага подумал

потом, что человек находится в дороге не только тогда, когда садится в машину, поезд, самолет или на пароход, - человек находится в пути с момента своего появления на свет, в дороге из сегодня в завтра, и эта дорога отличается от обычной лишь тем, что сегодня ты не знаешь, где выйдешь завтра - на станции Радость или на станции Печаль? Вроде бы и эта мысль опять не очень то нова, но вот в чем дело: прежде о таких вещах Мамедага вовсе не задумывался, и подобное направление своих мыслей он ощущал как частицу этой удивительной летней ночи, как нечто совершенно новое для себя.

Но сказал он вслух самое простое:

- Вчера ночью в Фатмаи шел дождь ... А здесь?

- Нет.

- Совсем не было?

- Нет, - подтвердила Месмеханум, но тут ей показалось странным, что вчерашней ночью один из них попал под дождь, а другой нет.

- Ты была в Фатмаи?

- Нет, не была.

- Хорошее село.

- Правда? - Месмеханум совершенно искренне удивилась, как будто место, где жил Агададаш, не могло быть хорошим; ей сразу вспомнился Агададаш, а этот человек, по мнению Месмеханум, был самым подлым человеком на свете, и каждый раз, когда он появлялся хотя бы только в памяти, у нее начинало все дрожать так, будто к ее телу прикасалась лягушка...

...Агададаш приходился Месмеханум далеким родственником, и мать Месмеханум, Гюльдесте, при знакомых, приятелях и соседях, к месту и не к месту, часто упоминала его и рассказывала о нем - пусть, мол, все знают, какие у них родственники! Агададаш был заведующим цехом чемоданов, имел в Фатмаи большой двухэтажный особняк, и прозвище у него было подходящее - все его звали «золотой Агададаш». Однажды Гюльдесте и Месмеханум, возвращаясь с базара домой, встретились с его белоснежной «Волгой», и Агададаш, остановив машину, посадил их и отвез прямо к ним во двор.

Это было время, когда Месмеханум только что перешла в десятый класс, и все свои деньги, собранные по гривеннику, отдавала фотографу Николаю за «открытки», на которых были кадры из индийских и арабских фильмов.

Месмеханум много раз слышала имя Агададаша, но в лицо его не видела, и, когда белоснежная «Волга» остановилась во дворе их дома, девушке показалось, что она стала героиней одного из своих любимых фильмов. Соседи, увидев белую «Волгу», высовывались из окон, удивленно тараща глаза и многозначительно покачивая головами. Гюльдесте, выйдя из машины, победоносно посмотрела на соседские окна и быстренько, не дожидаясь, когда выйдет Месмеханум, сказала:

- Хлеб-то мы купить забыли!..

Когда они шли на базар, мать и не собиралась покупать хлеб. Гюльдесте для того сказала о хлебе, чтобы некоторые из их соседей, глядя и слушая из окон, от зависти сгорели.

Агададаш, посмотрев в переднее зеркальце машины на Месмеханум, сказал:

- Забыли? Ну и что, мы сейчас съездим, купим и привезем.

Месмеханум тоже посмотрела на Агададаша в зеркальце и улыбнулась.

Гюльдесте, глядя скорее на соседей, чем на Агададаша, сказала опять-таки для тех же завистливых соседей:

- Мы тебя замучили совсем...

А Агададаш, улыбаясь Месмеханум в зеркальце, возразил:

- Помочь вам - для меня удовольствие. - И белая «Волга» тронулась с места.

Гюльдесте, подняв с земли тяжелую плетеную корзину, нагруженную картофелем и луком, пошла к дому, с удовлетворением приговаривая:

- Вот какой он сын моей тети - Агададаш!..

Прежде она всегда говорила «наш близкий родственник Агададаш», но история с белой «Волгой» привела ее в такой восторг, что Агададаш сразу стал сыном тети. Кое-кто из соседей усомнился, конечно, в этой новости, но кое-кто, глядя вслед белой «Волге», подумал: гляди-ка, а Гюльдесте правду говорила, шикарный у нее родственник!

Выехав со двора, Агададаш остановил машину и на этот раз обошелся без помощи зеркала, обернулся к Месмеханум:

- Пересаживайся вперед, - предложил он.

Месмеханум пришла в совершенное умиление от этой уважительности Агададаша и, смущаясь сказала:

- Большое спасибо... Здесь тоже хорошо... Агададаш крепко потянул Месмеханум за руку:

- Иди, иди! Что ты, хуже других?

Конечно, раз такой родственник, как Агададаш, хотел, чтобы Месмеханум пересела вперед и чувствовала себя более удобно, нельзя было ему отказать; Месмеханум молча вышла из машины и села впереди, рядом с Агададашем.

Агададаш сказал:

- Ты мне понравилась, хорошая девочка! - Потом спросил: - Сколько тебе лет?

Похвала Агададаша маслом разлилась по сердцу девушки, и Месмеханум; краснея сказала:

- Шестнадцать исполнилось, пошел семнадцатый...

Держа левой рукой руль, Агададаш правой рукой коснулся голых коленок Месмеханум, выступавших из-под ее черной юбки:

- Э-э, да ты просто табака!..

Месмеханум в жизни не была в ресторане и не знала, что, когда цыпленка распяливают, как лягушку, и поджаривают до красноты, его называют «табака», и это очень вкусная штука-цыпленок табака; Месмеханум не поняла слов Агададаша и, глядя на эту дорогу, которую всегда проходила пешком, подумала о том, как хорошо иметь такого родственника, как Агададаш; одно только тревожило Месмеханум и очень мешало получать полное удовлетворение от этой прекрасной прогулки, заставляя все сильнее биться ее сердце: ее тревожила правая рука Агададаша, поскольку эта рука все еще лежала на голой коленке Месмеханум.

Внезапно у Месмеханум сердце ушло в пятки - она почувствовала, что рука Агададаша потихоньку поднимается вверх, к ее бедру; она не знала, что делать, она так растерялась, что не издавала ни звука; рука Агададаша под черной юбкой постепенно поднималась выше, и Месмеханум, не в силах больше сдерживаться, хотела сказать, что дома у них есть хлеб и не надо покупать никакого хлеба, что она хочет только быстрее вернуться домой.

- Дядя Агададаш...

- Дядя? Не ожидал от тебя такого!.. - Агададаш, отведя глаза от дороги, с упреком посмотрел на Месмеханум, потом сжал бедро девушки. - Говори мне просто Агададаш, хочешь - называй Ага или Дадаш, как тебе захочется... Как для других, так и для тебя! Ты не ниже других, как тебе захочется, так и зови меня! Ты будешь у меня как сыр в масле кататься. Раз в месяц я буду покупать тебе роскошный наряд и шубу куплю, клянусь здоровьем! Клянусь могилой Эт-Ага!¹

Месмеханум ничего не понимала из слов Агададаша, только чувствовала, что рука на бедре поднималась все выше и, когда пальцы Агададаша пролезли внутрь ее трусиков, девушка вне себя закричала:

- Останови! Я выхожу! Мама!..

¹ Эт-Ага - разбитый параличом человек, который у верующих Апшерона считается святым.

Словно ужаленный змеей, Агададаш в мгновение отдернул руку и нажал на тормоз - он никак не ожидал скандала. А Месмеханум пришла в себя только тогда, когда поняла, что бежит по улице к дому.

Их квартира находилась на втором этаже большого двухэтажного дома, и Гюльдесте, выйдя на балкон, ждала белую «Волгу». Увидев возбужденную Месмеханум, бегом проскочившую двор, некоторые соседи покачали головой, некоторые удивились, а некоторые подумали, что такие вот дела: дерево, по которому взобралась мать, дочь проходит по веткам...

Гюльдесте бросилась открывать дочери дверь:

- Что с тобой? Что произошло? Где Агададаш?

Гюльдесте придумала замечательный план: она задержит Агададаша, заварит чай, поставит перед ним варенье, которое хранила для особо важных гостей, а белая «Волга» часа два постоит во дворе, и... Увидев дочь в таком возбужденном состоянии, Гюльдесте было решила, что белая «Волга» совершила аварию или задавила человека.

Но Месмеханум, всхлипывая, кинулась на старый пружинный диван:

- Убежала я, убежала! Убежала!

У Гюльдесте был немалый жизненный опыт, и тут уже она, кажется, догадалась о чем-то, но потребовала от дочери точного ответа:

- Почему убежала?

- Он залез рукой мне под юбку!..

Догадка Гюльдесте подтвердилась, и она, хлопнув ладонью о ладонь, крикнула:

- Ван, сукин сын! Пепел на голову такого мужчины! Да какой это мужчина - мартышка, мартышка!

Месмеханум обычно сердилась, когда мать говорила плохие слова, но на этот раз, всхлипывая, девушка только повторяла:

- А ты всегда говорила, что он наш родственник... родственник... и бог знает кто...

Гюльдесте эти упреки дочери словно кипяток на голову.

- Родственник? Да провались он! Родственник нашелся! Проходя по мосту, мы с ним задами столкнулись, вот и все! Оставил дома жену в сто килограмм, а сам ребенку под юбку лезет! - Потом, будто Агададаш стоял рядом, она растопырила пальцы и обеими руками отвесила ему пощечины: - Вот тебе! Чтоб ты провалился!

После случившегося разговоры об Агададаше в доме совершенно прекратились, Гюльдесте ни разу не упоминала его имя при дочери, но, когда Месмеханум не было рядом, при знакомых и соседях она порою все же не могла удержаться, чтоб не похвастать:

- Золотой Агададаш - наш родственник!..

...Мамедага смотрел на задумавшуюся Месмеханум, и ему очень хотелось, чтобы в эту удивительную летнюю ночь он обрел способность читать в сердце этой девушки.

- О чем ты думаешь?

Легко ступая босыми ногами, Месмеханум спускалась с песчаного холма.

- Думаю о том, что есть на свете дурные люди, и поступки у этих людей дурные.

- К чему это?

- Есть один в Фатмаи... Вроде бы наш родственник... Фатмаи было маленькое село, и Мамедага знал большинство живущих там.

- Как его зовут?

- Агададаш.

- Какой Агададаш? Золотой Агададаш?

- Да, золотой Агададаш. - Месмеханум с новым удивлением посмотрела на этого всеведущего парня, спускавшегося к ней с холма в лунном свете, и почувствовала, что сейчас она услышит от него что-то неожиданное.

- Так его же арестовали...

- Правда? - У Месмеханум, казалось, вспыхнули глаза, и по этой искре, мелькнувшей в глазах девушки, останавливающей ветер, Мамедага понял, что Агададаш был, видно, очень плохой человек.

- Да. Государственный чемоданный цех он превратил в свою лавку... И все собранное им золото отобрали - нечестное ведь!

- Да буду я жертвой советской власти! - Месмеханум сказала эти слова так, будто они годами накапливались у нее в душе и теперь вдруг вышли, дождавшись случая.

- А ты как думала? Теперь жуликам стало тугο. Паника у них, собачьих детей.

- Да если их будут вешать у меня на глазах - не охну! - Месмеханум явно не могла сдержаться.

- Он что тебе - много плохого сделал?

- Агададаш? Давно это было... Я была еще робкой овечкой... - Месмеханум улыбнулась, но Мамедага заметил горечь в улыбке ее полных губ. Сердце его дрогнуло - он понял, что эта смуглая девушка, говорящая с морем по ночам, когда дует моряна, совсем одинока, не на кого ей положиться и нечем похвастать.

А Месмеханум, не подозревая о мыслях Мамедаги, ушла в себя, ею овладела грусть по детству, по прежней Месмеханум. Если бы теперь Агададаш сунул руку под юбку Месмеханум, она выцарапала бы ему глаза. Остались позади те времена, когда Месмеханум терялась от страха перед любым негодяем, теперь она чувствовала себя совсем другой, она знала все обо всем на свете, и если кто-нибудь скажет ей слово, то получит пять в ответ, как получил недавно Нерсес Вартанович.

Помидорный киоск Месмеханум работал от большого районного магазина «Фрукты - овощи», где заведующим был лет сорок крутившийся в торговой системе Нерсес Вартанович Гюльбекян. Позади киоска Месмеханум росло большое тутовое дерево, и Нерсес Вартанович на своем выигранном в лотерее желтом «Москвиче» (все, правда, говорили, что Нерсес Вартанович вовсе не выиграл машину по лотерее, а купил у кого-то счастливый билет за большую сумму, поскольку Нерсес Вартанович был хитрец и не хотел, чтобы однажды ему задали такой вопрос: «У тебя зарплата всего сто рублей в месяц, у тебя жена и дети, откуда же у тебя столько денег, чтобы машину купить?»), поднимая пыль, часто приезжал сюда и говорил:

- Вах!.. - Потом, сдвинув соломенную шляпу на жирный затылок смотрел вверх. - Душа горит, ахчи¹, полезай, нарви немного тута, поедим!

Месмеханум не отказывала этому пожилому человеку в его просьбе; скинув белую ситцевую куртку, она в один миг взбиралась на дерево и наполняла тарелку спелыми ягодами, поскольку нельзя было трясти дерево - везде вокруг был песок. Минут десять - пятнадцать восседала Месмеханум на дереве и однажды заметила, что храбрец Нерсес Вартанович тайком поглядывает за ней снизу вверх, из окна ее киоска.

Месмеханум чуть не кинула прямо с дерева на голову Нерсесу Вартановичу тарелку с ягодами, так она рассердилась, сделав свое открытие:

- Ах ты, старая перечница! Меня на дерево заставляешь лезть, а сам снизу подсматриваешь! Негодяй! Ну, погоди!

Нерсес Вартанович, покраснев, как выкрашенное к новруз-байраму яйцо, растерялся.

- Ахчи, я старый человек!..

- Ах, лиса, ты в Мекку едешь?² Подожди, я спущусь сейчас!..

Ясное дело, что Нерсес Вартанович, не дождавшись, пока Месмеханум спустится с дерева, бросился к своему желтому «Москвичу», и, когда Месмеханум спрыгнула с нижней ветки на землю, машина тронулась с места, поднимая пыль. Нерсес Вартанович

¹ Ахчи - девушка (арм.)

² Есть такая азербайджанская притча: лиса обманывает кур, говоря, что стала верующей, едет якобы в Мекку на паломничество. Куры верят и становятся ее добычей.

спасся в тот день от гнева Месмеханум, но и после этого старался не показываться ей на глаза...

Месмеханум вспоминала, но в эту странную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы даже лихая победа над трусливым заведующим не развеселила ее - она с сожалением поняла, что годы отняли у нее и унесли с собой ту чистую кротость, из-за которой она растерянно молчала, а потом чуть не выбросилась из белой как молоко «Волги»; невинность, девичий трепет и дрожь от предчувствия огромного счастья - все это потеряно безвозвратно; прожитые годы были как болото, они поглотили все девичье, что было в ней, и на поверхности этого болота даже следа не осталось от того, что ушло, а если и осталось что, так это или еле слышимый иногда отзвук детского голоса, едва различаемый аромат детства, чуть видная тень некоей девочки, и от этих неуловимых воспоминаний начинает щекотать в носу и переполняет печаль.

Вот о чем думала Месмеханум, пока Мамедага, сидя на песке и завязывая шнурки туфель, пришел к твердому выводу, что эта красивая смуглая девушка считает себя бойкой женщиной, смеется над своей робостью в детстве и думает, будто детские годы давно засыпаны песками жизненного опыта, а на самом деле она и теперь та же самая девочка, потому что и та робкая девочка была драчливой, и у нее был длинный язык и острые ногти, но все-таки она была робкой овечкой, поскольку, в сущности, вся ее бойкость была необходима для того, чтобы прикрыть ее робость тогда и скрыть ото всех теперь то, что она умеет беседовать с морем и останавливать ветер. Вот о чем думал Мамедага.

А море успокоилось, и монолитные скалы, превратившись в легкие лодки, хотели куда-нибудь плыть: море журчало как река, и Месмеханум, подойдя к самой воде, стояла босыми ногами на влажном песке; она посмотрела вдаль, потом взглянула на касающуюся ее голых пальцев теплую воду, потом, нагнувшись, зачерпнула горсть воды, разжала пальцы, и вода сквозь ее пальцы снова ушла в море; Месмеханум побрела вдоль берега, и ей пришлось в голову, что иногда ночью в доме капает вода из крана, и человек до утра не может заснуть, а вот бесконечное журчание такого количества воды не только не раздражает, а прямо облегчает душу, и человек, как вот эти монолитные скалы, хочет стать лодкой и плыть; идя вдоль берега, - Месмеханум не забывала о том, что сейчас за нею следит пара голубых глаз, но она помнила и о том, что скоро уже ей придется вспоминать эти голубые глаза, она закроет свои и увидит эти, но никто на свете не узнает об этом, никто, и знать об этом будет только один человек - Месмеханум.

- Ты много видела плохого тогда?

- Когда?

- Ну, когда была робкой овечкой...

Мамедага хотел пошутить, но слова с трудом пролезли через внезапно пересохшее горло.

- А... Ты о том времени говоришь... - Месмеханум легко улыбнулась. - Нет. Один-два раза...

- А потом как? Потом чаще встречалось плохое? - А что ты называешь плохим?

- Что называю? Не знаю... Плохое, и все...

Конечно, если бы Мамедага, положив перед собой папаху, подумал, он мог бы ответить, что такое плохое, то есть он ответил бы, что плохое - это неблагодарность, эгоизм, нечестность, неуважительность, безжалостность, скупость и все такое подобное, но сейчас Мамедага подумал иначе: плохо не только то, что может сделать один человек другому; человек одинок - ему не на кого опереться, нечему порадоваться - вот это плохо. И он вдруг решил, что, в сущности, человеку плохо и тогда, когда ночью дует моряна, а человек под шум ветра разговаривает с морем, - не человек плох, по что-то в его жизни плохо.

- Бить человека - плохо?

- Плохо, конечно...

- Вот посмотри! - Месмеханум оттянула ворот своей желтой кофты, и на полном гладком плече девушки показался синяк; Месмеханум никогда бы не подумала, что вдруг в лунном свете, оголив плечо, покажет синяк чужому парню, и этот чужой парень, стоя перед нею так потрясенно будет смотреть на синяк у нее на плече, а потом, подняв руку, будет водить ладонью по ее плечу, задержит руку на больном месте, и по всему телу Месмеханум разольется истинное, никогда ею не испытанное тепло, и она поймет, что это происходит не в ее сказочном мире, а на самом деле и ей покажется, что эта рука - рука самого родного для нее человека в мире, ей покажется, что рука эта - рука ее отца, которого она никогда не видела...

ГЛАВА II

В конце этой главы удивительную летнюю ночь в Загульбе прогоняет рассвет, и Месмеханум расстается с Мамедагой, так и не поняв, почему она вспомнила всю свою еще такую короткую жизнь, - впрочем, как и оба они не поняли, и это было едва ли не самым удивительным, что всю ночь напролет их волновал, в сущности, главный вопрос всего человечества: для кого и для чего жить?

Гюльдесте работала проводником в поезде «Баку-Воронеж» и три дня жила дома, а пять - в поезде. Месмеханум с первого класса училась в школе-интернате, и поездки матери не сжимали ей сердце: раз или два в неделю она приходила домой и думала, что так и должно быть. Но прошли годы, Месмеханум окончила седьмой класс, и Гюльдесте решила, что дочь уже выросла, сможет сама себе все сделать, что надо делать дома, и не побоится остаться одна. Мать забрала дочку из интерната, и Месмеханум стала жить дома, как все дети, готовила дома уроки, как все дети, а по ночам, как все дети, спала, - впрочем, нет, не всегда она спала, потому что сердечко ее теперь сжималось каждый раз, когда мать уезжала.

Гюльдесте взяла Месмеханум домой не только потому, что очень любила дочь, хотя, конечно, она очень ее любила и думала о том, что пора уже присматривать за ней, потому что Месмеханум становилась девушкой и нельзя было предоставлять ее самой себе. Но Гюльдесте еще и потому взяла дочь домой, что ей хотелось, возвращаясь из поездки, знать, что ее дома ждут, ей кто-то радуется, а когда она отправляется в поездку, плеснет ей вслед воды...

Конечно, со временем Месмеханум более или менее привыкла оставаться без матери на целых пять дней через каждые три, иногда ей даже казалось странным, что другие матери безотлучно, живут со своими детьми. Словом тоска незаметно ушла из ее сердца, в котором так же незаметно возник второй, фантастический мир, - он разрастался, становился все красивее, Месмеханум уже не хотелось уходить из него.

Месмеханум жила теперь сразу в двух мирах: в первом она учила уроки, ходила в школу, готовила себе еду, порола старые платья, шила новые, приспособливала себе те, которые уже негодились матери, вечерами смотрела в клубе кинофильмы, ждала мать и вместе с нею ездила в Баку, бродила там по магазинам и занималась разными другими подобными делами, то есть такими, какими занимаются все; но второй мир Месмеханум был только ее миром, в этом мире по ее желанию шел дождь, падал снег, всходило солнце, в любое время можно было стать ребенком, или, наоборот, у тебя появлялся собственный ребенок, - Месмеханум его лелеяла, убаюкивала и под эти баюканья, произносимые скрытно, в душе, и сама засыпала.

Удивительно, но у Месмеханум, кроме этих двух миров, было и еще «что-то». Она не знала, что это такое, но верила, что это существует, и ждала этого, убежденная в том, что придет время и «что-то» произойдет.

Произошло это весной, когда второй мир Месмеханум приобретал все краски первого - весенних деревьев, цветов, кустов, и ее солнце изливало на ее мир

беспричинную радость. В один из таких весенних дней, придя домой, Месмеханум увидела в комнате незнакомого ей мужчину, который сидел за их круглым столом, покрытым белой скатертью, и беседовал с матерью. Белая скатерть иногда стелилась на стол, чтобы подчеркнуть особое уважение к гостю, и Месмеханум поняла, что этот гость - уважаемый гость.

Месмеханум второй раз видела у себя дома чужого мужчину, а первый раз это случилось, когда она только перешла из интерната домой. Тогда она училась в восьмом классе, был ветреный осенний день, и преподаватель географии Азизов, заболев, не пришел на урок. Месмеханум раньше обычного ушла из школы, открыла дверь своим ключом, вошла и увидела в комнате чужого мужчину в одних голубых трусах, а Гюльдесте лежала в постели. На деревянной табуретке у кровати валялись ее лифчик, комбинация, трусы, и Месмеханум поняла, что мать раздета. Чужой мужчина, торопливо надев брюки, смылся, а Гюльдесте залезла с головой под одеяло.

На этот раз чужой мужчина был не в трусах, на нем был чесучовый костюм, и, увидев Месмеханум, ни мать, ни он нисколько не растерялись, - сидя друг против друга, они продолжали пить чай. Наливая в блюдце, мужчина с шумом втягивал в себя чай, и по его толстому лицу катились ручейки пота. Когда он, попрощавшись, ушел, Гюльдесте многозначительно сказала:

- Хороший парень!..

Потом этот толстый мужчина зачастил к ним, и Месмеханум поняла, что мать собирается за него замуж. Теперь, приходя домой, девушка не открывала двери своим ключом, а нажимала кнопку звонка - она боялась увидеть и этого мужчину без брюк. Он был значительно моложе первого, к тому же первый был длинный и худой, немного похож на милиционера Сафара, и голова у него была тоже лысая, а этот парень был полный.

Месмеханум молча ждала, когда мать выйдет замуж, она думала об этом чаще всего ночью, перед тем как заснуть, и в такие ночи в ее втором мире, где ей как сироте некуда было идти, мели метели, ураганы, снегопады, от холода у нее стучали зубы, но вдруг появлялся кто-то, похожий на сказочного принца, и спасал ее от этого ужасного холода. Все эти печальные и радостные события происходили в ее мире по ночам, а в обычном мире днем к ним приходил толстый молодой мужчина, садился за накрытый белой скатертью стол, наливал себе чан в блюдце, с шумом выпивал, и по его жирному лицу скатывались капли пота.

Конечно, Месмеханум была уже взрослой девушкой и понимала, что ее мать несчастна, потому что у всех знакомых соседей был мужчина в доме, у кого муж, у кого отец, у кого брат, а у них никого, - все это Месмеханум понимала, но одного она понять не могла: что нашла ее мать в этом толстом мужчине - ни красоты в нем, ни поговорить толком не умеет!

Так все и шло до поры до времени, пока не произошло самое неожиданное событие на свете: Месмеханум узнала, что этот толстый мужчина ходит к ним не ради матери, а ради нее самой!

- Дочка, неужели ты еще не прозрела? Твои сверстницы такое вытворяют!.. Ради тебя приходит Мирзоппа, из-за кого же еще?.. Ради тебя. Неплохой парень и зарабатывает неплохо, водит городской автобус, и дом у него есть отдельный. Надо по одежде протягивать ножки. Он нам ровня...

Вот что сказала Гюльдесте уставившейся на нее в изумлении дочери, и вот какими словами она ее благословила.

И остается только добавить, что тот толстый мужчина действительно был Мирзоппа.

После того как семья Мирзоппы переехала из Баку в Загульбу, котел Алиаббасакши постоял здесь перед каждым из крытых киром домов, но и в этих местах число таких домов понемногу уменьшалось. Здесь тоже строились государственные дома, как в

городе, - трехэтажные, а потом и пятиэтажные. Старые дома рушились, сносились, а новые дома с кировой крышей не строились. Алиаббас-киши был мастером своего дела, и если он однажды заливал крышу киром, то она начинала протекать лет через семь-восемь. В общем, заказчиков становилось все меньше.

Однажды Мирзоппа сказал отцу:

- А ты заливай крыши так, чтобы на следующий год тебя снова вызвали, понял?

Алиаббас-киши не любил читать мораль, он только посмотрел на сына, посмотрел и понял, что Мирзоппа сделан из другого теста, чем он.

Через одиннадцать лет после переселения в Загульбу Алиаббас-киши умер прямо на работе, разогревая котел, и тогда Мирзоппа прицепил отцовский котел к своему автобусу, оттащил его в металлолом (найти охотника на котел уже было невозможно) и, продав за десять рублей семьдесят копеек, купил три бутылки водки и вечером вместе с киномехаником Агагюлем крепко выпил.

Но, само собой, обо всем этом ни Гюльдесте, ни Месмеханум понятия не имели. Мирзоппа увидел Месмеханум в кино, и она ему понравилась. Месмеханум часто ходила в кино, а Мирзоппа часто навещал Агагюля. Киномеханик, увидев, что Мирзоппа из окна его будки разглядывает Месмеханум, подмигнул.

- Дочка Гюльдесте... Хороша штучка, не хуже своей матери!..

Мирзоппа не поддержал такой поворот разговора, а в один прекрасный день вошел в дом Гюльдесте и сам себя просвятил - вот после того сватовства он стал часто заходить к ним.

У Гюльдесте было три причины, по которым она не хотела отказывать Мирзоппе. Во-первых, по мнению Гюльдесте, чем раньше Месмеханум выйдет замуж, тем лучше, потому, что, как говорится, с кем это случилось, тот уже умный. Теперь Гюльдесте не хотела, чтобы взрослая дочь целыми днями бывала дома одна, боялась, как бы дочка не пошла по дурной дорожке. Во-вторых, Мирзоппа не спрашивал Гюльдесте, кто отец Месмеханум, и вообще не заводил об этом разговора. Наконец, была и третья причина, в которой Гюльдесте сама себе не хотела признаваться: за долгие годы она так привыкла жить одна и делать все, что ей хочется, что с тех пор, как дочь вернулась из интерната, Гюльдесте словно заперли в клетке, и она была вынуждена играть с дочерью в прятки: она тосковала, скучала, порою у нее прямо-таки кончик носа чесался от воспоминаний о свободе и воле прежних дней.

Естественно, Месмеханум ничего не знала обо всех этих причинах, она не поняла, как случилось, что этот толстый парень, который с шумом, потеей, пил из блюдечка чай, вдруг оказался ей совсем другим. Тот день был для Месмеханум днем открытий. Месмеханум обнаружила удивительные вещи. Месмеханум открыла, что в течение всего этого времени она, в сущности, жила в этом доме как чужой человек и эти комнаты всегда были для нее чужими и холодными. Правда, Месмеханум очень любила свою мать, но однажды до нее донесся аромат осени, печаль листопада проникла в ее сердце, и она подумала, что проводимая ею в этом доме жизнь пуста, как осеннее утро. Так она подумала - прямо как поэт, сказала она себе, - и тут же решила, что необязательно писать стихи, каждый человек где-то и когда-то бывает поэтом. А самое главное, Месмеханум поняла, что у человека должно быть не два мира, а один мир и надо жить так, чтобы одного мира хватало. Месмеханум поняла это и рассмеялась над тем, как в ее втором мире девушка-сиротка попадала в пургу и ее спасал юноша, похожий на принца.

Так девушка-сиротка и юноша-принц исчезли, как и появились, и теперь по ночам, перед тем как Месмеханум засыпала, в мыслях ее с дальней дороги возвращался автобус, усталый Мирзоппа приходил домой и, вымыв руки, измазанные мазутом, ел приготовленный для него Месмеханум кюфта-бозбаш; в сон Месмеханум пришел запах бензина, ее волшебный сказочный мир спустился с седьмого неба на асфальт, и по этому асфальту покатился из Баку в Загульбу и обратно автобус...

Тогда еще не было известно, что Мирзоппа - пьяница, что он прямо-таки влезает внутрь бутылки с водкой, как не было известно, и то, что всего через два месяца после женитьбы Мирзоппа, напившись до чертиков, среди ночи устроит дома скандал и, вытаращив свои красные глаза, скажет ужасные слова:

- Люди женятся на дочерях замминистров, а я нашел себе бидж...¹

Да, поначалу еще многое не было известно; кто бы, например, мог предполагать, что рано или поздно, но неизбежно снова появится волшебный сказочный мир Месмеханум...

...Синяк на плече Месмеханум будто жег ладонь Мамедаги, и у него заныло сердце: сердцу было так больно, будто умирает самый родной человек или на его долю выпало самое горькое испытание, - Мамедага чувствовал, что пройдет много лет, но он по-прежнему будет ощущать в своей ладони этот жар.

Месмеханум поняла, что сейчас заплачет, но, если бы она сейчас заплакала, она бы всю жизнь себе этого не простила, и потому, глядя прямо в глаза Мамедаги, она быстро сказала:

- Когда он бьет, то всегда по телу, чтобы другим не было видно.

Мамедага молчал.

Месмеханум добавила:

- И рука у него ужасно тяжелая...

Мамедага молчал.

Месмеханум тихо сказала:

- Как будто кирпич...

Слова, которые, она сейчас говорила, падали на Мамедагу словно удары, предназначенные ей. Месмеханум почувствовала, что сердце этого голубоглазого парня - а рука его все еще лежала на ее плече - пылает. Но вдруг ей показалось: а что, если он просто жалеет ее? У нее засверкали глаза.

- Я тоже не остаюсь в долгу, - сказала Месмеханум и, вспомнив, как три дня назад Мирзоппа ревел словно бык, ухватив себя между ног, улыбнулась.

А Мамедага увидел смеющиеся черные глаза девушки, улыбку на ее полных губах - и сердце его оттаяло. Он ласково провел ладонью по ее плечу, по руке, погладил ее черные волосы и Месмеханум всем своим существом отдалась этой руке. Хозяин этой руки может сделать с ней сейчас все, что захочет, и она не станет сопротивляться, не издаст ни звука, потому что его ласковая ладонь перенесла Месмеханум в ее волшебный сказочный мир наяву.

В квартале, где жил Мамедага, был неписанный закон: нельзя заглядываться на жену знакомого, если ты с кем-то сидел и ел за одним столом, то его жена для тебя сестра, и все. Мамедага никогда не нарушал этого закона, но не потому, что закон нельзя нарушать, а потому, что этот неписанный закон был у него в крови и тек по его жилам.

Но в эту удивительную летнюю ночь на морском берегу Загульбы Мамедага совсем позабыл, что на свете есть человек по имени Мирзоппа, а эта беспомощная, эта беседующая с морем девушка - жена Мирзоппы. Сняв руку с черных волос девушки, он молча стоял, он никак не мог поверить в то, что Месмеханум не то что Мирзоппы, а вообще чья бы то ни было «жена». Он знал одно: синяк на плече этой девушки, только что с трудом удержавшейся от слез, - самое подлое дело и самая большая несправедливость, с какой он до сих пор сталкивался в жизни, и Мирзоппа недостоин называться мужчиной.

- Где работает Мирзоппа?

- Раньше он водил автобус до Баку, а потом за пьянство его сняли, и теперь он продает билеты в том же автобусе...

- А Дуду жив?

¹ Бидж - ребенок от неизвестного отца.

- Дуду? Ты и его знал? - Месмеханум, нагнувшись, надела на ноги сандалии. - Давно умер... Я совсем его не видела. Говорят, хороший был парень, умный, воспитанный... - Немного помолчав, Месмеханум нерешительно добавила: - Говорят, после его смерти Мирзоппа начал пить...

Месмеханум нарочно говорила «говорят», - ведь обо всем этом, кроме Мирзоппы, никто ничего ей не говорил. Вообще-то Месмеханум не верила словам Мирзоппы, но его рассказам о Дуду поверила: поверила и в красоту Дуду, и в его ум. Пьяный Мирзоппа частенько вспоминал Дуду и говорил о нем так искренне, что Месмеханум не сомневалась в великих достоинствах юноши, умершего так рано. Мирзоппа, как обычно, выдыхал, густые нары спирта, садился на кровать, снимал носки и, натирая грязь между пальцами ног, рассуждал:

- Если бы Дуду был жив, разве бы я теперь дошел до этого? Разве бы меня сняли с шоферов и поставили бы как женщину продавать в автобусе билеты? Из-за чего я пью? С горя! Он был цветок, единственный в этом мире, и аллах счел его лишним для нас!..

И каждый раз Мирзоппа, вспомнив Дуду, плакал. Эти слова Мирзоппы не были пьяными слезами, Месмеханум это сразу почувствовала: когда Мирзоппа вспоминал о Дуду, на глаза его ложилась тень настоящего страдания, и в такие минуты Месмеханум казалось, что Мирзоппа тоже человек и в груди у него тоже есть сердце. Месмеханум с горечью думала о том, что преждевременная смерть умных и красивых людей, таких, как Дуду, - самое большое несчастье на свете. От этой мысли у нее самой глаза наполнились слезами. Мирзоппа рассказывал, что в свое время они переехали в Загульбу из Баку из-за девушек, девушки не давали покоя Дуду, писали ему письма, бегали за ним, и в один прекрасный день в квартале семнадцатилетняя красавица из-за любви к Дуду покончила с собой, а после их переселения в Загульбу еще одна бакинская красавица восемнадцати лет облила себе лицо кислотой - пусть никому кроме Дуду, не достанется!

Мирзоппа говорил вдохновенно:

- Он был настоящий ученый. Не уснет, если за день не прочтет три толстые книги. Институты спорили между собой, в каком из них ему учиться. Если бы он был жив, то быть бы ему сейчас замминистра! Вот тогда все поняли бы, кто такой я - Мирзоппа! Во все это поверила Месмеханум, как поверила она и тому, что если бы Дуду был жив, может быть, Мирзоппа и в самом деле не был бы таким, каков он теперь.

- Ты знал Дуду, да? - жадно спросила Месмеханум. - Скажи, девушка, которая покончила с собой из-за него, была из вашего квартала?

Конечно, Мамедага знал, что такие дети, как Дуду, долго не живут на свете, но все же, услышав о его смерти, он расстроился, живо представив себе лицо Дуду и его ничего не выражающий взгляд. Мамедага давно понял, что Мирзоппа искренне любил Дуду, а теперь он, возможно, и сам верит в то, что сочиняет для Месмеханум.

- Бедный Дуду... - вот и все, что ответил ей Мамедага.

- Все умрем... - с удивительным равнодушием возразила Месмеханум.

Мамедага улыбнулся: - Но твоя звезда говорила, что Месмеханум никогда не умрет?

- Если бы все зависело от звезды, я бы никогда не умерла, - уверенно ответила девушка и, подняв голову, снова взглянула на свою звезду. - И я никому бы не позволила умереть...

Мамедага подхватил:

- Знаю, что не позволила бы.

- Откуда ты знаешь?

- Знаю, и все.

- А вдруг - наоборот?

- Нет, я знаю, какая ты.

- У меня что, на лбу написано?

Мамедаге, откровенно говоря, казалось, что она вся как на ладони, но он не сказал ей этого.

- Ты боишься умереть? Я ужасно боюсь! – Месмеханум говорила с такой искренностью, что он ответил ей совершенно серьезно:

- Если не будешь думать о смерти, проживешь до ста лет.

- Ну и что? А потом все равно умру... – Месмеханум рассмеялась. - Мне вспомнилась отличная история, рассказать тебе?

- Конечно!

Эту историю рассказала ей Бикебаджи, - тогда Месмеханум только что переехала домой из школы-интерната и Бикебаджи оказалась соседкой, у которой муж погиб на войне, а две дочери уже были замужем, вследствие чего Бикебаджи жила одна в двухкомнатной квартире. Бикебаджи не любила Гюльдесте, но деликатно скрывала это от Месмеханум (Гюльдесте тоже не любила Бикебаджи и нередко говорила: «Эх, мои бы несчастья на ее голову! Как она фасонит, посмотрите. А чем она лучше меня? Подумаешь: дочери удачно вышли замуж! Еще неизвестно, что эти хорошие мужья делают тайком от ее дочерей». Так говорила Гюльдесте, но в душе она хорошо понимала, что до Бикебаджи ей далеко). Когда Гюльдесте бывала в поездках, Бикебаджи иногда приходила к Месмеханум, иногда приглашала девушку к себе домой, и они вместе готовили дюшбере¹, сидели за одним столом и ели, а Бикебаджи все рассказывала да рассказывала без умолку. Однажды зимним вечером, когда они сидели вдвоем и играли в лото, Бикебаджи рассказала вот такую историю:

- Жил-был столетний мужчина. Однажды этот мужчина нес из лесу домой вязанку дров. Ноша была такой тяжелой, что старик едва держался на ногах. Вязанка извела его, терла ему спину, и наконец старик, сбросив дрова на землю, решил позвать Азраила: все равно уже сто лет он прожил на этом свете, хватит, пусть Азраил придет и заберет его. «Азраил! Азраил!».

И вдруг действительно перед стариком возник Азраил и спросил:

«Чего тебе, киши, что ты хочешь?»

Столетний старик, увидев перед собой Азраила, испугался смерти и схитрил:

«Я позвал тебя, чтобы ты помог мне положить на спину эту вязанку...»

...Ступая точно по кромке берега, Месмеханум назидательно заметила:

- Вот видишь, столетний старик, а и он испугался смерти. Жизнь - сладкая...

- О да, конечно, - Мамедага чуть не рассмеялся над многоопытностью этого юного существа.

Месмеханум, опять подняв голову, смотрела на свою едва различимую звезду.

- У тебя много желаний? - вдруг спросила она обернувшись.

- Не считал, - Мамедага улыбнулся.

Но Месмеханум было, видимо, не до шуток - она спрашивала его как самая строгая учительница математики:

- Как это - не считал? Свои желания не знаешь?

- Мало ли какие бывают желания!

- Желания не бывают какие-то. Желание - это желание, да! Если ты хочешь, чтобы всю ночь шел дождь и стучал в окна, - это желание. Если ты хочешь, чтобы на свете никто никому не делал плохо, - это желание. Желание - это желание, большое или малое, все равно! Вот сейчас чего ты хочешь?

- Я?! - Мамедага изумился, но девушка была по-прежнему серьезна.

- Да, ты, и сейчас.

- Сейчас я хочу есть.

- Что? - теперь изумилась Месмеханум.

- Есть!

- А-а-а... - Месмеханум в лунном свете внимательно посмотрела в голубые глаза парня и громко рассмеялась. - Проголодался?

¹ Дюшбере - пельмени по-азербайджански, из свежей баранины

- Помираю с голоду... - Мамедаге показалось, что смех девушки, как весенний дождик, разнес вокруг чистоту и прохладу. Словно внезапно разрешилась ливнем черная туча, в течение минуты все омыла - и этот песчаный берег Загульбы, и море, и апшеронское небо с луной и звездами, и всю эту засверкавшую свежестью красоту заново увидел Мамедага и изумился. Вдруг он почувствовал себя так, словно вернулись времена, когда он пускал воздушного змея с крыши, на сердце нет забот, а на всей земле под этим апшеронским небом с луной и звездами, рядом с морем, на песчаном берегу Загульбы есть только, они двое, всего два человека на всей земле, и одного зовут Мамедагой, а другую - Месмеханум.

- Знаешь, я тоже проголодалась.

Еще утром, по дороге в Загульбу, в Бильгя Мамедага купил тендирный¹ хлеб, который в Бильгя бывал особенно хорош. Сейчас в фургоне осталось всего понемногу: хлеба, винограда и сыра. С собой в дорогу Мамедага никогда не брал ни колбасы, ни сосисок, ни консервов, только натуральную еду: масло, сыр, зелень, овощи, фрукты. В горах милиционера Сафара на каждом шагу попадались родники, а на дорогах Апшерона - шашлычные, и иногда, если и хотелось, Мамедага останавливал машину возле какой-нибудь шашлычной и, хорошенько вымыв руки, усаживался - летом на открытой веранде, а осенью или зимой - перед окном, чтобы съесть два-три шампура шашлыка из грудинки с тендирным хлебом - чуреком. Работники придорожных шашлычных знали всех своих постоянных клиентов, большей частью шоферов грузовых машин, знали они и Мамедагу. Когда не было свежего мяса, они предупреждали его и пиво даже не предлагали, только «Бадам-лы», если оно имелось, - Мамедага за рулем не пил ничего иного, кроме воды или чая, а в другое время это зависело от места и настроения. Например, в воскресные дни, выйдя из Желтой бани, приятно выпить одну-две кружки пива с соленым горохом перед пивным киоском Лсадуллы в верхней части квартала. Сакнна-хала беспокоилась: «Выйдя из бани, холодное не пьют, сынок, ангиной заболеешь». На что Мамедага отвечал: «Не бойся мама, ничего не случится», но в следующий раз после Желтой бани кружку «гвардейского» пива Асадуллы сменял бархатистый чай Сакины-хала.

...Мамедага сказал:

- Виноград, сыр, хлеб - устраивают? Месмеханум сказала:

- Виноград, сыр, хлеб - устраивают!

Она посмотрела на алюминиевый фургон, одиноко сверкавший серебром в лунном свете, и издалека почувствовала все его белое одиночество в этом мире. Но для нее свет алюминиевого фургона означал как раз конец ее одиночества. Месмеханум понимала, что уже за полночь и ей надо уходить домой, потому что у нее есть свой дом, и есть муж, и посреди ночи ей здесь делать нечего, - все это она понимала, конечно, но все это сейчас не имело значения, потому что сейчас на земле их было всего двое, - она, по имени Месмеханум и он - Мамедага, хозяин больших теплых рук и голубых глаз.

Само собой, Месмеханум и Мамедага не знали ничего о том, что думал про себя каждый из них, но в эту удивительную летнюю ночь оба они часто думали об одном и том же.

Когда Мамедага и Месмеханум вошли в фургон, свет двухсотваттной электрической лампы ослепил их, и Месмеханум оказалось, что развешанные на стене деревянные зайцы, деревянная лиса, медведь, лев и неведомый зверь весело смеются. Над чем же они смеялись? Над Месмеханум? Над Мамедагой? Или над этой ночью? Может быть, их развеселило, как ни оба внезапно проголодались, и сейчас они сквозь смех говорили: «Эй, Месмеханум, Мамедага, вы - дети земли, вы испытываете голод, так потрудитесь спуститься с неба на землю!»

¹ Тендир - особая печь для выпечки хлеба.

Мамедага, перемахнув через стойку тира, открыл дверцу маленькой тумбочки, над которой стоял радиоприемник «Араз», и вытащил завернутые в газету хлеб, сыр, виноград.

Глядя на склонившегося перед маленькой тумбочкой Мамедагу, Месмеханум подумала, что всю эту ночь до утра она бы раскатывала тесто и готовила бы для этого парня дюшбере и кутабы, а этот парень, с удовольствием поедая ее дюшбере и кутабы, считал бы себя самым счастливым человеком на свете! Давно, уже очень давно Месмеханум не мечтала о том, чтобы приготовить что-нибудь для кого-нибудь, давно уже ей было безразлично, что ест она сама, но иногда по ночам, перед тем как заснуть, в ее волшебном сказочном мире совершенно другая девушка по имени Месмеханум из мяса молочного барашка, только что зарезанного мясником Мирзой, готовила для кого-то плов с говурмой, каштанами и альбухарой, поджаривала и верблюжьего мяса кутабы с гранатами, варила халву с кунжутом...

Мамедага поставил все, что было, на стойку, перенес на противоположную сторону стойки деревянный табурет с лоскутной подушечкой и сказал:

- Садись. Есть такая поговорка: «Кто отдает все, что есть, тому не стыдно».

- Я знаю другую: «Незванный гость ест из своего мешка».

- А ты разве гость? - Мамедага совершенно искренне удивился, и он был прав: разве Месмеханум - гость в этом фургоне?

Мамедага, развернув газету, аккуратно расстелил ее на стойке, разложил виноград, сыр, хотел разрезать хлеб пополам, и тут обнаружилось, что тонкий тендирный хлеб, весь день пролежавший в тумбочке, засох.

- Твердым стал хлеб.

- Ничего.

- Хочешь, подогреем?

- Да, подогреем! - У Месмеханум тотчас заблестели глаза. - Пусть появится аромат хлеба!..

Раньше, отправляясь в путь, Мамедага брал с собой маленькую электрическую плитку, от аккумулятора он сделал внутри фургона проводку и иногда заваривал себе чай или жарил яичницу. Но однажды он с этим покончил раз и навсегда, потому что решил: тир - не кухня, в тире не должно пахнуть плиткой, маслом, чаем. Правда, аромат хорошо заваренного чая порою очень приятен, особенно безлюдной ночью в каком-нибудь апшеронском селе, в этом аромате были уют и теплота, но что делать, тир - не дом, тир - это тир.

- Ты посиди, а я на берегу разожгу костер, подогрею хлеб и принесу.

- Да, разведи костер! Пусть смешается аромат хлеба с запахом костра! Я пойду с тобой, зачем мне сидеть здесь.

- Ладно, пошли, - Мамедага улыбнулся.

- Знаешь, хорошо разводить костер, слушать его треск, глядеть в его пламя, играть со своей тенью... Он и в море отразится, и там в воде, запыхает... Только потом грустно заливать угли водой, правда?

- Да, это верно... - Мамедага вспомнил, что в детстве, разведя костер прямо перед Узким тупиком, они прыгали через него и тоже считали, что на свете нет ничего лучше, но им тоже было не по себе, когда после приходилось заливать водой угли, которые шипят как живые.

- Ты Янаргай знаешь? - спросила Месмеханум с новым блеском в глазах.

- Янаргай? Нет...

- Даже не слышал?

- Нет.

- Пошли! - И в мгновение ока Месмеханум отобрала у Мамедаги приготовленный им сверток с виноградом, сыром, хлебом.

- Куда?

Месмеханум сунула под мышку сверток и сказала:

- Иди за мной.

И Мамедага понял, что девушка, останавливающая ветер, и на этот раз зовет его не в простое место, потому что - и это само собой разумеется - эта девушка сама была не простым человеком, как и эта ночь была не простой ночью, и вообще этой ночью все в мире было не простым; Мамедага пошел за Месмеханум, но она внезапно остановилась в дверях фургона, обернулась и, глядя на деревянного зайца, сказала:

- В него стрелять нельзя.

- Почему? - Мамедага тоже посмотрел на деревянного зайца.

- Такой красивый смешной зайчик... Зачем же в него пулей?..

- А его пуля не берет! К тому же, - если выстрелить хороню, из него другой заяц вылезает.

- Ну да! - Месмеханум, недоверчиво улыбнувшись, смотрела то на Мамедагу, то на зайца.

- Хочешь, выстрели и посмотри.

- Я? Я в жизни не стреляла...

- Не стреляла, а теперь выстрелишь. Иди сюда.

Месмеханум положила сверток на табуретку, а Мамедага взял с маленького четырехугольного столика перед стойкой одну из разложенных там винтовок; он одинаково следил за всеми винтовками, и все они - старые и новые - были в полном порядке. Засунув в ствол железную пулю с щеточкой, Мамедага объяснил:

- Видишь красную точку? Целься в нее.

- Я не умею целиться...

- А сейчас ты отлично выстрелишь.

Месмеханум взяла винтовку; прищурив один глаз, посмотрела на деревянного зайца, и заяц начал плясать под ее взглядом туда-сюда...

- Нет, не могу...

Левой рукой ухватив приклад ружья, Мамедага правую протянул вперед поверх ее плеча, положил палец на ее палец на курке и, прижавшись щекой к волосам Месмеханум, прицелился. От черных волос Месмеханум шел удивительный запах. Руками и грудью Мамедага ощущал спину девушки, ее плечи, шею; в этом ощущении было что-то такое, будто он своими руками, своей грудью хотел прикрыть обнаженные руки девушки, ее плечи, как будто ее надо было защищать от кого-то и как будто Мамедага хотел принять на себя удары, готовые обрушиться на кажущееся таким беспомощным, таким беззащитным телом. Сейчас ему казалось, что это тело, это существо в его сильных руках - тело ребенка, существо ребенка, но его правое запястье коснулось груди девушки. Мамедага ощутил округлость, твердость этой груди и вместе с пальцем Месмеханум нажал на курок.

Увидев, как деревянный заяц упал направо, а появившийся из-за него второй заяц упал налево, Месмеханум обрадованно закричала:

- Ура-а! - и, обернувшись, посмотрела снизу вверх в эти голубые глаза. Она впервые видела их так близко, дыхание этого парня опалило ей лицо, и девушка захотела поцеловать его - захотела и поцеловала, вот такая была Месмеханум...

...Чтобы не скучать одной в квартире, Бикебаджи иногда сдавала комнату, чаще всего молодым девушкам, приезжавшим в Загульбу работать. Но девушки снимали комнату на один-два месяца, а потом убегали обратно в Баку или получали от государства квартиру. Когда Месмеханум училась в девятом классе, у Бикебаджи на квартире жила девушка по имени Гюльзар, - она окончила в Баку библиотечный техникум и получила назначение в загульбинскую библиотеку.

Однажды в полночь Месмеханум мыла на кухне посуду. Все давно спали, только окно Месмеханум светилось. В этот день Месмеханум, посмотрев двухсерийный арабский

фильм, вернулась поздно. Фильм произвел такое впечатление, что после возвращения домой Месмеханум долго не могла прийти в себя.

Эта была история из жизни летчика Ахмеда. У Ахмеда была красивая возлюбленная - Хабиба. Уже была назначена их свадьба и приглашены гости. Однако врач Махмуд, который тоже любил Хабибу, в день свадьбы вывел из строя какие-то приборы в самолете Ахмеда и Ахмед потерпел аварию. Часть лица у него обгорела; Ахмед попал в больницу, но Хабибе ничего не сообщил: он не хотел показаться ей с таким уродливым лицом! Хабиба же думала, что Ахмед изменил ей, бросил ее. Доктор Махмуд пытается силой овладеть ею, но Хабиба выбегает на улицу, бежит по городу, чуть не сходит с ума, попадает в руки воров и картежников... Вдруг Хабиба приходит в себя. Она узнает подробности аварии, происшедшей с Ахмедом, и на дальнем курорте разыскивает укрывшегося от всех героя. После долгой разлуки они обнимают друг друга и целуются. Доктор Махмуд раскаивается в своих поступках и плачет горькими слезами. Он лечит Ахмеда, летчик становится красивым, как прежде. Ахмед и Хабиба играют свадьбу, они счастливы. Доктор Махмуд в финале фильма плачет от радости.

Моя грязные тарелки, Месмеханум продолжала думать об Ахмеди и Хабибе со слезами на глазах. Все влюбленные должны любить друг друга, как Ахмед и Хабиба, думала Месмеханум, и тогда доктора Махмуды обязательно расскаются. Внезапно Месмеханум что-то показалось и, высунувшись из окна, она увидела, как у подъезда целуются парень с девушкой. Это была Гюльзар.

Месмеханум впервые в жизни видела, как парень и девушка обнимаются и целуются не в шутку, а всерьез, не подозревая, что кто-нибудь их увидит в этот поздний час.

Каждую ночь Гюльзар целовалась с этим парнем, прислонившись к косяку двери, и каждую ночь Месмеханум, спрятавшись перед окном кухни, поджидала их. Месмеханум не знала этого парня, он, видимо, тоже был приезжий. Она слышала его мягкий голос, идущий, казалось, прямо из сердца; Месмеханум не разбирала слов, но видела, что сначала парень что-то ласково говорит Гюльзар, а потом они целуются. Гюльзар первой целовала парня, она не ждала, когда он кончит говорить, прерывала его на полуслове. Напоследок Гюльзар целовала его, крепко прижимая к своей груди, после чего поднималась домой, а парень еще некоторое время стоял во дворе и смотрел на окно Бнкебаджи.

Месмеханум каждую ночь подглядывала за ними, а потом» засыпая, слушала, как уже ей самой какой-то парень говорил тем же мягким голосом, идущим прямо из сердца, какие-то ласковые слова. И опять Месмеханум не понимала значения этих слов, но все равно они теплом разливались по всему ее телу - и она засыпала.

Но однажды ночью Месмеханум напрасно ждала их, сидя перед своим кухонным окном. Они не пришли, чтобы, как всегда, прислониться к двери. В следующую ночь Месмеханум видела этого парня - он одиноко стоял у входа во двор и смотрел на окно Бикебаджи. На третью ночь парень не пришел, и в четвертую ночь... Месмеханум решила было, что теперь эта дверь обречена навеки стоять всю ночь без влюбленных, но на пятую Месмеханум вновь услышала знакомые голоса и тайком из кухонного окна посмотрела вниз в темноте она тотчас узнала Гюльзар, но сразу же поняла, что парень, с которым в этот раз обнималась и целовалась Гюльзар, - это уже другой парень.

Правда, Гюльзар и этого парня целовала, как того, но у Месмеханум вдруг сжалось сердце, и она ушла от окна и села на свою кровать, уставившись глазами в пол: в мире существовала неверность! Слезы упали к ее ногам, и Месмеханум больше никогда не ждала Гюльзар, стоя у окна.

Дни прошли, и месяцы пролетели, но известно, что каждой девушке предназначен свой парень, и на долю Месмеханум выпал Мирзоппа. А потом снова прошли годы, и Месмеханум теперь уже не могла бы припомнить, когда она в последний раз целовала Мирзоппу и когда Мирзоппа: в последний раз целовал ее, и этого она не могла вспомнить.

Водка отбила у Мирзоппы всякую охоту до любви, но, скрывая свою слабость, Мирзоппа упрекал жену:

- Ты бесплодна!. Не рожает! - будто бы поэтому неделями не подходил к ней. Иногда, дыша алкоголем, он все же хватал Месмеханум, но тут уже не было речи ни о поцелуях, ни о ласках.

А детей по-прежнему не было, и однажды Месмеханум пошла к врачу, которого все хвалили. Месропян, осмотрев ее, попросил, чтобы и муж пришел на обследование. Вечером Месмеханум сказал Мирзоппе:

- Сходи завтра к Месропяну.

Мирзоппа подумал было, что Месропян этот из милиции, и, значит, опять его вызывают туда. Вытаращив покрасневшие от водки глаза, он спросил:

- Это какой Месропян?

- Доктора Месропяна знаешь?

- А какого черта мне делать у доктора?!

- Пусть посмотрит тебя - надо же узнать, почему у нас нет детей!

Мирзоппа не поверил своим ушам:

- Что?! Я пойду, разденусь перед Месропяном и скажу ему: осмотри меня - где?! Свой стыд на меня валишь?

И в тот день у них в доме снова был скандал, но соседи уже привыкли к их семейной жизни.

...Месмеханум со свертком под мышкой вышла из фургона.

Все еще ощущая на своем подбородке прохладные, сухие, полные губы Месмеханум, Мамедага поплелся вслед за девушкой.

Месмеханум, подняв руку, показала на скалы:

- Туда пойдем.

Месмеханум быстро шла по камням, ни разу не оступившись; не споткнувшись, точно зная здесь каждую яму, каждую расщелину. Она спешила, как будто боялась наступления утра.

На Апшероне не было такой асфальтированной дороги, которую бы Мамедага не знал, но за много лет он впервые шел по камням. Он не ведал, куда они идут, но мысли его были заняты другим: Мамедага с трудом удерживался от того, чтобы, подобно юноше, у которого еще не наметились усы, не погладить рукой то место на подбородке, которого коснулись прохладные, сухие, полные губы Месмеханум.

Обернувшись назад, Месмеханум улыбнулась и сказала:

- Уже скоро, потерпи.

Впадины между камнями заполняла теплая вода, и все было покрыто мхом.

- Здесь скользко, иди осторожно...

- Не бойся...

Когда они снова, спустившись со скал, вышли на песок, море уже было далеко от них. А вокруг все было совершенно голо, все казалось серым в лунном свете, не было ни куста, ни деревца. Они прошли мимо совсем маленького озерца, но в эту удивительную летнюю ночь Большая Медведица и все прочие звезды апшеронского неба легко уместились на поверхности этого маленького озерца.

Остановившись, Месмеханум, словно опытный гид этих мест, сказала:

- Это Соленое озеро.

- Почему?

- Во время войны жители добывали здесь соль. Говорят, хорошую.

Казалось, будто от серебряного в лунном свете фургона они ушли не на какие-нибудь три-четыре километра, а на другой конец земли, и если кто и знал об этом месте, то это была Месмеханум. И вдруг родной Баку и их квартал показались Мамедаге такими далекими, что теперь он и представить не мог, как это всего через несколько часов он вернется к своей жизни и сидя дома, станет пить чай, приготовленный мамой, а выйдя к

Узкому тупику, беседовать с парнями, - неужели обычное войдет в свои права, а эта удивительная летняя ночь и водившая его по побережью Месмеханум уйдут в мир бесплотных воспоминаний?

- Слышишь, как лягушки квакают? - спросила Месмеханум.

Лягушки квакали очень громко, и это наглое кваканье лягушек под тихий далекий гул моря заставило сердце Мамедаги сжаться в предчувствии одиночества. Схватив девушку за руку, он сказал:

- Месме... - и сам удивился своему голосу. Он удивился тому, что его голос прозвучал на берегу этого Соленого озера, сквозь нестройное кваканье лягушек и далекое дыхание моря. Впрочем, самым удивительным было то, что девушку, беседующую с морем и останавливающую ветер, он назвал так просто: Месме...

Месмеханум отняла у него свою руку, приложила палец к губам и сказала:

- Тс-с-с... -И прошептала: - Здесь шуметь нельзя...

Конечно, на берегу Соленого озера можно было шуметь и даже петь можно было, только Месмеханум - и понять это было не так уж трудно - не хотела слушать того, что он скажет. Правда, сам Мамедага не знал, что он хотел сказать, он знал одно: он что-то скажет, и его голос рядом с этим лягушачьим кваканьем и шорохом далекого моря некоторое время будет звучать на берегу Соленого озера.

И Мамедага не понял, что Месмеханум сейчас боится, что слова, которые произнесет на берегу Соленого озера Мамедага, превратят эту удивительную летнюю ночь в ее полную противоположность и волшебный сказочный мир мгновенно уйдет.

Только сейчас, спускаясь со скал на серый песок, Месмеханум почувствовала, что до утра остается мало. Ночь заканчивается, а утром снова, надев бязевую куртку, она встанет за весы в помидорном киоске. Она вспомнила, что Мирзоппа сейчас спит в отделении милиции и его опять посадят минимум на пятнадцать суток, если только на этот раз милиционер Сафар не обозлился всерьез, а тогда и дело может стать серьезным.

И вдруг в тот момент, когда она подумала о Мирзоппе, ей показалось, что Мирзоппа - чужой, из чужого далекого мира, он не имеет ничего общего с ее миром, и неправда, будто она-столько лет прожила с Мирзоппой, будто все эти годы она была женой Мирзоппы, а он ее мужем и они клали головы на одну подушку. А пьянство Мирзоппы и его скандалы, всю его мужскую грубость она увидела теперь в свете этой удивительной летней ночи как нечто мелкое, ничтожное, бессмысленное и главное, недостойное мужчины. Она сердцем поняла, что за одну эту ночь перестала быть прежней Месмеханум, хотя имя ее не изменилось, как и лицо, и фигура, и это было хорошо, потому что и лицо, и имя, и фигура, как ни странно, больше соответствовали этой новой Месмеханум, чем прежней. Когда Мамедага взял ее за руку и назвал просто Месме... Месмеханум-охватил страх, что весь ее новый и только что родившийся и хрупкий мир, которым она втайне наслаждалась, рассыплется в прах, обернется чужим и далеким миром, - а зачем, ведь утро еще не наступало, еще оставалось какое-то время до беспощадного утра.

И Месмеханум прошептала:

- Ты устал?

И Мамедага ответил ей шепотом:

- Нет...

- Иди, уже скоро...

После Соленого озера, увязая по щиколотку в песке, они преодолели подъем и снова взобрались на скалы. Это были те же самые скалы, но с другой судьбой. Те скалы, что остались позади, на морском берегу, мечтали, превратившись в легкие лодки, уплыть в море, лизавшее им ноги. Но эти скалы никогда не смогут уплыть в море, которое так далеко отступило от них. Эти скалы останутся на своем месте до тех пор, пока они - скалы, пока ветер и дождь не обратит их в пыль, в ничто. А когда-то, наверное, и здесь

тоже плескалось море, и они тоже могли мечтать о том, чтобы, превратившись в легкие лодки, куда-нибудь уплыть.

Мамедага знал, что Каспий мелеет. Алхасбек из их квартала, сидя на деревянном табурете и глядя в газеты сквозь толстые стекла очков, говорил, что ученые сейчас занимаются этим вопросом. Каспий мелел, а это означало, что через тысячу лет море так далеко уйдет от нижних скал, что они тоже не смогут никуда уплыть. Но все это если и будет, то через тысячу лет, а тысяча лет дышит на человека вечностью, в сравнении с которой человеческая жизнь совершенно ничтожна. Так подумал Мамедага и испугался: а вдруг и Месмеханум сейчас почувствует ничтожность нашей жизни и ее хрупкое сердце не выдержит испытания бездной?

Его туфли были полны песка. Прислонившись к скале, он снял их и вытряхнул. Месмеханум, обернувшись, рассмеялась:

- Уже совсем скоро, потерпи...

Сама Месмеханум, пользуясь тем, что в этом месте камни лежат на близком расстоянии друг от друга, перескакивала, как горная козочка, с одного камня на другой, убегая вперед.

И вдруг Мамедаге показалось, будто прямо перед ними, у подножия песчаного холма, восходит солнце, - словно не на всем Апшероне, а только здесь, у подножия этого песчаного холма.

И Месмеханум сказала:

- Пришли.

Мамедага сразу заметил большую монолитную скалу, испещренную будто бы нормами ящериц, однако из них струились язычки синеватого пламени, как если бы в скале провели газовые трубы и спичкой зажгли все эти «конфорки», и этот свет показался Мамедаге светом восходящего солнца. Глядя на огромную монолитную скалу, горевшую множеством синеватых язычков, Мамедага снова почувствовал себя не в четырех-пяти километрах от фургона с привычной надписью «Пневматический тир», а в каком-то неправдоподобном мире, и хозяйка этого полного чудес мира - Месмеханум, в синеватом свете Янаргая задумавшаяся о чем-то Месмеханум.

Но Мамедага некстати вспомнил, что на плече хозяйки этого волшебного мира синяк, что подбородок ему холодит прикосновение ее нежных, сухих, полных губ, и ему показалось, будто он в самолете, а самолет падает, и сердце Мамедаги хочет вырваться из груди.

- Ты слышишь эти звуки? - спросила Месмеханум.

Мамедага услышал странные звуки, как только увидел «солнце» у подножия песчаного холма.

- А знаешь, что это такое?

- Нет.

- Летучая мышь. Пугается света Янаргая и поднимает крик...

Некоторое время они помолчали, стоя перед Янаргаем, - неизвестно, что видела Месмеханум, а Мамедага видел теперь только Месмеханум.

- За всю жизнь не привыкла к Янаргаю?

- К Янаргаю нельзя привыкнуть...

Опять помолчали.

Мамедага спросил:

- Ты часто сюда приходишь?

Месмеханум ответила:

- Иногда.

Мамедага спросил:

- Одна?

Месмеханум обернулась удивленная, и Мамедага поразился своему идиотскому вопросу: конечно же Месмеханум приходила сюда одна, это был ее мир, и никого не было

у Месмеханум, с кем бы она могла прийти сюда, - и в этот свой одинокий мир она ввела его.

- Уедем в Баку!

Эти слова прозвучали так, будто их произнес не Мамедага, а скала Янаргай, их повторили тут же со всех сторон, и все, что было вокруг, заговорило: уезжай, Месмеханум, уезжай, нечего тебе здесь делать одной!

Но Месмеханум молча смотрела на Мамедагу.

- Ты слышишь меня? Поедем со мной в Баку!

Голос Мамедаги прозвучал теперь слишком громко для этих мест. Месмеханум отвернулась и, глядя в огни Янаргая, резко ответила:

- Из меня Тамиллы не выйдет...

Летучие мыши, услышав человеческие голоса, зашумели и закричали сильнее, но Мамедага слышал в их галденье тревожный стук - стук своего сердца. Он растерялся.

Иногда человек не знает, что надо сказать и что сделать, тому что ему кажется, что любое его слово и движение - лишние, да и сам он лишний на этом свете, ненужное и бесполезное существо; и тогда человек становится - сам себе противен,- так чувствовал себя сейчас Мамедага, стоя перед Янаргаем и не понимая, зачем он вообще родился на этот свет.

А Месмеханум рассмеялась:

- И ты тоже немного бебе... Иди сюда, сядь на этот камень, а я разогрею хлеб! Увидишь, какой будет аромат!.. Садись.

На маленьком камне Месмеханум развернула газету, аккуратно разложив на ней сыр и виноград, а хлеб положила на край поближе к Янаргаю, и в эту странную летнюю ночь вокруг Янаргая разнесся аромат подогреваемого на огне хлеба. И этот распространившийся вокруг них запах хлеба изменил настроение Мамедаги. Он посмотрел на Месмеханум, присевшую на корточки около Янаргая и переворачивающую на огне тендирный чурек, взглянул в бесчисленные огненные глаза Янаргая, поднял лицо к небу Апшерона, где светло сияли луна и звезды, и подумал, что мир велик и прекрасен, и почему бы человеку не радоваться этому прекрасному миру, почему не быть всегда в отличном расположении духа? А если в мире есть еще и девушка по имени Месмеханум, чьи прохладные сухие и полные губы касаются твоего подбородка, тогда почему бы не считать себя первым счастливецом на земле? И если ты честный человек, который никому не изменил, а в руках у тебя сила и ты крепко стоишь на земле, то все у тебя в жизни должно быть просто и ясно и все, чего ты желаешь, должно исполниться, - почему бы и нет?

И Мамедага взглядом нашел едва различимую среди всех звезд звезду Месмеханум, и Месмеханум, перекидывая с руки на руку нагретый Янаргаем хлеб, тоже посмотрела на свою звезду. Мамедага спросил:

- Твоя звезда ничего не говорит тебе?

- Говорит.

В синеватом свете Янаргая голубые глаза Мамедаги казались еще больше, и Месмеханум сказала:

-Сказать тебе, о чем она говорит?

- Да, скажи.

- Она говорит: Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой...

...Сколько раз аромат поджаренного хлеба разносился во все стороны Янаргая, свидетелем скольких таких ночей был Янаргай - этого не знали и не могли знать ни Мамедага, ни Месмеханум. А может быть, не только хлеб жарили здесь, - могло быть и так, что тысячу лет назад, в то время, когда здесь было море, а человек еще был рабом, а не победителем природы, он жарил на огнях этой скалы мясо, добытое на охоте.

...Понемногу светало. Отсюда конечно, не увидеть, как солнце поднимается из моря, но, когда оно поднимется, его лучи рассеют тьму и вокруг Янаргая, и всюду.

Сидя на обломке скалы, Месмеханум всматривалась в загоревшее и даже почерневшее на дорогах Апшерона лицо Мамедаги, жующего теплый хлеб с сыром и виноградом, как будто старалась запомнить навсегда черты его лица, его улыбку, выражение глаз. Янаргай - это не костер, в эту странную летнюю ночь она разожгла этот костер для Мамедаги. Ей казалось, что и хлеб она сама замесила и испекла, и виноград сама вырастила и собрала, и сыр сама заквасила, и все это она сделала для того, чтобы в один прекрасный день голубоглазый парень, присев на этот камень, со вкусом поел этот виноград, сыр и хлеб - а вернее, в ту ночь, когда царственная птица, пролетев, накрыла Месмеханум своей тенью. Жаль только, что век тени очень короток. Сейчас в свете Янаргая на песок падали тени Месмеханум и Мамедаги, но скоро наступит утро, и тень царственной птицы исчезнет, как и обе их тени. Печаль проникла в самую глубину ее сердца, куда не доходил аромат подогретого на Янаргае хлеба, и жаль, что печаль пришла тогда, когда еще оставалось немного времени до наступления утра. И еще хуже было то, что Месмеханум хорошо знала: если печаль пропитана вот таким запахом горячего хлеба, перенести ее будет особенно трудно.

Месмеханум представила, как сейчас на морском берегу Загульбы стоит алюминиевый фургон, и все еще серебрится в рассветных сумерках, и чувствует себя таким одиноким на пустынном берегу, и не понимает, что на свете есть девушка по имени Месмеханум, а у этой Месмеханум есть на небе звезда, и эта звезда смотрит с неба на этот фургон и отныне будет всегда смотреть на него - и ночью, и днем, всегда и везде, где бы ни оказался этот алюминиевый фургон.

От огней Янаргая было жарко, у Мамедаги на лбу и на носу выступили капельки пота.

- Жарко тебе? - спросила Месмеханум.

- Да, немного.

- Хорошо бы сейчас дождь пошел, правда? Хочешь, я вызову дождь?

- Нет.

- Испугался, что не смогу? - Месмеханум резко рассмеялась, и этот смех бросил тень на ее и без того черные глаза, но эта тень уже не была тенью царственной птицы. - Не веришь...

...Чайчи Газанфар, как обычно придя в чайхану рано утром, разжег огонь в большом самоваре и теперь, усевшись по-турецки на паласе, постеленном на деревянном полу, колот топориком головку сахара. Изредка поднимая голову, он поглядывал на асфальтовое шоссе, ведущее в Баку, и когда увидел на этой до-Роге алюминиевый фургон-тир, сверкавший в солнечном свете, то с удовлетворением подумал, что сегодня все его постоянные клиенты вернутся к нему.

...Старший сын тетушки Ханум, Абульфаз, работал садовником в Бина, там же был и его дом. И тетушка Ханум, нарвав в своем дворе в Бузовнах инжира, винограда, гранат и айвы, везет все это в Бина. Абульфаз говорил ей: «Зачем ты, ай арвад везла такую тяжесть? Видишь, сколько у меня инжира-винограда?» А Ханум-гары отвечала: «Эти плоды с деревьев, посаженных твоим отцом и дедом. Вкус их должен быть особым для тебя. И для тебя, и для твоих детей».

Ханум-гары отправлялась в Бина рано утром, чтобы застать сына дома. Стоя в Бузовнах у шоссе, она дожидалась автобуса, едущего в Баку. Известно, что на апшеронских дорогах водители проявляют уважение к старым людям, и маршрутные автобусы останавливались перед Ханум-гары, она садилась, а потом просила остановить так, чтобы выйти, где надо. Когда на этот раз рядом с ней остановилась большая машина, старуха удивилась:

- А-а-а... Это что за машина? Холодильник?

Но это был не рефрижератор, это был алюминиевый фургон Мамедаги, и на бортах его разноцветные буквы складывались в слова «Пневматический тир».

Открыв дверцу кабинки, Мамедага сказал:

- Это не холодильник, ай хала, а куда тебе надо?

- Я еду в Бина. Показалось, что автобус, вот и махнула рукой.

-Садись.

Все-таки Ханум-гары сначала внимательно оглядела фургон, потом, видимо, решила, что в такой большой машине можно ехать спокойно, и, подняв плетеную корзинку, полную инжира, попыталась взобраться в кабину, но ступенька была слишком высока для нее, и попытка Ханум-гары оказалась безуспешной. Тогда Мамедага, спустившись на дорогу, помог ей. Когда фургон тронулся в путь, Ханум-гары, втягивая щеки и приводя в порядок искусственные зубы во рту, сказала:

- Молодость моя прошла в этих местах, как ястреб, отсюда влетела, оттуда вылетела. А теперь в божью машину сесть не могу... Правильно сказано, валлахи, что, хотя все смотрят на время, время ни на кого не смотрит.

В переднем зеркале Мамедага разглядывал выпцветшие маленькие глаза этой старухи, ее сморщенное лицо, выбивающиеся из-под черного келаяга и красные от хны седые волосы - и вдруг подумал, что, может быть, было время, когда и эта старуха беседовала с морем и, может быть, тоже разогревала для кого-то хлеб на Янаргае? Мамедага подумал об этом с болью в сердце: годы пролетят, как птицы, и эта удивительная летняя ночь на пустынном берегу Загульбы станет засохшим, как цветок, воспоминанием.

Но неужели все действительно так и будет?!

Сын Самедуллы Фазиль учился в университете на физическом факультете. Раньше большинство детей в квартале, где жил Мамедага, мечтали стать шоферами и, вырастая, осуществляли свою мечту. Помимо шоферов в моде были специальности зубного техника и сапожника. Но теперь, времена изменились, квартальные ребята, окончив школы, поступали в институт и становились кто врачом, кто инженером, а сын продавца бензина Мейрангулу - Алигулу стал поэтом и писал стихи, как Маяковский, «лестницей»... Алхасбек, поставив деревянный табурет на тротуар возле своего дома, садился и, нацепив очки с толстыми стеклами, читал в газетах стихи Алигулу и приговаривал: «Молодец! Берикаллах!»

Так вот, Фазиль этим летом закончил третий курс и говорил иногда такие странные вещи, что ни у кого в квартале не оставалось сомнений в том, что Фазиль в будущем станет великим ученым. Фазиль рассказывал: на ровном месте перед куском железа устраивают разные преграды, вроде лабиринта, а за ним устанавливают магнит, и кусок железа начинает двигаться к магниту, но, задевая преграды, останавливается: и так повторяется и раз, и два раза, и три, и четыре, но на пятый кусок железа, как бы прозрев, находит путь между преградами и добирается до магнита.

Мамедага вспомнил этот разговор с Фазилем и подумал, что кусок железа - это всего лишь кусок железа, но и он находит путь к своему магниту. Подумав так, он прибавил газу и пожелал, чтобы в ближайшие дни в Загульбе дула только моряна.

А Ханум-гары все еще ворчала по поводу своего возраста, глядя на убегающую под колеса асфальтированную дорогу, и вдруг подумала, что эта машина идет мягче автобуса.

...В овощной ларек с утра завезли свежие помидоры, и перед ним собралось много народу. Надевшая белую бязевую куртку продавщица набирала помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы, высыпала овощи в сумки покупателей.

Милиционер Сафар, медленными шагами приблизившись к киоску, посмотрел на поставленные друг на друга помидорные ящики и подумал, что в этом году отличный урожай овощей и Фруктов. Милиционер Сафар подумал и о том, что никакие помидоры на свете не сравнятся с апшеронскими, что бы ни говорили, даже помидоры из его родных мест.

Милиционер Сафар по обыкновению начистил свои форменные металлические пуговицы зубным порошком, и теперь на кителе и на фуражке пуговицы сверкали, посылая лучи во все стороны.

Милиционер Сафар подошел к весам и, протянув руку, взял из ящика помидор, оглядел его со всех сторон и, как бы разговаривая с самим собою, тихо сказал:

- Жаль мне тебя, и я не стал оформлять рапорт... Минимум два года получил бы. Но пятнадцать суток опять просидит... - И очень напрасно. Не делай мне одолжений.

Милиционер Сафар, снова повертев помидор в разные стороны, сказал:

- Не считай это одолжением. - И, немного смущаясь, добавил: - Пока молодая, подумай о себе, потом будет поздно... Не человек он... Нет!

«Собака он, собака!» - но эти слова милиционер Сафар произнес не вслух, а про себя. И, положив наконец помидор обратно в ящик, пошел от овощного ларька.

Продавщица, накладывая помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы. Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой царственной птицы упала на девушку в белой бязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры.

СМОКОВНИЦА

1

Так-так... Ну, смелее! Вот это да! Вах! Девчонка-то ведь еще школьница! Ах, чтоб тебе! Да и парень вроде еще ребенок! Ничего себе ребенок! Когда же они целоваться-то научились? Ай, молодцы!»

Длинный гудок электрички прервал на некоторое время мысленные возгласы Зубейды; под гудок электрички Агагюль первый раз в жизни поцеловал девушку, и под этот самый гудок Ниса, прислонив свой портфель к толстому стволу смоковницы, тоже впервые в жизни поцеловала парня.

И с этого началась вся история.

Гудок электрички оборвался, и Зубейда, спрятавшаяся от луны в тени гранатовых деревьев и наблюдавшая, как целуются Ниса с Агагюлем, снова прошептала про себя: «Ай, молодцы. Вах! Ну, а дальше что будете делать?!» И как раз в этот момент Ниса, очнувшись после первого в своей жизни поцелуя, внезапно увидела в просвете между гранатовыми ветвями знакомое одутловатое лицо и большие черные глаза, смотрящие на них с любопытством, удивлением и отчасти даже завистью.

- Ой, Зубейда!

И столько ужаса было в этом выдохе Нисы, что, казалось, вздрогнули застывшие в духоте знойного летнего вечера инжировые и гранатовые деревья, айва, миндаль, маслины, а также виноградные лозы, карабкавшиеся на привокзальный каменный забор, и даже огромное тутовое дерево, у которого не шевелился ни один листик. Да, столько ужаса было в голосе девушки, что Зубейда, совсем не чувствующая себя виноватой, пришла в ярость и, отведя в сторону ветви гранатовых деревьев, вышла на свет.

- Да, Зубейда, ну и что, детка? Ведьму, что ли, твои глаза увидели? Или чего?!

У Нисы руки-ноги похолодели, у Агагюля пальцы в кулаки сжались, губы задрожали.

- Раз ты ведьмы так боишься, почему же ты, родная моя, тут в темноте прячешься, почему не идешь по прямой светлой дороге, где честные люди ходят? А?

И тут Агагюль, скривив губы от злости, сказал:

- А если ты честный человек, что ты тут делаешь?

Зубейда оскорбилась:

- Вах! Вот, значит, как! Значит, я, выходит, нечестная! Ну и ну! Не выйдет, милый, не выйдет! Они тут, в темноте... под деревом... ночью... - Зубейда задыхалась, подыскивая слова. - Темной ночью... Что вытворяют! Тоже мне, Лейла и Меджнун!

- Зубейда осталась недовольна таким сравнением и сразу поправилась: - Э, да что там Меджнун со всеми своими родственниками, а тем более - Лейла! Они в привокзальный сад не придут!

У Нисы по лицу слезы градом катились, между всхлипываниями она еле проговорила:

- Никому не рассказывай. Никому не рассказывай, мы не хорошо поступили, Зубейда... тетя Зубейда...

Зубейда сначала будто не поняла, не услышала, а потом ушам своим не поверила, но девушка еще раз повторила:

- Мы нехорошо поступили, тетя Зубейда, не говори никому в селе, опозоримся мы, тетя Зубейда...

И Зубейда, напрягаясь, как сильно натянутая струна тара, вдруг сразу как-то обмякла, ее злоба куда-то исчезла, женщина явно смягчилась, а может быть, даже и растрогалась.

Дело было в том, что односельчане - и дети и взрослые - называли Зубейду просто Зубейдой...

- Объясни уж ты ему, дочка, - сказала тихо Зубейда, - а то начал тут: честный человек, нечестный человек, то да се...

Ниса больше ничего не сказала, наклонилась, взяла свой портфель и, все еще всхлипывая, прошла мимо Зубейды. Чуть помедлив, Агагюль двинулся следом за девушкой, при этом он посмотрел на Зубейду взглядом, в котором смешались ненависть и брезгливость; под этим взглядом Зубейда стала прежней Зубейдой, мигом взлетела она на своего бешеного коня и прошипела в спину Агагюлю:

- Ах, чтоб ты провалялся, недоносок! Посмотришь еще у меня! - Тут у нее вылетело из памяти сказанное Нисой волшебное слово. - Это вам даром не пройдет!

2

Почтальон Наджафгулу показывал то место в газете, где было написано, что после войны тридцать лет на Апшероне не было такой жары. Конечно, Зубейда хорошо знала, что не всему написанному можно верить, но она и в самом деле не помнила такой жары в этих местах, даже до войны - чтоб было тал жарко - что-то не могла припомнить. Все это было очень похоже на то злосчастное лето, когда Зубейда села на пароход и, переплыв Каспийское море, попала в конце концов в самое пекло - в Ашхабад; она ездила купить там по дешевке каракуль, чтобы продать его потом в Баку (шапочник Алигусейн надоумил, чтоб он в гробу перевернулся, сукин сын!), но не знала Зубейда, что следом за ней черный камень катится: когда продавала она привезенный из Баку нухинский крепдешин (а ведь не зря сказало: кто откусывает чересчур большой кусок, может подавиться), поймали ее на ашхабадском базаре, и, если бы не амнистия, она посидела бы в тюрьме не один год два месяца и четырнадцать дней, а полных шесть лет. В течение всего этого года, двух месяцев и четырнадцати дней не было такого часа, чтобы Зубейда не проклинала покойного отца шапочника Алигусейна и не зарекалась спекулировать по-крупному. С тех пор что за дела у Зубейды - так, всякая мелочь, по и эта мелочь - будь она проклята! Вот сегодня сколько на базаре проторчала - от полуденного зноя до самого вечера, а продала всего три веника. Эти несчастные веники Абдулла-киши вязал от безделья, а Зубейда покупала их у него задешево и носила на базар продавать. Да и вчера не лучше было, и сегодня как вчера, и, задевая корзиной, полной веников, ветви гранатовых деревьев, Зубейда наконец выбралась из чащи и ступила на тропинку: «Нет, вы только посмотрите на него: едва из яйца вылупился, а туда-же - целоваться, да еще огрызается, на человека смотрит, будто гюрза перед ним, - ужалила я тебя, что ли? Я в чем виновата? Отец твой с утра до вечера автобус водит отсюда в Баку, из Баку - обратно, покупает набирает, тащит все домой, мать твоя ест и жиреет, а ты, достойный сын достойных родителей, заморочил девчонке голову, а потом еще па людей бросаешься... Я-то тут при чем? Проклятье! Только этого еще не хватало!» Зубейда издали заметила идущего ей навстречу высокого человека и сразу узнала милиционера Сафара, так что проклятье прозвучало по его адресу, и вот, чтобы милиционер Сафар, увидев ее Корзину, полную веников, снова не пристал к ней, как смола, Зубейда свернула на тропинку, огибающую вокзал, и, пройдя мимо закрытого сейчас овощного ларька Меемсаханум, направилась к своему дому. Дорога ее сильно удлинилась, и это никак не могло обрадовать Зубейду.

Зубейда решила, что милиционер Сафар ее не приметил, но у милиционера Сафара глаза были зоркие, он узнал ее и увидел, что она с корзиной, поэтому он совсем не удивился, когда женщина поспешила перейти на другую тропинку. «Шайтан ее заberi, горбатого могила исправит». Это суждение по поводу тунеядки Зубейды в последнее время утвердилось в голове; милиционера Сафара, после того как он отчаялся, то есть исчерпал все доводы, призывая Зубейду к общественно-полезному труду.

Конечно, Зубейда не знала, что милиционер Сафар, помянув в эту минуту шайтана, счел ее горбатой, которую может исправить только могила (если бы она знала, то снова

под каким-нибудь предлогом поцапалась бы с женой милиционера Сафара Зубейдой, - у этого мямли, сына мямли, жену тоже звали Зубейдой, - в общей бане затеяла бы такой скандал с воплями и рукоприкладством, что женщины только с большим трудом растащили бы их!), но ей хватило и происшествия в привокзальном саду, она уже и так была раздражена, и раздражение ее не уменьшалось после того, как она пришла к себе домой.

Вот такие дела.

Да и кто такой этот милиционер Сафар, чтобы из-за него делать такой крюк? Вот уж кто горемыка-то, сын горемыки, шесть взрослых дочерей, и все шесть дома, на шее у него сидят, - как только жилы не лопаются, а когда шапку снимает, на плешивого соловья похож - ни одною волоска на голове, ну, да ладно, хватит, есть у него жена-стерва, пусть она и думает о своем муже.

Правда, однажды, прямо вот этой весной, перед новрузом, милиционер Сафар подошел к ней на базаре и сказал такие немногие слова, что уже три месяца, как они частенько ей вспоминаются, а все слова, которые милиционер Сафар говорил ей по меньшей мере уже тридцать лет, - совершенно ничто перед этими немногими словами.

В тот день Зубейда взяла у своей старой подруги шафран-сарыкек, джире, зенджефил¹, разные порошки для окраски яиц и подалась на базар; заметив милиционера Сафара, собрала свои вещички, пошла на другой конец базара, но через малое время милиционер Сафар опять оказался тут как тут, подошел совсем близко к Зубейде, и Зубейда подумала, что милиционер Сафар снова как и несколько лет назад, отведет ее в отделение милиции, но милиционер Сафар не повел ее в отделение, он посмотрел на ярко-красные, выкрашенные хной волосы женщины, на морщины вокруг черных, в молодости удивительно красивых, а теперь уменьшившихся, слезящихся глаз, посмотрел на ее отечное лицо, рыхлый подбородок - вот что делает с людьми время (как ни странно, под этим взглядом и Зубейда тоже вдруг вспомнила свою молодость).

- Ты сожгла себя под тем казаном, в котором ничего не варится...

Произнес милиционер Сафар эти слова и ушел.

В тот день Зубейда сильно расстроилась. Пожалуй, больше, чем в этот.

Пропади они все пропадом - и этот несчастный, и его жена, и Абдулла-киши со своими вениками, и эта противная Ага-баджи, и ее сын Агагюль, недоносок из недоносков!

В общем, пришла она к себе домой.

Этот дом, этот двор, в который люди заходили только в том случае, если нужно что-нибудь купить, продать, найти, поменять, стоял на краю села рядом с невысокой скальной грядой, и от этих скал до моря было по песку всего метров сто пятьдесят-двести. И летом и зимой слушала Зубейда голос моря.

¹ Восточные пряности.

Когда она уезжала в Баку или куда-нибудь еще, конечно, она скучала по этому песку, и по этим скалам, и по лозам во дворе, и по воим абрикосовым, айвовым, гранатовым, инжировым деревьям скучала, но прежде всего, больше всего она скучала по голосу моря.

У Зубейды был каменный дом из двух комнат, кухня, рядом с кухней - баня и рядом с баней - уборная, стены которой до середины были облицованы изнутри чешским кафелем, во дворе у нее был маленький бассейн, а деревья вокруг стояли такие красивые да крепкие, и в таком порядке и чистоте содержала Зубейда свой двор, что по этому поводу ни у кого в селе, даже у первой ее врагини Агабаджи, слов хулы не находилось. Зубейда поставила корзину с вениками под алычу у ворот и, помянув недобрым словом Абдуллу-киши, подошла к колодцу. Вытащила ведро воды, зачерпнула ее ковшом и одним духом выпила. После этого горестно несколько раз плеснула себе в лицо и как

будто немного успокоилась. Оставшейся в ведре водой, размахнувшись, окатила цементный пол веранды - чтобы стало прохладнее.

Здесь, возле колодца, комаров было побольше, и Зубейда, поставив ведро и шлепая себя мокрой ладонью по мясистым щекам и груди, поднялась на открытую с трех сторон веранду. Там, на краю, под марлевым пологом разложен был на паласе тоненький летний матрасик. Опустившись на него, Зубейда откинулась головой на мягкую мутаку¹, раскинула руки и, глубоко вздохнув, произнесла: - Ох-хай!.. Голос моря скорее угадывался, чем слышался. Ветерка не ощущалось вовсе, и на море, наверно, не было ни рябинки. Раскалившийся за день цементный пол веранды подсох очень быстро, не дав никакой прохлады. Чуть слышно потрескивали от ночного зноя шишки на елях, высаженных вдоль забора, будто костер во дворе горел; время от времени шишки падали на землю.

Высунув из-под полога руку, Зубейда оторвала ягоду от виноградной кисти, положила ее в рот, потом закинула руки за голову. Виноградина была теплая, без всякого вкуса и аромата. Вообще фрукты и овощи постепенно становились для Зубейды все безвкуснее, и Зубейда, искренне сожалея об этом, подумала: где теперь лук Гоусанов, дыня Джората, морковь из Зыря, Черный выгоград шаны Начанских садов в Нардаране, белый шаны из Новхапов, янтарный инжир Бильгя?

Зубейда подумала об этом, ощутила во рту их забытый вкус вдруг сама себе показалась очень старой и даже древней.

¹Мутака - длинная, валиком, подушка.

Зубейда и сама в точности не знала, сколько ей лет; в свое время она столько темнила со своим возрастом, так путала, что в конце концов и сама запуталась. Во всяком случае, ей было между пятьюдесятью шестью и пятьюдесятью восемью - не больше, но и не меньше.

Странно было, что Зубейда впервые серьезно задумалась о своем возрасте, то есть не о том, чтобы для чего-то уменьшить его, не о том, чтобы зачем-то его увеличить, а просто так, без всяких видимых причин.

В общем, как сказал ашуг или кто другой: день прошел, год прошел, молодым снова не стану я. Подумав и об этом, Зубейда вспомнила одну из историй Молли Насреддина: говорят, однажды молла хотел сесть на коня; сунув ногу в стремя, раз поднатужился, два поднатужился, но так и не смог сесть на коня и сказал: «Эх, где ты, молодость? - Потом огляделся по сторонам, видит, никого нет, и добавил: - Впрочем, ты и в молодости никуда не годился!»

Ну, да ладно уж, пусть молла идет своей дорогой, и ашуг тоже, а мы, слава аллаху, лежим себе на месте и лежим, дайте отдохнуть, но... Вот ведь какое дело, когда Зубейда, к примеру, попала в ту ашхабадскую жару, Агагюля на этом свете даже не предполагалось, а теперь он так на человека .смотрит, будто гюрзу увидел или удава какого.

3

Агагюль, сорвав с головы кепку - «аэродром», швырнул ее на старый диван и какие только есть слова, такие и произнес в душе насчет всех скверных людей на земле, и главным образом насчет Зубейды. Агабаджи, сидевшая на паласе и перекладывавшая с большого подноса в баллоны виноград для уксуса, подивилась мрачному виду своего сына, который вошел и далее не поздоровался. В последние дни Агагюль летал как на крыльях; что говорила ему, все делал, и делал быстро и старательно, и Агабаджи объяснила такую сговорчивость тем, что скоро сын пойдет в армию, причем далеко уедет, в Прибалтику, и поэтому перед двухлетней разлукой он и стал таким шелковым.

Конечно, Агабаджи не знала, что дело не только в этом, есть еще вторая причина, и вторая причина состояла в том, что каменное сердце Нисы, по которой он уже два года сходил с ума, наконец смягчилось, и она ответила на последнее письмо Агагюля, и вот уже девять дней каждый вечер они встречались тайком. Ниса говорила, как она вообще понимает жизнь, людей, измену и верность, рассказывала Агагюлю индийские кинофильмы, которые смотрела по несколько раз; Агагюль же, выкуривая папиросу за папиросой, вышагивал рядом с Нисой и часто даже не находил слов для ответа. Пока наконец сегодня..,

- Это что такое, слушай, почему шапку бросаешь? - удивилась Агабаджи.

- Так, - сказал Агагюль, не глядя на мать.

Агабаджи удивилась, потому что Агагюль в этой кепке чуть ли не спать ложился, эта кепка полтора года назад принадлежала Балададашу, старшему брату Агагюля, и когда, полтора года назад Балададаш уходил в армию, он дал эту кепку Агагюлю, чтобы он носил ее, как мужчина, не ронял, как говорится, честь этой папахи, то есть кепки; Балададаш теперь был уже сержантом в Амурской области и через пять-шесть месяцев должен был вернуться, и Агагюль, как мужчина, носил кепку Балададаша, и вот надо же, он сорвал кепку с головы и швырнул ее на старый диван.

Агабаджи поднялась с места, вытерла руки полотенцем и принесла миску, из которой Агагюль в полдень выпил бульон, а мясо и картошку оставил на вечер. Агагюль уселся за стол, накрытый белой скатертью с мелкими красными цветочками по краям; Агабаджи принесла еще лук, зелень, маринованные баклажаны, хлеб, и Агагюль, даже и не взглянув ни на мать, ни на зелень, машинально начал есть.

Агагюль окончил среднюю школу в прошлом году и теперь учился в Баку на шоферских курсах; через две недели он заканчивал эти курсы и примерно через месяц отправлялся в армию, причем даже знал куда: военком Муралов сказал, мол, пошлю тебя в Прибалтику, красивые места, и дороги там отличные, потрудишься по специальности и родине послужишь.

Ниса училась в вечерней школе, в десятом классе, днем работала в детском саду, рядом с матерью, учила детей петь; а раньше Ниса окончила и семилетнюю музыкальную школу, на аккордеоне играла.

И вот уже девять дней Агагюль по вечерам поджидал Нису позади школы, и они, выбирая безлюдные места, через привокзальный садик шли домой, то есть Ниса шла к себе домой, и Агагюль приходил к себе домой. Агагюль хотел обручиться с Нисой, потом уйти в армию, ко Ниса говорила: «Нет, давай потом, когда вернешься». Ниса хотела узнать, на самом ли деле она любит Агагюля, хотела испытать себя за эти два года.

В этот вечер Агагюль впервые в жизни поцеловал Нису, и Ниса тоже впервые в жизни позволила, чтобы парень ее поцеловал, и Агагюлю очень трудно было поверить, что он не во сне, а наяву целует Нису, и конечно же ему никак не могло прийти в голову, что в такой момент их увидит эта ведьма Зубейда.

Ниса по дороге домой плакала-убивалась: «Опозорюсь я на все село, Зубейда опозорит меня». А потом сказала: «Агагюль, да буду я твоей жертвой, Агагюль, не допускай, чтобы опозорила меня Зубейда, пойди умоли ее, Агагюль, что она хочет, дай, Агагюль, не допускай, чтобы она опозорила меня, Агагюль, я не смогу смотреть в глаза брату, никому не смогу на глаза показаться». И Агагюль сказал: «Не бойся, не допущу», но сказать это легко, а заткнуть глотку такой ведьме, как Зубейда, - дело нелегкое, к тому, что видела, добавит еще сорок раз по стольку, с самого утра начнет, опозорит Нису на весь мир, а Ниса - это такой человек, бог знает, что сделает Ниса, все что угодно может сделать Ниса, даже руки на себя наложить, только бы не осрамиться перед братом Атабалой, только бы мать не была опозорена.

Зубейда - не из тех, кого проймешь просьбами да мольбами, она и это утром разукрасит, разнесет на весь мир, что, мол, Агагюль приходил ко мне, плакал, на коленях стоял.

У Зубейды должна быть, как говорил милиционер Сафар, материальная заинтересованность.

4

Зубейда, выбравшись из-под полога, вошла в комнату и, сняв промокшее от пота платье, надела свежее, торопливо надела, чтобы не увидеть случайно в большом овальном зеркале на дверце шкафа свое расплывшееся тело, потом, спустившись во двор, включила мотор насоса и, взяв в руки шланг, начала поливать деревья, кусты роз (она очень любила розы, не срезала и не продавала их в Баку на базаре; лепестки так и увядали на кусте, осыпались), грудки с помидорами, баклажанами, перцем, луком, укропом. Вообще за садом и огородом Зубейда ухаживала сама, все здесь было выращено ее руками, и только ели вдоль забора посадил бедный Абдул, чтоб они сад от ветра защищали.

Правда, в селе говорили, что Зубейда сто раз замуж выходила, но на самом деле Зубейда всего один, то есть официально, всего один раз выходила замуж - за Абдула. Абдул до войны был фаэтонщиком или попросту извозчиком; возле общественной бани стоял у него домишко, там он и жил одиноко (потом уже, после войны, Зубейда, слегка покрасив; обновив домишко, продала его втридорога), так вот, Абдул, как верблюд в кузнеца, влюбился в Зубейду. Односельчане называли его Гейсабдул¹, и он не обижался на такое прозвище, наоборот гордился им, и это в то время, когда Зубейда не обращала на него никакого внимания (где фаэтонщик Гейсабдул и где красавица Зубейда с большими насурьмленными черными глазами, стройная как кипарис, с осиной талией, с журавлиной походкой!), издевалась над Абдулом, так что порой он плакал как подросток из-за несчастной любви. В конце концов Абдул дошел до того, что решил продать своего единственного коня, только бы купить Зубейде подарки - коверкотовое демисезонное пальто, габардиновую юбку, шерстяной жакет и тому подобные вещи, но конь был очень старый, и продать его никак не удавалось. Покупатели столько раз осматривали коня Гейсабдула, да еще каждый зубы у него норовили проверить, что несчастное животное, кто бы к нему ни подходил, тотчас безмолвно ощеривалось - смотрите, мол, только руками не трогайте.

И конь этот - несчастный, да и сам Абдул - несчастный, теперь и того коня кости сгнили; и его хозяина; уже больше двадцати лет прошло со смерти Абдула.

Зубейда вышла за Абдула в последний год войны, то есть оформила брак и привела Абдула к себе в дом - и все. Абдул сразу стал собственностью Зубейды, как бы ее имуществом. Она часто оставалась у своих подруг в Баку, иногда ездила погулять в Тифлис, Кисловодск, Сочи, порой месяцами пропадала неизвестно, где, а Гейсабдул исправно исполнял обязанности сторожа, он очень хорошо понимал, для чего Зубейда вышла за него замуж, потому что был человеком, знающим свое место, этот Гейсабдул; может быть, поэтому односельчане не трогали его и не издевались над ним.

Конечно, поначалу удивлялись, мол, смотрите, кого он взял: эта бестыжая в городе развлекается, ей море по колено, а этот бедолага на нее работает; среди молодых были такие, что в душе ругали его: блаженный, сын блаженного. Но понемногу всем снова стало его жаль, и через некоторое время, как будто Гейсабдул не имел никакого отношения к Зубейде, при нем стали ругать его жену; кому что в голову приходило, то и говорили при Гейсабдуле, не стесняясь, а Гейсабдул молчал; самым же странным было, что он опять же не обижался, как будто и не хотел возражать - ну, что тут поделаешь, разве он виноват, если все земные блага не стоят одного ноготка Зубейды? И женщины хорошо это понимали и в душе даже завидовали, потому что немногих из них так сильно и верно любили; может быть, поэтому, когда Зубейды не было в селе, некоторые как будто случайно заходили во двор Гейсабдула, спрашивали его, как дела, иной раз даже

¹ Гейс - так звали Меджнуна

поесть ему приносили, посылали тендирного хлеба, и, по слухам, две женщины будто бы просто-напросто влюбились в Гейсабдула.

Да, Абдул явно был из тех, кто знал свое место. Однажды он зачем-то позвонил из села в Баку, к тогдашней близкой по-Друге Зубейды Розе, спросил про Зубейду, где она, больше месяца никаких вестей не подает, а Роза спросила его: «А кто это опрашивает?». Гейсабдул ответил: «Абдул». Роза громко рассмеялась и сказала: «Еще неизвестно, кто кого обдул!»

А потом не было такой вечеринки, чтобы Роза не рассказывала об этом телефонном разговоре и чтобы вся компания не хохотала; когда у Зубейды бывало хорошее настроение, она и сама смеялась, а когда плохое - кричала на Розу, мол, это ты от зависти сгораешь, что у меня муж есть, а тебя никто не берет, ты как лисица, виноград достать не можешь. Роза краснела, бледнела я же шучу, говорила.

Конечно, Роза говорила правду, Роза шутила, но кроме таких вот шуток ничего веселого вроде и не было, шли дни, месяцы, годы, и по временам только такие вот шутки приходили человеку на помощь.

Сам Абдул очень скучный был мужчина и пошутил, кажется только один раз: как-то году в пятидесятом из Баку в село один невропатолог приехал, снял комнату в доме продавца Фатуллы, немного ниже бани, и все лето отдыхал тут. Мартиросян была его фамилия, и все говорили, что очень хороший врач этот Мартиросян. Алекпера, что четыре года назад помешался, за две недели превратил в нормального человека; да, так вот, как-то Зубейде тоже захотелось показаться этому врачу, часто раздражалась она в последнее время (как будто понемногу стала понимать, что конец ее веселой жизни вот такой: продавать на базаре веники, сплетенные стариком соседом от безделья), и| Зубейда, выходя из дому, сказала Абдулу: «Из Баку нервный доктор приехал, иду к нему», Абдул спросил: «Зачем тебе?» Зубейда сказала: «Как это - зачем? Пойду, - говорит, - пусть мои нервы поправит». Гейсабдул раскрыл рот: «Ба-а-а!.. - сказал он: - Зубейда, как же это ты без нервов?! Если ты на меня кричать не будешь, я с тобой разведусь».

Бедняга Абдул, царство ему небесное... Зубейда, разнервничавшись порой, как говорится, у него на голове орехи колола...

- Зубейда!

Зубейда положила на землю шланг, прислушалась, из-за во- 1 рот еще раз позвали:

- Зубейда!

- Кто это? - спросила Зубейда. - Кто там?

- Это я!

- Кто? Аллаха племянник, что ли? О господи... Имя назови!..

- Это я, Агагюль!

Вообще-то Зубейда сразу узнала, чей это голос, она как будто чувствовала, что скоро его услышит, потому что, когда поливала она из шланга деревья, цветы, грядки, до нее время от времени откуда-то очень издалека словно бы доносились чьи-то всхлипывания, и в глубине души она знала, что это всхлипывает Ниса там, на своей постели, в доме, которой находился на другом краю села.

- Что такое, что случилось, детка, ты ведь плевать на меня хотел, а теперь без меня уснуть не можешь?

Агагюль ничего не ответил, не произнес ни звука, постоял, помолчал за воротами; ну и слова вылетают изо рта этой женщины, а утром еще не то будет...

Зубейда выключила мотор, отнесла не торопясь шланг к колодцу, потом, отвернув кран на стенке бассейна, сполоснула руки, плеснула воды на лицо, потом вытерлась чистым белым полотенцем, висевшем на сучке миндального дерева около бассейна, после всего этого наконец подошла к воротам, открыла калитку и, прекрасно понимая, чего Агагюль хочет и зачем пришел, спросила:

- Чего тебе? Что ты хочешь мне сказать в такое позднее время?

- Дело есть к тебе, - проговорил Агагюль и вошел во двор.

- Какое дело, детка, кто ты и кто я? Какие у нас могут быть дела?

В свете двухсотпятидесятисвечовой лампы, горящей над воротами и собравшей вокруг множество комаров, Агагюль, снова посмотрев на одутловатое лицо этой женщины, ярко-красные от хны волосы, все еще насурьмленные черные брови, решил, чтобы поскорей покончить с этим делом, сразу перейти к главному:

- Слушай меня, Зубейда, никому не говори, что видела нас, не ради меня, э, клянусь Балададашем, мне что, я все равно в армию ухожу, ради Нисы говорю, не рассказывай никому...И потом... И потом, мы не просто так с Нисой, поженимся мы, когда я вернусь, женюсь я на ней.

- Д-а-а-а... - протянула Зубейда. - Дай вам аллах счастья, женишься на дочери Фирузы, хорошо сделаешь, поздравляю, поженитесь, сыновей-детей народите, а мне-то что, детка? А? Чего ты передо мной отчитываешься, я тебе милиционер Сафар, что ли? Мало ли кто что делает у вокзала под смоковницей, да еще ночью! Зачем мне совать нос в чужие дела? Сплетни разносить - это не по мне, детка, все знают, что я сплетничать не люблю... - Зубейда глядела Агагюлю прямо в глаза, ни разу не моргнула. - Иди спать, детка, уже поздно, утром встать не сможешь.

Агагюль знал, что все слова Зубейды надо понимать как раз наоборот.

То, что парень разглядывал так близко ее лицо, в свете двухсотпятидесятисвечовой лампы, выводило Зубейду из себя, и она, протянув руку, пошире распахнула калитку, чтобы закрыть ее за Агагюлем.

- Иди спать, пора, ступай...

В этот момент в знойной апшеронской ночи внезапно где-то совсем рядом раскудаhtалась курица и совершенно заглушила тонкий комариный писк и скорее угадываемый, чем слышимый, голос моря. Зубейда очень удивилась, заглянула за спину Агагюлю и увидела, что парень держит в руке торбу.

- Это что такое, слушай?

- Курица, - сказал Агагюль, - для тебя принес, - и протянул торбу Зубейде. - Бери.

- А-а-а, - сказала Зубейда, губы ее раздвинулись в улыбке, и золотые коронки засверкали в свете двухсотпятидесятисвечовой лампы; у этой женщины была особая страсть к подаркам к любому даровому товару. Зубейда на глазах изменилась, стала другим человеком. - А-а-а... Агагюль, зачем так утруждаешь себя?

- На... возьми... - повторил Агагюль, мечтавший поскорее избавиться от торбы.

- Мне неудобно...

Зубейда взяла у Агагюля торбу и, запустив руку внутрь, вытащила большую пеструю курицу, которая на свету опять закудаhtала, захлопала крыльями, пытаясь вырваться из рук женщины, и Зубейда поспешила засунуть курицу обратно.

- Смотри, как расшумелась, - сказала Зубейда и прибавила: - А мать знает?

Агагюль промолчал, Зубейда же не стала настаивать на ответе.

- Ну входи, чего ты здесь стоишь? - любезно пригласила она.

- Нет, большое спасибо, - сказал Агагюль, решивший было, что все уже устроилось, однако ощущавший в душе какое-то смутное беспокойство: - Пошел я...

- А-а-а... Куда же ты? Подожди, у меня к тебе дело... - И вот, в одной руке - торба, а в другой - рука Агагюля, Зубейда поволокла всю добычу во двор, и Агагюль с испуганно заколотившимся сердцем - кто знает, что пришло в голову Зубейде? - потащился за ней; от этой женщины всего можно было ожидать, не даром он слышал несколько историй про старух, которым нравятся молодые парни; но как только они дошли до колодца, Зубейда сказала: - Агагюль, дорогой, устала я очень, гы мне как брат, возьми этот шланг, полейте немного грядки за домом, вся зелень сгорает, ведь жалко. Агагюль, возьми шланг, дорогой, возьми, я не смогла полить хорошенько... Эх, силы уходят, что от меня осталось...

Зубейда прежде о себе таких слов не говорила.

Агагюль ждал чего угодно, но только не этого; скрипнув зубами, он посмотрел на женщину, на толстый черный шланг, свернувшийся на земле как змея, потом сдвинул на затылок свою кепку - «аэродром» - «Балададаш, а что бы ты сделал на моем месте?» - поднял с земли шланг, пошел за дом, и Зубейда тотчас запустила насос.

- Хорошенько полей, Агагюль, дорогой, да не топчи грядки!.. - услышал он ее голос.

Зубейда вытащила веревочку из корзины под лестницей, пошла на другой конец двора, вынула из торбы пеструю курицу и привязала ее за лапу к тонкому стволу молодой айвы, пеструшка на этот раз не так уж громко кудахтала и не так уж сильно вырывалась, будто поняла, в чьи руки попала и примирилась со своей участью.

Конечно, Агагюль был вне себя от злости, поливая из шланга все эти помидоры, баклажаны, кресс-салат, перец, огурцы, он в не пытался утешить себя тем, что эти прекрасные овощи, вся эта роскошная зелень не виноваты в том, что растут в огороде у такой ведьмы, как Зубейда.

- Агагюль, милый, напор воды слишком сильный, укрой, кресс-салат помягче поливай!..

Огород у Зубейды был не так уж невелик, то есть он был для одной семьи, состоящей из четырех-пяти человек, и, конечно, излишки Зубейда вывозила, в Баку на колхозный рынок.

Да, хорошие были овощи у Зубейды, к тому же она отлично умела мариновать, даже соседки это признавали; ее маринованные баклажаны, зеленый перец, чеснок, огурцы, помидоры были выше всяких похвал; иногда она посылала старым - военных лет - подругам по три-четыре банки в подарок, посылала - это значит сама отвозила - Розе, Ануш, Ширинханум, Назлы-ханум, Дурдане...

Все ее подруги теперь состарились; одна жила с сыном, другая - с племянницей, Ануш была замужем за управдомом, и теперь они очень дружно жили, приятно было посмотреть; Роза переехала в Ереван, и Зубейда давно уже не имела о ней никаких вестей. Поговаривали, что у Ширинханум - по возрасту она была еще старше Зубейды - есть любовник-кеманчист, по имени Ибрагим, грех на душу говорившим...

Конечно, такая молодость копейки не стоит, прошли те времена, когда - бей, чтобы разбилось, играй, чтобы танцевалось, - прошли и больше никогда не вернутся; хорошо это, что не вернутся, или плохо, Зубейда сказать не могла, потому что все же хорошего тогда было, наверно, больше, вполне насладились они жизнью в этом мире, в таком коротком - пятидневном - мире: плясали, смеялись, когда люди куска черного хлеба не могли найти; по Кисловодску и Сочи гуляли; попадались такие мужчины, что умирали по ним, что готовы были по единому их слову, ради одного ласкового взгляда навсегда бросить жен-детей и даже потерять работу, но Зубейда с подругами любила свободу, и они действительно были вольны и свободны; но было я очень много плохого в тех днях, и это плохое не забывалось, а с годами как мутная волна захлестывало душу, порой до бешенства доводило... Да, всякое бывало...

- Агагюль!.. Не кончил там, дорогой? Не слишком там заливай! - Зубейда выключила мотор и зашлепала руками по щекам, по груди, отгоняя комаров.- Ну иди, там уже хватит,- указала она. - Иди полей немного, милый, деревья у забора...

Шланг тяжелый, я туда не донесу...

Агагюль, ни слова не говоря, то есть вслух ни слова не сказал, а что он сказал в душе, он сам знал, волоча шланг, побрел к елям, посаженным вдоль забора Гейсабдулом, и Зубейда, сно-а нажав кнопку; пустила насос...

Абдул хороший был человек, правда, дурак, но человек - хороший, ты смотри, как вытянулись эти ели, смотри, сколько же лет, аллах, как умер Абдул... Когда он умер, этого сына Агабаджи, наверно, еще па свете не было, а теперь он у вокзала под смоковницей с девушкой целуется, и к тому же плут из плутов, курицу тайком от матери притащил, где он только жить научился?..

А медленно бредущий вдоль забора со шлангом в руке Агагюль теперь все прикидывал: интересно, после этих елок что надо будет еще делать? Вода пенилась у основания елового ствола в свете двухсотпятидесятисвечевой лампы, а Агагюль в это время думал: вдруг Ниса больше не захочет с ним видаться, из-за этой ведьмы сердце его перед армией разорвется. И в этот момент Зубейда, посмотрев на парня в голубых брюках, тонкой желтой рубашке в огромной кепке, удивилась, что нашла хорошенькая дочка Фирузы в долговязом, редкоусом худом сыне Агабаджи? Парень должен быть красивым, парень должен быть сильным, парень должен быть мужчиной, а у мужчины должно быть полно денег, и мужчина, наконец, должен поцеловать девушку так, чтобы этого никто не видел; но вдруг Зубейде подумалось, что никто ничего не увидит, а Зубейда все равно увидит.

Недаром соседи говорили, что вещь, о которой Зубейда не знает, - гниет, черви в ней заводятся. Наверное, это так, раз люди говорят, да... Но почему это так? Почему? Зубейда прямо-таки изводилась вопросом - ну, почему это так?

От старости все, валлах, биллах, от старости. В молодости она и внимания не обращала на такие разговоры, ведь в молодости кто была она и кто - эти деревенские клушки?

Где теперь та красота, мраморная грудь, осиная талия, журавлиная походка? Тогда, в те времена, где была Зубейда и где остальные? Она плов не ела, боялась свои губы-бутоны маслом запачкать.

Потихоньку ушли те дни...

Потихоньку она превратилась в мелкую спекулянтку на базаре...

Все разбрелись кто куда, одна Ширинханум молодцом, в тридцать лет в институт поступила, выучилась, врачом стала.

- Конец?

- Что ты говоришь?

- Говорю, еще что надо делать или уже все? - Агагюль стоял со шлангом в руке, он кончил поливать последнюю ель.

- Вот спасибо, Агагюль, милый! - сказала Зубейда и выключила мотор.

Агагюль, сворачивая на ходу шланг, принес его к колодцу и бросил на землю, вытер ладонями пот с лица и спросил: - Я пойду?..

- А? -Зубейда огляделась по сторонам, увидела чернеющие в лунном свете гроздья винограда, свисавшие с высокого решетчатого навеса, и сказала: - Только вот эти гроздья остались, Агагюль, дорогой, проклятые, так высоко висят, боюсь, - упаду, когда буду срывать... - И в этот момент произошло самое странное за весь день - Зубейде вдруг стало жалко стоявшего перед ней парня, пот заливал ему лицо. - Ладно, не нужно, - сказала она, - иди, иди домой, детка, спасибо, ступай...

Агагюль посмотрел на виноградные гроздья, висящие так высоко, перевел взгляд на Зубейду, и тут произошло нечто еще более странное - ему стало жалко стоявшую перед ним старуху, шлепками убивающую комаров на своей морщинистой груди, такую одинокую в этом дворе, в этом мире; Агагюль очень удивился, что ему стало жалко такую ведьму, этого шайтана в юбке.

- Ничего, дай мне лестницу, соберу...

- А-а-а... - пришел черед удивляться и Зубейде, но она почему-то не захотела принять его жертву. - Ладно, сынок, уходи, не бойся, никому ничего не скажу, спасибо, не нужно.

Да, в эту знойную ночь Зубейда, стоявшая в лунном свете, внезапно превратилась в какое-то чуть ли не в ласковое существо; Агагюлю вдруг показалось, что на свете существуют две Зубейды, одна - ведьма, а другая - несчастная добрая старая женщина. Разумеется, Зубейда понятия не имела о том, что она раздвоилась в голове у Агагюля: парень не уходил, стоял, озираясь, и Зубейда объяснила это тем, что он ей не верит.

- Да не скажу, - сказала она, - никому не скажу. Ступай. Не бойся.

Так как Агагюль пошел за лестницей, он не расслышал хорошенько этих слов, притащил лестницу, прислонил ее к навесу, а Зубейда принесла, с веранды большой эмалированный поднос и встала рядом с парнем.

Агагюль, срывая гроздь за гроздью и укладывая их на поднятый Зубейдой поднос, проговорил:

- Воробьи поклевали виноград.

- Ну что ж?.. - ответила. Зубейда. - И воробей угоде» аллаху...

Агагюль не ждал от этой женщины такой щедрости по отношению к воробьям и, протирая глаза от пыли и песка, сыпавшихся с гроздьев, посмотрел вниз, на Зубейду; Зубейда: держала поднос над головой, ее поза напоминала позу диковинных статуй, стоящих посреди пустых бассейнов, в старых заброшенных бакинских садах Агагюль подумал, что у них в селе больше нет таких старух, как Зубейда.

- Ты когда в армию идешь, Агагюль?

- В сентябре ухожу.

- Балададаш письма пишет?

- Да... Приветовы шлет...

- Да будет счастлив тот, кто приветовы шлет... Дай аллах чтобы он здоровым вернулся. Далеко он, бедняжка. Тебе хорошо бы в Сальянские казармы¹ попасть, мог бы в село наезжать.

- В Прибалтику еду.

- Да ну-у-у? Хорошо, если в сторону Риги попадешь. Когда будешь по Юрмале гулять, меня вспомни, Агагюль... Как Апшерон место это - Юрмала, берег моря, курорт, одним словом.

Зубейда была там два года назад зимой; Ширинханум устроила ей путевку. Зубейде хотелось в санаторий поехать, но она нигде не работала, и Ширинханум, как ни старалась, ничего не могла придумать, санаторий не получился; Ширинханум достала «горящую» путевку в пансионат в Юрмалу, вернее, в Майори, и односельчане просто обалдели: это надо, куда едет Зубейда; были и сгорающие от зависти (жена бригадира Гасангулу рыжая Анаханум, качая головой, ворчала: «С утра до ночи работаю, а отдыхать едет Зубейда, чтоб ей пусто было!»), но тамошняя зима и в самом деле оказалась очень мягкой, и пансионат был очень чистый, аккуратный, и, самое главное, никто ее не знал, все на «вы» к ней обращались) была там такая Изабелла Львовна, очень приветливая женщина, за семьдесят ей было, но от пудры-краски не отказывалась, преда пансионата она три-четыре раза написала Зубейде, а Зубейда не ответила, один только раз испекла шекербуру с пахлавой и послала ей в Одессу, но Изабелла Львовна до сих пор на каждый праздник присылает ей открытку.

Когда Зубейда жила в пансионате, она сказала Изабелле Львовне: мол, путевку мне сын сюда купил, послал меня сюда, чтобы я от криков внучат немного отдохнула...

- Слезай, Агагюль, детка, слезай. Я уже устала, сил не хватает, не могу больше держать поднос...

Зубейда поставила на землю поднос, полный винограда, и Агагюль, спустившись с лестницы, отнес его на место, снял свою кепку «аэродром», несколько раз потрянул ею, снова надел на голову и произнес:

- Я пошел.

Зубейда отнесла поднос на веранду, поставила его на цементный пол, с трудом разогнулась, уперев руки в поясицу, и сказала:

- Большое спасибо, милый. Дай аллах тебе здоровья, - И вдруг ей захотелось вернуть Агагюлю и курицу, привязанную к молодой айве в дальнем конце двора, однако эта мысль как внезапно пришла ей в голову, так же внезапно и ушла. - На свадьбе твоей рассчитаемся, - закончила Зубейда. - Иллах-амин².

¹ С а л я н с к и е к а з а р м ы - старое название одной из окраин Баку.

² И л л а х - а м и н - дай бог.

Агагюль еще раз хотел предупредить Зубейду, чтобы она молчала о том, что видела, но только провел рукой по лицу, вышел и закрыл за собой калитку.

Тихонько, еле уловимо потянул с моря ветерок, в беседке этот ветерок сильнее чувствовался, здесь и комаров было поменьше. Зубейда села на палас, расстеленный на полу. Есть ей не хотелось, жара отбила аппетит, и телевизор не хотела смотреть, охоты не было, так просто сидела в беседке и смотрела на море.

Луна проложила на море дорожку, и сейчас эта дорожка только чуть-чуть, легонечко колыбалась; в последнее время море плохо действовало на Зубейду, если бывало таким спокойным; собственно говоря, и в молодости так было, только в молодости она не обращала на это внимания, но вот теперь Зубейда смотрела на спокойную лунную дорожку и словно хотела что-то вспомнить, что-то хорошее вспомнить хотела - и не могла.

Поверхность моря была совершенно гладкой, в лунном свете не вскипало ни клочка пены, и было бы даже слишком, чересчур тихо, если бы комары не попискивали да и не шелестели бы еле слышно листья тута перед беседкой.

И тут в ночи опять раскудаhtалась курица.

Зубейда поднялась с места, сняла крышку со стоявшего на круглом столе медного казана, оторвала два кусочка от чурека, который она в казане хранила, заворачивая в полотенце, чтобы не засыхал, и, подойдя к айве, раскрошила хлеб перед курицей.

Пеструшка уперев клюв в землю, созерцала некоторое время крошки хлеба, потом отвернулась, и Зубейда сказала: - О-о-о... Обнаглела! Но это хорошо... Товар должен быть похож на хозяина...

Надо же, у этой проклятой Агабаджи, похожей на черного жука Агабаджи, вырос такой большой сын, да ведь он еще и самый младший, Агагюль, старше него еще три дочери, все три замужем, и старший сын в армии, да, дела...

И у Зубейды могли быть теперь замужние дочери, и у Зубейды мог быть такой сын, и этот парень мог бы целоваться под смоковницей у вокзала с хорошенькой девушкой, посылать из армии письма домой, а Зубейда могла бы пойти засватать, привести в дом невестку... Ладно, хватит из-за этого долговязого Агагюля изводить себя, иди спать, а то Агабаджи небось уже четвертый сон теперь видит, ей и невдомек, что на свете - еще живет Зубейда... Это уж точно, что невдомек...

5

Агагюль, улегшись под навесом, натянул одеяло на голову - от комаров, закрыл глаза, но уснуть не мог, как ни старался. А что, если напрасно отнес он Зубейде эту курицу, все равно Зубейда, обглодав косточки, запьет куриное мясо водой, а потом разнесет по всему свету то, что видела, и то, чего не видела; вот и сейчас, наверное, если не спит, то сидит у колодца, повторяет: «У Искендера есть рога, есть рога!» Нет, не сможет она удержаться...

Получилось так, что та, вторая Зубейда, несчастная старая женщина, исчезла куда-то, и Агагюль о ней не вспоминал, сейчас перед его глазами возникла ведьма, самая настоящая ведьма, шайтан в юбке, Зубейда, только волосы у нее были взлохмачены, губы отвисли, а ногти на руках почему-то похожи на длинные и острые коготки пеструшки.

Жалко курицу.

Дело, конечно, было не только в курице; вон их сколько в курятнике, они не обеднели бы, потеряв петрушку; Агагюль сказал бы матери, что отнес курицу в подарок какому-нибудь своему товарищу из Баку, дело было даже не в том, что Агагюль сказал бы неправду, а говорить неправду - нехорошо, недостойно мужчины; раз неправда была сказана, чтобы сохранить в чистоте имя такой девушки, как Ниса, эта неправда не позор; дело было в том, что Зубейда вполне могла и курицу съесть, и Нису на все село ославить.

Зубейда, надев длинную ночную рубашку, лежала под пологом на веранде и думала, что если и есть что плохое у этого прекрасного Апшерона, то это - комары, причем их особенно много здесь, в этом селе, а немного выше, в Бильгя, или в той стороне, в Нардаране, ни одного нет.

Что ж теперь, перебраться в Бильгя или Нардаран?

Спи, верно отцы говорили: нет красавицы без изъяна...

А как быть, если у красавицы сто изъянов?

Да никак! Спи, и дело с концом.

Только почему она все никак не может вспомнить... Что это было? Какой-то очень слабый свет через долгие годы пробивался, что-то очень чистое, вроде поцелуя Нисы под смоковницей, - что это было? В этом не было ничего от хлопанья пробок шампанского, не было запаха духов, пудры, не было вкусных блюд, полупьяных тостов, влюбленных взглядов, это было что-то очень простое, похожее на школьную тетрадь в клеточку...

Внутрь полога залетел комар и напомнил Зубейде тонкий противный голос Агабаджи; Зубейда внезапно подумала, что будет, если Агабаджи, поднявшись утром, не найдет в своем Курятнике пеструшку, и что будет, если к ней кто-нибудь придет рано утром и увидит пеструшку в ее дворе...

Надо сейчас же встать, зарезать курицу, ощипать, выпотрошить и хорошенько осмолить, а то и без того что-то гнетет, что-то все вспоминается, не уснуть никак, будто все грехи этого мира придется искупить этой ночью.

Зубейда поднялась, выбралась из-под полога, вошла в комнату, взяла со стола острый нож, прямо в белой ночной рубашке спустилась во двор и с некоторой тревогой, возникшей в сердце, двинулась к айвовому деревцу, к пеструшке.

Пеструшка, услышав шорох, открыла глаза, посмотрела на свою новую хозяйку, переступила с ноги на ногу, и снова глаза ее затянулись мутной пленкой.

Зубейда с нарастающей в сердце тревогой смотрела то на нож в руке, на его острое лезвие, сверкающее в лунном свете, то на пеструшку, не ведающую о том, что с ней будет через минуту; так что ж, неужели она сама зарежет эту курицу? Надо вытянуть ее голову в сторону Мекки, прижать одной ногой крылья, другой - лапы, вытащить язычок из клюва и отрезать голову... Разве женское это дело, о аллах?! Может разве женщина зарезать курицу? Люди спят, все село сладко спит, до чего же ты дошла, до чего же ты еще можешь дойти?!

Конечно, Зубейда в жизни не резала кур, мужское это дело, изначально так повелось. Но что же ей теперь делать, к какому сукину сыну пойти и сказать: мол, сын Агабаджи Агаюль мне курицу принес; что удивляешься, не может он мне курицу подарить, что ли? Не надо было ей этого парня отпускать, заставить бы его зарезать курицу, сразу же и ощипать, и осмолить. «Ну, ты и штучка...» Это Зубейда сама про себя сказала: «Ну, ты и штучка...»

А село будто вымерло, светились только электрические лампочки на уличных столбах, да время от времени проблескивал в море одинокий маяк; тусклым был этот блеск в знойной безлюдной ночи и напоминал прежде всего об одиночестве, о человеческом одиночестве, и Зубейде стало ясно как дважды два, что не сможет она зарезать эту пеструю курицу, и, самое главное, вдруг страшно расстроилась Зубейда, так расстроилась, что дальше некуда.

Просто спать можно: ну, что она тут делает в ночной рубашке, с ножом в руке? Все это так не вязалось с тем, что ей хотелось вспомнить, она с самого утра тосковала по какому-то воспоминанию - Далекоему воспоминанию; и как раз в этот момент - удивительно! - из глубины ее памяти, как из клубящегося тумана, Постепенно выплыло давно забытое лицо, а еще через мгновение на лице проступила улыбка, причем какая-то суровая Улыбка.

Зубейда, наклонившись подняла упавший на землю нож, спотыкаясь пошла к дому, включила свет на веранде, села на стул и положила руки на колени.

Где же те письма? Куда она их спрятала?

Два письма было, всего два, и оба она получила на главпочтамте в Баку, они были «довостребования», два треугольника, два солдатских треугольника... И Зубейда вспомнила, что одно из этих двух писем, то, что побольше, еще во время войны взяла у нее Дурдане, оставила на память. «Такие хорошие, умные письма разве без ответа оставляют, слушай? - сказала она. - Не променяю, - сказала, - сотню твоих золотозубых Адилей на одно это письмо». Да, так сказала Дурдане и с тех самых пор стала понемногу уметь.

Зубейда поднялась, вошла в комнату, зажгла свет и остановилась перед высоким, широким и тяжелым, орехового дерева шкафом (этот шкаф еще во время войны золотозубый Адиль купил для Зубейды), поставила табуретку, взобралась на нее и в самом верхнем ящике шкафа нашарила ключ; спустившись, открыла этим ключом самый нижний ящик и, с трудом вытащив его, достала сверток, где были старые фотографии киноартистов и старая открытка - в красной рамке - сердце улыбаются парень с девушкой; внизу соловей держит в клювике венок, а на венке написано:

Люблю вас и вы поверьте
Когда мне сердце говорит
Любить буду до самой смерти
Пока огонь в груди горит

после этих слов опять же нарисовано маленькое сердце, пронзенное стрелой.

От свертка в сильно пожелтевшей старой газете пахло прелью, и Зубейде почему-то вспомнились опавшие листья, пролежавшие всю зиму под снегом, долежавшие там до весны, и внезапно Зубейда почувствовала какой-то очень неприятный привкус во рту, будто съела гнилую винную ягоду.

Этот запах, этот привкус вконец расстроили женщину, и вообще крайне редко плакавшая Зубейда прослезилась.

Треугольное солдатское письмо было здесь, в этом свертке.

Зубейда развернула пожелтевшее за долгие годы, торопливо написанное химическим карандашом короткое письмо и впиалась в него глазами.

«Зубейда!

Это письмо пишу тебе с передовой. Сейчас тихо, не стреляют. По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо, но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины, я понял, что должен тебе написать. Находясь под обстрелом, человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохого, остается в памяти только хорошее. Меня ты можешь любить или не любить, но люби себя. Я не учитель, а ты не ученица шестого класса. Я не буду тебя воспитывать, но не ходи в тот дом. Поступай на работу. Не жалея себя. Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины. Прощай. Если останусь жив, напишу тебе еще. Напиши и ты что-нибудь.

З а к и р. 12 января 1942 года».

Закир написал еще одно письмо, оба вместе получила Зубейда, ответа не написала и больше не заходила на главпочтамт. Может, еще много писем написал Закир, и эти письма, не дождавшись Зубейды, в конце концов вернулись к Закиру. В сорок третьем похоронка на него пришла. - Или в сорок четвертом?.. Нет, в сорок третьем... Интересно, писал еще письма Закир? Да зачем ему было писать, зачем писать, если в тот весенний день обманула она Закира, мол, приду на свидание - и не пришла; если Закир, день и ночь

работая на обувной фабрике, еле зарабатывал сестрам на хлеб, а Зубейда купалась в грязных деньгах золотозубого Адиля, пила вино с этим золотозубым, спала с этим золотозубым и с другими, такими же, как золотозубый...

«Зубейда! (И тебе еще нравилось мое имя!..)

Это письмо пишу тебе с передовой. («Если бы я тебя полюбила, ты бы все равно туда убежал!..») Сейчас тихо, не стреляют. («Чтоб провалился тот, кто затеял эту стрельбу, как он и провалился; чтоб его зарыли в сырую землю, как и зарыли...») По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо («И не надо было писать... Зачем ты писал такой стерве, как я? Разве я тебе пара? Ты - самый добрый, самый красивый, самый смелый, а я... я... в грязи... по горло... Не надо было писать...»), но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины («Лучше бы эти мины посыпались на мою голову...»), я понял, что должен тебе написать. («Ничего ты мне не должен, это я тебе должна...»). Находясь под обстрелом («Ай джан...»), человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохого («Потому что сам ты был чистым, был добрым...»), остается в памяти только хорошее. Ты можешь меня любить или не любить («Чтоб та, которая тебя не любила, света неувидела, как и я неувидела...»), но люби себя («За что мне любить себя, за что?») Я не учитель («Ты больше мне учитель...»), И ты не Ученица шестого класса. («Ученица шестого класса была профессором передо мной...») Я не буду тебя воспитывать («Да Разве можно было меня воспитывать? Это у человека должно быть в крови...»), но не ходи в тот дом («При чем тут дом, виноват сам человек, дом что может сделать?...»). Поступай на работу («Так я и поработала, а!..»). Не жалея себя («Жалела Закир, дорогой, да буду я твоей жертвой... две копейки была мне цена, пепел на мою голову... Погубила я себя... Пропала я совсем, Закир...»). Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины («Втоптала в грязь папаху покойного. Закир, втоптала в самую жижу. Убил бы отец, меня, если бы он был жив, своими руками убил бы...»)

Зубейда больше не могла читать, пожелтевшие бу квы расплылись у нее перед глазами, а потом застлало ей глаза чем-то черным, будто черную стену перед ней поставили; Зубейда задыхалась; а за этой черной стеной тоже было душно, жарко, пекло солнце, и семнадцатилетняя девушка, красивая девушка, вместе с односельчанами шла следом за носилками, на которых лежало тело ее отца; вдали море с небом сливались, и солнечные волны набегали на берег, и эта семнадцатилетняя девушка, вместо того чтобы рыдать от горя, радовалась вместе с солнечными волнами, потому что не понимала, что такое смерть, я не хотела понимать...

Зубейда запаковала сверток, положила его в нижний ящик, закрыла на ключ, потом вытирая слезы подолом ночной рубашки, вышла из дома, направилась к беседке и там, усевшись «а перилах, стала смотреть на море.

Давным-давно, в незапамятные времена, она играла на берегу этого моря, играла и после смерти матери, потом Зубейде пришлось латать сети своего отца-рыбака, а потом и отец умер а море, как и прежде, накатывало свои солнечные волны берег.

В сущности говоря, Зубейда виновата и перед этим морем, потому что в те далекие годы, когда осталась она вдвоем с бабушкой, именно море было свидетелем начала ее взрослой жизни, ее взрослой жадной жизни; тогда это море было ей по колено, а ее несчастная бабушка была так стара, что перся смертью (когда она умерла, шел второй год войны) считала Зубейду своим сыном-рыбаком, то есть путала Зубейду с отцом Зубейды...

Ветерок иссяк. Листья не шелестели, комары нахлынули беседку и самим теперешним своим существованием доказывал что прошлое никогда не вернется. Голос моря доносился уж как будто из другого мира, но зато явно из этого мира был, две вылетевшие на ночную охоту летучих мыши; ошалев от духоты, они металась по двору, задевали ветви деревьев, натыкались на опорные столбы беседки. Время от времени зног ный стрекот цикады предупреждал о завтрашней жаре.

Дом, о котором писал Закир, чтобы она туда не ходил старый дом Ширинханум, находился рядом с двойными воротами Крепости. И этот дом, и соседний дом Закира давно уже снесли, на их месте площадь.

Много молодых дней Зубейды, что теперь мучили ее, прошли в том доме Ширинханум.

Ширинханум в их компании была, пожалуй самой умной и рассудительной; она жила с матерью, мать ее продавала пирожки на Сабунчинском вокзале и с самого раннего утра до поздней ночи не бывала дома, а когда и бывала, не путалась в ногах у подруг. «Хорошо делаете, развлекаетесь, так и надо, жизнь коротка», - слышали они от нее, а когда дочка дарила ей что-нибудь, кофту или платок, женщине крыльев только не доставало, чтобы взлететь от счастья, иона совершенно искренне считала счастливой и себя, и дочку. «Вот и хорошо, что не работаете, пусть лают, гавкают сколько хотят, все это от зависти, я вон с раннего утра на вокзале пирожки продаю, и что у меня есть? что я зарабатываю? Нет, я не хочу для вас такой жизни».

Ширинханум превосходно умела шить, красивые платья у нее получались, и некоторые известные в то время в Баку жены больших начальников захаживали в двухэтажный дом у двойных ворот Крепости, заказывали Ширинханум платья. Зубейда и ее подруги многие часы просиживали в этом доме, шутили, ссорились, мучились, здесь отмечались и самые торжественные события в их жизни, бесконечные дни рождения - каждая в год по четыре-пять раз рождалась. И все эти дни рождения праздновались в этом доме. Много вина там было выпито, много рюмок разбито. Однажды, когда погас свет, золотозубый Адил зажег сторублевку и осветил стол, и тогда все хором говорили, вот счастливая Зубейда, то есть Зубейда счастливая потому, что у нее такой богатый и щедрый любовник.

Так-то, Закир... Вот такие дела...

Молодящиеся женщины, приходившие к Ширинханум шить платья, свысока смотрели на компанию Зубейды, знали, что это за птицы, что это за компания, но некоторые в душе завидовали подругам Зубейды, завидовали их молодости, красоте и даже бесстыдству, и Зубейда с подругами думали, что так оно и будет всегда...

Постепенно компания распалась, дым рассеялся, золотозу-эого Адил арестовали, Асадагу убили кастетом, рябой Наджафгулу ударил кого-то ножом и угодил в тюрьму; Керим умным оказался, гитару забросил, поступил в институт, выучился, теперь, говорят, директор какого-то завода; Дибирова сняли, и он пропал неизвестно куда, и те дни потихоньку превратились в воспоминания; и теперь, в эту знойную летнюю ночь, в этой беседке память о тех далеких-далеких годах сопровождала мелодия тара, на этом таре играл Закир, и под его сильными пальцами струны рассказывали о пустоте, никчемности и ничтожности воспоминаний, которым предавалась Зубейда.

Закир иногда играл на этом таре, причем играл по вечерам, и Зубейда, по пути к дому Ширинханум или возвращаясь от Ширинханум, слышала игру Закира, хорошо знала она и то, что этот парень - тарист - ее любит; еще до того, как Закир ей признался, она об этом знала - по взглядам Закира, по тому, как Закир, выходя из своего дома, поджидал ее на улице.

Однажды, после затянувшегося в доме Ширинханум торжества, уже под утро, Ширинханум выпила до дна оставшийся фужер шампанского и сказала, что из-за тариста Закира ей опротивели все мужчины на этом свете, из-за него она обижена на жизнь, потому что Закир не взглянул в лицо Ширинханум, не ответил на любовь Ширинханум - уж так получилось. «Умираю я по этому парню, играющему на таре! - сказала Ширинханум и потом обратилась к Зубейде. - Не видишь, - сказала Ширинханум, - не видишь, он в тебя влюблен, слепая, ты не видишь, почему ты себя не жалеешь? Думаешь, нас не настигнет проклятие тех, кто ждет своих мужей, кто ждет своих братьев, отцов, женихов? Думаешь, не отольются нам стоны тех, кто не может сегодня найти куска хлеба? Ты думаешь, мы никогда не будем раскаиваться?» Конечно, Зубейда удивилась, что это за

слова говорит Ширинханум, потому что эти слова не подобали Ширинханум, и никому в голову бы не пришло, что от Ширинханум можно услышать такие слова, а, оказывается, вот такая была Ширинханум. Дурдане сказала: «Таким, то есть таким, как Закир, мы уже не нужны. С нами погуляют, натешатся, а потом женятся на скромных девочках. Матери, сестры таких девочек ненавидят нас!..» Роза сказала: «Пусть они себя ненавидят, нас за что? Что мы им сделали? Что мы кому сделали, а? У кого мужа отняли? Если муж обманывает свою жену, уходит к другой - пусть падает пепел на голову этой жене!»

И внезапно Зубейда вспомнила, кто была та женщина в шубе, купившая у нее прошлой зимой в Баку на колхозном базаре маринованные баклажаны... Это был первый день, когда вынесла на базар свои маринованные баклажаны Зубейда, и женщина в шубе купила у нее много баклажанов, и показалась она Зубейде очень знакомой, но, как она ни напрягала память, ничего не получалось, женщина была не из прежних ее подружек, из тех знакомых-приятельниц, но кто же она такая - никак не могла сообразить Зубейда. Заплатив за маринованные баклажаны, женщина в шубе спросила:

- Ты меня не узнала?

- Нет... - сказала Зубейда.

- А я тебя узнала, - сказала та женщина в шубе и ушла. Теперь, в эту жаркую летнюю ночь, вспомнила ее Зубейда узнала ее, глядя на лунную дорожку, - сестрой Закира была та женщина в шубе, средняя сестра, Наргиз ее звали...

Для кого конец, для кого начало...

Три сестры было у Закира и еще мать. Всех трех сестер поставил на ноги, выучил Закир, и все сестры ненавидели Зубейду. Это можно было понять по их взглядам, при случайных встречах на улице, а так - ни слова не было сказано. Дурдане говорила: «Они брата к тебе ревнуют, не хотят, чтобы кроме них какую-нибудь девушку любил их брат».

Старшая была Диляра, второй шла Наргиз, а потом Халима. Вскоре после ухода Закира на фронт Халима заболела, умерла. Что было потом, Зубейда не знала...

И вот Наргиз узнала Зубейду на рынке.

И пройдет еще немного времени, рассветет, пожилая женщина снимет ночную рубашку, наденет платье и будто во сне умоется водой из колодца, приберет слегка во дворе, потом, сунув под мышку сплетенные Абдуллой-киши от безделья веники, озираясь по сторонам, чтобы ее не увидел милиционер Сафар, пойдет на базар, попытается продать эти веники дачникам-горожанам, потом снова придет домой, приберется слегка во дворе, день ото дня уставая все больше, польет деревья, цветы, овощи; с трудом взобравшись по лестнице, соберет с навеса виноград, потом немного посидит в беседке, немного посмотрит на море, немного подумает о делах этого мира, потом заберется под полог на веранде, закроет глаза, чтобы заснуть...

7

Сначала Агагюлю показалось, будто куриное кудахтанье он слышит во сне, потому что всю ночь он видел путанные сны, и большая пестрая курица перекочевывала из одного сна в другой, а Ниса все время плакала, и вот когда Агагюль протер глаза и, подняв с подушки голову, выглянул из беседки во двор, у забора и действительно раскудахталась не на шутку большая пестрая курица.

А рядом с курицей Агагюль увидел торбу.

Агабаджи тоже проснулась от этого кудахтанья, сначала испугалась, что во двор залезла лиса, хотела разбудить мужа Ага-баба, который весь день возил людей в Баку и обратно и уставал так, что добудиться его было очень трудно, но, выглянув с веранды во двор, убедилась, что в курятнике спокойно, а кудахчет только большая пестрая курица у забора, и женщина, догадалась, что она вчера вечером забыла загнать эту пеструшку в курятник; Агабаджи снова улеглась на свое место рядом с похрапывающим мужем и снова заснула.

КУМГАН

I

Я ведь просто советуюсь с тобой, Агабаба, дорогой, а ты уж, наверно, подумал, что мы первому встречному дом сдадим, не так ведь это, посоветоваться-то можно... Я ведь не о плохом говорю, о твоих детях забочусь, не о чужих же, не о себе думаю, Агабаба, мне что, у меня уж больше ушло, чем осталось, а хочется для детей что-нибудь сделать, да... Должны мы для них что-нибудь сделать или нет? - Агабаджи в первый раз в жизни говорила мужу о себе такие вещи, намекала на то, что состарилась, и как будто Агабаджи была уже не та Агабаджи, которая с утра, как просыпалась, проходила в крайнюю комнату и, запершись там на ключ, чтобы дети не заглянули, минут десять-пятнадцать ухаживала за своим лицом, ни на один день не опаздывала красить волосы хной, и первая сплетница села Зубейда каждый раз - на свадьбе, на поминках или в бане, - увидев Агабаджи, выходила из себя: «Вы только посмотрите на нее, э, в возрасте моей бабушки (но тут уж Зубейда совсем завиралась, потому что сама она была старше Агабаджи на восемь-десять лет: во всяком случае, Агабаджи так говорила, и, поскольку почти все женщины поселка терпеть не могли Зубейду, они были на стороне Агабаджи). Ну да, в возрасте моей бабушки, а как мажется, вы только поглядите!..? Для мужа своего накрашивается-прихорашивается, да, для Агабабы» (выводило из себя Зубейду как раз это, потому что у нее самой не было ни мужа, ни детей, одна-одинешенька и вся вина была в ней самой, потому что, как предки хорошо говорили, то, что ты другим желаешь, то с тобой и случается); и еще было впервые, что в серьезных домашних делах, не в мелочах мнения Агабаджи и Агабабы не сходились. - Ведь выросли дети, ой, Агабаба, дорогой, большие уже стали, у них Ведь, аллах даст, все впереди, им жениться надо, замуж выходить, ну, родной мой, нельзя разве что-нибудь придумать?! Хотя бы по кольцу им купим, чтобы не краснеть перед людьми, когда свататься пойдем, ну, что ты на меня так смотришь, Агабаба!.. Ну ладно, с парнями проще, машаллах, они сами знают, что: делать, а дочери? С дочерьми-то что делать? Большие они уже, совсем уж подросли, машаллах! Эта гадина, Зубейда, бесстыжая, в бане трепалась, будто Агагюля с одной девушкой, по имени ее не назвала, врет, значит, в привокзальном садике видела, будто они целовались! Треплет языком, думает, я расстроюсь, вот дура, почему это меня должно беспокоить, мне еще лучше, мой сын - мужчина, что тут плохого? Еще об Агагюле она сболтнула, да ну ее, Агабаба, дорогой, Агагюль только через два года вернется из армии, а Балададаш, ты забыл, что ли, через месяц-два приезжает ребенок, да! Откуда ты знаешь, может, и у него девушка здесь есть, а мы и не знаем? Надо нам что-нибудь придумать или нет? Дочек-то ведь замуж мы будем выдавать, никто другой... - Агабаджи взяла блюдо и стала им вырезать из раскатанного на толке теста кружочки; нарезанные кружочки все были одинаковые, с блюдец, и через некоторое время все эти кружочки теста, сложенные вдвое, должны были превратиться в одинаковые большие пельмени - кутабы.- Что случится, Агабаба, ну спустимся вниз, сорок дней до сентября осталось, что тут такого, все ведь при нас останется, проживем внизу, это же не позор, сдадим комнаты приличной семье, и все, ну что тут такого, что ты на меня опять так смотришь, э, родной ты мой?

Этот разговор начался два дня назад, и это были те самые два дня, когда была не его смена, он сидел дома и отдыхал, и за всю их жизнь в первый раз получился такой разговор, что из-за него Агабаба не мог отдыхать как следует.

Агабаба водил маршрутный автобус «Баку-Бузовны», три дня работал, два дня бывал дома, и когда он бывал дома, занимался двором-огородом, зимой подрезал лозы, летом полизал овощи, да и мало ли всяких других домашних дел скапливалось. Последние двенадцать лет так было, то есть так было с тех пор, как он стал работать на маршрутном автобусе, а вообще-то Агабаба уже тридцать два года работал шофером, с восемнадцати лет, то есть с тысяча девятьсот сорок шестого года, а теперь уже, слава богу, семьдесят

восьмой год, с «полуторки» начал, теперь «Икарус» водил и знал совершенно точно, что «Икарус» - последняя его машина, пенсию получит, дома будет сидеть, проживет как-нибудь, устал Агабаба.

- Если бы мы как люди сдавали комнаты летом! Сколько денег уже потеряли! Не позор же это, Агабаба, наш собственный дом, сами строили, на свои деньги, ну, сдадим верх на ме-сяц-два приличной семье, совестливым людям, и им будет хорошо, воздухом тут подышат, в море покупаются, и нам будет хорошо, деньги нам нужны, о детях надо помнить, ну, почему же ты на это не соглашаешься, дорогой мой, ну, Агабаба? Ведь Святое же дело!

Агабаба, перебирая подаренные садовником Асадуллой желтые дешевые четки, очень похожие на янтарные, сидел перед открытым окном застекленной веранды и смотрел на море. Отсюда, с веранды, море было видно как на ладони: были видны и скалы, тянущиеся от Бузовнов до Загульбы, ниже скал -, все море, то-есть до самого горизонта сплошная голубизна, а по береговой кромке ярко-желтый песок: голубизна же морская где-то была светлее, где-то чуть темнее, и в этой бескрайней голубизне пряталась такая бездонная глубина, огромный мир воды, и еще в этой голубизне таился ласковый мягкий свет, от моря как будто ни звука не доносилось, потому что тихий переплеск набегающих на берег мелких волн не нарушал тишину, это безмолвие и этот плеск дополняли друг друга, и в этот момент человеку вполне могло бы показаться, что море всегда бывает таким, как будто никогда оно не грохочет и не ревет, никогда серые дожди не душат море, обесцвечивая эту голубизну, как будто никогда эти мелкие спокойные волны не собираются в огромные седые валы и не обрушиваются на скалы, пузырясь на них, как пена с морды бешеного скакуна.

С утра в этой невинной голубизне, в этом морском безмолвии купался один человек, и когда этот человек кончил купаться, насытился морем и вышел на берег, стало ясно, что этот человек - не один человек, а два человека, парень и девушка...

Агабаба встал и своими широкими плечами заслонил открытое окно веранды, а потом повернулся, чтобы и самому не смотреть на это зрелище, на этого парня и на эту девушку, что с утра в море были одним человеком, а теперь раздвоились (здешние такого не сделают, а пара, конечно, приехала из города, из Баку, и в сегодняшнем безлюдном понедельник море окунулась в воду).

Агабаба некоторое время смотрел, как его жена раскатывает еще один кусок теста, потом вдруг раздраженно сказал:

- Хватит! Я еще не умер! Пока я жив, в этом доме чужой человек ни одной копейки не потратит! Влей это себе в ухо! Поняла?

Агабаба сказал эти слова и сердито почесал большим пальцем свой поседевший еще в молодости густой ус, потом прошел в комнату и, сев за стол, уперся взглядом в картину на стене.

Агабаба говорил так сердито потому, что сильно расстроился, причем расстроился не только из-за того, что Агабаджи вдруг загорелась сдать комнаты внаем; в этот тихий летний день, нерабочий для него день, когда никто его не трогал, не трепал, почему все же он так разозлился, было непонятно, однако внезапно он затосковал по Балададашу, затосковал по Агагюлю, потом перед его глазами словно прошли-проплыли дочери, и выяснилось, что на сердце у Агабабы очень беспокойно, тревожно, причем тревога эта поднимается откуда-то из глубины, из какого-то мрака; потом Агабаба посмотрел на льва, посмотрел на человека с кинжалом в руке, и как-то так получилось, что ему вдруг стало жалко льва; лев-то он был лев, но на кинжал в руке человека он смотрел так, как будто был не лев, а заяц...

...Эту картину на стене большой комнаты нарисовал три года назад один художник, приехавший из Баку для того, чтобы на красных полотнищах написать лозунги, а также изобразить голубя как символ мира у входа в поселковый клуб (в прошлом году зимой ветер унес изображение голубя, правда, и без того от дождя и снега оно совсем выцвело).

Этот художник, окончив работу в клубе, в Баку не уехал и начал за деньги рисовать картины на стенах. В поселке такая мода пошла, куда там, кто заказывал себе рисунок голубя, кто - павлина, а кто - цветы; садовник Асадулла пожелал во всю стену изображение корабля с надписью на борту «Красный Кавказ», потому что во время войны служил на этом корабле; плотник Музафар заказал большую русалку-красавицу, в накинутой на плечи шали, с рассыпавшимися по волнам желтыми волосами, из-за чего Зохра, жена плотника Музафара, ровно сорок дней с мужем не разговаривала, обиду держала; птицелов Фазиль заимел портрет охотника, который целится из ружья в слона, и этот Фазиль говорил, будто лицо этого охотника - его собственное лицо, будто художник смотрел, смотрел на него - и вот так нарисовал эту картину. А все началось после Амиргулу: Амиргулу подружился с этим художником, они частенько пили вместе вино, и, попивая вино, Амиргулу вспоминал свою покойную мать и так плакал, что наконец этот художник, когда Хейрансы не было дома, на стене большой комнаты Амиргулу нарисовал портрет женщины - матери Амиргулу, которую когда не видел и от которой ни одной фотокарточки не осталось, и вот после этого в поселке и пошла мода. Этот художник нарисовал у Агабабы в верхней большой комнате льва и храбреца, убивающего этого льва, и Агабаджи, сложив руки на груди, долго смотрела на картину, а потом спросила, что это такое; художник сказал, что будто бы у грузин есть большой поэт, его зовут Шота, а здесь нарисовано то, что он писал. Вечером этот художник как обычно выпил с Амиргулу вина, пришел и, с минуту посмотрев на эту картину, разрыдался, Амиргулу тоже прослезился и сказал Агабабе, что другого такого великого художника нет во всем свете, но в Баку не дают ему ходу, не продвигают, нет у него никакой поддержки и жена поэтому бросила его и ушла к другому. Эта картина очень понравилась всем в поселке, и все решили, что этот художник ничего лучше не написал. Далее Зубейда этого не отрицала и не проронила ни слова, когда Агабаджи в бане расхваливала эту свою картину; правда, руки у храбреца вышли какие-то не такие, и библиотекарь Наджаф сказал, будто в живописи самое трудное дело - рисовать руки человека; и еще одна нога у героя была вроде немного длиннее другой, а на голове непонятно что - то ли волосы, то ли мохнатая шапка. Но, во всяком случае, поначалу самому Агабабе очень нравилась эта картина, потом, правда, надоело на нее смотреть, но вот теперь как-то так случилось, что он вдруг пожалел этого льва, потому что, кажется, этот лев чем-то вроде похож на Амиргулу...

...Агабабе стало жаль и художника, и, что уж было и вовсе через край, внезапно ему стало жалко Амиргулу, как будто Агабаба - это был не тот самый Агабаба, который, глядя в окно на улицу и видя, как Амиргулу опять пьяный валяется, что-то бормоча, под тутовым деревом, называл соседа не иначе как сукиным сыном.

Отчего это было, почему Агабабе приходили в голову такие мысли, почему становилось жаль весь белый свет, даже сердце сжималось.

Как будто Амиргулу ждал, что Агабаба так смягчится, с улицы снова слышался его голос, и Агабаба, в последний раз посмотрев на льва, похожего на зайца, поднялся на ноги, подошел к уличному окну и отдернул занавеску.

Амиргулу обычно выпивал в день четыре стакана портвейна. Жена Амиргулу, несчастная Хейранса, устроила несколько скандалов - сначала в поселковой винной лавке, а потом в большом магазине, где заведующим был Вартан Нерсесович, и теперь в поселке никто не давал Амиргулу вина, вот почему милейший Амиргулу каждое утро садился в автобус и то в Маштагах, то в Бузовнах, или в Мардакянах, Шувелянах выпивал два тонких стакана (по двести пятьдесят граммов каждый) своего сладкого напитка и еще раз вечером таким же манером выпивал два стакана, и этих четырех стаканов вина хватало Амиргулу на весь день, всегда он был, что называется, под парами, но если он выпивал лишку, если нарушал свой график, тогда этот паршивец приходил и падал под тутовое дерево на улице. Иногда Хейранса, заливаясь краской стыда, говорила Агабабе:

- Агабаба-гадеш, чтоб я умерла под твоими ногами, не сажай его в свою машину.

Но ведь как же много на этих апшеронских дорогах маршрутных автобусов, как много самых разных машин, и такая борьба с Амиргулу никакого результата не давала; тут надо было, как говорил библиотекарь Наджаф, позвонить в город, пусть приедут с санитарной машиной, заберут и лечат болезнь, но Хейранса, ясное дело, на такие предложения не соглашалась, потому что у Хенрансы тоже была своя гордость и она не могла на глазах у всего поселка отвезти своего мужа неизвестно куда, может, в сумасшедший дом.

И теперь Амиргулу, сидя под тутовым деревом на улице против их дома, прислонился спиной к толстому стволу и распевал себе:

Я - на фронте, я - на фронте!
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета.
Подбиваю самолеты!

Хейранса, готовившая на своем балконе фарш для кюфта - бозбаша, поглядела вниз со второго этажа и сказала:

- Куда тебе!

- Клянусь жизнью, подбиваю! Из «катюши» тоже стреляю, клянусь, да! - закричал Амиргулу.

...Иной раз, под вечер, когда действие двух утренних стаканов уже кончалось, а вечерние два стакана он еще не выпил, то есть когда Амиргулу бывал относительно трезв, и когда у него спрашивали, что за дурацкую песню ты поешь, он говорил: слушай, а почему она дурацкая, ведь я живу вместе с Хейрансой,- а это все равно, что на фронте, да...

Агабаба на этот раз не выругал про себя Амиргулу, подумал только, чем давать женщине такого мужа, лучше бы аллах дал ей черный камень.

Агабаба в этом смысле мог не беспокоиться, потому что сам он пил от силы три-четыре раза в год, и сыновья в этом пошли в него: ни Балададаш, ни Агагюль, ни Нухбала никогда не забирались с водкой в скалы, не привозили из города ящиками пиво и не пили его с горохом, играя в нарды на улице, не оставляли попадавших в их руки денег в шашлычной серебряного Малика.

У Агабабы с Агабаджи было три сына и шесть дочерей, причем сначала родились мальчики, а потом девочки. Старший сын, Балададаш, был в армии, вернее он уже кончил служить, учился на каких-то курсах, через два месяца должен был вернуться, а потом сдавать экзамены в военное училище. И второй сын, Агагюль, тот самый Агагюль, про которого спекулянтка Зубей-да в бане болтала, будто видела, как он в привокзальном садике целовался с девушкой, два месяца назад ушел в армию и, как Балададаш, был в Амурской области. Третий сын, Нухбала, перешел в десятый класс, будущим летом, кончив школу, тоже войдет в армию. Наиля перешла в девятый класс. Фируза перешла в седьмой класс. Кемаля перешла в шестой класс, Амаля перешла в четвертый класс. Дильшад перешла в третий класс. Последней была Беюкханум, и Беюкханум уже перешла во второй класс.

Девятеро детей было, и когда родилась Беюкханум, Агабаба Назвал ее именем своей матери, в том смысле, что самое дорогое имя - у последнего ребенка, но теперь стало ясно, что Беюкханум - не последняя.

Дело было в том, что неделю назад, когда они ложились пать, Агабаджи, стесняясь и краснея, сказала:

- Агабаба, родной мой, кажется, я опять жду ребенка...

2

Апшерон не был Апшероном в этот момент, Апшерон был просто раем, где от прибрежного песка до самого горизонта море было голубым и спокойным.

Кумган, поглядывая на море, бежал вдоль берега к скалам, от легчайшего северного ветерка. Белоснежный Кумган бежал по желтому песку под голубым небом, он бежал впереди, а Товар и Сарыбаш бежали за ним следом. Кумган временами останавливался, крутнувшись на месте, высоко поднимал голову, встречая Товара и Сарыбаша, пропускал их вперед, потом снова перегонял.

Большие агатовые глаза Кумгана весело поблескивали в солнечном свете; Кумгану было четыре года, и в поселке никто не мог сообразить, что за порода у этой собаки...

... В ту дождливую ночь, когда Агабаба привел маленького Кумгана, их сосед, охранник Гасанулла, пришел посмотреть на щенка и сказал:

- Это - ханты-мансийская собака. Потом сказал:
- Это коми-мансийская собака. А потом сказал:
- Нет, нет, это коми-хантыйская собака...

Гасанулла еще до войны - так получилось - попал в Ханты-Мансийский округ и обошел много деревень и стойбищ на берегах Иртыша и Оби. (В поселке говорили, что в каждом из тех далеких мест у Гасануллы осталось по жене; Балададаш написал в письме, что познакомился с одним парнем, прибывшим на службу из Ханты-Мансийского округа, и этот парень будто на одно лицо с охранником Гасануллой). После войны кто живой остался - в поселок вернулся, а в начале пятидесятих годов и Гасанулла возвратился, на голове шляпа, на шее галстук, в полосатом костюме с узкими брюками, начал работать в Баку охранником, привез себе из Баку вдовушку, и до сих пор у него на голове та же шляпа, пиджак от того же костюма, а брюки порвались.

Охранник Гасанулла считался в поселке первым знатоком собак, и в дождливую ночь Агагюль побежал и позвал охранника Гасануллу. Охранник Гасанулла позабыл азербайджанский язык, но и русский не выучил хорошенько и обычно изъяснялся на причудливой смеси двух языков. (Почтальон Фатош говорил, что в письмах, приходивших охраннику Гасанулле из тех далеких мест в пятидесятих годах, Гасануллу называли Григорий Михайлович; имя отца охранника Гасануллы было Мехти; теперь-то Гасанулле никакие письма не приходили, но почему-то никто не спрашивал у почтальона Фатоша: слушай, а почему ты вскрывал эти письма и читал, что в них написано?).

Охранник Гасанулла, увидев щенка, сказал:

- Молоко! Нужно молоко!

Дети принесли молоко в узкогорлом старинном медном кум-ране, и охраннику Гасанулле этот кумган очень понравился.

- Хороший кумган! - сказал он. Агабаба спросил:
- А щенок как? Хороший щенок? Охранник Гасанулла сказал:
- Да, да, хороший кумган! - и с того вечера дети стали называть щенка Кумганом.

...Кумган добежал до скальной гряды, остановился и обвел глазами скалы, глаза Кумгана весело посверкивали, он чуть ли не подмигивал толстым плитам, заигрывая с ними, мол, что вы тут стоите, давайте побегаем наперегонки.

Бродячие собаки издавна жили в скалах, беспризорные суки в этих скалах щенились, выкармливали здесь своих щенков, щенки здесь и вырастали, кое-кто находил себе хозяев, остальные убирались прочь, потому что поселковые собаки хорошо знали друг друга и хотя временами и грызлись между собой, но чужаков дружно прогоняли со своей территории.

В поселке держали только кобелей, у кого была дворняга, у кого волкодав, а у кого и легавая (Зубейда терпеть не могла собак и говорила: слушай, животное если хочешь кормить, так корми овец, корову, а собаку на что?). Некоторые бакинские хозяева породистых сук были ужасные дельцы, они ездили по всему Апшерону, выискивали породистых кобелей, а потом продавали породистых щенков и зарабатывали деньги. Чистопородных псов в поселке было три: один - Алабаш садовника Асадуллы, это был волкодав, и садовник Асадулла уже давно обрезаю ему уши, чтобы лучше слышал, отрубил хвост, чтобы в холод не спал лениво, прикрывая нос лохматым хвостом; второй -

леговая охотника Фазиля-Сарыбаш, тот самый Сарыбаш, который бежал сейчас к скальной гряде с Кумганом, Фазиль брал его с собой на охоту, и Фазиль, который в жизни ни о ком доброго слова не сказал, признавался, что, если бы не Сарыбаш, добыча даже такого удачливого охотника, как он, была вполовину меньшей; и еще один - немецкая овчарка Вар-тана Нерсесовича-Рекс; все остальные были дворняги.

Вот уже три дня, как пропал Алабаш садовника Асадуллы. Летом в поселке почти все на ночь спускали своих псов; собака бродили по дворам и улицам, выбегали на берег моря, обследовали скалы, а утром возвращались в свои дворы, в свои будки. Уже три дня пес садовника Асадуллы - тот самый безухий, безхвостый, громадный и красивый Алабаш никому не попадался на глаза, и вчера днем по всему поселку пронесся слух, что кобель садовника Асадуллы взбесился. Однако ни Товар, ни Сарыбаш, ни Кумган ничего об этом не знали, и в этот ясный спокойный летний день Товар с Сарыбашем спокойно обнюхивали себе расщелины в скалах. Кумган побежал обратно к морю, посмотрел на небо, посмотрел на этот, тянущийся насколько видит глаз берег с мелким желтым песком, и как будто не захотелось ему расставаться с этим чистым прибрежным песком, этим ярким солнцем, этой небесной голубизной, и Кумган снова побежал вдоль берега.

В тот спокойный летний день прилетел на берег моря кулик. В этой части Апшерона кулик встречается редко, и называют его соленым куликом, потому что он обычно обитает на Соленом озере вблизи селения Мухамедлы.

И вот, неведомо как залетевший в эти края кулик, оставшись в одиночестве на этом пустом берегу, тоже будто заскучал по живому существу, и когда бегущий вдоль берега Кумган приближался к нему, кулик отлетал в сторону спокойного моря и, описав полукруг, в этой голубизне, снова садился на мокрый песок, дожидаясь, когда Кумган приблизится к нему, и, как только Кумган приближался, снова взмывал в воздух и, описав полукруг, садился на мокрый песок впереди; следуя за птицей, Кумган бежал мимо пустых навесов пляжа, всем своим видом выражавших тоску по людям, детям, бежал мимо кутабных киосков - без продавцов и покупателей, без шума и крика, без запахов и ароматов; наконец, у качелей Кумган закончил свою игру с куликом, пронесся от моря по прямой к пляжной кабине и на этот раз уже повернувшись промчался обратно к скалам.

Надо сказать, места эти не так уж близко от Баку, поэтому большинство бакинцев ездили на шиховский пляж, но в субботу и воскресенье, когда устанавливалась хорошая погода, то есть стояли такие, как сегодня, спокойные солнечные дни, тут было, что называется, не протолкнуться. Приезжали все больше на собственных машинах, у кого же не было своей машины - набивались в автобусы. Примерно в середине дня жители поселка отвязывали своих собак, и собаки, хорошо зная свое дело, тут же убегали на пляж, подъедали там колбасные огрызки, остатки кугабов, куриные косточки, остатки мороженого, просто невозможно было их оторвать от этой вкуснотищи, а вечером, когда купальщики, загорев под солнцем до красноты петушиного гребня, наконец уезжали, собаки долго еще бродили по берегу, перерывали газетные кульки и свертки, вылизывали консервные банки. А потом берег начинали прочесывать поселковые ребятишки, каждый с большим мешком в руках, они собирали пустые бутылки, а наутро относили и сдавали их в магазин Вартана Нерсесовича; они так же сгребали рванные газеты, бумагу, сдавали эту макулатуру, получали талоны и на эти талоны покупали в Баку книги, а потом, продавая книги, покупали себе, кто держал голубей - голубя, кто держал рыбок - рыбку, кто хотел смотреть кино - ходил в кино на индийские арабские фильмы. Вполне можно сказать, и при этом не ошибиться, что и поселковые собаки с нетерпением ждали очередную субботу. Все собаки, кроме одного Кумгана. Кумган ничего не знал об огрызках колбасы, остатках кутабов, куриных косточках, растаявшего мороженого на пляже в субботние и воскресные дни, потому что хозяин Кумгана Агабаба косо смотрел на эти вещи. По убеждению Агабабы, у мужчины должен быть мужской характер, мужчина должен жить как мужчина, у такого человека и все домашние должны быть его достойны, и это убеждение Агабабы было таким крепким убеждением! что оно оказало

влияние и на судьбу Кумгана, и вообще, но существу, в доме Агабабы было не одиннадцать человек, а как бы двенадцать - взрослые, дети и Кумган.

Кумган, может быть, вообще не знал вкуса колбасы, не знал, что на свете есть такие вкусные вещи, потому что сам Агабаба колбасы не ел и, естественно, никто не ходил и не покупал колбасу специально для Кумгана. (Агабаба говорил, будто логман (великий врач) сказал: пойдя на базар, купи джан (живое), то есть купи мясо; если не будет джан, купи полуджан, то есть яйца; если и этого не будет, тогда купи захримар (яд), то есть простоквашу.

Обычно Кумгану давали есть три раза в день: утром, днем, вечером, и еду для Кумгана Агабаджи готовила сама: замешивала ячменную муку, делала из нее колобок, иногда из ячменной муки и подсоленной воды делала болтушку, и еще если от обеда оставалось что-нибудь, эти остатки давали Кумгану. Иногда бывали косточки. Агабаджи обычно покупала мякоть мяса, потому что это было выгоднее, она или долму¹ готовила, или кюфту-бозбаш², или каждому из детей по котлетке, но в большинстве случаев она выпекала из теста дюшбере или кутабы. Правда, возиться с тестом дело хлопотное, но это себя оправдывало, никто голодным не ходил. Иной раз Агабаба утром, еще до работы, совсем рано, вытаскивал из курятника курицу, через некоторое время Агабаджи разделявала ее, и в такой день Кумган бывал очень доволен, потому что, разумеется, все кости ему доставались, и вот особенно в зимние дни, когда все вокруг покрывал снег и Кумган, выглядывая из своей будки во двор, хрустел куриными косточками, в черных глазах собаки было столько, тепла и света, что этот свет, это тепло никак не вязались с зимним холодом, метелью. Когда же Агабаба с лопатой в руке расчищал от снега подходы к будке, Кумган осторожно откладывал в угол куриную кость, выходил из своего убежища и так славно терся своей белой, неотличимой от снега головой о ноги Агабабы, что эта благодарность животного откровенно трогала такого мужчину, как Агабаба, проездившего полжизни по дорогам Апшерона, попадавшего в разные переделки, в снег и в буран.

...Тогда был самый конец весны, и в один из последних весенних вечеров, ровно четыре года назад внезапно разразилась гроза, засверкали молнии, начался такой осенний дождь - ужас, поднялся такой ветер, какой может дуть только на Апшероне в один из последних весенних вечеров, и Агабаба и Агабаджи испугались, что виноградные лозы во дворе, инжир, гранат, тутовник - все пропадет, но дождь так же внезапно прекратился, как начался, а ветер все не унимался.

В этот последний весенний вечер Агабаба сидел на веранде пил чай и смотрел во двор. Тускло поблескивали покрывшиеся свежими листочками ветки деревьев, эта неожиданно окутавшая все вокруг весна принесла с собой какую-то грусть, какую-то печаль. Внезапно сердце Агабабы сжалось, он вдруг подумал о детях. Балададаш, Агаюль, Нухбала, Наиля, Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Беюкханум по одиночке прошли перед глазами Агабабы, когда они вырастут, кем будут, кому достанутся девочки, как они будут жить-поживать, что станет с мальчиками? Вдруг Агабаба подумал и о том, что пройдут дни, пройдут годы, на этом свете наступит такое время, когда на земле не будет не только Агабабы, не только Агабаджи, но и ни одного из этих детей; придет день, когда эти дети, которые сейчас открывают рты, просят есть, болтают, смеются, шумят, лягут в конце концов в сырую землю, то есть вырастут, состарятся и умрут. От этой внезапной мысли все тело Агабабы мгновенно покрылось холодным потом, сердце заколотилось, и Агабаба, не допив чаю в стаканчике армуду, на ватных ногах вышел во двор, он и сам не понимал, как спустился к морю в этот ветреный весенний вечер, как подошел к скалам.

¹ Долма - голубцы из виноградных листьев.

² К ю ф т а-б озбаш - азербайджанское национальное блюдо.

Ясное дело, в этой внезапной пришедшей в голову Агабабы мысли не было ничего нового, кто пришел однажды в этот мир, должен однажды и уйти, это было известно, но вдруг стало известно и то, что когда подумаешь об этом, поставишь перед своим мысленным взором всех своих детей поодиночке и подумаешь, что когда-нибудь, в будущем, наступят девять отделенных друг от друга дней и эти девять дней унесут эти девять жизней - по одному в сырую землю, тут можно сойти с ума, все теряет цену: и это море, и эти скалы, и этот песок, и этот ветренный весенний вечер - весь мир показался Агабабе не стоящим одной черной копейки.

Потом Агабаба, медленно прохаживаясь по морскому берегу, много думал о людях, о мире, думал, что если мир такой бранный, то почему их завгар Кямалов такой мерзавец, стоит человеку вынуть руку из кармана, чтобы, извините, почесать, спину, как он считает, что ты сейчас вынешь деньги, а дашь ему взятку, и вообще, если этот мир такой бранный, если всем в конце концов - сырая земля, почему люди ссорятся друг с другом, ругаются, не ладят и даже пишат друг на друга заявления. (Зимой приходили двое, проверяли двор Агабабы, потому что в районный исполнительный комитет пришло анонимное письмо, будто Агабаба устроил в своем дворе парник, выращивает розы, отвозит и продает их в Москве на площади перед Ярославским вокзалом). Агабаба подумал обо всем этом, ругнулся про себя, потом ему вспомнились две строчки из стихов, которые библиотекарь Наджаф читал на поминках, на свадьбах:

Он обманет тебя, этот старый колдун,
Этот молодой остающийся мир, -

и Агабаба вдруг увидел, что рядом с ним идет большой щенок.

Агабаба остановился. И щенок остановился. Мокрый, с грязными от песка лапами, этот щенок дрожал от холода на пустынном морском берегу, и Агабаба прямо как ребенок подумал: о несчастный зверек, в чем твоя вина, что ты пришел в этот мир, пришел и остался совсем один, попал под дождь, и щенок как будто почувствовал, что его пожалело другое, Единственный кроме него живое существо в этой огромности моря, в этой огромности земли и неба в этот ветренный темный вечер, и щенок прижался к ногам Агабабы. Какое-то время они стояли так, потом Агабаба решил вернуться домой, вернуться к своим большим и малым детям, но щенок не отставал, путался в ногах, и, конечно, Агабаба в то время не знал, что этот щенок уже навсегда связан с его домом, этот щенок вырастет у них во дворе, станет их собакой, причем умной собакой, и имя у нее будет Кумган.

Поднимаясь в поселок, Агабаба хотел запутать щенка, но это было похоже на игру в кошки-мышки, причем кошкой был щенок, но запутать его оказалось невозможно, щенок не отставал ни на шаг.

Это был смешной щенок, и самым странным было то, что он совершенно освободил голову Агабабы от печальных мыслей, развеселил его своей малостью, упорством...

...Из-за скалы сначала послышался голос Амиргулу:

- Я знаю, где он прячется!

Потом показался сам Амиргулу - как будто в этот тихий День, в этот дневной зной дул сильнейший ветер, и этот ветер Действовал только на Амиргулу: Амиргулу раскачивался, как белье на веревке, за ним показался птицелов и охотник Фазиль с ружьем в руке, потом садовник Асадулла, а с ним галдящие ребятишки.

Амиргулу, подняв руку вверх, говорил:

- Я знаю, где он пропадает! - причем, произнося эти слова, он смотрел себе под ноги, как будто потерялся не Алабаш, а обручальное кольцо Хейрансы и Амиргулу искал это кольцо в песке. (Хейранса иногда говорила Амиргулу: «В тот день, когда я надела твое

обручальное кольцо, лучше бы мне на голову черный камень упал, о аллах, да ведь так и получилось!»).

Охотник Фазиль и все эти люди в этот тихий летний день искали Алабаша.

По поселку разнесся слух, что Алабаш прячется в скалах и сегодня утром чуть не укусил милиционера Сафара, а у милиционера Сафара в кобуре на боку не пистолет, а как обычно бутерброд на завтрак, поэтому он не мог застрелить пса. (Потихоньку занимавшаяся мелкой спекуляцией и больше всех в поселке ненавидевшая милиционера Зубейда, услышав об этом, сказала: «Чтоб ему пусто было, проклятому!»).

Свое ружье садовник Асадулла оставил дома.

- У меня рука не поднимется убить Алабаша! – сказал он и пошел к охотнику Фазилю, который любил такие вещи, и теперь все вместе поднялись на скалы и начали искать Алабаша.

Кумган внимательно посмотрел на этих людей. Он знал их всех, и знал, что это за длинная штука в руках охотника Фазилия.

Кумган посмотрел на этих людей, потом посмотрел на спокойное синее-синее море, на голубое чистое небо, на неподвижный желтый песок, снова посмотрел на людей и как будто не понял их, не понял, почему эти люди вместо того, чтобы купаться в море, лежат на этом песке, загорать под этим солнцем, полезли в скалы с шумом и криком.

Амиргулу, поднимая руку вверх, все говорил:

- Я знаю, где он! Знаю!

Голые скалы так раскалились под солнцем, что Кумган не мог устоять на месте и часто поднимал лапы. Несколько дней назад в такую вот жару небо внезапно нахмурилось - мгновенными переменаами погоды и знаменит Апшерон! - пошел дождь, поэтому во впадинах скал, выбоинах все еще оставалась вода, и Кумган, как только видел эти лужицы, бросался туда, мочил лапы, а когда люди, заглядывая в расщелины, удалялись, снова бежал их догонять.

- Я знаю, где он! Знаю!

Охотник Фазиль поднял ружье и выстрелил в воздух.

От этого внезапного звука все вздрогнули, вздрогнул и тот одинокий кулик на морском берегу, вздрогнул и взлетел... Кумган, поджав одну лапу, сощурил свои черные глаза, посмотрел в небо и как будто удивился, раз с неба ничего не упало, значит, в небе ничего нет, а раз в небе ничего нет, тогда зачем направили в это чистое, спокойное небо эту длинную штуку и выстрелили?

Охотник Фазиль сказал:

- Из этого ружья я медведя свалил, э, что мне пес?! Сейчас у него только мозги брызнут!

Садовник Асадулла, шагая за охотником Фазилем, говорил про себя: «Чтоб ты провалился! И отец твой был такой же шакал. Этому негодяю как будто медаль дадут за убийство!»

Амиргулу, подняв руку, снова сказал:

- Я знаю, где он! Знаю! - Потом, сильно качнувшись, обеими руками подтянул брюки, потому что они как всегда сползали с него.

В это время из-за скалы впереди выскочила собака, и тут же Фазиль вскинул свое ружье, приложился, а садовник Асадулла отвел дуло в сторону, и пуля на этот раз улетела в море.

Садовник Асадулла закричал:

- Не видишь, это другая собака?!

Бежавший к людям Товар испугался выстрела и, будто в него попали, повизгивая, помчался прочь; Товар был в диком страхе.

Кумган посмотрел, как бежал Товар, потом, часто поджимая лапы, скова двинулся за людьми, и тут внезапно слышались такие дикие звуки собачьей грызни, что у людей волосы встали дыбом. Все застыли на месте, словно пораженные неистовым собачьим

визгом и лаем; у охотника Фазиля задрожали руки, и садовник Асадулла, посмотрев на дрожащие руки охотника Фазиля, подумал: «Вы только посмотрите на этого храбреца! Медведя убил! На тебе!.. Убил...»

Амиргулу сделал четыре шага вперед, причем он больше не качался, как будто произошло чудо, и в такое время дня, в полдень, Амиргулу оказался трезвым.

Охотник Фазиль и садовник Асадулла тоже потихоньку двинулись вперед. Дети, умолкнув, не трогались с места. Кумган, усевшись на задние лапы между детьми и взрослыми, открыл пасть и задышал часто-часто. Охотник Фазиль, обернувшись, посмотрел на Кумгана и удивился, что собака Агабабы даже не лает в сторону грызущихся псов.

Амиргулу еще немного продвинулся вперед, и тут из-за скалы выкатились клубком две собаки, Алабаш, оторвавшись от глотки Сарыбаша, бросился на Амиргулу. Несчастный Амиргулу мигом повернулся и побежал, издавая животные вопли.

Алабаша можно было узнать только по размерам, обрезанным ушам и хвосту, а так Алабаш больше уже не был Алабашем, за эти три дня он облысел, покрытые белым налетом глаза расширились, взгляд стал диким, изо рта шла пена.

Амиргулу мчался с этими животными воплями (дети потом пустили слух, что, когда взбесившийся пес садовника Асадуллы преследовал Амиргулу, Амиргулу бежал и со стРаху звал на помощь Хейрансу), и когда Алабаш уже почти настигал его, садовник Асадулла закричал прямо в ухо Фазилю:

- Слушай, ну стреляй же!

Охотник Фазиль, отведя взгляд от взвизгивающего и корчащегося на земле Сарыбаша, прижал ружье к груди, и одновременно с выстрелом Алабаш подпрыгнул и упал на землю, но садовник Асадулла на этот раз невольно подумал, что хорошо стреляет, сукин сын.

Алабаш поскреб когтями землю и, сильно вытянув задние лапы, испустил дух.

Сарыбаш, лизнув свой ободранный бок, покачиваясь, поднялся на ноги, посмотрел на лежавшего недвижно Алабаша, потом посмотрел на охотника Фазиля с ружьем в руках, и в полных ужаса и боли глазах пса вдруг сверкнула искорка радости, Сарыбаш, покачиваясь, оставляя за собой кровавые следы, поплелся к своему хозяину.

Все, отведя глаза от Алабаша, смотрели на Сарыбаша, тишина была полная. Охотник Фазиль сказал:

- Из тебя больше собаки не выйдет! - и, нарушая традицию поселковых мужчин, очень неприлично выругался при детях, затем, прижав ружье к плечу, выстрелил Сарыбашу прямо в лоб.

Вот так четвертый выстрел охотника Фазиля нарушил тишину этого летнего дня, и Кумган, так и сидевший на задних ногах, после этого четвертого выстрела два раза твякнул на охотника Фазиля.

Охотник Фазиль, проходя мимо Кумгана, хотел со злости пнуть ногой эту собаку, чтобы она завизжала, но вспомнил, что это как будто собака Агабабы, и подумал, что такие шутки с Агабабой кончатся для него плохо, он не ударил Кумгана, только плюнул в его сторону и на этот раз не громко, а тихонько, себе под нос очень неприлично выругался.

Охотник Фазиль, садовник Асадулла и дети направились в поселок: охотник Фазиль шел, чтобы посмотреть, на кого излить свою злость - на жену, на тестя или на другого человека, садовник Асадулла пошел за лопатой и киркой, чтобы вернуться и закопать собаку, дети пошли, чтобы рассказать эту историю всем, кто не видел.

Все ушли. Только Кумган стоял там же, где стоял все это время.

Море как и прежде было синее-синее и спокойное. Небо - безоблачное, солнечное. Берег опять был пуст. Вдоль берега от песка поднималось легкое марево, и сейчас в этой тишине, покое казалось, что недавно прозвучавшие четыре выстрела прозвучали давным-

давно, как будто в этой тишине, в этой благодати ни стрельбы не могло быть, ни собачей грызни.

Кумган снова посмотрел на небо, снова на море, снова ид берег и снова увидел на берегу того же одинокого кулика, но теперь уже Кумган не стал играть с ним в догонялки. Что же касается Амиргулу, то у Амиргулу недавно брюки спереди промокли, и Амиргулу устроился на скале, чтобы снять брюки и высушить, а потом пойти и посмотреть, пораскинуть умом, что ему делать.

Амиргулу давно уже не был таким трезвым, и, понятно, терпеть такую трезвость было очень трудно. Как говорится, такие вот дела.

3

Был вечер этого тихого жаркого летнего дня, вся немалая семья Агабабы собралась на веранде. Могло быть три причины для такого всеобщего семейного сбора: или Агабаджи приготовила что-нибудь вкусное, или скоро по телевизору начнется концерт Зейнаб Ханларовой, или пришло письмо от Балададаша либо Агагюля.

На этот раз это было письмо, и это письмо Агагюль написал Нухбзле, и теперь Нухбала громко читал это письмо, а все внимательно слушали:

Агагюль написал такое письмо:

«Я тебе, мой брат, пишу

И тебя писать прошу.

Мой дорогой младший братик Нухбала, после приветов, если ты спрашиваешь обо мне, то я жив и здоров, чего и тебе желаю.

Нухбала, ты теперь у нас в доме единственный брат, и ты теперь должен делать так, чтобы никто не втопгач в грязь и мою, и нашего старшего брата Балададаша папаху, присматривай за девочками, ты теперь должен следить так, чтобы они были достойными девочками, как наша мама Агабаджи - достойная женщина. (В этом месте Агабаджи не выдержала и, вытирая слезы полотенцем, сказала: «Да буду я твоей жертвой, Агагюль!»)

Нухбала, ты теперь должен больше помогать нашему отцу Агабабе, потому что содержать такую большую семью очень трудно, к тому же наш отец Агабаба - настоящий мужчина (тут Агабаба очень быстро отвернулся к окну, как будто кто окликнул его со двора, ко и Агабаджи, и дети поняли, что он смутился, растрогался...).

Нухбала, когда человек далеко, он о многом думает. Когда вернусь, я тоже должен засучить рукава, начать зарабатывать Деньги, потому что мы должны выдать замуж наших девочек Достойно нашего имени.

Нухбала, остальное я напишу в следующем письме. Сократив расстояние, целую всех домашних. Передай от меня приветы нашему отцу Агабабе, нашей матери Агабаджи, Наиле, Фирузе, Кямале, Амине, Дильшад, Беюкханум. Нухбала, не забывай заботиться о Кумгане.

Подпись - я сам,

Конец - словам.

Твой средний брат Агагюль».

Агаполь вложил в конверт и фотокарточку, где он снят в военной форме, а на обратной стороне Агаполь красным карандашом провел на всю длину расчески три волнистые линии и на этих трех волнистых линиях написал:

«Мой дорогой младший брат Нухбала!

Не вспоминай, как посмотришь,

А как вспомнишь, посмотри!»

На этой веранде вечером этого тихого жаркого дня фотокарточка Агагюля в военной форме несколько раз перекачивала из рук в руки, и Агабаба, поглядывая на своих дочек, словно припоминал что-то, поднявшись с места и спускаясь с веранды во двор, он в первый раз с полудня заговорил с женой:

- Завтра сделай плов!

Это означало, что завтра рано утром, перед работой Агабаба вытащит из курятника двух кур, зарежет и под вечер все, собравшись на веранде, будут есть плов и Агабаджи положит порцию Агабабы в кастрюльку и оставит в сторону; когда ночью Агабаба придет с работы, Агабаджи разогреет кастрюльку, подаст Агабабе его порцию, а сама сядет рядом и, выкладывая одну за другой поселковые новости, будет смотреть как Агабаба ест плов.

Агабаджи сказала:

- А ну-ка поскорей! Наиля, принеси рис! Фируза, принеси стакан! Дильшад, подай таз!

Когда Агабаджи готовила плов, она варила десять-двенадцать стаканов, потому что семья была большая, приправы было маловато, к тому же дети хлеб с рисом не ели, а так как риса было много, Агабаджи начинала его перебирать с вечера.

Наиля принесла рис. Фируза принесла стакан. Дильшад принесла таз. Кемаля, Амаля, Бейюкханум тоже собрались вокруг стола. Агабаджи отсыпала из мешка двенадцать стаканов риса, высыпала его в таз и поставила таз на середину стола. Девочки и Агабаджи, каждая со своей стороны взяли по горстке риса, высыпали перед собой на клеенку и стали перебирать рис, купленный Агабабой по сходной цене у Мкртыча, водителя маршрутного автобуса «Баку - Ленкорань».

Нухбала вложил письмо АгаГюля в конверт и отнес конверт в то отделение платяного шкафа, где лежали самые ценные вещи дома - обручальное кольцо Агабаджи и еще ее кольцо с изумрудом, партийный билет Агабабы, письмо Балададаша, квитанции об уплате за электросвет и другие подобные вещи потом Нухбала поместил фотографию Агагюля в щель между рамкой и стеклом круглого зеркала, висевшего на стене рядом с фотографией Балададаша в военной форме, затем, выйдя из дома, забрался под навес посреди двора, снял брюки, рубашку, сел на постель, вынул из кармана брюк сигарету «Аврору», потихоньку закурил, держа сигарету в кулаке, чтобы Агабаба не видел, откинулся на подушку, посмотрел на луну, посмотрел на звезды, вдруг Нухбала увидел себя в военной форме, увидел что он послал домой письмо и все, собравшись на веранде, читают его письмо, а мать, Агабаджи, вытерев слезы полотенцем, говорит о нем: «Да буду я твоей жертвой, Нухбала!», отец, Агабаба, из-за него растроится и, завтрашний плов готовится из-за его письма, и сейчас такое же солдатское письмо Нухбалы читает и Наргиз, прячась от братьев, потихоньку. Наргиз тоже разделась и легла, и читает письмо Нухбалы в лунном свете. Нухбала увидел Наргиз, с которой учился в одном классе, в постели, и тут он очень глубоко затянулся сигаретой.

В нижней части поселка построили санаторий для военных, санаторий уже начал работать, и с этого года стало меньше комаров, потому что военные с вертолета обсыпали камыши между скалами и поселком каким-то порошком, и после этого дело дошло до того, что Нухбала в эту знойную летнюю ночь лежал под навесом без всякого полога и, глядя на звезды, думал о Наргиз и вообще о том, что такое любовь.

Эта ночь была очень тихой и звездной, и луна, как обычно а такие тихие ночи, проложила по морю блестящую дорожку, а мелкие волны все гнали и гнали эту полоску света на берег. Поселок еще не спал, окна светились, горели электрические лампочки, висящие над воротами, на улицах было пусто, даже молодежь, юнцы не говорили о футболе, не пели, собравшись в привокзальной садике, пели в клубах, из-за этого зноя все разошлись по дворам, тишину временами нарушали только гудки едущих в Баку и из Баку электричек, да еще по радио передавали концерт в исполнении Гаджибабы Гусейнова, из

многих домов поселка доносился голос Гаджибабы Гусейнова; казалось, что несколько певцов тихонько поют хором.

А теперь Гаджибаба Гусейнов пел на слова Физули, и эта песня красноречиво рассказывала о том, что творится в сердце Нухбалы, но во всем поселке никто не знал об этом, никто в поселке об этом даже и не догадывался.

В этот вечер Агабаба, словно все время припоминая что-то, не мог найти себе места во дворе и, открыв калитку, вышел на улицу, может быть, там есть кто-нибудь, с кем можно парой слов перекинуться, хоть немного развеяться, но в этот вечер на Агабабу как будто кошка кашлянула, только он вышел на улицу, сразу на него пахнуло сивушным запахом, потом вывернулся из-за угла Амиргулу и, увидел Агабабу, остановился, покачиваясь, потом сказал:

- Жаль, тебя не было, Агабаба, сейчас я наелся верблюжьих кутабов, так наелся - больше некуда!

Агабаба произнес:

- Хорошо сделал. На здоровье!

И, сказав эти слова, Агабаба повернулся, снова открыл калитку и опять зашел к себе во двор.

Ясное дело, Амиргулу все выдумал, в этом поселке, да и вообще в этих краях последнего верблюда зарезали самое близкое двадцать-двадцать пять лет тому назад, и Амиргулу верблюжьих кутабы мог есть разве только во сне - это было совершенно ясно, но неясно было, что же все-таки случилось с Агабабой? Вместо того чтобы радоваться тем прекрасным словам в письме Агагюля, снова внезапно сжалось сердце, хотя сыновья, что ж, сыновья, они - ничего, растут мужчинами, но вот дочери, дочери опять прошли поодиночке перед глазами Агабабы - и Наиля, и Фируза, и Кямаля, и Амаля, и Дильшад, и Бюкханум; они посмотрели Агабабе прямо в глаза, и - будто их так уж мало - еще одна готовилась-собиралась на белый свет, но откуда он знает, кто окажется на этот раз? Девочка или мальчик, ребенок есть ребенок, дело было не в этом. А в чем?

Поселок понемногу засыпал, гасли окна, выключались телевизоры. Вылетели на охоту летучие мыши. Задул легкий ветерок, и этот легкий ветерок, поколыхивая виноградные, инжирные листья, слегка отгибал их в сторону моря.

И в ту же ночь Агабаба перед тем, как погасить свет и лечь в постель рядом с Агабаджи, сказал:

- Ладно, делай, как знаешь, только чтоб люди были приличные.

Агабаба сказал эти слова, а про себя вроде усмехнулся - мол, где теперь приличные люди, потом лег в постель, нога Агабаджи коснулась его ноги, и на этот раз он подумал: что еще за разговоры, приличные люди, неприличные люди, в чем дело, что случилось? Агабаджи вздохнула свободно - у женщины будто камень упал с души - и сказала:

- Да буду я твоей жертвой, Агабаба, большое спасибо!

Через некоторое время храп Агабабы разнесся по всему их двору - и не только по двору... (Однажды их соседка Хейранса пожаловалась женщинам в поселковой бане, что по ночам спать не может из-за храпа Агабабы, и Агабаджи, услышав об этом, поскандалила с Хейрансой, лучше, мол думай по ночам о своем несчастном Амиргулу, а какое тебе дело до моего мужа? Но это было давно, и уже давно Хейранса и Агабаджи помирились. И дети, и сама Агабаджи так привыкли к храпу Агабабы, что когда Агабаба не ночевал дома, работал в ночную смену, то есть когда не раздавался храп Агабабы, они не могли заснуть, будто весь этот дом, этот двор, без головы без хозяина, был уже совсем не их дом, не их двор.)

В летнее время Агабаба и Агабаджи спали в маленькой пристройке к дому, девочкам же стелили палас на веранде. Мальчики с конца весны спали под навесом во дворе, и под этим навесом остался теперь один Нухбала, и Нухбала, как следует поразмыслив о том, что такое любовь, сейчас сладко спал. И уснули все девочки,

улегшись рядышком на паласе. Агабаджи думала о своих будущих квартирантах до тех пор, пока не сморил ее сон.

Кумган, стоя под тутовым деревом, наострил уши, устремив глаза на дыру в нижней части забора. Сорвался с места, но заяц оказался проворнее собаки и скакнул в свою нору.

В последнее время, с одной стороны, совхоз на свои поля, с другой стороны, торговцы зеленью, цветами на свои личные участки высыпали столько ядохимикатов, столько удобрений, что зайцы переселились с полей во дворы. Как будто зайцы поняли, что хозяин этого дома, то есть Агабаба, - человек, живущий честным трудом, с ядами, химическими веществами дела не имеет. Агабаба не носит зелень на базар мешками, в зимние месяцы перед московскими, ленинградскими вокзалами не продавал роз. Агабаба ухаживал за землей в своем дворе по обычаям предков, и овощи с его огорода, инжир, виноград, гранаты, абрикосы, айву, миндаль видела только его семья. Конечно, тут была еще одна сторона, которой зайцы не понимали: прежде всего Агабаба брезговал заячьим мясом, он говорил, что заячьи ноги похожи на кошачьи и, чем есть заячье мясо, лучше пожарить картошку, а с другой стороны, Агабабе казалось, что убивать зайцев и разорять их норы - это все равно, что срубить под корень и вот это, к примеру, инжировое дерево или айву.

А Кумган знал свое дело, не подпускал зайцев близко к огороду позади дома, и зайцы уже тоже знали Кумгана, зайцы знали, что ночью, когда наступит тишина, уйдут люди, эта белая собака начнет здесь прогуливаться, и эта собака - не такая уж злая, не страшная, во всяком случае, с этой собакой во дворе жить можно.

Милиционер Сафар говорил, что какой характер у хозяина, такой характер и у собаки. Милиционер Сафар говорил, вот, например, легавая охотника Фазиля (тот самый Сарыбаш, который был сегодня в полдень укушен взбесившейся собакой садовника Асадуллы и застрелен охотником Фазилем) по характеру и даже по внешнему виду - как будто копия своего хозяина. (Поселковые ребята говорили, что охотник Фазиль отрезал у подстреленных им птиц головы и давал Сарыбашу, и легавая так к этому привыкла, что как только находила, добычу не дожидаясь хозяина, отгрызала и съедала голову, а охотник Фазиль как ни в чем не бывало отвозил этих птиц в Баку и продавал их людям на базарах, и будто бы из-за этого кто-то заболел в Баку, и еще говорили, что легавая охотника Фазиля ест поганое мясо, потому что Сарыбаш с утра до вечера пил воду.) Милиционер Сафар говорил, вот, например, возьмем этого белого пса Агабабы, ясно, что он перенял характер своего хозяина, совсем не жадная собака.

На огороде опять лопнула дыня, и Кумган, наострив уши, посмотрел в сторону огорода. Садовник Асадулла привез из Узбекистана скороспелый сорт дыни; посадил у себя во дворе, и еще до сбора винограда эти большие желтые дыни уже поспевали. Садовник Асадулла в знак особого расположения дал и Агабабе семена этой скороспелой дыни, и в этом году в огороде Агабабы эти прибывшие из Узбекистана дыни выросли, пожелтели и созрели. По ночам, когда становилось прохладнее, у этих дынь сама по себе с немалым шумом растрескивалась кожура. Кумган сначала не понимал, что это за треск, а потом все же разобрался, чьи это проделки.

Кумган в свете электрической лампочки, висящей на столбе у колодца, еле успел проводить глазами быстро пролетевшую летучую мышь, потом взобрался на широкий грабовый пенек, на котором рубили дрова, оттуда мазнул на крышу курятника, а с крыши курятника - на широкий каменный забор.

Некоторое время Кумган не отводил от моря своих посверкивающих в лунном свете черных глаз.

Может быть, Кумган вспомнил того одинокого кулика, может быть, у него были другие воспоминания, связанные с морем, - во всяком случае Кумган думал; по крайней мере, всей своей позой он выражал глубокую задумчивость, потом, отвернувшись от моря, посмотрел на спящие дома поселка и, наострив уши, прислушался - кроме храпа хозяина,

кроме редких стуков падающих на землю еловых шишек да еще шороха листьев большого тутового дерева, других звуков не было, и Кумган, задрав голову, долго всматривался в сплошную темную массу шелестящих над ним ветвей и листьев.

В поселке говорили, что это тутовое дерево сто с лишним лет назад посадил человек по имени Мешади Мухтар и будто бы этот Мешади Мухтар - прадед жены милиционера Сафара; у Мешади Мухтара утонул в море девятилетний сын Ахмед, и Мешади Мухтар посадил тутовое дерево на улице, ухаживал за ним, вырастил, чтобы дух Ахмеда радовался, когда каждый будет класть себе в рот по ягодке. В поселке Ахмедово дерево называли обычно «поминальный тут». Конечно, Кумган обо всем этом не знал, но в эту пору лета, то есть в начале июля, под сенью этого дерева сидели на толстых ветках и лакомились тузовыми ягодами ребяташки, шумели, галдели, и, может быть, Кумган вспоминал сейчас об этом, - после того дневного шума и крика, выстрелов, суматохи и переполоха, Кумган отвернулся от поминального тута, словно нехотя посмотрел на скалы, и сразу же отвел от них взгляд, будто он был виноват в чем-то, связанном с этими скалами, будто сделал что-то не то; вслед за этим Кумган тихонько твякнул дважды в сторону скал, сложил крестиком передние лапы, отпустил на них голову и тихонько заскулил, как бы прощаясь навсегда в эту летнюю ночь с Алабашем и Сарыбашем.

Потом Кумган спрыгнул на крышу курятника, с нее - прямо на землю и побежал к своему огороду.

4

Сначала парень взмолился тонким визгливым голосом:

- Лейли! Лейли!

Потом девушка низко, чуть ли не баритоном спросила:

-Что, Меджнун?

Потом они запели вместе:

Что же нам делать?
Ибн Сина идет свататься,
О горе, горе!

И снова визгливо взвился голос парня:

- Мой цветок, моя пери!
Не могу без тебя!

Недаром говорят: лучше быть дураком, и пусть тогда у других голова болит, - подумала Агабаджи. Агабаджи подумала это, но было неясно, чем она недовольна, этой пластикой или своими квартирантами. Вчера ночью, когда они ложились спать и Агабаба сказал, что ему не по душе эти, что наверху, Агабаджи успокоила Агабабу: «Груша не бывает без червяка, а человек - без недостатков, спи, Агабаба...», но Агабаба уходил с утра, возвращался поздно и ничего не знал об этих делах.

Ровно пять дней продолжался этот концерт, ровно пять дней этот парень женским голосом зывал к Лейли, и девушка чуть ли не баритоном спрашивала: «Что, Меджнун? - а потом они пели вместе.

Амина-ханум заводила эту пластинку в полдень и включила звук на полную мощность, затем стоя у окна застекленной веранды, она принималась за черешню.

О аллах, разве можно есть столько черешни? Ведь говорят, что от черешни у человека живот болит, так почему же у нее с животом ничего не случается? Агабаджи очень старалась не сердиться на квартирантов, но это было совершенно невозможно.

Агабаджи откровенно злилась на них, но по известной причине враждовала она с ними в глубине души, и такая вот тайная злоба превратила жизнь Агабаджи в ад (предки как раз в таких случаях говорили: нет ничего хуже, если огонь пожирает тебя изнутри; предки были мудрые старики и обычно слов на ветер не бросали).

Вот уже пять дней, как Агабаджи с Агабабой сдали свои комнаты внаем, а сами перебрались в полуподвал и маленькую кладовку рядом с кухней (зимой здесь хранили дрова). Агабаба. Укрыл брезентом пространство под верандой. Агабаджи расстелила там палас, и девочки спали на паласе. Вчера ночью было так жарко, что Агабаджи и Агабаба не вынесли этой жары, выйдя из кухни, впервые в своей жизни, то есть впервые, когда оба они были дома, спали врозь, причем вместе с детьми. Агабаджи постелила Агабабе под верандой в одном конце, а себе-в другом, так что девочки спали между ними.

И вот уже пять дней, как Нухбала приходил домой поздно, приходил после того, как жильцы гасили свет и засыпали, потому что Наргиз сказала Нухбале, поклянись, что никогда в жизни не полюбишь никого, кроме меня; и Нухбала поклялся жизнью своего старшего брата Балададаша, что в жизни не полюбит никого, кроме Наргиз, на другую девушку не посмотрит даже уголком глаза, и поэтому Нухбала приходил домой поздно, приходил поздно, чтобы не видеть из-за навеса в окне второго этажа, как Амина-ханум раздевается, не видеть ее грудь, похожую на полное молоко коровье вымя, большой зад, не видеть, как эта женщина расхаживает по комнате перед мужем голая (Нухбала злился не только на Амину-ханум, но и на Башира-муаллима: «Этот сводник-муж почему свет не гасит или хотя бы занавеску не задергивает?!»).

Их было четверо, новых жильцов во дворе и в доме Агабабы, целых четыре новых человека: Башир-муаллим, лет пятидесяти, среднего роста, смуглый, с кудрявыми черными волосами, но потом обнаружилось, что и волосы, и свои тонкие усы он красит, Агабаба внимательно пригляделся и понял это, и после этого уже не мог смотреть на Башира-муаллима, и потом от Башира-муаллима, всегда пахло духами или одеколоном; Амина-ханум, ей было меньше сорока, беленькая, как яйцо, каштановые волосы, светлые глаза, нельзя сказать, что некрасивая; сын их Адиль, они звали его Адиком, и этот Адик в этом году кончил школу; дочка Офелия, ее звали Офа, перешла в шестой класс и было, наконец, то, что всю эту семью объединяло, и отец был толстый, и мать была толстая, и дети были толстые, все были толстые (жена Амиргулу Хейранса, когда впервые увидела квартирантов своих соседей, чуть не покатила со смеху, потому что, как только она увидела этих толстых людей, ей вспомнился чшш известный всему поселку разговор, над которым мужчины смеялись в чайхане, а женщины в бане: после того, как охранник Гасанулла вернулся из мест отдаленных, он некоторое время жил в поселке холостяком, потом решил жениться, и, когда один из аксакалов села мясник Ага-киши спросил, на ком охранник Гасанулла хочет жениться, охранник Гасанулла сказал: жените меня на ком хотите только чтобы она была как можно толще! Мясник Ага-киши, сидя со своими сверстниками в поселковой чайхане и попивая чай, сказал: «Оказывается, этот несчастный хочет жениться на квашне или на бочке. Ему не жена нужна в дом, а товар для пользования»- И когда эта весть разнеслась по поселку, ясное дело, ни одна женщина не пошла за охранника Гасанулла, и охранник Гасанулла в конце концов сказал: «Шайтан их всех возьми!» - и поехал в Баку подыскал там себе вдовушку, причем это была очень полная женщина).

Да, так все четверо квартирантов Агабабы были полные, но на самом деле их было не четверо, а пятеро, потому что у них был приятель, звали его Калантар-муаллим, и этот Калантар-рлуаллим каждый божий день бывал в доме Агабабы, то есть приходил к квартирантам, но Калантар-муаллим был худой и длинный, у него была очень длинная шея и очень большой кадык, в общем, он был очень тощий человек.

- Девушка с мужским голосом теперь запела другую песню, и от того, что пластинка, на которой была записана эта песня, треснула посередине, певица будто запинаясь, и на весь двор неслось:

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гани, Гани!
С золотыми зубами на-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задевай ме-е-еня,
Потому что я бессты-ы-ыжая, Гани, Гани!

«Чтоб ты провалилась! Чтоб ты сквозь землю провалилась, - Агабаджи с такой злостью поставила чайник на верх самовара, что чайник наклонился и кипящая вода ошпарила ей большой палец. - Так мне и надо!» - сказала Агабаджи!

Потому что я бессты-ы-жая, Гани, Гани!

Эта самодельная пластинка была записана на какой-то свадьбе, такие пластинки продавали с рук у кафе «Наргиз» в Баку по очень дорогой цене, и все же находились любители, у которых в карманах всегда полно; и Амина-ханум просила мужа покупать ей эти пластинки у кафе «Наргиз», и вообще Амина ханум очень любила такие самодельные пластинки и с удовольствием слушала их с утра до вечера.

Потом снова завопил женским голосом парень:

Захмелел я красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

Будь проклята маклерша Зубейда. Зубейда привела этих квартирантов к Агабаджи. «Хорошие люди, - сказала она, - очень культурные люди!» Чтоб черный камень упал на голову этой сводни за то, что нашла квартиру, аллах знает, сколько она с них взяла, чтоб она добра от них не имела, так ей, было будто мало, что она их к Агабаджи привела, еще и с Агабаджи пять Рублей сорвала, мол, я тебе квартирантов отыскала! Очень хорошо сделала маклерша Зубейда, отлично сделала, потому что у того, кто слушает такого человека, как Зубейда, ничего путного не получится. Потом Агабаджи подумала, что в доме должен быть один мужчина, что мужчина сказал, то и должно быть; Агабаба говорил, что не надо квартирантов пускать, и был, конечно, прав.

На этот раз, когда девушка опять пробасила: «Гани, Гани!», Кумган, стоявший под тутовым деревом, раза три тявкнул в сторону веранды, а тут стало ясно, что и Кумган тоже недоволен.

Кумган еще в первый день, наблюдая, присматриваясь к этим новым людям, к их повадкам, слушая их разговоры, сумел определить свое отношение к ним, и, наверно, милиционер Сафар правильно говорил, что характер собаки похож на характер ее хозяина, потому что Кумгану тоже, кажется, с первого же дня эти новые люди не понравились и потом он уже и на них не смотрел и даже отворачивался от них.

Конечно, эти новые люди не переживали, понравились они Кумгану или не понравились, и вообще они были не из тех людей, которые переживают, только Офелия хотела найти общий язык с Кумганом, но у нее ничего не получалось.

Офелия с изумлением смотрела на дочек Агабабы, на этих босоногих девчонок, бегающих по двору с непокрытыми головами, едящих когда вздумается, не едящих когда не хочется, пьющих сырую колодезную воду; девочки эти были будто совсем из другого мира, и Офелия, скучая, хотела подружиться хотя бы с Кумганом.

Офелия тоже начинала день с черешни, после черешни - шоколад, после шоколада - котлеты, после котлет - курица, рыба, уставая от всего этого, Офелия спускалась во двор, стояла в тени финиковой пальмы рядом с собачьей будкой или сидела на одной из сколоченных Агабабой деревянных табуреток и смотрела на Кумгана, изредка позвякивавшего своей цепью.

Кумган не обращал внимания на эту чисто одетую, аккуратно причесанную толстую девочку с красным бантом в волосах, а когда девочка подходила к нему поближе, Кумган лаял, а Офелия тотчас испуганно отступала, и видевшая это с веранды Амина-ханум говорила с чувством:

- Совсем спятила!

Амина-ханум говорила так потому, что Офелия выносила из дома и бросала перед Кумганом котлеты и целые куриные ножки, кюфту, долму без листьев бросала перед Кумганом, но Кумган ничего этого не ел, и забредавшие во двор кошки воровато растаскивали все и убегали. Офелия расстраивалась чуть не до слез. Ведь она так ласково разговаривала, так его обхаживала, но все равно ничего не выходило. Кумган не смотрел на Офелию и не дотрагивался ни до одного лакомого кусочка.

Амина-ханум любила готовить и готовила хорошо, вкусно - об этом можно было узнать по запаху, по аромату. С утра - хаш, мясные блинчики, тавакебаб, днём и вечером - долма, довга, плов, чихыртма, гызартма, бозартма, но больше всего удавалось - ей особые, как она говорила, «фирменные» котлеты. (Жена Амиргулу Хейранса все удивлялась: «Очень богатые люди у тебя живут!» «Богатые - для себя, мне-то что?» - отвечала Агабаджи и кляла себя: верно предки говорили, богач да глупая женщина делают что хотят...).

Уже больше недели они жили здесь, но за это время Амина-ханум ни разу не вышла со двора на улицу, если уборная не была в дальнем конце двора, эта злодейка, наверно, и с веранды не спускалась бы. Башир-муаллим каждый день приезжал из Баку на такси и по утрам уезжал в город на такси (Агабаджи говорила, раз у этого человека столько денег, пусть бы купил себе машину: а Хейранса говорила, да он, наверно, боится, зарплата маленькая, наверно, а так почему бы не купить?) И каждый раз, приезжая из города, Башир-муаллим вылезал из такси и шел по двору, держа по полной корзине в обеих руках, и Амина-ханум сразу же начинала готовить вкусные блюда из тех продуктов, что были в этих корзинах.

Нухбала весь день проводил на берегу моря, загорел дочерна и, несчастный, по известным причинам домой приходил поздно ночью, домашние, можно сказать, его почти не видели. Девочки, нанюхавшись кулинарных ароматов Амны-ханум, уходили каждая к какой-нибудь подруге, и Агабаджи, догадываясь о причине этих уходов, только стискивала зубы. Что она могла сделать? Нарезать и пожарить на сковородке картошку, нарезать и пожарить баклажаны... Агабаджи стала как будто стыдиться своих детей, до этого времени в доме Агабабы такого не было, и это было самое ужасное.

Офелия говорила:

- Кумган! Кумган! - и все еще не теряла надежды подружиться с этой белой собакой. - Возьми! - она бросала перед Кумганом только что приготовленную Аминой-ханум фирменную котлету из телятины, но Кумган отказывался от этой дружбы, и все тут. Однажды у Агабаджи волосы встали дымом, женщине показалось, что Кумган отвел глаза от брошенной Офелией котлеты, отвернулся и заплакал.

Вечером Агабаджи сказала Агабабе, чтобы утром он зарезал трех кур, и на завтра, когда она приготовила из этих трех кур чихыртму и все поели, Агабаджи собрала кости в одну посуду, вынесла и поставила ее перед Кумганом. И Кумган все эти кости с хрустом перемолол за пять минут.

В общем, тысяча и одна ночь, как говорил Агабаба, приведи ишака и нагрузи его своими печальями.

Башир-муаллим и Амина-ханум этим летом далеко не уехали и сняли дачу потому, что сын их Адиль в этом году поступал в институт и Калантар-муаллим поэтому ходил

сюда каждый день, так как было известно, что Калантар-муаллим преподает в институте; во всяком случае, Калантар-муаллим был человеком, как-то связанным с институтом.

У Калантара-муаллима была красная машина «Жигули», и когда эта машина останавливалась у ворот Агабабы, это означало, что Калантар-муаллим привез из города какую-то новость, он торопливо поднимался на веранду, тихонько шептался с Баширом-муаллимом, а когда Башира-муаллима не бывало дома, шептался с Аминой-ханум; иногда, посадив Адиля в машину, отвозил его в Баку или отвозил готовиться к экзаменам, или с кем-то знакомить; Агабаджи точно этого не знала, но было ясно, что ребенка устраивает в институт Калантар-муаллим.

Где работал Башир-муаллим, было непонятно, он ездил на работу, в общем-то, когда хотел, но однажды Нухбала услышал на пляже от ребят, будто Башир-муаллим - директор одного из рынков в Баку; во всяком случае, ни Агабаба, ни Агабаджи никогда об этом не спрашивали, потому что, где работал Башир-муаллим, их не касалось; Агабаджи в душе считала дни, когда наступит конец августа и когда эти квартиранты уедут. И Агабаба в душе считал дни, когда эта история кончится.

С тех пор как Агабаба женился на Агабаджи, он почти всегда спешил домой, и особенно в последние годы - то ли из-за возраста, то ли еще почему - в последние годы, сидя за рулем маршрутного автобуса Баку - Бузовны, за день шесть раз туда, шесть раз обратно. Агабаба, проезжая мимо своего поселка, с трудом удерживаясь, чтобы не бросить на произвол судьбы полный людей автобус, не пойти к себе домой, чтобы Агабаджи, набрав ведро прохладной колодезной воды, прямо г. середине двора опрокинула это ведро Агабабе на шею и на спину, а потом - еще, и Агабаба, хорошенько умывшись, поднимается на свою веранду и, попивая крепкий чай из грушевидного стаканчика - армуду, будет смотреть телевизор.

Кто бы мог подумать, что в таком возрасте Агабаба не будет спешить к себе домой, наоборот, попросится в автопарке на дополнительные рейсы, а дома будет говорить неправду, говорить: Агабаджи, мой напарник заболел, поэтому надо еще одну смену отработать.

Агабаджи все понимала, но вида не показывала, она уже устала корить себя и утешалась лишь тем, что больше никогда-никогда и никому не сдаст комнаты летом. Словом, это была действительно не очень приятная история, недаром предки говорили: выигрывает покупающий, а не продающий. И еще эта история с шашлыком.

Суэта с шашлыком началась в тот августовский вечер, когда запахи и ароматы дневных блюд Амины-ханум улетучились со двора и девочки вернулись от своих подруг домой и собрались вокруг телевизора. Еще до того, как в доме поселились квартиранты, Агабаба отнес свой телевизор вниз, под веранду. (У Башира-муаллима было целых два транзисторных телевизора, один они поставили на веранде, и этот телевизор смотрела Амина-ханум, а другой телевизор - японский, Офелия носила с собой по двору, и, поскольку Кумган поворачивался к ней задом, Офелия оставалась одна на весь Апшерон; у нее не было другого выхода, кроме как смотреть телевизор под смоковницей; конечно, этот маленький переносной телевизор был чудо как хорош, и, сидя в тени финиковой пальмы, смотреть такой телевизор было интересно; однажды Офелия даже Иран поймала, но ни одна из дочек Агабабы не приходила и не смотрела вместе с Офелией; Адиль тоже не смотрел; положив перед собой толстую книгу, он в эту апшеронскую жару сидел в комнате, проливал пот, он готовился к экзаменам, и верно, книга всегда лежала перед несчастным Адилем, но в мыслях он улета аллах его знает куда, иной раз он приходил в себя, смотрел на льва на стене и снова уносился куда-то, что же касается Башира-муаллима, то Башир-муаллим терпеть не мог телевизор, не увлекался он также и газетами и журналами, потому что Башир-муаллим говорил, что человек должен жить «натурально» и точка!

Да, так вот, в этот августовский вечер и Агабаджи, и девочки собрались перед телевизором под верандой, правда, это был старый телевизор, не так уж хорошо

показывал, и Агабаджи много думала о том, чтобы заменить этот телевизор, купить новый, с экраном побольше, да чтоб яснее показывал, а то в этом изображение дергается, действует на нервы, но теперь это было ни к чему, потому что через некоторое время должен был начаться концерт оркестра народных инструментов и, как говорили, будет петь какая-то девушка, и петь еще лучше, чем Зейнаб Ханларова.

Поднялся легкий ветерок.

Агабаджи, поудобнее усевшись перед телевизором и с большим удовольствием ожидая начала концерта, сказала:

- Да нет, что ты, нет!.. Не может быть! Как бы они там не убивались, до Зейнаб им далеко! Одна-единственная! Нет таких больше!

В это время красная машина Калантара-муаллима остановилась перед воротами, и на этот раз из машины, кроме Калантара-муаллима, вылезли еще четверо мужчин, и, как только они вылезли, начался переполох.

- Башир-муаллим! Ай, Башир-муаллим. Иди посмотри, кто приехал!

В своих широких полосатых пижамных брюках Башир-муаллим с необычным для его полноты проворством спустился по ступенькам веранды:

- Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!

Гости вошли во двор, они, как, видно, недавно где-то встали из-за стола, поели-попили и вот приехали, потому что распространяли вокруг себя запахи спирта и курдючного шашлыка, один что-то выкрикнул, другой громко расхохотался, третий сорвал гвоздичку, будто она ему мешала, четвертый, плешивый, подпрыгнул, чтобы сорвать тутовую ягоду, и при этом белую свою рубашку красным соком выпачкал и ветку сломал - Агабаджи под верандой только благодарила аллаха, как хорошо, что Агабабы нет дома; у Агабабы сердце бы разорвалось, не вынес бы он этого, тут бы кровь была, неизвестно, чтобы он сделал.

Тем временем Калантар-муаллим за руку вытащил из комнаты Адиля, гости увидели его и спросили:

- Это наш герой? - Потом похвалили: - Сразу видно, храбрый парень! - Потом, показав на плешивого, сказали: - Завтра ты будешь сдавать экзамен вот этому преподавателю, уважаемому Джаббару-муаллиму будешь сдавать экзамен! Держись крепче! Не бойся, он тебя не съест!

Амина-ханум, спустившись вниз, заглянула под веранду, срочно потребовала у Агабаджи мангал, шампуры, щипцы, угли, и, услышав что в доме нет ни мангала, ни шампуров, ни щипцов, ни угля, Амина-ханум искренне удивилась:

- Ой, ну что тебе сказать, женщина! Военное время сейчас, что ли? Вы что, шашлыков не делаете?

Однако долго говорить у Амины-ханум времени не было, и Амина-ханум отвернувшись от Агабаджи, торопливо приблизилась к Калантару-муаллиму, Калантар-муаллим как близкий человек наклонил голову, поднес ухо к губам Амины-ханум, и Амина-ханум стала что-то быстро шептать на ухо Калантару-муаллиму; Калантар-муаллим, внимательно слушая Амину-ханум, посмотрел в сторону семейства под верандой Агабаджи, укоризненно покачал головой и, поспешно выйдя со двора, сел в машину, и красная машина помчалась к шашлычной серебряного Малика на берегу моря. Через некоторое время по всему двору, по всей округе распространился аромат шашлыка, все заволочло шашлычным чадом и жена Амиргулу Хейранса высунула голову из окна, чтобы посмотреть, что случилось, потом поняла, в чем дело, и наглухо затворила окно, чтобы в дом не набивался дразнящий запах.

Калантар-муаллим на привезенном из шашлычной серебряного Малика мангале жарил шашлык посреди двора, и, так как баранина была очень жирная, жир с шипением капал на угли и чад заволакивал все вокруг; Калантар-муаллим со слезящимися от дыма глазами раздувал угли, размахивая крышкой большого бака, в котором Агабаджи варила

белье, Адиль же носил готовые шашлыки на веранду, капая жиром по всему двору, по лестнице.

А на веранде пиршество было в разгаре, Башир-муаллим говорил:

- Честное слово, это армянский коньяк! А это - чечено-ингушский коньяк! Честное слово, чечено-ингушский коньяк!

А это - дагестанский! Горные орлы произвели его! Честное слово, так!

Джаббар-муаллим говорил:

- По-моему, вы - необыкновенный человек? Сафтар-муаллим говорил:

- Выпьем за здоровье этого необыкновенного человека потому что, если бы не было таких необыкновенных людей, этот мир - слишком много бы потерял!

Алясахиб-муаллим сокрушался по поводу утраты добрых старых обычаев и говорил: «О, аллах, что со всеми нами будет, почему у нас так мало таких мужчин, их так мало - таких мужчин, что не сыщешь и днем с огнем, и как хорошо сделал Калантар-муаллим, что привел их сюда и посадил рядом с таким мужчиной, как Башир-муаллим».

- Вы только взгляните на стол! - говорил Алисахибиуаллим. - Вы посмотрите, какой стол, причем буквально за пять минут! Этот стол, я бы сказал, - олицетворение нашей нации, да!

Только Фарман-муаллим ничего не говорил, потому что часто икал, лицо его пожелтело, и было ясно, что Фарману-муаллиму нехорошо, мутит его.

Башир-муаллим сказал:

- Амина-ханум, если нетрудно, принеси Фарману-муаллиму простокваши, ему будет легче.

Джаббар-муаллим сказал:

- Слушайте, этот человек - чудо, клянусь совестью, чудо!

Калантар-муаллим снимал с мангала шампуры и по одному давал их Адилью, и Адиль боязливо брался за них, он боялся обжечься. Калантар-муаллим был в отличном настроении, и, находясь в таком настроении, Калантар-муаллим потарал руки и говорил:

- Чего ты боишься, дурачок? Ты уже поступил в институт, поступил, клянусь твоим отцом! - Потом Калантар-муаллим, чтобы уж совершенно уверить Адилья, кивнул в сторону веранды: - Клянусь, поступил!

Адиль бодро ухватился за шампуры.

Калантар-муаллима тянуло к веранде, и на какое-то время он как будто забыл о шашлыках на мангале, потому что Амина-ханум поглядывала с веранды во двор, причем из расстегнутого ворота шелкового халата Амины-ханум ясно виднелась ложбинка между ее грудями; потом Калантар-муаллим все-таки взял себя в руки и снова занялся мангалом.

И Агабаджи в тот вечер пришла в себя только после того, как девочки разбежались кто куда от этого острого запаха шашлыка, шашлычного чада, и девушка в телевизоре пела только для себя одной, потому что в это время в этом дворе поющую по телевизору девушку никто не слушал; потом Агабаджи услышала звяканье цепи, рычание Кумгана, и женщина заспешила - вышла из-под веранды и направилась к собачьей будке.

Кумган сидел на цепи, и легкий ветерок относил прямо на него шашлычные запахи и ароматы.

Кумган, словно забыл, что он на цепи, бросался в ту, в другую сторону, рычал. Шерсть на загривке Кумгана встала дыбом, из пасти текла слюна, в глазах появился безумный блеск.

Когда Агабаджи подошла к будке, Кумган зарычал совсем грозно, и Агабаджи испугалась, да и мудрено было не испугаться при виде обезумевшего пса, из пасти которого капала слюна, вдруг женщине показалось, что Кумган не рычит, а воет как раненый волк; наконец Агабаджи опомнилась, быстро отстегнула цепь от ошейника Кумгана. Кумган а три больших прыжка бросился к Калантару-муаллиму и внезапно, будто ужаленный, завертелся на месте.

Калантар-муаллим, раздувавший мангал крышкой от бака, топнул ногой и прикрикнул на собаку.

- Убирайся отсюда!

Кумган присел на задние лапы, поднял голову, посмотрел прямо в глаза Калантару-муаллиму, и Агабаджи показалось, что Кумган сейчас вцепится в Калантара-муаллима, укусит его, но, к счастью, Кумган только залаял громко, обежал вокруг мангала и стремглав выскочил в калитку на улицу.

Кумган понесся по направлению к морю, но берега не достиг, дал большой круг и, снова забежав в поселок, по той же улице вернулся обратно, влетел через калитку во двор, остановился, высунул язык и посмотрел на Калантара-муаллима, Шашлыки с шипением зажаривались на мангале.

Офелия закричала:

- Кумган! Кумган!

Кумган посмотрел на веранду.

Офелия, торопливо спустившись с веранды, замедлила шаги, не решаясь подойти совсем близко к собаке, и, взяв из тарелки, которую держала в руке, несколько теплых кусочной шашлыка, бросила Кумгану; Кумган понюхал эти кусочки, слюна пузырилась у него по краям закрытой пасти, поднял голову, посмотрел на Офелию и вдруг стал громко лаять, и Агабаджи испугалась, что Кумган действительно укусит эту девочку, или суеющегося вокруг мангала Калантара-муаллима, или кого-нибудь другого, но опять, к счастью, Кумган никого не тронул, выбежал на улицу, понесся к морю и на этот раз до самой ночи уже не возвращался.

Когда ночью Кумган вернулся во двор, гости давно уехали.

На мангал давно вылили ведро воды, девочки спали под верандой, в комнатах Башира-муаллима свет был потушен. Нухбала устал проклинать в душе могилу отца Башир-муаллима и, наконец, заснул под навесом. Только Агабаджи не спала в такую пору и лопатой перекапывала землю у забора. Давеча, когда гости уходили, Фарман-муаллим осрамился: несмотря на то, что он выпил много простокваши, его все же вырвало у забора, и теперь Агабаджи пришлось хорошенько поработать лопатой, чтобы Агабаба, вернувшись домой, не увидел этого безобразия; Агабаба вскоре должен был появиться после своей второй смены.

В эту ночь Агабаджи подумала, что на деньги, которые она получит от этих квартирантов, она ни колец для своих невесток не купит и для дочек ничего не сделает, потому что деньги таких людей пользы не принесут. Может быть, подумал я Агабаджи, на эти деньги купить телевизор, только ведь на их деньги как назло плохой, неудачный телевизор купишь.

В эту ночь. Кумган посмотрел на Агабаджи, послушал тихое бормотание женщины, воровато, уголком глаз посмотрел на второй этаж, потом между деревьями прошел в дальний конец двора.

И в эту ночь кошки обнаружили вкусные куски шашлыка, брошенные Офелией Кумгану, и насладились ими, Кумган ие прогнал кошек со двора и с зайцами не стал связываться, можно сказать, всю ночь просидел на каменном заборе, глядя на море и на скалы.

У этой истории с шашлыком оказалось продолжение. После этого дня чуть ли не каждый вечер на машине Калантара-муаллима приезжали гости, и приготовленные Калантаром-муаллимом шашлыки Адиль таскал на веранду; Калантара-муаллима не покидало превосходное настроение. (Однажды так получилось, что Калантар-муаллим в присутствии Агабаджи пошутил с Баширом-муаллимом, хотя Калантар-муаллим при других не разговаривал с Баширом-муаллимом и вообще Калантар-муаллим был неразговорчивый человек; Калантар-муаллим, показывая на свои красные «Жигули», сказал Баширу-муаллиму: «Маленькая машина, Башир-муаллим, гости не помещаются».

Калантар-муаллим сказал это и рассмеялся; когда Калантар-муаллим смеялся, у него на тонкой и длинной шее надувались жилы, а во рту зубы золотые блестели. «Ничего, аллах Даст, скоро купишь «Волгу»...- Честное слово, купишь! Пусть только мой ребенок сдаст экзамены...» - и Башир-муаллим тоже расхохотался, но Агабаджи не поняла, что тут смешного, вообще-то Башир-муаллим был человеком, который иной раз смеялся просто так.)

Запах шашлыка впитался в эти деревья, в этот забор, в эти стены. И казалось, вся округа пропахла шашлыком, и жена Амиргулу Хейранса в субботу в бане пожаловалась поселке вы к женщинам:

- Из-за этого шашлычного запаха по вечерам все окна - двери закрываю! Амиргулу, бедняга, в такой духоте дома сидеть не может.

Зубейда, натирая спину стоявшей перед ней секретарше юселкового Совета Сугре, не смогла удержаться, съязвила;

- Ну и ну! Вот, значит, почему твой пьяница дома не сидит!

- Из-за этих слов разразился такой скандал, какого в это лето в бане еще не было, и женщины с трудом растащили Хейрансу и Зубейду. (Секретарь поселкового Совета Сугра с недотертой спиной закричала, что вызовет сюда милиционера, и Хейранса, а особенно Зубейда, хорошо знавшие секретаря поселкового Совета Сугру, поняли, что пора кончать, обычно у Сугры слово не расходилось с делом.)

Агабаджи про себя сказала: «Вы-то чего не поделили... Никому и невдомек, что я, дура, терплю...»

Однажды вечером Нухбала распетушился по поводу квартирантов и сердито спросил у Агабаджи: когда они уберутся отсюда?

«Глупость я сделала, Нухбала! Без ножа меня зарежут, потом уберутся к себе в ад!» - это Агабаджи сказала про себя, а сыну ответила так:

- Больной торопится, хочет есть, но груша вырастает в свое время, Нухбала! Уж мало осталось, родной!

6

Насколько домоседкой была Амина-ханум, настолько непоседливой был Башир-муаллим, это был человек как ртуть, и, когда днем он бывал дома и никаких гостей не предвиделось, Башир-муаллим, надев полосатые пижамные брюки, часто спускался во двор, ходил на море, а дома расхаживал в широких трусах. У этого мужчины была привычка, стоя перед курятником, кормить кур хлебом, а каждый раз он прихватывал для этой цели большой тендирный чурек.

- Цып-цып-цып-цып, - повторяя это, он разламывал, крошил хлеб, бросал курам и наблюдал, как они клюют крошки.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

- Слушай, ну что за куры теперь пошли! Клянусь тобой, - Башир-муаллим вытягивал полные мясистые губы, как будто кто возражал против этих слов Башир-муаллима. - Да будет весь мир твоей жертвой, у нас в районе были куры, прямо как павлины, все, какие есть на свете цвета, все были у этих кур. Клянусь! А теперь, куда ни приедешь, во всех дворах - белые инкубаторские! Слушай, разве так можно?!

И почему так получилось?! Слушай, можешь ты мне это объяснить?

Иногда Башир-муаллим садился па скамейку под тутовым деревом и, широко разведя в сторону руки, прохлаждался в теин. У Башир-муаллима была еще одна своеобразная манера спастись от жары, она состояла в том, что Башир-муаллим одним духом выпивал полный тонкий стакан водки, потом садился на скамейку во дворе, потому что, говорил Башир-муаллим, в такую жаркую погоду у человека внутри должно быть так же горячо, как снаружи, и вот, после того, как температура внутри и снаружи уравнивается,

человек будто бы почувствует прохладу. Башир-муаллим много говорил, потому что если бы говорил меньше, то не смог бы усидеть на скамейке.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

- Мой отец, да упокоит аллах твоих отца и мать, завещал мне, что надо прятать от людей три вещи. Клянусь, только три вещи! Первое, это - прятать деньги! Клянусь! Прятать, потому что деньги вызывают зависть, а кому какое дело, что у - тебя есть?! Второе, клянусь тобой, прятать жену! А третье - не говори никому, куда идешь! Не говори - и все! Если едешь в Шемаху, скажи еду в Шеки, пусть тебя ищут в Шеки, да, пусть тебя разыскивают в Шеки!

Агабаба не мог смотреть на Башира-муаллима, потому что, как уже было сказано, Башир-муаллим красил волосы и усы, и от него всегда пахло духами или одеколоном, а Агабаба такие вещи терпеть не мог; и все же красить волосы или не красить - это было личное дело Башир-муаллима, ему виднее, но было и еще одно обстоятельство, которое каким-то боком касалось и Агабабы, потому что Башир-муаллим и Амина-хапум жили в доме Агабабы и были они мужем и женой, то есть состояли в законном браке.

Агабабе, в общем, было все равно, где Башир-муаллим прячет свои деньги и почему скрывает свое местонахождение, но вот что касается его жены, то Агабабе совсем не нравилось что Калантар-муаллим так часто ходит к Баширу-муаллиму. Конечно, было известно, что Калантар-муаллим каждый день бывает здесь потому, что устраивает сына Башира-муаллима в институт, навещает ради дружбы или ради чего другого, им самим виднее, это Агабабы не касалось, но то, как Калантар-муаллим иногда смотрел вслед Амине-ханум, Агабабе очень не нравилось и еще Агабабе очень не нравилось, что Амина-ханум и сама, кажется, понимает смысл этих взглядов Калантара-муаллима и судорожных движений его кадыка на длинной шее.

Агабаба и вообще все мужчины в поселке были такие люди, которые все могли бы вытерпеть, но в вопросах, касающихся чести, никому бы не спустили.

7

Адиль сдал два экзамена и оба, кажется, хорошо, потому что настроение у Калантара-муаллима не менялось. Как только красные «Жигули» останавливались перед воротами, Калан-тар-муаллим, вылезая из машины, перешагивая через три ступеньки, поднимались на веранду и через некоторое время выводил аккуратно причесанного Адилья в накрахмаленной Аминой-ханум рубашке и отутюженных брюках, сажал в машину и, сверкая золотыми зубами, говорил:

- Герой, ну герой! Просто молодец!

Потом красная машина трогалась с места, исчезала из глаз и возвращалась только вечером, и в машине опять оказывались гости, и после этого опять начиналось все сначала.

Дочери Агабаджи уже больше не разбегались куда глаза глядят из-под веранды, во-первых, потому, что смысла в этом не было, все равно запах шашлыка со двора не выветривался, а во-вторых, девочки уже к нему попривыкли, жена Амиргулу Хейранса по вечерам уже оставляла окна открытыми, а поселковым женщинам объясняла: деньги есть - и прекрасно, если бы и я каждый день могла покупать мясо на шашлык, ей - богу, в голову бы не пришло, хорошо ли моим соседям, не мешает ли им запах. Хейранса так говорила, но поселковые женщины знали, что Хейранса - не такой человек, и вообще в этом поселке нет таких людей, даже Зубейда так бы не поступила: если кто в поселке в кои веки, раз в год готовил шашлык, он обязательно всем близким соседям, независимо хорошим или плохим, - все же посылал один-два шампура, потому что в поселке без детей жил только охранник Гасанулла, у всех остальных было по четверо-пятеро детей, и все они сразу чужили запах шашлыка.

Агабаджи, как будто во всем была виновата маклерша Зубейда, больше с Зубейдой не здоровалась, встречая Зубей-ду, отворачивалась и маклерша Зубейда выходила из себя: жена Агабабы на мне зло срысывает, как будто я виновата, что они каждый день шашлык жарят, я-то при чем, слушай, я что в карты заглядывала, будут они каждый день шашлык жарить или нет? Ты квартирантов просила, я тебе нашла, мать моя, сестра моя, что тебе от меня надо? Когда Агабаба так храпит, кто еще будет жить у вас в доме?

Агабаба все переживал про себя, вслух ни слова не говорил, потому что Агабаба видел, до чего дошла Агабаджи, и поэтому терпел и суету с шашлыком и песни, которые заводила Амина-ханум; терпел и этот шум, обрывки бумаги в своем всегда тихом и чистом дворе, и низкие дела Башира-муаллима. (Однажды в полдень Башир-муаллим сам развел во дворе огонь, согрел пять-шесть ведер воды, мол Амина-ханум хочет искупаться, потом взял у Агабаджи большой таз для стирки, поднял его на веранду и ведра по одному поднял на веранду, попросил у Агабабы, сидевшего в тот день дома, большую кружку, чтобы набирать из ведра воду и поливать Амине-ханум на голову; Агабаба ничего не ответил, вышел со двора, хлопнув за собой дверью калитки; Башир-муаллим ничего не понял и попросил кружку у Агабаджи, и Агабаджи, сказав про себя: «Пепел на голову такому мужчине!», краснея от стыда, дала Башир-муаллиму медную кружку, а Башир-муаллим, поднявшись на веранду, начал лить воду на голову Амине-ханум, раздевшейся и сидевшей в тазу для стирки белья.

В общем, каждый терпел как мог, потому что, как предки говорили, плохой день когда-нибудь все-таки кончается.

Кумгану было, пожалуй, хуже всех.

За последние десять дней он совсем отощал, ребра можно было пересчитать, в глазах появился какой-то нездоровый блеск. Кумган, можно сказать, ничего не ел, и приготовленные Агабаджи ячменные лепешки и болтушка так и оставались нетронутыми. Неожиданно Кумган стал есть траву во дворе, и Агабаджи поняла, что Кумган заболел. Громко лая, пес не подпускал Офелию к будке, и она даже не могла теперь подходить к финиковой пальме; высовываясь из окна веранды, Офелия кричала:

- Кумган! Кумган! - и прямо с веранды кидала Кумгану куриное мясо, тавакебаб, котлеты.

Кумган рвался с цепи, громко лаял в сторону веранды, и Амина-ханум, высунувшись из окна, говорила:

- Совсем взбесился! - и стаскивала Офелию с окна.

И после этого Кумган успокаивался, тихо вытягивался в своей будке, высовывал голову наружу и смотрел вперед ничего не выражающими, потухшими глазами.

Кумган по звуку узнал красную машину Калантара-муаллима и под вечер, как только раздавался этот звук, вставал и начинал метаться перед своей будкой, из пасти его текла слюна, и, как только Калантар-муаллим входил во двор, Кумган встречал этого человека лаем, потом он облаивал каждого из привезенных Калантаром-муаллимом гостей, но никто не обращал внимания на собачий лай.

Когда Калантар-муаллим, поглядывая на видневшуюся в окне веранды Аминуханум, разжигал мангал серебряного Малика, пламя сразу же отражалось в черных глазах Кумгана. Кумган лаял, дергался на цепи, и, когда Агабаджи подходила и отвязывала его, Кумган бросался к мангалу, принимался бегать вокруг него и лаял, как будто не на Калантара-муаллима, а на обволакивающий все вокруг чад от шашлыка, потом выскакивал на улицу, покружив по поселку, снова залетал во двор и снова убегал со двора; Кумган не мог найти себе места.

Как-то ночью, когда Агабаба пришел со своей двухсменной работы, все спали и даже Агабаджи, утомленная зноем, улеглась одетая, не в силах дожидаться Агабабы, сон сморил женщину; Агабаба вошел во двор, и вдруг ему показалось, что этот двор - не его двор, а совершенно другой двор; были те же деревья, тот же дом, тот же забор, но все это было как будто чужое, и Агабаба удивился: каждое дерево, каждый куст посажен его

рукой, здесь он знает каждый камень, каждую щепку, почему же все стало чужим, - Агабаба не мог понять, он покачал головой, подошел к курятнику и увидел, что Кумган стоит на заборе и смотрит на него.

В ту ночь ярко светила луна и звезды, небо было абсолютно чистым, и в эту ясную ночь Агабаба и Кумган какое-то время смотрели друг на друга. И снова Агабаба удивился: глаза у Кумгана были какие-то жалкие, беспомощные, и, самое главное, что произвело наибольшее впечатление на Агабабу, глаза Кумгана словно извинялись за что-то, умоляли простить...

Одним словом, тоску нагнал пес на хозяина, и Агабаба в эту ночь спал очень беспокойно, а утром он сказал Агабаджи:

- Хорошенько присмотри за Кумганом, - и, вытащив из курятника трех кур, зарезал их. А потом ушел на работу.

В этот день и Агабаджи, и Нухбала, и Наиля, Фируза, Камяля, Амаля, Дильшад, Бейюкханум поняли, что эти куры зарезаны, в основном, ради Кумгана, и поэтому в обед они только слегка объели косточки, хрящи на них остались, шейки не разделали по позвонкам, ребрышки не вычистили по одному, и все эти вкусные остатки Агабаджи, с большой охотой собрав в железную миску, отнесла Кумгану, поставила миску перед Кумганом, и в этот момент произошло то, чего никто не ждал. Кумган не бросился радостно на куриные косточки с хрящами, с непонятным выражением посмотрел он в глаза остолбеневшей от изумления Агабаджи потом неохотно поднялся, понюхал миску и, взяв из миски одну из куриных ножек, слегка надкусил ее.

Агабаджи была поражена.

Через некоторое время весь двор наполнил аромат жарившегося на сковородке мяса. Амнна-ханум жарила на сковородке бараньи ребрышки; она жарила бараньи ребрышки и одновременно ела черешню, рассеянно поглядывая с веранды во двор (Амина-ханум, можно сказать, совсем не входила в комнату, весь день проводила на веранде, и дело было не только в том, что на веранде прохладнее, чем в комнате, - это само собой, но была и еще одна причина, и она состояла в том, что ей очень не нравилась картина на стене комнаты, и лев не нравился, и герой не нравился: «Подумать только, что это за бред нарисовали в доме!»).

Офелия с телевизором в руках бродила по двору между деревьями, и, когда Офелия подошла и остановилась под финиковой пальмой, Кумган не залаял на девочку, не зарычал, а спокойно улегся рядом со своей будкой. Офелия была просто ошеломлена и не знала, что делать, потом она заглянула в черные глаза Кумгана и увидела в этих глазах какое-то безразличие; так поняла это Офелия, но по существу в этот момент произошло нечто другое, и девочка почувствовала это; опустив телевизор под финиковую пальму, она бегом поднялась на веранду и, схватив с тарелки три-четыре зажаренных Аминой-ханум ребрышка, обжигая руки, спустилась вниз, подбежала к финиковой пальме и стала бросать Кумгану теплые бараньи ребрышки, с которых капал жир.

- Кумган! Возьми! Возьми! Кумган! Возьми!

Первый кусок упал рядом с правой передней лапой Кумгана, и у собаки непроизвольно раскрылась пасть, слюна потекла.

Второй кусок, ударившись о грудь Кумгана, упал на землю.

Третий кусок не упал на землю исчез в воздухе, и Офелия сначала не поняла что произошло, но когда увидела, что Кумган остервенело двигает челюстями, она бросила и последний кусок, и Кумган этот последний кусок тоже поймал на лету и съел.

Офелия в жизни еще так не радовалась, поскакала на веранду и там взяла полную тарелку жареного мяса.

Амина-ханум пожала плечами.

- Ты что, с ума сошла, куда ты несешь?

Офелия ничего ей не ответила.

С полной тарелкой снова прибежала она к финиковому пальму, и, пока ее не было, Кумган съел и те два куса, что лежали на земле. Пес поднялся на задние лапы и, задыхаясь, хватал в воздухе теплые бараньи ребрышки. Офелия постепенно подошла совсем близко к Кумгану, он ел с такой жадностью, таким хрустом разжевывал косточки, что, когда мясо кончилось, Офелия поставила перед Кумганом пустую тарелку и Кумган старательно вылизал ее.

Агабаджи, сидя под верандой, раскатывала тесто для кутабов с зеленью, и, когда взгляд ее упал на Кумгана, она вдруг застыла со скалкой в руке, женщина на какое-то время замерла, уставилась на Кумгана, лизавшего дно тарелки квартирантов, потом горестно произнесла про себя: «Бедная собака!..»

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гаии, Гани!
С золотыми зубами па-а-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задевай меня,
Потому что я бесты-ыжая, Гани, Гани!

Потом включился парень с визгливым женским голосом.

Захмелел я, красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

И с этого дня Кумган, не обращая ни малейшего внимания на лепешки Агабаджи, на болтушку из ячменной муки, стал на лету ловить и пожирать то, что ему бросала Офелия - котлеты, тавакебаб, кюфту, жареное мясо.

С этого дня Кумган стал тенью Офелии, и с этого дня Офелия играла с Кумганом, как хотела, потом поссорилась с Кумганом, потом стала насмехаться над Кумганом, гнать его, издеваться над Кумганом, но Кумган все равно не обижался; когда Офелия сердилась, она не давала Кумгану есть, Кумган умолял ее черными глазами, просил, клянчил и каждый раз смягчал сердце Офелии и снова ловил на лету вкусные кусочки.

Кумган уже больше не лаял и на Калантара-муаллима, мало того стал путаться под ногами у готовящего во дворе шашлык Калантара-муаллима, упрашивать Калантара-муаллима, и у Калантара-муаллима тоже иногда сердце смягчалось, и он стаскивал кусочек с конца шампура, бросал Кумгану, и Кумган, обжигаясь, хватал на лету скворчащее мясо.

Однажды Калантар-муаллим, колдующий, весь в поту, над пылающим мангалом, разозлился на Кумгана - ну, что он все время у меня под ногами путается - и Калантар-муаллим пинком отбросил Кумгана в сторону.

До сих пор Кумган ни от кого не получал пинков, и, повизгивая от пинка Калантара-муаллима, Кумган побежал к своей будке, некоторое время постоял там, посмотрел на Калантара-муаллима, на истекающие жиром шашлыки, которые Адиль носил гостям на веранду, потом подошел к Калантару-муаллиму и, наконец, поймал в воздухе два куса, брошенных ему Калантаром-муаллимом, и проглотил их, почти не разжевывая.

Кошки от страха перед Кумганом больше не осмеливались заходить в этот двор, а когда и заглядывали крадучись, то не находили ничего вкусного - все, что было вкусного, подъедал сам Кумган.

Зайцы делали что хотели на огороде Агабабы, потому что Кумган утром и днем поглощал то, что готовила Амина-ханум, а вечером ел шашлыки Калантара-муаллима и, отяжелев к ночи, не вылезал из своей будки.

За неделю Кумган поправился, начал набирать вес.

Агабаджи вела себя, будто ничего такого не случилось, но больше не делала болтушку из ячменной муки, лепешки не месила, потому что Кумган все равно до них не дотрагивался,

И Нухбала, и девочки словно закрыли глаза на это дело и друг с другом об этом не говорили, однако Нухбала в душе ругал теперь своих квартирантов семиэтажными ругательствами.

Правда, Агабаба днем, можно сказать, дома не бывал и всего этого своими глазами не видел, но какая разница, Агабаба все то, что не видел, - чувствовал, и все же, когда Агабаба впервые воочию увидел, как пресмыкается Кумган перед квартирантами, у него сердце зашло, «что за мерзкий мир!» проговорил он потом. Агабаба подумал, что ведь бедняжка Агабаджи беременна, ждет десятого ребенка Агабаджи, и это нехорошо, что Агабаджи столько нюхает шашлычных запахов. Не может быть, чтобы ей не хотелось поесть шашлыка, а ведь желание беременной женщины надо выполнять - об этом и предки говорили, то есть Агабабе надо купить мясо, найти мангал и приготовить шашлык, иначе действительно все это плохо кончится, но Агабаба не знал, что Агабаджи всерьез думает, что ее новый ребенок возненавидит шашлык, потому что этот несчастный ребенок так надышался им в материнской утробе, что будет брезговать им, и хорошо сделает, во всяком случае Агабаджи находила себе такое утешение.

Кумган жирел на глазах, он как Амина-ханум, можно сказать, и не выходил со двора на улицу, день и ночь торчал во дворе; правда, Офелия уже пресытилась Кумганом и ему не так уж часто доставалась вкусная еда - котлеты, тавакебаб, кюфта и прочее, однако Кумган не очень расстраивался, потому что ему доставались все кости, обрезки, недоеденные куски от вечернего шашлыка.

Каждый раз, когда во двор с двумя полными корзинами входил Башир-муаллим, Кумган тотчас выбегал ему навстречу, как будто Кумган догадывался, что вся эта снедь, эти шашлыки, эти чихыртмы, эти гызартмы по существу исходят не от Офелии, не от Амины-ханум и не от Калантара-муаллима, все это исходит от этого вот толстого мужчины, черноволосого и черноусого, и в последнее время Кумган особенно пресмыкался именно перед Башир-муаллимом.

Однажды когда Башир-муаллим вошел во двор с двумя набитыми до отказа соломенными корзинами - зембиями и Кумган тотчас бросился к нему навстречу, Офелия не очень хорошо высказалась по поводу Кумгана, Кумган, с которым она так хотела подружиться еще неделю назад:

- Очень назойливая, какая-то настырная эта собака!

Башир-муаллим вообще-то был доволен таким особенным вниманием со стороны Кумгана, сказал, милостиво улыбнувшись:

- Ах ты, божья тварь! - потом Башир-муаллим вытащил из соломенного зембия круг полукопченой колбасы и бросил Кумгану.

Кумган как будто испугался, что ему кто-то может помешать, и в полминуты прикончил колбасу, а сидевшая под верандой и чистившая лук для постного супа Агабаджи видела, слышала все это и чувствовала, что ее душат рыдания, она сейчас заплачет, отчего заплачет? - этого она точно сказать не могла, но поняла, что сейчас заплачет, и, бросив недочищенную луковицу в тарелку, поднялась, вышла из-под веранды, а потом подалась со двора, даже не помнила зачем вышла.

Теперь Кумган откровенно избегал Агабабу, и, как только хозяин заходил во двор, Кумган исчезал, а иногда, стоя в сторонке, прятал свои черные глаза от Агабабы.

8

До конца августа оставалось мало, и теперь Агабаджи считала уже не дни, а часы, хотя в глубине души почему-то не могла поверить, что эти люди наконец уйдут отсюда, и снова, а этом дворе не будет никого, кроме них самих, женщина не могла поверить, что

отсюда выветрится когда-нибудь запах шашлыка, а эта паршивая девка с мужским голосом больше не будет звать Меджнуна и паршивец Гани со своим женским голосом провалится в преисподнюю.

И как будто всего этого было мало, однажды произошло нечто такое, что Агабаджи совсем растерялась, ну просто не знала, как себя вести, прямо, как говорится хоть стой, хоть падай.

В тот день не слишком рано Башир-муаллим, как обычно, ушел, чтобы у клуба поймать такси и поехать на работу. Через некоторое время красные «Жигули» Калантара-муаллима остановились у ворот, и Калантар-муаллим, усадив Адиля в машину, как обычно, увез его в Баку; Амина-ханум, высунув голову в окно веранды, проводила красную машину взглядом своих светлых глаз; а потом, как обычно, Офелия поднялась на веранду, чтобы получить в комнате свою порцию полуденного сна, но Амина-ханум, сама спустив с веранды вниз раскладушку, постелила Офелии под финиковой пальмой и сказала, что теперь днем Офелия будет спать здесь, потому что надо дышать свежим воздухом, и Офелия, очень довольная этим новым решением, с удовольствием заснула под финиковой пальмой. Прошло немного времени, и красные «Жигули» Калантара-муаллима снова остановились у ворот, и Агабаджи, стиравшая рубашки Нухбалы (девочки стирали свою одежду сами), поставив таз на деревянный табурет под верандой, сначала не придала этому значения. Адиля в машине не было, Калантар-муаллим был один, и, когда Калантар-муаллим вылез из красной машины, он как-то виновато огляделся по сторонам. Это было что-то новенькое, и Агабаджи почему-то почувствовала беспокойство, какое-то сомнение закралось ей в душу, потом, когда Калантар-муаллим проходил мимо спящей под финиковой пальмой Офелией, Кумган выскочил из будки навстречу этому худому длинному мужчине, но Калантар-муаллим тихо и сердито прошептал: «Убирайся! Убирайся!» и торопливо поднялся на веранду, после чего Амина-ханум, высунув голову из окна веранды, огляделась вокруг, и после этого с веранды донесся смех Амины-ханум, потом наступила тишина, причем это была такая тишина, которая говорила о многом.

Обе дрожащие руки Агабаджи так и остались в тазу...

Кумган, подняв голову, какое-то время смотрел на веранду, но на этот раз с веранды не пахло съестным, потом Кумган взглянул на спящую под финиковой пальмой Офелию, широко зевнул и улегся в тени своей будки и задремал.

С веранды донесся шепот, потом какой-то шорох, а потом с легким стуком закрылась задвижка на двери, выходящей на лестницу.

Агабаджи, стоя под верандой с колотящимся сердцем, говорила себе: «Ах чтоб вы сгорели! Чтоб сгорели! Мерзавцы! Так вот ты кто оказывается - шлюха!..» и хотела, поднявшись на веранду, опозорить эту толстозадую женщину, но у нее будто ноги отнялись, совсем Агабаджи растерялась, не могла двинуться с места и только за одно она благодарила небо, как хорошо, что детей дома нет, если бы дома были девочки, они все бы умерли со стыда.

Назавтра Башир-муаллим опять, поймав такси, уехал в Баку, через некоторое время опять приехала красная машина, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим, опять усадив Адиля в машину, увез его. Амина-ханум опять для полуденного сна постелила Офелии под финиковой пальмой, и Агабаджи срочно услала всех девочек купаться в море (девочки не поняли, что же такое случилось и почему Агабаджи так усердствует?), потому что, действительно, через некоторое время красная машина снова подъехала, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим снова, воровато оглядываясь по сторонам, поднялся на веранду и снова защелкнулась задвижка наверху...

Кумган на этот раз не бросился навстречу Калантару-муаллиму, как будто и Кумган понял, в чем тут дело; пару раз искоса взглянул на веранду, причем как будто с каким-то пониманием взглянул (или Агабаджи так показалось?), потом залез в свою будку.

Бесстыдные дела Калантара-муаллима с Аминой-ханум продолжались таким вот образом несколько дней, и Агабаджи думала-думала и смогла сделать лишь одно - перестала здороваться с Аминой-ханум, перестала отвечать на вопросы Амины-ханум, но такое отношение Агабаджи не произвело на Амину-ханум абсолютно никакого впечатления, прокручивая свои пластинки, она ела свою черешню, в полдень укладывала Офелию спать под финиковую пальму, после того, как красная машина возвращалась без Адила, защелкивала задвижку на двери, а по вечерам, как ни в чем не бывало, когда Калантар-муаллим снова приезжал и привозил с собой гостей, накрывала для гостей стол.

Агабаджи каждый день под разными предлогамиставляла девочек со двора (Нухбала и без того утром уходил и ночью возвращался). Когда Калантар-муаллим, озираясь, шел по двору, Агабаджи старалась на него не смотреть, зато она часто поглядывала на веранду своих соседей, смотрит жена Амиргулу Хейранса из окна или нет; Агабаджи боялась что весть об этом неслыханном позоре разлетится по всему поселку.

Как назло, но получилось то, что получилось: в один из таких дней открылась калитка и во двор вошла первейшая сплетница поселка маклерша Зубейда, причем именно в такое время, когда Офелия спала под финиковой пальмой, а красная машина стояла у ворот и задвижка на двери веранды была защелкнута (как будто у маклерши Зубейды был нюх на такие дела). Маклерша Зубейда посмотрела в сторону веранды, потом прошла под веранду, к Агабаджи и, несмотря на то что Агабаджи с ней давно уже не разговаривала, спросила:

- Ну что, слушай, поступил их ребенок в институт?

- Не знаю, - ответила Агабаджи и сильно, покраснела, она с ужасом прислушивалась к тому, что происходило наверху.

Маклерша Зубейда сочла нужным продолжить разговор.

- А-а-а... ты в баню в субботу пойдешь, да?

Агабаджи сказала:

- Да.

Маклерша Зубейда сказала:

- А-а-а... Может, и мне в баню сходить, слушай?

Агабаджи больше не отвечала и стала заниматься своим делом (она пришивала пуговицы к брюкам Агабабы).

- Слышала новость? У собаководов Гасануллы опять собака сдохла! (Жители поселка иногда называли охранника Гасануллу «собаководом Гасануллой», потому что охранник Гасанулла держал дома маленькую собачонку, кормил ее по-особому, купал каждый день; четыре года назад собака, которую держал охранник Гасанулла, заболела и отправилась на тот свет, и охранник Гасанулла не стесняясь поселковых мужчин громко, всхлипывая, плакал, потом поехал и купил себе новую собаку: это была маленькая собачка с длинной шерстью, и название этой породы никто в поселке кроме библиотекаря Наджафа не мог запомнить - скотчтерьер, и теперь вот, как стало известно из сообщения маклерши Зубейды, у бедного охранника Гасануллы и эта собачка околела).

Маклерша Зубейда сказала:

- Мужчины соберутся и пойдут к собаководу Гасанулле сочувствие выражать, а, ты только послушай! - Маклерша Зубейда громко рассмеялась, но увидев, что у Агабаджи нет никакой, охоты разговаривать, сказала: - Прощай! - и вышла со двора, чтобы найти себе другую женщину, которая уши развесит и с которой можно поболтать.

У Агабаджи так тряслись руки, что она два раза укололась иголкой.

И скоро наступил день, который был нерабочим днем Агабабы, и Агабаба весь этот день должен был пробывать дома.

Надо ли говорить, что Агабаджи уже несколько дней ждала этого дня и боялась, его как страшного суда.

Всю ночь проворочалась Агабаджи, раздумывая, что завтра сделать, сначала она решила, что и сама вместе с девочками уйдет куда-нибудь из дому, потом подумала,

может быть, Агабабу каким-нибудь предлогом отослать, все равно плохо – а так, и этак, а в конце концов уже ближе к утру Агабаджи пришло в голову, что ведь и эти нечестивцы – все-таки тоже люди и если они увидят, что такой серьезный мужчина, как Агабаба, дома, как-нибудь сумеют сдержаться.

В этот день утром Башир-муаллим опять как обычно уехал на работу. Через некоторое время у ворот остановились красные «Жигули» и Калантар-муаллим, забрав Адила, увез его в город, но, к сожалению, Калантар-муаллим не заметил Агабабу; потому что Агабаба дремал, сидя под верандой (он уже не выдерживал двухсменной работы), и поэтому Агабаджи три-четыре раза громко повторила остолбеневшим девочкам, тихо занимавшимся каждая своим делом, чтобы они не шумели, Агабаба сегодня дома, отдыхает, и девочки удивились этим словам Агабаджи, потому что они знали, что Агабаба дома, и никто не шумел; Агабаджи для того говорила это громко, чтобы хотя бы Амина-ханум услышала эти слова, но, когда через некоторое время Амина-ханум, опять спустившись во двор, стала стелить Офелии под финиковой пальмой, у Агабаджи сильно заколотилось сердце. Хорошо, что девочки сами собрались и пошли на море. Кумган спрятался в своей будке; когда Агабаба бывал дома, Кумган теперь почти всегда там отсиживался. Агабаба, выйдя из-под веранды, подошел к колодцу и, доставая воду ведрами, стал наполнять небольшой бассейн. Опять сначала парень взмолился тонким визгливым голосом:

- Лейли! Лейли!

Потом девушка чуть не баритоном спросила:

- Что, Меджнун?

Потом они стали петь вместе:

- Что же нам делать?
Ибн Сина идет свататься,
О горе, горе!

(Однажды, когда Амина-ханум с утра завела эту пластинку, Нухбала не удержавшись сказал Адилю, слушай, болван, пойди скажи своей матери, что не Ибн Сина, а Сам Шайтан посылает сватов.)

Красная машина остановилась у ворот в облаке пыли, и Агабаджи прошептала про себя: «О аллах, они в самом деле не считают нас людьми! За собак нас принимают! Сами вы собаки! На глазах у людей спариваются!» Потом Агабаджи зашла в кухню на первом этаже, затворила за собой дверь, чтобы не быть свидетельницей их позора при Агабабе.

Когда Калантар-муаллим вышел во двор и торопливо поднялся на веранду, Агабаба сначала не обратил на это внимания, то есть сначала Агабабе ничего такого не пришло в голову, и он обеими руками вытащил ведро из колодца, но когда щелкнула задвижка на двери веранды и этот звук достиг его слуха, Агабаба, как стоял у колодца с ведром, так и остался стоять неподвижно, только лицо у него сильно побледнело; наконец, он посмотрел на воду в ведре, поставил ведро на песок рядом с колодцем и направился прямо к веранде:

- Муаллим! Эй, муаллим!

При звуке голоса Агабабы у Агабаджи упало сердце: «Убьет! - сказала она себе. - Выпустит кишки из этого сукина сына! Пропадет! О, Агабаба!... Да умру я у твоих ног, Агабаба, не пачкайся ты кровью этого мерзавца, Агабаба!... Потом Агабаджи хотела выбежать во двор, схватить Агабабу за руки, за ноги, закричать, позвать на помощь соседей, чтобы Агабаба не запачкался грязной кровью Калантар-муаллима, но Агабаджи не смогла выйти из кухни, потому что Агабаджи скорее умерла бы, чем показалась на глаза Агабабе посреди всей этой грязи и срама.

- Эй, муаллим!

Щелкнула задвижка на двери веранды, потом открылась сама дверь, потом Калантар-муаллим высунул в дверь голову, и в этот момент волосы у Калантар-муаллима были растрепаны, рубашка растегнута, виднелась волосатая грудь, болтался ремень на брюках.

Калантар-муаллим, вытаращив глаза, посмотрел на Агабабу, мол, чего тебе здесь надо, какие у нас могут быть с тобой дела?

Агабаба сказал:

- Выйди сюда на минутку...

Агабаба сказал эти слова спокойно, негромко, но таким образом сказал, так посмотрел Калантару-муаллиму прямо в глаза, что Калантар-муаллим как бы независимо от своей воли спустился по ступенькам и предстал перед Агабабой, Агабаба только этого и ждал, он схватил Калантар-муаллима за грудки и притиснул свой кулак к острому кадыку Калантар-муаллима, Калантар-муаллим чуть не задохнулся, открыв рот, он что-то хотел сказать, но не мог произнести ни слова; Агабаба, ведя Калантара-муаллима спиной вперед, толкнул калитку его тощим телом, от удара калитка, скрипнув, отворилась, но Агабаба, не выпуская из правой руки ворот Калантара-муаллима, вытолкал Калантара-муаллима на улицу, другой рукой открыл дверцу красной машины и запихнул в нее Калантар-муаллима, потом хотел силой захлопнуть дверцу, но в этот момент Агабабе вспомнился мангал во дворе, он снова вытащил Калантара-муаллима из машины, поволок во двор, к мангалу и сказал:

- Возьми!

Калантар-муаллим, высвободившийся из рук Агабабы, мигом схватил мангал и умчался со двора, Агабаба не успел даже дать пинка под деревянный зад Калантара-муаллима.

Красная машина сорвалась с места и, поднимая пыль, исчезла из, глаз, как будто и она, эта красная машина, испугалась Агабабы.

Амина-ханум, рукой придерживая ворот халата, высунулась в окно веранды.

- Эй, ты! Мало того, что ты хранишь....

Но Агабаба позволил себе прервать женщину

- Если вы сегодня же не уберетесь отсюда, топором вас всех зарублю!

Амина-ханум посмотрев сверху вниз на Агабабу поняла что Агабаба сделает, что сказал, то есть возьмет в руки топор и отрубит голову и Аминь-ханум, и Баширу-муаллиму и Калантару-муаллиму, и Амина-ханум захлопнула окно веранды

Агабаджи прошептала:

- Слава тебе, аллах! Слава тебе! Слава!

Агабаба поразился собственному хладнокровию.

И вечером, когда Башир-муаллим, как обычно, вернулся из города с полными корзинами, что там ему Амина-ханум сказала - не известно, но Башир-муаллим пошел к клубу, взял такси, и Башир-муаллим, Амина-ханум, Офелия (Адила Калантар-муаллим из города не привез), набившись в машину вместе со своими вещами, безо всякого «до свидания» уехали.

Кумган, наблюдая из будки все эти события, не издал ни звука, только один раз тихонько твякнул - Агабабе показалось, что Кумган твякнул на него.

Два дня Агабаджи выскребала весь двор, комнату на втором этаже, веранду, пристройку, мыла, чистила, и дело было не в том, что квартиранты оказались неаккуратными людьми, это было не так, но сколько ни вытирала, ни мыла Агабаджи полы, стены, перила, поверхность стола, внутренность шкафа, и все, абсолютно все, а особенно газовую плиту на веранде и маленький столик под плитой, этого ей казалось мало, ее передергивало при воспоминании о том, как Амина-ханум с Калантар-муаллимом защелкивали задвижку и после этого с веранды слышалось как бы дыхание загнанной лошади, запыхавшейся собаки, и, представляя, что на этой веранде будут спать Наиля,

Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Бейюкханум, Агабаджи, с еще большим усердием продолжала, все чистить и отмывать.

И в этот вечер семья Агабабы снова поднялась наверх и старый телевизор Агабаба притащил на веранду, и в эту ночь каждый спал на своем месте: как было все эти годы, так было и теперь: Агабаджи, выбившись из сил, заснула рядом с Агабабой, храп Агабабы сотрясал всю округу, девочки спали на веранде, Нухбала с вечера залег под навесом и спокойно заснул как будто улыбался во сне (вполне могло быть, что Нухбала улыбался во сне, потому что днем Наргиз села в электричку и поехала в Баку, мол мне нужно купить книжки и тетрадки, а Нухбала сел в автобус и поехал в Баку, и Наргиз с Нухбалой в Баку вместе сходили в кино, в кино Нухбала положил руку на плечо Наргиз, так они и просидели все кино, потому что в Баку их никто не знал, потом Наргиз снова села в электричку и приехала в поселок, а Нухбала сел в автобус и вернулся домой и после этой незабываемой поездки в Баку сладко спал под навесом, и поднявшийся ветер был ему нипочем).

Между тем ветер постепенно усиливался, в темноте зашелестели деревья, шишки со стуком стали падать на землю, и все явственнее слышался шум и плеск морских волн, набегавших на берег.

После полуночи ветер набрал силу, в эту темноту ветреную беззвездную апшеронскую ночь Кумган сидел на заборе и слушал, как шумят волны, докатывающиеся до скальной гряды. Кумган отвернулся от моря и посмотрел в сторону дома садовника Асадуллы; дом садовника Асадуллы был выше всех домов в поселке, теперь и он растворился в темноте, потому что погасла электрическая лампочка перед его воротами, потом Кумган посмотрел туда, где должен был стоять дом охотника Фазиля, и как будто в эту безлунную, ветреную апшеронскую ночь вспомнил Алабаша, вспомнил Сарыбаша, будто вспомнил тот тихий, жаркий летний день, вспомнил игравшего с ним в догонялки кулика, вспомнил выстрелы, прозвучавшие в тот ясный, тихий, летний день.

Кумган за эти два дня опять похудел, от еды отказывался, даже воду не пил, бродил вокруг дома, останавливаясь на том месте, где Калантар-муаллим ставил мангал, нюхал землю, потом улегшись рядом с будкой, пожирал глазами веранду, будто надеялся, что сейчас выйдет Офелия, а когда слышался шум мотора, переводил взгляд на дорогу, словно высматривая красную машину.

Агабаба чувствовал, что Кумган тоскует по квартирантам, и то, что Кумган тоскует по таким недостойным людям, больно ранило Агабабу.

В этот день в полдень Агабаджи опять приготовила из ячменной муки болтушку и принесла, поставила перед Кумганом; но Кумган опять не дотронулся до болтушки, посмотрел на железную миску, посмотрел на Агабабу и залаял на Агабаджи.

Агабаджи очень расстроилась.

- Ну что? Чего ты хочешь? - спросила она.

Кумган опять залаял на Агабаджи и с ненавистью, с откровенной ненавистью посмотрел на болтушку в миске. Агабаджи сказала:

- А-а-а... Я знаю, он шашлык хочет!

И в это время Наиля, стиравшая белье у колодца, сказала:

- И я тоже шашлык хочу...

Фируза, сидевшая с книгой под верандой, сказала:

- И я тоже шашлык хочу... Кемаля сказала:

- И я тоже шашлык хочу... Амаля сказала:

- И я тоже шашлык хочу...

Дильшад сказала:

-И я тоже шашлык хочу...

Бейюкханум сказала:

-И я тоже шашлык хочу...

Агабаджи, оглядывая одну за другой своих дочерей думала о своем еще не родившемся ребенке, эта кроха наверно тоже хочет шашлык, потом посмотрела на Агабабу у которого сегодня был нерабочий день...

...А назавтра Кумган исчез...

ШАШЛЫК «СЮРПРИЗ»

(Вместо эпилога)

Серебряного Малика называли серебряным Маликом не потому, что намекали на его богатство, в таком случае его называли бы золотым Маликом, ибо, как говорила маклерша Зубейда (всем было известно, что нет ничего такого, чего не знает маклерша Зубейда!), золота у серебряного Малика было столько же, сколько в английском банке; серебряного Малика называли серебряным Маликом потому, что серебряный Малик беспрестанно повторял, что серебро - самая полезная вещь для здоровья, и дома у него все ножи и вилки, рюмки, и даже тарелки были серебряные, причем в доме серебряного Малика эти вещи ставились не только перед гостями, его двенадцать детей, он сам, жена, мать, теща, свояченица-вдова и семеро детей свояченицы-вдовы во время завтрака, обеда и ужина пользовались только серебряными вилками, ножами и тарелками, что поделаешь, у каждого свой характер и, как говорится, одни живут для того, чтобы есть, другие едят для того, чтобы жить...

Шашлычная серебряного Малика располагалась довольно далеко от поселка, в самом конце пляжа, на песчаном холме и называлась «Гвоздика», потому что была якобы не шашлычной, а чайной и люди будто бы приходили сюда пить гвоздичный чай; конечно, что касается чая, то чай-то здесь пили, но не на голодный желудок, а после шашлыка из свежей осетрины и севрюги, шашлыка из молочного барашка, шашлыка из кур и индюшек, пили также после люля-кебаба, кутабов, дюшперы, кюргы, хингала, короче говоря, после самых вкусных блюд на свете. Когда речь заходила об этой шашлычной, библиотекарь Наджаф негодовал, говорил, посмотрите на него, устроил из государственной чайханы шашлычную, рыбу и все прочее покупает на свои деньги у спекулянтов, потом готовит и в десять раз дороже продает людям, как будто отец серебряного Малика амбал Ибрахим завещал эту чайхану серебряному Малику а завещал грабить народ и ничего не бояться, ни ревизоров, ни контролеров, ни чего-либо другого; мясник Агакиши, слушая эти слова библиотекаря Наджафа, говорил, слушай, все это дело добровольное, пусть не ходят, пусть не обедают в шашлычной серебряного Малика! Библиотекарь Наджаф так отвечал на эти слова мясника Агакиши: те, кто ходят в шашлычную серебряного Малика, и сами такие же, как серебряный Малик... У серебряного Малика шашлык готовил Гаджимамед-киши люди называли его Мангалом, потому что он с самого утра разводил огонь в мангалах, стоявших рядами за шашлычной, нанизывал мясо на шампуры, и в чистые, безветренные летние дни с чердака дома Агабабы, если внимательно присмотреться, можно было увидеть дымок над шашлычной серебряного Малика

В тот день у Агабабы был нерабочий день, и вообще Агабаба, как и прежде, работал только в свою смену, а в дни, когда не работал, ухаживал за своим огородом и двором, отдыхая в доме, одним словом, как он жил раньше, так и стал жить; все снова вернулось в свою колею, запах готовившихся - Калантаром, муаллимом шашлыков, можно сказать, выветрился со двора, этот двор, этот дом, эти деревья понемногу забывали неприличные голоса с пластинок Амины-ханум и даже как будто не очень хорошо помнили совсем недавно здесь жившую белую собаку с черными глазами.

Ровно шесть дней и шесть ночей минуло с тех пор, как она пропала, и Агабаба даже думал, наверно, Кумган отправился в Баку, нашел там этих квартирантов и теперь живет у

них Агабаба подумал об этом и забеспокоился, потому что, если Кумган и разыскал их, те люди не стали бы держать Кумган у себя; потом Агабаба пошел в скалы поискать свою собаку, может быть, Кумган в скалах живет, и поселковые ребятишки, увидев Агабабу, разбежались (поселковые ребятишки иногда внем потихоньку забирались в скалы и подсматривали за городскими парнями и девушками, которые, как будто в Баку им места мало, приезжали сюда и миловались, а бывало, что и больше, чем миловались, в этих скалах), но сколько ни искал Агабаба, Кумгана не обнаружил, и охотник Фазиль сказал Агабабе, что Кумган, наверно, вообще убежал из этих мест.

В этот ясный безветренный день в самом конце августа Ага-баба, взяв молоток и гвозди, поднялся на лестницу, чтобы укрепить доски навеса и, увидев слабый дымок, поднимающийся над шашлычной серебряного Малика, внезапно понял, что должен сделать, причем сделать непременно, сделать сегодня же.

Агабаба спустился с лестницы, отнес в кухню молоток и гвозди, потом, поднявшись наверх, сказал Агабаджи и девочкам, занятым каждая своим делом на веранде.

- Собирайтесь, идем есть шашлык!

Причем Агабаба это сказал тоном, не терпящим возражений.

Наиля пошла к соседям, Амаля побежала, позвала Наилю, Дильшад, сбегав к берегу моря, позвала Нухбалу, Агабаджи достала из шкафа крепдешинное платье, которое давно не надевала, погладила его, погладила белую рубашку Агабабы с короткими рукавами, девочки, набрав воды из колодца, вымыли руки и ноги, и после получасовой подготовки, впереди Агабаба, за ним Агабаджи девочками, а в самом конце - Нухбала, выйдя из своей калитки, направились к шашлычной серебряного Малика.

Амиргулу опять где-то перебрал и опять, сидя под тутовым деревом на улице, прислонился к толстому стволу спиной и напевал себе:

Я - на фронте, я - на фронте,
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета,
Подбиваю самолеты!

А Хейранса стояла на балконе своего дома, увидев Агабабу с семьей, смущенно спряталась за занавеску, от стыда за Амиргулу она даже не могла спросить, узнать, куда это в такую жару идет разряженное в пух и прах семейство Агабабы; правда, и без того завтра в поселке узнают, куда ходила семья Агабабы. Хейранса прошла в комнату, потому что вскоре должен был прийти мастер Мартирос для того, чтобы соскоблить рисунок со стены (в последнее время мастер Мартирос прилично зарабатывал, потому что теперь в поселке стало модно иметь голые стены и все спешили избавиться от рисунков на стенах; завтра мастер Мартирос должен был прийти к Агабабе).

От жары все разбрелись по своим дворам, и на пустынной улице первым встретил семейство Агабабы охранник Гасанулла. Охранник Гасанулла широко улыбался, только крыльев ему не хватало, чтобы взлететь, он прижимал к груди двух щенков: это были маленькие, кудрявые щеночки кофейного цвета, и охранник Гасанулла сказал:

- Ты видишь, что я купил, а?!! Эта порода называется пудель! Брат и сестра! Видишь, какие красивые?!!

Было ясно, что охранник Гасанулла опять отдал все что имел, купил этих удивительных собак, кобеля и сучку, значит, рассчитывает на потомство...

- Да, очень красивые! - сказал Агабаба и добавил: - Молодец!

Потом они встретились с библиотекарем Наджафом, библиотекарь Наджаф, нацепив очки, сидел в тени инжирового дерева перед своим домом и читал свежие газеты, увидев Агабабу с семьей, поздоровался и спросил:

- К добру ли, куда это вы, Агабаба-муаллим? (Библиотекарь Наджаф ко всем мужчинам села обращался с этой уважительной приставкой к имени; однажды мясник Ага-киши даже рассердился, мол, я всю жизнь был мясником, зачем мне этот парень говорит «муаллим»? А садовник Асадулла объяснил, что библиотекарь Наджаф для того говорит всем «муаллим», чтобы люди и его самого тоже называли «муаллим», объяснение садовника Асадуллы сразу до всех дошло.)

- Идем гулять.

- Ну что же, счастливо вам погулять, - сказал библиотекарь Наджаф и снова начал перелистывать газеты, во всех этих краях невозможно было найти второго такого читателя газет, как библиотекарь Наджаф, ведь библиотекарь Наджаф подписался даже на эстонскую газету на русском языке, чтобы знать, как там в Эстонии дела.

Конечно, если бы библиотекарь Наджаф знал, что Агабаба со всем своим семейством идет в шашлычную серебряного Малика, он бы этому не поверил, потому что Агабаба, по мнению библиотекаря Наджафа, был настоящим мужчиной, даже больше того - праведником...

Семейство Агабабы вышло к морю и двинулось по песку в сторону шашлычной серебряного Малика.

Задувал северный ветер - норд, волны бились о берег, и вдоль волнолома тянулась белоснежная полоса пены; на горизонте синее море переходило в синее небо.

Задувал норд, день был не субботний и не воскресный, поэтому берег был совершенно пуст, и Агабаба, шагая по этом пустому берегу, почему-то вдруг вспомнил тот дождливый и ветреный весенний день, вспомнил того смешного щенка, который увязался за ним и дошел до самого дома. Агабаба подумал, что многие тысячи таких дождливых и ветреных дней пережил этот морской берег и что значат перед этим переживания такого человека, как Агабаба? Они так же смешны, как тот маленький щенок.

Почтальон Фатош с полной сумкой писем и газет проехал мимо семейства Агабабы на своем старом велосипеде (во всех здешних краях никто, кроме почтальона Фатоша, не мог ездить по этому песку на велосипеде, почтальону Фатошу по документам было шестьдесят восемь лет, но мясник Ага-киши говорил, что почтальон Фатош как раз его ровесник, то есть получалось так, что почтальону Фатошу исполнился восемьдесят один год), поздоровался и спросил:

- Куда это вы, к добру ли? Агабаба сказал:

- Идем гулять!

Почтальон Фатош сказал:

- Счастливой вам прогулки! - и уехал на своем велосипеде.

Несмотря на то что день был не субботний и не воскресный, в шашлычной серебряного Малика было полно народу, и не только внутри шашлычной, но и рядом с ней - в тени инжира, под широкими навесами, обвитыми виноградом, были расставлены столы, стулья, и приезжавшие из Баку клиенты ели, пила и наслаждались: кто с другом приехал, кто с компанией, кто привез гостя из Москвы, некоторые налегали больше на водку, чем на шашлык и быстро пьянели.

Серебряный Малик, увидев Агабабу, был немало удивлен:

- Добро пожаловать, братец! - потом разглядев, что Агабаба пришел со всем семейством, удивился еще больше (мужчины поселка не приводили в шашлычную своих домочадцев!): - Отлично сделал, что привел и сестрицу и детей! Проходите вот сюда. Сейчас все будет...

Серебряный Малик был мужчина крупный, дородный (говорили, будто за один присест он съедает яичницу из тридцати трех яиц!); он раньше, как и его отец - знаменитый амбал Исафил, был грузчиком, но после женитьбы благодаря друзьям и приятелям тестя Алекпера он сначала стал чайханщиком в поселковой чайхане, потом устроился буфетчиком в бузовнинском привокзальном ресторане, а потом стал

заведующим этой шашлычной, и дела серебряного Малика пошли в гору, теперь тесть его Алекпер в присутствии серебряного Малика не осмеливался закурить...

В шашлычной у серебряного Малика был кабинет, где он сидел и производил расчеты, говорил по телефону, а когда приходили самые уважаемые люди, он освобождал письменный стол, застилал его скатертью и усаживал здесь дорогих гостей, чтобы им никто не мешал.

Официант Джафаргулу, надевший кепку «аэродром» в такую жару, вошел, поздоровался с семьей Агабабы, спросил, как дела (официант Джафаргулу был двоюродным братом Хейрансы и терпеть не мог Амиргулу), и положил меню перед Агабабой.

В таких шашлычных на Апшероне дело обходится без меню, однако в заведении серебряного Малика меню было, и все знали, что эту красивую обложку для меню серебряный Малик заказал в Чехословакии, внутрь этой обложки закладывался листок, написанный от руки, и на этом листке были обозначены названия блюд, но цена не проставлялась.

Агабаба посмотрел принесенное официантом Джафаргулу меню и увидел, что здесь первым номером идет шашлык «сюрприз», и Агабаба кроме зелени, помидоров, огурцов и сыра заказал всем по порции этого шашлыка.

Из окна кабинета серебряного Малика были видны мангалы Гаджимамеда-киши, всю свою жизнь занимавшийся приготовлением шашлыков Мангал, весь день носясь от мангала к мангалу, один жарил шашлыки для такого количества людей (в поселке говорили, что Мангал каждый день глотает столько дыму, чада, что поздним вечером вынужден заглатывать кусочек сырого курдюка, обвязанный ниткой, потом за нитку вытягивать этот уже ставший черным от сажи кусок курдюка, и будто таким вот образом Мангал каждый вечер предохранял себя от болезни).

Официант Джафаргулу принес зелень, разложил на столе, принес помидоры, огурцы, принес сыр, принес для Агабабы двести граммов водки, принес пять холодных бутылок минеральной воды «Бадамлы» и сказал:

- Кушайте на здоровье! - ушел.

Семейство Агабабы отведало от всего, что было на столе, потом Агабаба, налив себе сто граммов, выпил за здоровье Балададаша и Агагюля, а потом все стали ждать шашлык «сюрприз».

Агабаджи сказала:

- Слушай, а что это за шашлык такой? Вдруг он не из баранины, а из чего-нибудь другого, а?..

Агабаба понял, что Агабаджи опасается, вдруг это свинина окажется, он рассмеялся, Агабаба в последнее время вообще не смеялся, и Нухбала, и девочки стали смеяться, и в это время донеслись звуки кларнета, донеслись звуки зурны, нагары, потом открылась дверь, вошел, приплясывая, официант Джафаргулу с большим блюдом, украшенным сверху помидорами и зеленью, а следом за официантом Джафаргулу вошли, играя на кларнете, зурне и нагаре, кларнетист Мухтар, зурнач Арастун и нагарист Ибрагим, официант Джафаргулу поставил блюдо на середину стола, а Мухтар, Арастун и Ибрагим встали за спиной Агабабы и громко заиграли всегда модную «Невесту».

От неожиданности у Агабабы глаза полезли на лоб, и он спросил:

- Слушай, Джафаргулу, что это такое?

Официант Джафаргулу сказал:

- Так это же шашлык «сюрприз», братец, ешьте на здоровье! - и вышел.

Мухтар обратил кларнет к потолку, Арастун, раздувая, щеки, изгибался всем телом, Ибрагим старался изо всех сил. Они в самом деле хорошо играли, от души играли, и Агабаджи не удержалась от того, чтобы не сказать про себя: «Молодцы!» Агабаба понял, что, пока шашлык не будет съеден, музыканты не уйдут отсюда, потому что сюрприз «шашлыка «Сюрприз» в этом и заключался, музыканты должны были над головой

клиента играть «Невесту», он протянул руку к блюду, положил шашлык на тарелку перед Агабаджи и девочкам тоже положил шашлык. Нухбала взял сам, каждый взял себе по одному запеченному помидору, Агабаба, налив остальные сто граммов, поднял рюмку за здоровье музыкантов во главе с кларнетистом Мухтаром, и стало ясно, что серебряный Малик действительно организовал для семейства Агабабы отличный шашлык.

Разрезая ножом в меру проперченный кусок шашлыка, Агабаджи вдруг подумала: интересно, поступил сын квартирантов Адиль в институт или нет? Агабаджи захотелось задать этот вопрос вслух, но она ничего не сказала, потому что в такой чудесный день не хотела портить настроение Агабабе и детям.

Когда семья Агабабы кончила есть и пить, вошел серебряный Малик, Агабаба выразил ему свою благодарность, потом серебряный Малик ушел и послал официанта Джафаргулу произвести расчет, и тут стало ясно, что Нухбале придется сбегать домой и принести еще денег.

Направляясь в шашлычную, Агабаба положил в карман пятьдесят рублей.

Квартиранты, вернее Башир-муаллим дал, Агабаджи сто пятьдесят рублей вперед, а пятьдесят рублей должен был дать в конце, но поскольку Агабаба прогнал семью Башир-муаллима на пять-шесть дней раньше срока, остальные деньги остались при Башир-муаллиме, и Агабаджи о них не спрашивала.

Итак, Нухбала побежал домой, чтобы Агабаба рассчитался с шашлычной, то есть выплатил за шашлык «сюрприз».

Агабаджи даже не охнув, к своему удивлению, простилась в душе с новым телевизором.

Агабаба тоже как будто и ухом не повел, что такие большие деньги разошлись за два часа.

Как будто так и надо.

Сначала из шашлычной вышли Нухбала с девочками, потом Агабаба и Агабаджи, и когда они, обойдя шашлычную сзади, хотели спуститься к морю, чтобы пойти домой, Агабаджи схватила Агабабу за руку:

- Агабаба!

Агабаба сначала посмотрел на Агабаджи, потом посмотрел в ту сторону, куда смотрела Агабаджи.

Три собаки грызли кости позади шашлычной серебряного Малика, и одной из этих собак был Кумган.

Все беспризорные собаки в этих краях ошивались в окрестностях шашлычной серебряного Малика. Псы-попрошайки, они, стоя в сторонке, внимательно следили за столами и прямо в воздухе ловили кости от шашлыка, терпели пинки, ругань и даже камни, но далеко от шашлычной не уходили. Поселковые собаки близко не подпускали к себе этих псов-попрошак. В летнюю пору шашлыков жарилось особенно много, потому что было много приезжающих из Баку клиентов, и в летнюю пору эти псы-попрошайки на глазах жирели.

Кумган с костью в зубах поднял морду и увидел семейство Агабабы.

Кумган некоторое время смотрел на семейство Агабабы. Потом Кумган, опустив голову, тихонько скуля, вошел во двор шашлычной.

И тут Агабаджи почувствовала первые слабые толчки своего ребенка, ребенок шевельнулся у нее в животе, и в этот августовский день, направляясь вместе с мужем к себе домой, она вспомнила совсем маленьких, только что родившихся Балададаша, Агаюля, Нухбалу, Наилу, Фирузу, Кямалю, Амалю, Дильшад, Беюкханум, представила их себе поодиночке и подумала, что чем больше у человека детей, тем лучше.

СОДЕРЖАНИЕ

Любить человека-Марк Пейзель	3
Махмуд и Мариам (<i>роман</i>) - перевод с азербайджанского В.Портнова	6
Чудеса в почтовом отделении (<i>повесть</i>) - перевод с азербайджанского А.Орлова.....	117
Серебристый фургон (<i>повесть</i>)- перевод с азербайджанского Г.Митина	143
Смоковница (<i>повесть</i>) - перевод с азербайджанского А.Орлова	201
Кумган (<i>повесть</i>) - перевод с азербайджанского А.Орлова	218

Редактор **И.Новинская.**
Художник **И.Кулиев**
Художественный редактор **Н.Рагимов**
Технический редактор **Л.Караева**
Корректор **Р.Пашабекова**
ИБ № 1780

Сдано в набор 7.12.84. Подписано к печати 24.04.85. ФГ 05541.
Формат бумаги 60X90¹/₁₆. Бумага №1. Гар. литературная.
Печать высокая. Усл. п. л. 22,75. Усл. кр. - отт. 23. Уч. изд. л. 23.5.
Тираж 40000. Заказ № 60 Цена в мягкой обложке 1 руб. 50 коп., в пер № 7. 1
руб. 80 коп. Госкомиздат Азерб. ССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Из-во «Гянджлик», Баку, ул. Гуси Гаджиева, 4.
«Новая книжная типография» Баку, ул. А. Тагизаде. 4.

Для молодежи

Эфендиев Эльчин Ильяс оглы
МАХМУД И МАРИАМ
РОМАН, ПОВЕСТИ
Гянджлик
Баку - 1985